ISSN 0130-6545

11.1998

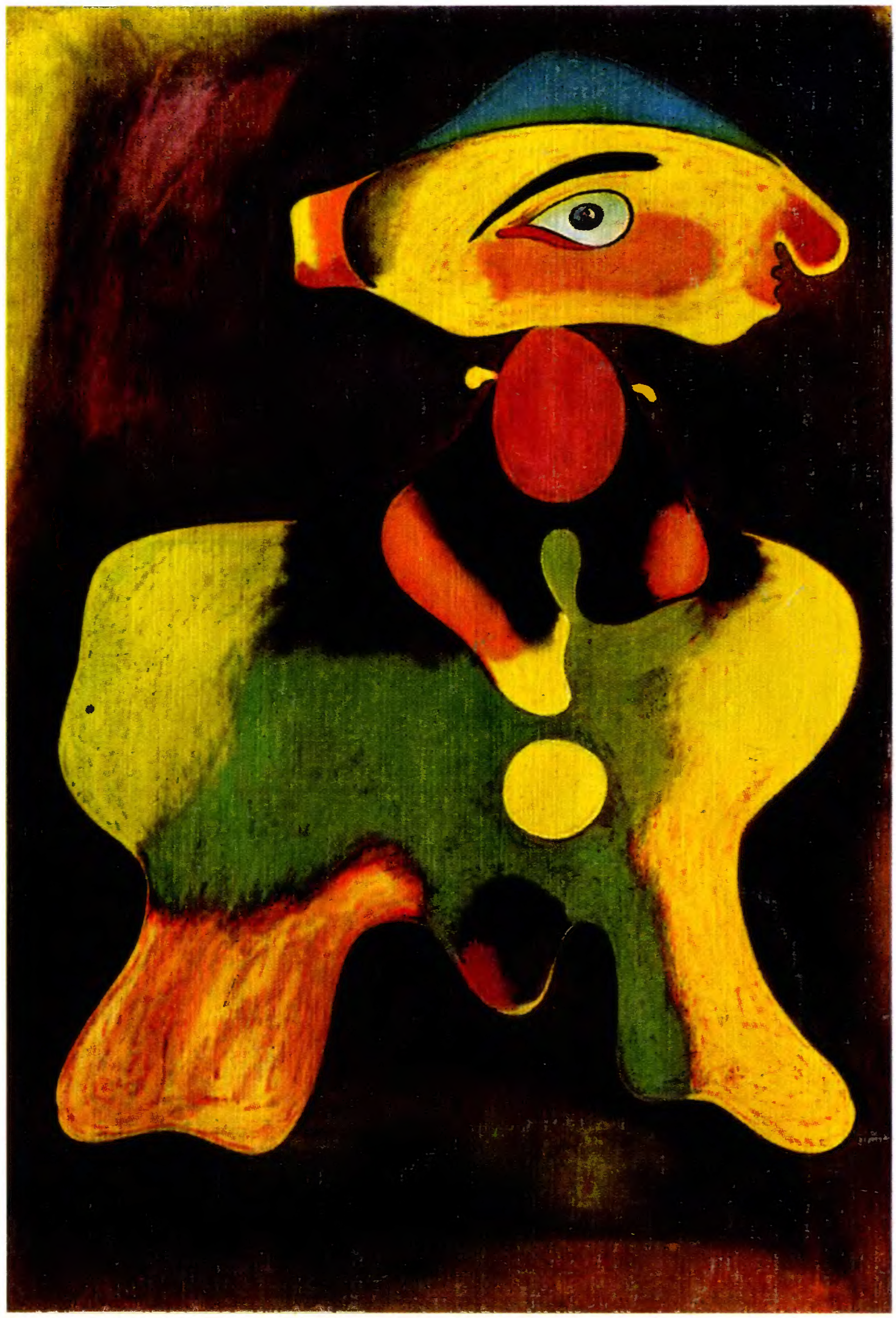
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ДЖУЛИАН БАРНС
Через Ла-Манш

КШИШТОФ КЕСЛЁВСКИЙ
О себе

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН
Записные книжки



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Из общего тиража в 14 650 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3235 экз. журнала.

Ежегодные литературные премии журнала спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

11 ноябрь 1998

СОДЕРЖАНИЕ

МИЛАН КУНДЕРА — Подлинность *(Роман. Перевод с французского Ю. Стефанова)*..... 5

ДЖУЛИАН БАРНС — Три рассказа из книги «Через Ла-Манш» *(Перевод с английского Инны Стам)*..... 58

ЖАН ПОРТАНТ — Стихи *(Перевод с французского Татьяны Щербины, Анны Плисецкой, Елены Туницкой. Вступление Татьяны Щербины)*..... 88

ИЛЬЯ ТРОЯНОВ — Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом *(Фрагменты романа. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Вступление П. Топера)*..... 93

Вглубь стихотворения

АДАМ МИЦКЕВИЧ — Разговор. Аккерманские степи. Сомнения *(К 200-летию со дня рождения. Переводы с польского. Вступление Ирины Адельгейм)*..... 160

Документальная проза

КШИШТОФ КЕСЛЁВСКИЙ — О себе *(Литературная запись Дануты Сток. Перевод с польского и вступление Ирины Адельгейм)*..... 177

Статьи, эссе

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН— Записные книжки. 1957—1972 *(Фрагменты книги. Перевод с французского и вступление Бориса Дубина)*..... 224

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ, ЛЮДМИЛА ВОРОНЦОВА — Судьба католицизма в России..... 245

Авторы этого номера..... 253

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»:

Роман современного английского писателя **Иэна Макьюэна** «НЕВИННЫЙ, ИЛИ ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» — необычная и трагическая история любви немки и молодого англичанина, участника секретного проекта западных разведок в послевоенном Берлине.

К 100-летию со дня рождения **Бертольта Брехта** — фрагменты недавно изданного сборника «ЧТЕНИЕ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ», в который вошли короткие выдержки из произведений выдающегося немецкого писателя и драматурга.

В рубрике *«NB»* мы представляем американского литературоведа **Харольда Блума**, чья книга «ЗАПАДНЫЙ КАНОН» стала настоящей сенсацией в интеллектуальных кругах США и Западной Европы.

Эссе о Риме Петрония и Афинах Аристофана «КВАРТИРА НА ПЛОЩАДИ» завершает авторскую рубрику **Петра Вайля** *«ГЕНИЙ МЕСТА»*.

Цветные иллюстрации номера — работы каталонского художника ЖОАНА МИРО (1893 — 1983):

На 1-й стр. обложки — «Персонаж» (1934)
На 2-й стр. обложки — «Герой, бросающий камень в птицу» (1926)
На 3-й стр. обложки — «Крыло жаворонка, окруженное золотистой синевой, стремится к сердцу колокольчика, который спит на лугу, украшенном бриллиантами»
На 4-й стр. обложки — «Полет птиц вокруг женщины с тремя волосками» (1972)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, д.46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

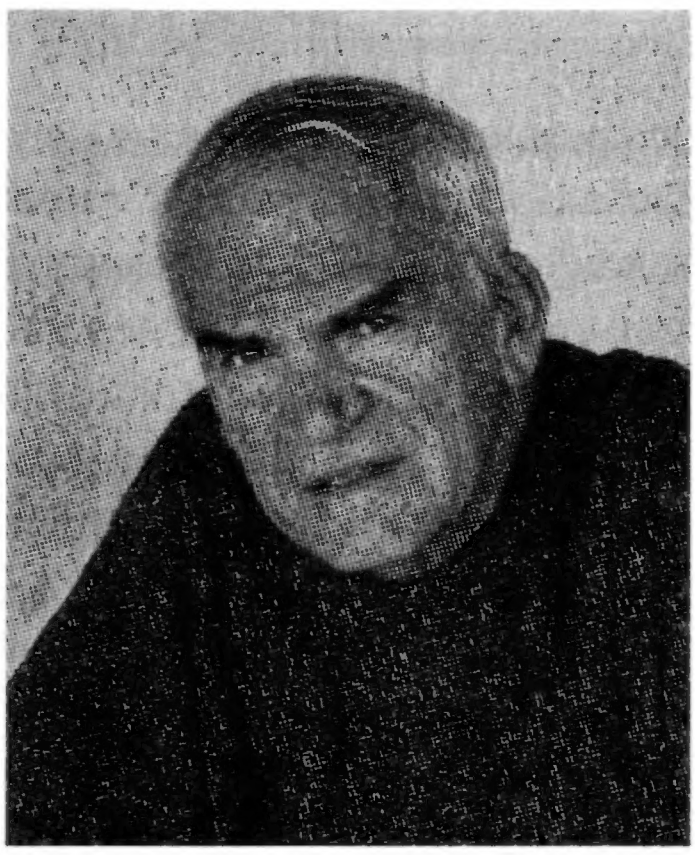
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 21.10.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,79. Заказ №3656.

Тираж 14 650 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



МИЛАН КУНДЕРА

Подлинность

РОМАН

Перевод с французского Ю. СТЕФАНОВА

1

Маленький городишко в Нормандии, гостиница на берегу моря, которую они случайно отыскали в путеводителе. Шанталь приехала в пятницу вечером, ей придется переночевать одной, без Жана-Марка, он обещал появиться на следующий день, где-нибудь после полудня. Она оставила чемоданчик в номере, вышла и после недолгой прогулки по незнакомым улицам вернулась в гостиничный ресторанчик. В половине восьмого зал был еще пуст. Уселась за столик в надежде, что кто-нибудь из официантов ее заметит. В другой стороне зала, возле двери на кухню, две подавальщицы что-то увлеченно обсуждали. Шанталь не хотелось повышать голос, она поднялась, пересекла зал и остановилась рядом с ними, но они были слишком увлечены предметом своей беседы: «Да говорю же я тебе, это длится уже лет десять. Я их всех знаю. Ужас, да и только. И никаких следов. Никаких. Об этом сообщали по телеку». — «А что с ним могло случиться?» — «И вообразить невозможно, в том-то и весь кошмар». — «Убийство?» — «Все окрестности обшарили». — «Похищение?» — «Да кто его мог похитить? И с какой стати? Что он — богач какой-нибудь или важная шишка? Их показывали по телеку. Жену его, ребятишек. Полная безнадега. Представляешь?»

Тут она заметила Шанталь:

— А вы смотрите по телеку передачи про исчезнувших людей? «Пропавшие бесследно» — вот как это называется.

— Да, — сказала Шанталь.

— Тогда вы, наверно, в курсе того, что случилось с семьей Бурдьё. Они ведь здешние.

— Да, это чудовищно, — согласилась Шанталь, не зная, как перевести разговор с трагической темы на пошлую проблему ужина.

— Вы небось хотите покушать, — догадалась наконец вторая подавальщица.

— Ну да.

— Сейчас позову метрдотеля, а вы пока присядьте.

— Нет, вы только представьте себе, — добавила ее напарница, — человек, которого вы любите, бесследно исчезает, и вам никогда не узнать, что же с ним произошло! Хочешь не хочешь, а крыша поедет!

Шанталь вернулась к себе за столик; метрдотель появился минут через пять; она заказала совсем простенький холодный ужин; она не любила есть в одиночку, она, ах, она терпеть не могла есть в одиночку!

Она резала ветчину и все никак не могла отделаться от мыслей, пробужденных официантками: как это может случиться, что в мире, где каждый наш шаг контролируется и регистрируется, где люди без конца натыкаются друг на друга, где в супермаркетах за нами

© Milan Kundera, 1997
© Ю. Стефанов. Перевод, 1998

следят телекамеры, где человеку не дадут даже заняться любовью, не напустив на него анкетчиков и репортеров («где вы занимаетесь любовью? сколько раз в неделю? с презервативом или без?»), — как это может случиться, чтобы кому-то удалось ускользнуть из-под контроля и исчезнуть без следа? Да, она знала эту передачу под наводящим ужас названием «Пропавшие бесследно» — единственную передачу, которая обезоруживала своей искренностью и печалью, словно во время нее какая-то неведомая внешняя сила вынуждала телевизионщиков отставить в сторону свою обычную развязность; в которой диктор очень серьезным тоном обращался к зрителям с просьбой сообщить хоть что-нибудь, что помогло бы напасть на след исчезнувшего. В конце таких передач одну за другой показывают фотографии всех «пропавших бесследно», о которых говорилось в предыдущих выпусках; кое-кого из них не удалось обнаружить и за одиннадцать лет.

Ей представилось, что точно таким же образом она может когда-нибудь потерять Жана-Марка. Остаться одной, в полном неведении, во власти самых жутких предположений. Она не могла бы даже покончить с собой, ведь такой конец был бы предательством, отказом от ожидания, утратой терпения. Она была бы принуждена жить до конца своих дней в непрестанном ужасе.

2

Она поднялась к себе в номер, кое-как заснула и пробудилась среди ночи после долгой череды сновидений. Они были населены персонажами из ее прошлого: ее мать (давно уже покойная) и, главное, ее прежний муж (она не видела его уже много лет, и он был не похож сам на себя, словно постановщик сновидения что-то перепутал в распределении ролей); он был там вместе со своей сестрой, особой властной и энергичной, и со своей новой женой (она ее никогда не видела и тем не менее во сне не сомневалась в ее подлинности); под конец бывший муж принялся одолевать ее туманными эротическими намеками, а его новая супруга поцеловала ее взасос, пытаясь всунуть ей в рот язык. Взаимооблизывание всегда вызывало у нее гадливость. От этого-то поцелуйчика она и проснулась.

Чувство омерзения, вызванное сном, было таким ошеломляющим, что она попыталась докопаться до его причины. Что ее больше всего смутило, думала она, так это произошедшее во сне полное упразднение настоящего. А она была так сильно привязана к своему настоящему, что ни за какие сокровища не променяла бы его ни на прошлое, ни на будущее. Вот почему она терпеть не может снов: они заставляют смириться с недопустимым равенством между собой различных отрезков одной и той же жизни, с нивелирующей одновременностью всего того, что человеку довелось прожить; они подрывают уважение к настоящему, отрицая за ним его привилегии. Так оно и было в этом теперешнем сне: целый кусок ее жизни исчез куда-то без следа: Жан-Марк, их общая квартира, все прожитые с ним годы; на их месте разлеглось прошлое, его заняли люди, с которыми она давно порвала и которые теперь пытались заманить ее в сеть пошлых эротических соблазнов. Она чувствовала на губах влажные губы женщины (совсем не дурной, — выбирая актрису на ее роль, постановщик сновидения выказал изрядную требовательность), и это было ей до такой степени противно, что она среди ночи поднялась и пошла в ванную — как следует вымыться и прополоскать горло.

3

Ф. был стародавним другом Жана-Марка, они познакомились еще в лицее; убеждения у них были совершенно одинаковые, они сходились во всем и поддерживали тесные отношения вплоть до того дня, когда, уже много лет назад, Жан-Марк внезапно и окончательно разочаровался в нем и перестал с ним видеться. Когда ему сообщили, что Ф., не на шутку расхворавшись, лежит в одной из брюссельских больниц, он не выразил ни малейшего желания навестить его, однако Шанталь настояла, чтобы он это сделал.

Вид старого друга производил удручающее впечатление: в его памяти он остался

таким, каким был в лицее, хрупким, всегда безукоризненно одетым подростком, наделенным таким врожденным изяществом, что рядом с ним Жан-Марк чувствовал себя каким-то бегемотом. Тонкие, почти женственные черты лица, благодаря которым Ф. выглядел прежде моложе своих лет, теперь только старили его: лицо казалось гротескно крошечным, сморщенным, морщинистым — ни дать ни взять личико египетской царевны, мумифицированной четыре тысячи лет назад; Жан-Марк покосился на его руки: одна из них неподвижно застыла под капельницей, в вену была введена игла; другой он то и дело размахивал, помогая себе при разговоре. Еще в юности, глядя, как его друг жестикулирует, Жан-Марк не мог отделаться от впечатления, что на миниатюрном теле Ф. руки выглядели совсем маленькими, крохотными, словно у марионетки. Это давнишнее впечатление только усилилось во время визита Жана-Марка в больницу — ребяческая жестикуляция Ф. никак не вязалась с серьезным тоном его речей; друг рассказывал ему, что пролежал в коме много дней, пока врачам не удалось вернуть его к жизни:

— Ты ведь слыхал о свидетельствах людей, прошедших через смерть. Толстой говорит об этом в каком-то из своих рассказов. Туннель — а в конце него свет. Манящая красота инобытия. А я, клянусь тебе, никакого света не видел. И, что хуже всего, никакого намека на бессознательное состояние. Все сознаешь, все чувствуешь, вот только врачам это невдомек, и они несут в твоем присутствии всякую околесицу, даже такую, которую тебе вроде бы не полагается слушать. Что тебе каюк. Что мозги у тебя набекрень.

Он на мгновение запнулся. А потом продолжал:

— Не хочу сказать, что сознание мое было абсолютно ясным. Я все понимал, но это «все» было слегка искаженным, словно во сне. А временами сон переходил в кошмар. Только в жизни кошмар быстро кончается: стоит тебе закричать — и ты уже проснулся. Но я не мог закричать. Весь ужас был в том, что я не мог закричать. Был просто не способен закричать в самый разгар кошмара.

Он снова умолк. А потом продолжал:

— Я никогда не боялся умереть. А теперь боюсь. Не могу избавиться от мысли, что после смерти останешься в живых. Что умереть — значит жить в бесконечном кошмаре. Ну да ладно. Ладно уж. Поговорим о чем-нибудь еще.

До своего визита в больницу Жан-Марк был уверен, что ни одному из них не удастся увильнуть от воспоминания об их разрыве и что ему волей-неволей придется сказать Ф. хоть несколько неискренних слов примирения. Но его опасения оказались напрасными: мысли больного просто не могли обратиться к столь ничтожным темам. Как бы Ф. ни хотел «поговорить о чем-нибудь еще», он продолжал распинаться только о своем исстрадавшемся теле. Его рассказ нагнал на Жана-Марка глубокую тоску, но не пробудил в нем ни малейшего сострадания.

4

Неужто он и вправду такой холодный, такой бесчувственный? Как-то, уже много лет назад, он узнал, что Ф. его предал; словечко, что и говорить, чересчур романтичное, есть в нем что-то ходульное: однажды, на каком-то собрании, где сам Жан-Марк не присутствовал, все ополчились на него так ретиво, что в результате он лишился своей должности. Ф. на этом собрании был. Он был на нем — и не вымолвил ни единого слова в защиту Жана-Марка. Его крохотные ручки, столь охочие до жестикуляции, не произвели ни малейшего жеста в пользу друга. Боясь допустить ошибку, Жан-Марк провел досконально расследование и выяснил, что Ф. и в самом деле промолчал. Когда сомневаться больше уже не приходилось, он на несколько мгновений почувствовал себя глубоко уязвленным; потом решил никогда больше с другом не видеться; тут же после принятия этого решения его охватило чувство необъяснимо радостного облегчения.

Ф. завершал изложение своих напастей; после очередной паузы его личико крохотной мумифицированной царевны прояснилось:

— А ты помнишь наши лицейские беседы?

— Не очень-то, сказать по правде, — признался Жан-Марк.

— Я всегда слушал тебя, как учителя, когда ты заводил речь о барышнях.

Жан-Марк попытался вспомнить, но никакого следа этих давних бесед в памяти у него не оставалось: «Да что же это такое я, шестнадцатилетний сопляк, мог плести тебе о барышнях?»

— У меня и сейчас перед глазами, — продолжал Ф. — Я стою перед тобой и несу какую-то околесицу насчет барышень. Вспомни-ка, что меня мутило при одной мысли о том, что прекрасное девичье тело может служить инструментом для всякого рода секреций; я тебе признался, что видеть не могу, когда барышня сморкается. А ты остановился, смерил меня взглядом и произнес тоном, не допускающим возражений, искренним и твердым: сморкается? Да мне достаточно увидеть, как она моргнет, как веко у нее прикроет роговицу, — и меня прямо с души воротит. Припоминаешь?

— Нет, — ответил Жан-Марк.

— Да как ты мог такое забыть? Веко, прикрывающее роговицу? Одно выражение чего стоит!

Но Жан-Марк не лукавил; он начисто все забыл.

Впрочем, он даже и не пытался копаться у себя в памяти. Он думал совсем о другом: вот он, истинный и единственный смысл дружбы; она вроде зеркала, в котором ты можешь видеть себя таким, каким был прежде; без вечной трепотни о прошлом между приятелями от этого образа давно бы уже ничегошеньки не осталось.

— Веко. Ты и в самом деле ничего не помнишь?

— Нет, — сказал Жан-Марк, а потом произнес про себя: «Ты никак не хочешь понять, что мне начхать на зеркало, которое ты мне подставляешь».

Ф. чувствовал себя усталым и замолк, словно воспоминание о девическом веке лишило его последних сил.

— Тебе следовало бы поспать, — сказал Жан-Марк, поднимаясь.

Выходя из больницы, он ощутил неодолимое желание оказаться рядом с Шанталь. Не будь он таким измотанным, он пустился бы в путь тотчас же. Перед приездом в Брюссель он размечтался о том, как плотно позавтракает в гостинице на следующее утро, как спокойно, без всякой спешки отправится обратно. Но, повидавшись с Ф., он поставил свой дорожный будильник на пять часов.

5

Еле живая после ужасной ночи, Шанталь вышла из гостиницы. По дороге, ведущей к взморью, ей встретились туристы, приехавшие, чтобы провести здесь уик-энд. Их группы были словно подобраны по одной схеме: мужчина катил каталку с младенцем, женщина семенила с ним рядом; лицо мужчины было добродушным, внимательным, улыбчивым, слегка озабоченным и готовым склониться к младенцу, утереть ему нос, унять его вопли; лицо женщины было пресыщенным, рассеянным, самодовольным, а подчас даже непонятно почему злым. Эту схему Шанталь пришлось наблюдать в разных вариантах: идущий рядом с женщиной мужчина катил каталку, а на спине в специальном рюкзачке нес малыша; идущий рядом с женщиной мужчина катил каталку, нес одного малыша на плечах, а другого — в рюкзачке на животе; идущий рядом с женщиной мужчина не катил каталку, а вел одного ребенка за ручку, трое других располагались у него за спиной, на плечах и на животе. И наконец, женщина самостоятельно, без мужчины, катила каталку; катила так напористо, что любой мужчина позавидовал бы: Шанталь, шагавшая навстречу по тротуару, в последний миг еле успела отскочить в сторону.

Мужчины запапачковались, сказала себе Шанталь. Они давно уже не отцы, а именно папы, то есть отцы, лишенные отцовского авторитета. Она представила себе, как затевает флирт с таким папой, который катит каталку с малышом, а двух других тащит на спине и на пузе; улучив момент, когда его супруга приклеилась к витрине, она шепотом назначает ему свидание. Что бы он стал делать? Может ли этот мужчина, ставший древом, обремененным младенцами, обернуться на зов незнакомки? И не поднимут ли рев малыши, протестуя против неуместного порыва своего носильщика? Эта мыслишка пока-

залась ей забавной и привела ее в хорошее настроение. Я живу в таком мире, сказала она себе, где на меня никогда уже не оглянется ни один мужчина.

Потом она вместе со стайкой других ранних пташек очутилась возле береговой плотины: было время отлива; перед ней на добрый километр простиралась песчаная отмель. Ей давно уже не доводилось бывать на нормандском побережье, она и знать не знала о тамошних модных развлечениях — воздушных змеях и повозках под парусом. Воздушный змей — это кусок цветной ткани, натянутый на устрашающе жесткий скелет и пущенный по ветру; им можно управлять при помощи двух бечевок, по одной на каждую руку, так, чтобы он поднимался и опускался, кружился волчком, издавал устрашающий звук, похожий на жужжание исполинского слепня, и время от времени зарывался носом в песок, словно потерпевший аварию самолет. Не без удивления она заметила, что змеями забавлялись не дети и подростки, а почти сплошь взрослые. И женщин среди них не было, одни мужчины. Одни папы! Папы без детишек, папы, исхитрившиеся удрать от своих женушек! И они не устремлялись к любовницам, а устремлялись на пляж поиграть со змеями!

Ей пришла в голову еще одна идейка насчет коварного совращения. А что, если подкрасться сзади к мужчине, держащему в руках бечевки и с запрокинутой головой следящему за шумным полетом своей игрушки, — подкрасться и шепнуть ему на ухо эротический намек, составленный из наипохабнейших словечек? Как он отреагирует? Сомневаться не приходится, он, не оборачиваясь, прошипит: отвяжись, я занят!

Да, мужчины никогда уже больше не оглянутся на нее.

Она вернулась в гостиницу. На стоянке была припаркована машина Жана-Марка. В конторке ей сообщили, что он приехал примерно полчаса назад. Дежурный протянул ей записку: «Я прибыл чуть раньше. Пошел тебя искать. Ж.-М.».

«Он пошел меня искать, — вздохнула Шанталь. — Но куда?»

— Мсье сказал, что вы наверняка отправились на пляж.

6

Шагая к побережью, Жан-Марк миновал автобусную остановку. Там не было ни души, кроме какой-то барышни в джинсах и тенниске; без особого воодушевления, но весьма впечатляюще она виляла бедрами, как бы пританцовывая. Очутившись совсем рядом с ней, он заметил ее рот, разинутый в бесконечном ненасытном зевке; эта широко отверстая дыра покачивалась в такт машинально танцевавшему телу. Она танцует, не переставая скучать, сказал себе Жан-Марк. Он добрался до набережной; внизу, на пляже, виднелись мужчины; запрокинув головы, они запускали в небо воздушных змеев. Запускали с таким увлечением, что Жан-Марк поневоле вспомнил свою старую теорию: есть три вида скуки — скука пассивная: барышня, которая танцует, зевая; скука активная: любители воздушных змеев; скука бунтующая: молодежь, поджигающая автомобили и бьющая витрины.

Чуть подальше на пляже развлекались подростки лет двенадцати-четырнадцати в больших разноцветных шлемах, под тяжестью которых пошатывались их небольшие фигурки; они толпились вокруг каких-то странных машин: крестовина из металлических прутьев с одним колесом спереди и двумя сзади; в середине, в неглубокой продолговатой выемке, можно было вытянуться полулежа; над нею торчала мачта с парусом. Зачем ребятишкам каски? Наверняка этот вид спорта — занятие небезопасное. И все же, сказал себе Жан-Марк, эти штуковины куда опаснее для гуляющих, так почему же им не предлагают каски? Потому что те, кто игнорирует организованные формы досуга, должны считаться дезертирами великой и всеобщей битвы со скукой; не заслуживают они ни внимания, ни каски.

Он сошел по лестнице, ведущей к пляжу, внимательно вгляделся в далекую морскую кромку, стараясь среди крохотных силуэтов разглядеть фигурку Шанталь, и наконец приметил ее: она остановилась, чтобы полюбоваться волнами, парусниками, облаками.

Он прошел мимо ребятишек: инструктор помогал им устроиться на парусных по-

возках, которые уже начинали медленно катиться по кругу. Другие, чуть поодаль, уже неслись во всю прыть. Только от паруса, управляемого с помощью веревки, зависело направление повозки, которую можно было при случае повернуть, избегая столкновения с гуляющими. Но способен ли неумелый любитель по-настоящему справиться с парусом? И так ли уж совершенна эта тележка, чтобы покорно подчиняться воле водителя?

Разглядывая эти повозки, Жан-Марк вдруг заметил, что одна из них со скоростью метеора несется по направлению к Шанталь; это заставило его напрячься. На повозке лежал какой-то старик — ни дать ни взять космонавт внутри ракеты. Находясь в таком положении, он не мог видеть ничего, что происходит вокруг. Сумеет ли Шанталь вовремя отскочить в сторону? Жан-Марк чертыхнулся, вспомнив о ее беззаботной натуре, и прибавил шагу.

Теперь она стояла к нему вполоборота.

Она повернула назад, но, судя по всему, не видела его: походка ее была по-прежнему медлительной — походка женщины, погруженной в свои мысли и не смотрящей по сторонам. Ему хотелось крикнуть ей: да не будь ты такой рассеянной, поберегись этих идиотских тележек, снующих по пляжу! Внезапно он представляет себе ее тело, по которому проехалась тележка. Шанталь простерта на песке, вся в крови, парусный драндулет несется дальше, а он со всех ног мчится к ней. Эта картина так потрясла его, что он и впрямь начинает выкрикивать ее имя, но ветер сильный, пляж необъятный, расслышать его невозможно; сколько ни кричи, как ни рыдай — все это останется чем-то вроде сентиментального театрика. Захлебываясь слезами, он переживает несколько секунд смертного ужаса.

Потом, подивившись этому странному истерическому припадку, снова заметил ее вдалеке: она беззаботно прогуливалась — невозмутимая, спокойная, очаровательная, бесконечно трогательная, и он улыбнулся, вспомнив только что разыгранную им трагикомедию, улыбнулся, даже и не думая ни в чем ее упрекать, ибо смерть Шанталь всегда при нем с тех самых пор, как он ее полюбил; он и в самом деле пустился к ней со всех ног, махая на бегу рукой. Но она снова остановилась, снова засмотрелась на море и далекие парусники, не замечая мужчины, делавшего ей знаки.

Ну наконец-то! Она обернулась в его сторону, вроде бы заметила его; сам не свой от счастья, он еще раз поднял руку. Но она не обратила на него внимания, не двигаясь, следила взглядом за удлиненной полоской моря, ласкающего песок. Теперь она стояла к нему в профиль; то, что он сначала принял за шиньон, оказалось платком вокруг головы. По мере того как он подходил к ней все ближе и ближе (торопливым, но не таким уж быстрым шагом), эта женщина, которую он принял за Шанталь, превращалась в старуху, безобразную и совершенно чужую.

7

Шанталь скоро надоело вглядываться в пляж с набережной и она решила подождать Жана-Марка в номере. И тут на нее навалилась жуткая сонливость. Чтобы не испортить себе удовольствие от встречи, она решила, что ей не мешало бы выпить кофе, да побыстрей. Она свернула в сторону и направилась к громоздкому сооружению из бетона и стекла, в котором размещались ресторан, кафе, игровой зал и несколько торговых киосков.

Вошла в кафе; в уши ударила оглушительная музыка. Скривившись от досады, она двинулась вперед между двумя рядами столиков. В просторном пустующем зале на нее уставились двое мужчин: один, помоложе, в черной форме официанта, облокотился на стойку; другой, постарше, здоровенный детина в тенниске, торчал в глубине зала.

Собираясь присесть, она обратилась к здоровяку:

— Вы не могли бы выключить музыку?

Он двинулся к ней:

— Простите, я не расслышал.

Шанталь взглянула на его лапищи, украшенные наколкой: голая баба со здоровенными грудями, а вокруг нее обвивается змей.

Она повторила чуть настойчивей:

— Я о музыке, сделайте ее потише.

— О музыке? — удивился тот. — Неужели она вам не нравится?

Шанталь заметила, что официант, пройдя за стойку, врубил рок на всю катушку.

Тип с наколкой был теперь совсем рядом. Его ухмылка не сулила ничего хорошего. Она пошла на попятную:

— Нет-нет, я ничего не имею против вашей музыки.

— Я был уверен, что она вам понравится. Что прикажете подать?

— Ничего, — сказала Шанталь. — Я зашла просто взглянуть. У вас тут очень мило.

— Тогда почему бы вам не остаться? — раздался за ее спиной омерзительно слащавый голос молодого человека в черном; он снова переменил место, оказавшись между двумя рядами столиков и загородив единственный проход к двери. Его заискивающий тон вызвал у нее что-то вроде паники. Она почувствовала себя в ловушке, которая того и гляди захлопнется. Нужно действовать, да побыстрее. Путь к отступлению преграждал молодой человек, с ним не разминуться. Будь что будет, решила она, и двинулась вперед. От слащавой улыбки официанта екнуло сердце. В последний момент он пропустил ее, сделав шаг в сторону.

8

Спутать внешнее обличье любимой с внешностью другой женщины! Такое случалось с ним не раз. И всегда его охватывало чувство удивления: неужели разница между нею и другими и впрямь так уж невелика? Как это получается, что он не в состоянии узнать силуэт самого любимого, ни с кем не сравнимого существа?

Он отпирает дверь в номер. Наконец-то она у него перед глазами. На этот раз никакого сомнения нет, это она, только совсем на себя не похожая. Лицо постарело, во взгляде сквозит непонятная злость. Словно бы женщина, которой он махал рукой на пляже, отныне и навсегда заняла место любимой. Словно бы он должен понести наказание за то, что не сумел ее узнать.

— Что с тобой случилось? Что произошло?

— Ровным счетом ничего, — ответила она.

— Как это ничего? Ты сама на себя не похожа.

— Просто я очень плохо спала. Можно сказать, не спала совсем. И утро выдалось скверное.

— Скверное утро? Это еще почему?

— Да нипочему, просто так. Ни из-за чего.

— Расскажи все-таки.

— И рассказывать нечего.

Он продолжает настаивать. В конце концов ей удалось вывернуться:

— На меня больше не оглядываются мужчины.

Он смотрит на нее, не в силах понять, что же такое она говорит, в чем смысл ее слов. Ей грустно оттого, что на нее не оглядываются мужчины? Его так и подмывает спросить: ну а я-то? А я? Я ведь рыскаю за тобой по всему пляжу, зову тебя по имени, захлебываясь от слез, готов по твоим следам обежать всю планету!

Но ничего этого он не говорит. А только медленно и тихо повторяет ее собственные слова:

— На тебя больше не оглядываются мужчины. Неужели от этого у тебя испортилось настроение?

Она краснеет. Краснеет так, как давно не краснела. Эта краска на лице словно бы выдает какие-то постыдные желания. Желания столь неодолимые, что Шанталь не может удержаться и повторяет:

— Да, все дело в мужчинах: они больше не оглядываются на меня.

9

Когда Жан-Марк показался в дверях номера, ей от всей души хотелось напустить на себя бодрый вид; она была бы рада броситься ему на шею, но не могла; после происшествия в кафе нервы у нее были натянуты до предела, все вызывало раздражение; она до такой степени погрузилась в свои мрачные мысли, что боялась, как бы ее нежный порыв не показался принужденным и вымученным.

Потом Жан-Марк спросил у нее, что же произошло. Она сказала, что плохо спала, что чувствует себя усталой, но убедить его ей не удалось, и он продолжал гнуть свое; не зная, как ускользнуть от этой любовной инквизиции, она решила выдать ему что-нибудь позабавнее; тогда-то ей на ум и пришла ее утренняя прогулка, встреча с мужчинами, превращенными в детоносные деревья, а в голове всплыла пустяковая полузабытая фраза: «На меня больше не оглядываются мужчины». Она прибегла к ней, чтобы избежать сколько-нибудь серьезного разговора; постаралась обронить ее как можно легкомысленней, но, как ни удивительно, голос ее оказался горьким и меланхоличным. Она ощущала, что эта меланхолия словно прилепилась к ее лицу, и тут же сообразила, что будет неверно понята.

Он впивался в нее неотрывным сосредоточенным взглядом, и ее не покидало чувство, что этот взгляд раздувает в глубине ее существа какое-то подспудное пламя. Это пламя выжигало ей нутро, пробиралось в грудь, опаляло щеки, она услышала, как Жан-Марк повторил вслед за ней: «На тебя больше не оглядываются мужчины. Неужели от этого у тебя испортилось настроение?»

Она чувствовала, что пылает как головешка и что по ней ручьями струится пот; она сознавала, что эти красные пятна на лице придают ее пустяковой фразе непомерную значительность; ему должно было казаться, что этими словами (такими, в сущности, безобидными) она выдала себя, выставила напоказ какие-то свои тайные склонности, что заставило ее зардеться от стыда; чистое недоразумение, да и только, но она оказалась не в силах его объяснить, потому что такие вспышки румянца одолевали ее не в первый раз; прежде она не признавалась даже самой себе в их истинной причине, но теперь уже не приходилось сомневаться в том, что они означают, и именно поэтому она не хотела, не могла о них говорить.

Приступ жара оказался затяжным и, в довершение всех мучений, происходил на глазах у Жана-Марка; она уж и не знала, что ей делать, куда деваться, как укрыться от этого пронизывающего взгляда. Смущенная до крайности, она повторила ту же фразу в надежде, что ей удастся поправить все то, что не удалось в первый раз, что она сумеет произнести ее как бы в шутку, для потехи, для забавы: «Да, все дело в мужчинах — не оглядываются на меня, и все тут». Но ничего не вышло, фраза прозвучала еще меланхоличнее, чем раньше.

В глазах Жана-Марка внезапно вспыхнул знакомый огонек, фонарик спасателя: «А я? А я? Как ты можешь думать о мужчинах, которые на тебя не оборачиваются, когда я готов бежать за тобой хоть на край света?»

Она почувствовала себя спасенной: ведь голос Жана-Марка — это голос самой любви, голос, о существовании которого она позабыла в миг замешательства, голос любви, исполненный ласки и заботы; вот только жаль, что сейчас она еще не готова его слышать; он доносится как бы издалека, из непомерного далека; чтобы довериться ему, нужно еще вслушиваться да вслушиваться.

Потому-то она словно одеревенела, когда он хотел стиснуть ее в объятиях; она боялась прижаться к нему, боялась, как бы ее покрытое испариной тело не выдало тайну. Миг был слишком краток, она не успела справиться с собой, сдержать свой жест и оттолкнула его застенчиво, но решительно.

10

Да была ли она на самом деле, эта неловкая встреча, лишившая их способности к объятиям? Сохранились ли в памяти Шанталь эти краткие миги непонимания? Помнит

ли она о своей фразе, переполошившей Жана-Марка? Все это как ветром сдуло. Эпизод забылся, подобно тысячам других. Часа через два они уже обедали в гостиничном ресторане, весело болтая о смерти. О смерти? Начальник Шанталь попросил ее подумать о рекламной кампании в пользу похоронного бюро Люсьена Дюваля.

— И не над чем тут смеяться, — сказала она смеясь.

— А они-то смеются? Твои сослуживцы. Неужели им не кажется потешной мысль устроить рекламу для смерти? И твой начальник, этот старый троцкист! Ты всегда говоришь, что ума у него хоть отбавляй.

— Ума у него хоть отбавляй. Он логичен, как хирургический скальпель. Съел собаку на Марксе, психоанализе и модернистской поэзии. Любит рассказывать, что в литературе двадцатых годов, в Германии или где-то там еще, было поэтическое течение, воспевавшее повседневность. Реклама, по его мнению, задним числом реализовывает эту поэтическую программу. Претворяет простейшие житейские факты в подлинную поэзию. Благодаря ей обыденность обрела голос, научилась воспевать себя.

— И что умного ты видишь в таких банальностях?

— Тон циничного вызова, которым он их произносит.

— Он смеется или напускает на себя серьезный вид, говоря тебе о рекламе для смерти?

— Улыбка, способная держать вас на почтительном расстоянии, всегда придает начальству известную элегантность, и чем большей властью оно обладает, тем более обязано выглядеть элегантно. Но его отстраненная улыбка не имеет ничего общего со смехом таких людей, как ты. Мой начальник очень чувствителен к подобным тонкостям.

— Тогда как же он выносит твой смех?

— Странный вопрос, Жан-Марк: при нем я никогда не смеюсь. Не забывай, я существо двуликое. Я научилась извлекать из этого кое-какие удовольствия, но поверь, что иметь два лица не так-то просто. Тут нужны постоянные усилия, постоянная самодисциплина. Ты пойми: все, что мне приходится делать, я в той или иной степени стараюсь делать как следует. Хотя бы ради того, чтобы не лишиться своей должности. А ведь это очень трудно — работать как следует и в то же время ни в грош не ставить свою работу.

— О, это ты можешь, на это ты способна, в этом ты просто гениальна.

— Да, иметь два лица я могу, только не в одно и то же время. Когда я с тобой, я нацепляю на себя насмешливую личину, когда в конторе — личину серьезную. Я принимаю заявления и документы от людей, которые желают устроиться к нам на работу. Я должна либо порекомендовать их, либо дать им от ворот поворот. Среди них встречаются и такие, кто, судя по заявлениям, выражается на супермодерновом языке со всеми его штампами, жаргонными оборотами и со всем его непременным оптимизмом. Никаких личных встреч и бесед в таких случаях не требуется — я ненавижу их заочно. Но понимаю, что именно они будут хорошо работать, как говорится, из кожи лезть вон. Попадаются и те, что в другие времена наверняка посвятили бы себя философии, истории искусства или преподаванию французского, но сегодня, за неимением лучшего, ищут место у нас. Я знаю, что втайне они это место презирают, и, следовательно, могу считать их своими собратьями. А мне приходится принимать решение.

— И как же ты его принимаешь?

— Иной раз рекомендую того, кто мне симпатичен, а иной раз того, кто будет хорошо работать. Действую и как предательница по отношению к своей конторе, и как предательница по отношению к самой себе. Я предательница вдвойне. И на свои двойные предательства смотрю не как на слабину, а как на подвиг. Ведь никто не знает, долго ли еще я смогу сохранять оба своих лица. Такое двойничество кого хочешь вымотает. Рано или поздно придет день, когда я останусь всего с одним лицом. Наихудшим из обоих, тут сомневаться не приходится. Серьезным. Соглашательским. Другое дело, будешь ли ты тогда меня любить?

— Ты никогда не расстанешься с обоими своими лицами, — заверил ее Жан-Марк.

Она улыбнулась и подняла бокал:

— Будем надеяться!

Они чокнулись, выпили, а потом Жан-Марк сказал:

— Впрочем, я тебе почти завидую в смысле этой рекламы смерти. Не знаю почему, но я с малых лет был буквально очарован стихами о смерти. Многое множество знал наизусть. Хочешь, кое-что процитирую? Может, тебе и пригодится. Ну, например, вот эти строки из Бодлера, ты просто не можешь их не знать:

Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее в путь![1]

— Знаю, знаю, — прервала его Шанталь. — Стихи прекрасны, но они не для нас.

— Как это не для вас? Ведь твой старый троцкист любит поэзию. Разве может умирающий найти для себя лучшее утешение, чем эти слова: «Нам скучен этот край»? Я представляю, как они полыхают неоном над вратами любого кладбища. Их только следует чуть-чуть переиначить в целях рекламы: «Нам скучен этот край! Люсьен Дюваль, старый капитан, ставь ветрило!»

— В мои обязанности не входит задача подлизываться к умирающим. Они сами должны домогаться услуг Люсьена Дюваля. А живые, погребающие своих мертвецов[2], хотят радоваться жизни, а не превозносить смерть. Наша религия, запомни раз и навсегда, — это гимн жизни. Слово «жизнь» — король среди всех слов. Слово-король, окруженное другими великими словами. Словом «приключение»! Словом «будущее»! И словом «надежда»! Ты знаешь, кстати, секретное имя атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму? *Little boy!* Тот, кто его придумал, был не иначе как гением! Лучше не назовешь. *Little boy*, маленький мальчик, мальчуган, мальчонка — нет слова более нежного, более трогательного, более преисполненного будущим.

— Да, знаю, — сказал очарованный Жан-Марк. — Это жизнь собственной персоной парила над Хиросимой в обличье маленького мальчика, поливая развалины золотой мочой надежды. Этим таинством и была открыта послевоенная эпоха. — Он поднял свой бокал: — Так выпьем же!

11

Ее сыну было пять лет, когда она его похоронила. Позже, во время отпуска, золовка сказала ей: «Да не убивайся ты. Лучше заведи другого ребенка. Только так тебе удастся забыть о первом». Слова золовки полоснули ей по сердцу. Ребенок — существо без биографии. Тень, которая тотчас исчезает при появлении его преемника. Но она вовсе не желала забыть свое дитя. Она изо всех сил защищала его незаменимую личность. Она защищала прошлое от будущего, никому не нужное и убогое прошлое бедного маленького покойника. Еще через неделю к ней обратился муж: «Я совсем не хочу, чтобы ты скончалась от скорби. Нам нужно поскорее завести другого ребенка. И ты забудешь о первом». Ты забудешь: ему даже не пришлось искать другую формулировку! Вот тогда-то и зародилось в ней решение разойтись с ним.

Ей было ясно, что ее муж, человек, привыкший идти на поводу у других, говорил не от собственного имени, а от лица всей своей большой семьи со всеми ее общими интересами, семьи, которой верховодила его сестра. Она жила тогда со своим третьим мужем и двумя детьми от предыдущих браков; она исхитрилась остаться в хороших отношениях со своими прежними мужьями и даже приглашала их к себе вкупе с семьями своих братьев и двоюродных сестер. Эти огромные сборища происходили у нее на даче в пору отпусков; она попыталась втянуть Шанталь в ту же среду, чтобы та мало-помалу, незаметно стала еще одним членом ее племени.

Именно там, на этой роскошной даче, золовка, а вслед за ней и муж стали уговаривать ее завести другого ребенка. Именно там, в крохотной спаленке, она отвергла интимные домогательства своего супруга. Каждый из его эротических намеков напоминал ей

---

[1] Перевод Марины Цветаевой.

[2] Намек на евангельскую формулу: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Евангелие от Матфея. 8, 22). *(Здесь и далее — прим. перев.).*

о семейной кампании в пользу ее новой беременности, так что сама мысль о том, чтобы заняться с ним любовью, показалась ей смехотворной. Она не могла отделаться от впечатления, что все члены этого племени — бабушки, папочки, племянники, племянницы, кузины всем скопом подслушивали их под дверью, тайком ворошили простыни на их постели, старались поутру углядеть признаки усталости на их лицах. Каждый считал себя вправе заглядывать ей прямо в лоно. Даже малолетние племянники были завербованы в эту армию в качестве наемников. Один из них спросил у нее: «Шанталь, отчего ты не любишь детей?» — «Откуда ты взял, что я их не люблю?» — ответила она резко и холодно. Он не нашелся, что ответить. «Кто тебе сказал, что я не люблю детей?» — осведомилась она с нескрываемым раздражением. И маленький племянник, сникнув под ее суровым взглядом, пробормотал робким, но убежденным тоном: «Если бы ты их любила, то давно заимела бы».

Вернувшись из отпуска, она приступила к решительным действиям: прежде всего ей нужно было устроиться на работу. До рождения сына она преподавала в лицее. Платили там сущие гроши, поэтому она не рвалась туда обратно и устроилась на должность, которая была ей не по душе (преподавать она любила), но оплачивалась втрое выше. Ее мучила совесть, она понимала, что поступается своими вкусами ради денег, но делать было нечего: только так она могла снова обрести независимость. Но чтобы в самом деле ее обрести, одних только денег было мало. Ей был нужен еще и мужчина, живой символ иной жизни, потому что, с каким бы неистовством она ни стремилась разделаться с жизнью предыдущей, никакая другая была недоступна ее воображению.

Ей пришлось ждать несколько лет, пока она не встретилась с Жаном-Марком. А еще через полмесяца потребовала развод у мужа, раскрывшего глаза от изумления. Вот тогда-то золовка, в приступе восхищения пополам с враждебностью, нарекла ее Тигрицей: «Ты сидишь не шелохнувшись, никто и не подозревает, что у тебя на уме, и вдруг раз — и смертельный прыжок». Три месяца спустя Шанталь купила квартиру и устроилась там со своим любимым, раз и навсегда выкинув из головы даже мысль о законном браке.

12

Жану-Марку приснился сон: он тревожится за Шанталь, ищет ее, бегает по улицам и наконец видит ее со спины, она уходит все дальше и дальше. Он бросается за ней, зовет ее по имени. До нее остается всего несколько шагов, она поворачивает голову, и окаменевший от ужаса Жан-Марк видит перед собой совсем другое лицо, лицо чужое и неприятное. Однако это не какая-нибудь незнакомка, это Шанталь, его Шанталь, сомнений тут быть не может, но Шанталь с незнакомым лицом, и это ужасно, нет сил вынести такой ужас. Он обнимает ее, прижимает к себе, повторяет, захлебываясь от рыданий: «Шанталь, маленькая моя Шанталь!», словно хочет, твердя эти слова, вернуть ее изменившемуся лицу прежние черты, прежнюю утраченную подлинность.

От этого кошмара он и проснулся. Шанталь уже не было с ним рядом, из ванной доносились обычные утренние звуки. Еще не совсем вырвавшись из-под власти сна, он почувствовал неодолимое желание увидеть ее немедля. Поднялся, подошел к полуоткрытой двери. Замер возле нее, словно соглядатай, охочий до интимных сцен, заглянул вовнутрь; да, это была его Шанталь, точь-в-точь такая же, как и всегда: склонившись над раковиной, она чистила зубы, сплевывая смешанную с пастой слюну, и была так потешно, так по-детски поглощена этим занятием, что Жан-Марк не мог удержаться от улыбки. Потом, словно почувствовав на себе его взгляд, она обернулась, увидела его в дверях, недовольно поморщилась, но в конце концов позволила себя поцеловать прямо в белые от пасты губы.

— Ты заедешь вечером за мной в агентство? — спросила она.

Часов около шести он вошел в вестибюль, проследовал по коридору и остановился у двери в ее кабинет. Она была полуоткрыта, как дверь в ванную этим утром. Он увидел Шанталь вместе с двумя женщинами, ее сослуживицами. Но она была совсем не такой, как утром: непривычно громкий голос, стремительная, резкая, властная жестикуляция.

Утром в ванной комнате он вновь обрел существо, чуть было не потерянное ночью, а теперь, в этот предвечерний час, оно изменялось к худшему прямо у него на глазах.

Он вошел. Она улыбнулась ему. Но улыбка была застывшей, а сама Шанталь — какой-то одеревеневшей. Вот уже лет двадцать, как поцелуй в обе щеки стал во Франции условностью почти обязательной и потому тягостной для любящих. Но как ее избежишь, чувствуя на себе посторонние взгляды и не желая выглядеть человеком, рассорившимся с любимой? Шанталь шагнула к нему, подставила обе щеки. Поцелуй показался искусственным, отдающим фальшью. Они вышли из конторы, но понадобилось немалое время, чтобы Шанталь вновь стала для него той же, которую он так хорошо знал.

Впрочем, так оно всегда и было: между моментом встречи и тем мгновением, когда он узнавал в ней свою любимую, пролегало немалое расстояние. Во время их знакомства — оно произошло в горах — ему неожиданно повезло: он смог почти сразу же остаться наедине с нею. Сумел ли бы он угадать в ней свою любовь, если бы до этой первой встречи с глазу на глаз ему доводилось частенько видеть ее такой, какой она бывает с другими? Могло ли это лицо взволновать и очаровать его, будь ему ведомо то ее обличье, в котором она предстает перед своими сослуживцами, начальниками и подчиненными? Ответа на эти вопросы у него не было.

13

Может статься, что именно по причине его гиперчувствительности в такие странные миги фраза «на меня больше не оглядываются мужчины» столь сильно врезалась в его сознание; произнося ее, Шанталь выглядела неузнаваемой. Эта фраза была совсем на нее не похожа. Так же, как и лицо, словно бы озлобившееся, словно бы постаревшее. Первой его реакцией была вспышка ревности: как это ее может трогать невнимание посторонних, если он сам, не далее как сегодняшним утром, был готов упасть бездыханным там на пляже, лишь бы поскорее очутиться рядом с ней? Но не прошло и часа, как он стал думать иначе: каждая женщина определяет степень своей убывающей привлекательности по тому интересу или равнодушию, которые проявляют к ее телу мужчины. Не смешно ли обижаться на это? И однако, даже не чувствуя себя обиженным, он не мог с нею согласиться. Ибо легкие следы старения (она была на четыре года старше его) он приметил на ее лице уже в день их первой встречи. Ее красота, так поразившая его тогда, нисколько ее не молодила; скорее можно было бы сказать, что годы придавали этой красоте особую выразительность.

Фраза Шанталь все не шла у него из головы, и он принялся сочинять воображаемую историю ее тела: оно было затеряно среди миллионов других тел вплоть до того дня, когда на нем остановился чей-то страстный взгляд и выхватил его из расплывчатого множества; потом взглядов становится все больше, они воспламеняют это тело, несущееся отныне по миру подобно пылающему факелу; для него наступает пора светоносной славы, но вскоре взглядов становится все меньше, свет мало-помалу начинает угасать — и так вплоть до того дня, когда это тело, полупрозрачное, призрачное, а потом и вовсе незримое, начинает бродить по улицам в виде крохотного бездомного небытия. И посреди этого пути, ведущего от первой незримости ко второй, мерцает фраза «на меня больше не оглядываются мужчины», мерцает, словно красная сигнальная лампочка, извещающая о том, что неуклонное угасание тела уже началось.

Сколько бы он ни твердил ей о том, как он ее любит и какой красивой она ему кажется, его влюбленный взгляд все равно не мог бы ее утешить. Потому что взгляд любви — это взгляд, говорящий об одиночестве. Жан-Марк думал о любви-одиночестве двух состарившихся существ, ставших невидимками для других: печальное одиночество, прообраз смерти. Нет, она нуждается не во взгляде любви, а в множестве взглядов чужих, грубых, похотливых, таких, что останавливались бы на ней без намека на симпатию, избирательность, нежность или хотя бы вежливость — фатально и неотвратимо. Такие взгляды удерживали бы ее в людском обществе. Взгляд любви разлучает ее с ним.

С горечью он вспоминал о головокружительно быстром начале их любви. Ему не

пришлось ее завоевывать: она была завоевана в первый же миг. Оборачиваться на нее? С какой стати. Она с самого начала была с ним, подле него, напротив него. С самого начала он взял на себя роль сильного, а она — роль слабой. И это неравенство легло в основу их любви. Неравенство ничем не оправдываемое, единственное в своем роде. Она оказалась слабее, потому что была старше.

14

Когда ей было лет шестнадцать-семнадцать, она обожала одну метафору; придумала ли ее она сама, услышала ли где-то, вычитала? Все это не важно: ей хотелось быть запахом розы, запахом всепроникающим и неотразимым; ей хотелось розовым ароматом войти во всех на свете мужчин и их руками обнять всю землю. Всепроникающий аромат розы: метафора приключения. Эта метафора звучала на пороге ее зрелости как романтическое обещание сладкого беспутства, как приглашение к путешествию от мужчины к мужчине. Но поскольку она не была рождена для того, чтобы менять любовников, эта лирическая и смутная мечта быстро увяла после замужества, которое обещало быть спокойным и счастливым.

Много позже, когда она рассталась с первым мужем и уже который год жила с Жаном-Марком, им довелось как-то оказаться на морском побережье: они обедали на дощатой террасе над самой водой; от всего этого у нее сохранилось ярчайшее впечатление белизны; доски, столы, стулья, скатерти — все было белым, стекла фонарей на набережной были выкрашены в белую краску, белый свет из лампочек струился в еще не померкшее летнее небо, где луна, тоже совершенно белая, так и выбеливала все вокруг. Но вот что странно: купаясь в этой белизне, она мучилась от невыносимой тоски по Жану-Марку.

Тоски? Какая еще тоска могла ее томить, если он сидел тут же, напротив? Как можно страдать от отсутствия того, кто присутствует? (Жан-Марк мог бы ответить: страдать от тоски по любимому в его присутствии можно в том случае, если тебе дано провидеть будущее, в котором его не будет; если его смерть, хоть и незримо, уже начинает мерещиться тебе.)

В те минуты странной тоски, охватившей ее на морском побережье, она внезапно вспомнила о своем покойном сынишке — и ее захлестнула волна счастья. В следующее мгновенье, вероятно, она ужаснулась этому чувству. Но с чувствами никто из нас сладить не в силах, они возникают сами собой и не поддаются никакому контролю. Позволительно раскаяться в каком-то поступке, в каких-то словах, но раскаиваться в каком-то чувстве невозможно просто потому, что мы не властны над ним. Воспоминание о мертвом ребенке исполнило ее счастья, и она могла только задаваться вопросом, что бы оно могло значить. Ответ был ясен: это означало, что ее присутствие здесь, рядом с Жаном-Марком, было абсолютным и что оно могло быть абсолютным лишь благодаря отсутствию ее сына. Она чувствовала себя счастливой оттого, что ее ребенок мертв. Сидя напротив Жана-Марка, она хотела вслух сказать ему об этом, но не осмелилась. Она не была уверена в его реакции, боялась, что покажется ему каким-то чудовищем.

Она наслаждалась полным отсутствием приключений. Приключение: удобный случай обнять весь мир. А ей не хотелось больше обнимать весь мир. Она уже не жаждала всего мира.

Она наслаждалась счастьем жить без приключений и без жажды приключений. Она вспомнила о своей девичьей метафоре и увидела розу, которая увядала — стремительно, словно на ускоренной киноленте, увядала до тех пор, пока от нее не остался один тонкий почерневший стебель, окончательно растворявшийся в белой вечерней вселенной: розу поглотила белизна.

В тот же вечер, почти на грани сна (Жан-Марк уже спал), она еще раз вспомнила о своем мертвом ребенке, и воспоминание это снова повлекло за собой соблазнительный наплыв счастья. И тогда она сказала себе, что ее любовь к Жану-Марку — это настоящая ересь, нарушение неписаных законов человеческого сообщества, от которого она все

больше и больше отдалялась; она сказала себе, что должна держать в тайне всю непомерность своей любви, чтобы не возбуждать в других завистливого негодования.

15

Утром она всегда выходила из дому первой и открывала почтовый ящик, оставляя в нем письма, адресованные Жану-Марку, и забирая свои. В то утро она обнаружила два письма: одно на имя Жана-Марка (она взглянула на него мельком: штамп был брюссельский), второе — на ее имя, но без адреса и без марки. Кто-то опустил его в ящик сам. Второпях она сунула его в сумочку, не распечатав, и бросилась к автобусу. Устроившись на сиденье, разорвала конверт; письмо состояло всего из одной строчки: «Я хожу за Вами по пятам, Вы красивая, очень красивая».

Первое впечатление было неприятным. Какому-то типу, безо всякого разрешения, вздумалось вторгнуться в ее жизнь, обратить на себя ее внимание (ее способность проявлять к кому-то внимание была заторможенной, и недоставало энергии, чтобы эту способность развить), короче говоря, пристать к ней как банный лист. Какой женщине не доводилось получать подобные послания? Она перечла письмо и сообразила, что сидящая рядом с нею дама тоже могла его прочесть. Убрала его в сумочку и осмотрелась вокруг. Пассажиры сидели, рассеянно глядя в окна, две девушки нарочито громко смеялись, молодой негр, стоявший у дверей, высокий и привлекательный, косился в ее сторону, какая-то женщина уткнулась в книжку — ей, наверное, было далеко ехать.

Сидя в автобусе, она обычно не обращала внимания на окружающих. Теперь же ей казалось, что все оглядывают ее, да и сама она оглядывала всех — уж не письмо ли было тому причиной? Неужели среди пассажиров всегда находятся такие, как этот негр, не сводящий с нее глаз? Она одарила его улыбкой, словно он знал то, что она только что прочла. А не он ли сочинил это послание? Тут же отогнав от себя эту дурацкую мысль, она поднялась, чтобы выйти на следующей остановке. Ей нужно было пройти мимо чернокожего, загородившего проход к дверям, и это смутило ее. Когда она оказалась почти рядом с ним, автобус резко затормозил, ее качнуло, негр, по-прежнему пялившийся на нее, прыснул со смеху. Выйдя из автобуса, она подумала: нет, это не флирт, это просто насмешка, зубоскальство. Этот ехидный смех целый день не смолкал у нее в ушах, звуча как дурное предзнаменование. В конторе она еще раза два-три заглянула в письмо, а вернувшись домой, стала раздумывать, что же с ним делать. Показать Жану-Марку? Это было бы слишком бестактно: еще подумает, что она перед ним хвастается! Уничтожить? Само собой. Она пошла в туалет и, склонившись над унитазом, заглянула в его влажную горловину; порвала конверт в клочья, выкинула их, спустила воду, а письмо сложила и отнесла к себе в спальню. Открыла бельевой шкаф, сунула его под стопку лифчиков. Тут до нее снова донесся ехидный смех чернокожего, и она сказала себе, что ничем не отличается от других женщин; лифчики сразу показались ей какими-то вульгарными и бабскими.

16

Примерно через час, вернувшись домой, Жан-Марк показал Шанталь письмо с уведомлением: «Я его достал утром из ящика. Ф. скончался».

Шанталь была почти довольна тем, что это письмо, куда более серьезное, чем то, обращенное к ней, как бы перечеркнуло всю смехотворность первого. Она взяла Жана-Марка под руку, прошла с ним в гостиную, уселась напротив:

— Как ни говори, оно потрясло тебя.

— Нет, — сказал Жан-Марк, — или, вернее, я потрясен тем, что не испытал никакого потрясения.

— Значит, ты его даже теперь не простил?

— Я простил ему все. Но дело не в этом. Помнится, я тебе говорил о странном чувстве радости, которое я испытал, когда в свое время решил с ним больше не встречаться.

Я был холоден как сосулька — и радовался этому. Так вот, его кончина никак не повлияла на это чувство.

— Ты меня пугаешь. Ты меня правда пугаешь.

Жан-Марк встал, принес бутылку коньяка и две рюмки. И продолжал, отхлебнув глоток:

— Под конец нашей встречи в больнице он начал пересказывать мне свои воспоминания. Напомнил о том, что я будто бы говорил ему, когда мне было шестнадцать лет. И тут я понял, в чем состоит единственный смысл дружбы — такой, как она понимается в наши дни. Дружба необходима человеку для того, чтобы у него как следует работала память. Помнить о своем прошлом, вечно хранить его в душе — таково необходимое условие, позволяющее нам, как говорится, сберечь цельность нашего «я». Чтобы это «я» не съеживалось, не утрачивало своей полноты, его нужно орошать воспоминаниями, как горшок с цветами, а такая поливка невозможна без постоянного общения со свидетелями прошлого, то есть с друзьями. Они — наше зеркало, наша память; от них требуется лишь одно — хотя бы время от времени протирать это зеркало, чтобы мы могли в него смотреться. Но мне наплевать на то, что я делал в лицее! Со времен моей юности, а может быть, и со времени детства я жаждал совсем другого: дружбы как наивысшей ценности, не сравнимой со всеми остальными. Я повторял себе: если мне придется выбирать между истиной и другом, я выберу друга. Я говорил это не для бравады, я и в самом деле так думал. Теперь я понимаю, что эта формула выглядит устаревшей. Она годилась для Ахилла, друга Патрокла, для мушкетеров Александра Дюма, даже для Санчо Пансы и его хозяина, несмотря на все их перепалки. А для нас она — пустой звук. Я так погряз в своем теперешнем пессимизме, что уже готов предпочесть истину дружбе.

Он отпил второй глоток:

— Дружба была для меня доказательством того, что на свете существует нечто более могущественное, чем идеология, религия или нация. Четверо друзей из романа Дюма нередко оказываются в противоположных лагерях, им приходится сражаться друг с другом. Но это никак не отражается на их дружбе, они не отрекаются от взаимопомощи, осуществляя ее тайком, с хитрецой, посмеиваясь над разноречивыми истинами своих лагерей. Они поставили свою дружбу выше истины, правоты, приказа, выше короля, выше королевы, выше всего на свете.

Шанталь погладила руку Жану-Марку, и после паузы он добавил:

— Дюма написал свою истории о мушкетерах с отступом в прошлое на два столетия. Неужели и он уже тосковал об утраченной вселенной, имя которой — дружба? Или исчезновение дружбы — это феномен совсем недавний?

— Я не в силах тебе ответить. Дружба — это проблема, не касающаяся женщин.

— Что ты этим хочешь сказать?

— То, что говорю. Дружба — это мужская проблема. Мужская разновидность романтики. Не наша.

Хлебнув коньяку, Жан-Марк вернулся к своим идеям:

— Как зародилась дружба? Наверное, как союз против любых напастей, союз, без которого мужчина оказался бы безоружным лицом к лицу с неприятелями. Быть может, теперь ему уже нет жизненной необходимости в таком союзе.

— Неприятели всегда найдутся.

— Да, но теперь они незримы и анонимны. Это власти, законы. Чем тебе поможет самый лучший друг, если у тебя под окнами решат строить аэродром или когда тебя увольняют с работы? Вступиться в твою защиту может лишь нечто анонимное и незримое, организация социальной помощи, например, или ассоциация по защите прав потребителей, или коллегия адвокатов. Дружба теперь не подвергается никаким испытаниям. У нас нет больше возможности вынести раненого друга с поля битвы или обнажить шпагу, чтобы защитить его от бандитов. Мы бредем по жизни, не подвергаясь серьезным опасностям, но и не зная о том, что такое дружба.

— Будь этот так, ты должен был бы помириться с Ф.

— Охотно допускаю, что он не понял бы моих упреков, вздумай я их ему выклады-

вать. Когда на меня набросились другие, он набрал в рот воды. Но буду справедливым: он рассматривал свое молчание как проявление мужества. Мне говорили, будто бы он даже хвастался тем, что нашел в себе силы не поддаться царившему в зале психозу и не проронил ни слова, которое могло бы мне навредить. Стало быть, он считал, что совесть у него чиста, и потому должен был почувствовать себя уязвленным, когда я ни с того ни с сего порвал с ним. Я был не прав, обидевшись на него сильнее, чем того заслуживала его нейтральная позиция. Если бы он решился выступить в мою защиту среди этих озлобленных и недобрых людишек, ему самому грозили бы опала, конфликты, неприятности. Разве я мог требовать от него такого шага? Тем более что он был моим другом! С моей стороны это было бы совсем не по-дружески. Скажу по-другому: это было бы просто невежливо. Ибо дружба, лишенная своей прежней сути, превратилась теперь в некий договор, предусматривающий взаимное соблюдение приличий, короче, в обязательство вежливости. А разве можно назвать вежливой обращенную к другу просьбу, которая могла бы как-то ущемить его, доставить ему неприятность?

— Ну конечно, так оно и есть. Только не мог бы ты говорить обо всем этом без горечи? И без иронии.

— Я и говорю без иронии. Так оно и есть.

— Если ты сталкиваешься с ненавистью, если на тебя валят вину за все, если тебя бросают на съедение зверью, ты можешь ожидать со стороны своих знакомых двойственной реакции: одни присоединятся к терзающей тебя своре, другие же сделают вид, будто ничего не видели и ни о чем не слышали, так что ты сможешь продолжать с ними общаться. К этой второй категории — сдержанной, деликатной — и принадлежат твои друзья. Друзья в теперешнем смысле слова. Послушай, Жан-Марк, все это известно мне давным-давно.

17

На экране виден чей-то зад в горизонтальном положении — соблазнительный, пикантный, поданный крупным планом. Его нежно ласкает чья-то рука, упиваясь прелестями этой нагой плоти, покорной, податливой. Потом камера отъезжает — и мы видим это тело целиком, оно лежит на маленькой кроватке: это младенец, над которым склонилась мать. В следующем эпизоде она берет его на руки, ее чуть приоткрытые губы припадают к нежному, влажному, широко открытому ротику ребенка. Тут камера снова приближается — и тот же самый поцелуй, показанный отдельно, крупным планом, внезапно превращается в страстное любовное лобзание.

Леруа прерывает показ:

— Мы всегда гонимся за большинством. Совсем как кандидаты на пост президента Соединенных Штатов во время предвыборной кампании. Мы заключаем нашу продукцию в магический круг образов, способных привлечь наибольшее количество покупателей. Занимаясь поисками таких образов, мы склонны переоценивать значение сексуальности. Я хочу предостеречь вас от подобной переоценки. Ведь только незначительное меньшинство людей и впрямь наслаждается сексуальной жизнью.

Леруа делает паузу, упиваясь удивлением небольшого собрания сотрудников, которых он раз в неделю приглашает на семинар, посвященный очередной рекламной кампании, программе, афише. Они давно уже знают, что их начальнику больше всего льстит не их поспешное одобрение, а их удивление. Именно поэтому одна изысканная дама не первой молодости с множеством перстней на костлявых пальцах дерзает ему противоречить:

— Все опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном!

— Ну разумеется, — отозвался Леруа. — Если кто-нибудь, дорогая моя, вздумает опрашивать вас на предмет вашей сексуальности, разве вы скажете ему правду? Даже если человек, задающий вам этот вопрос, не знает вашего имени, даже если он обращается к вам по телефону и не может видеть вашего лица, вы все равно соврете: «Любите ли вы трахаться?» — «Да, еще как!» — «И по скольку раз в день?» — «Раз по шесть!» —

«Любите ли вы извращения?» — «Безумно!» Но все это — сплошная показуха. С коммерческой точки зрения эротика — штука двусмысленная, ибо если все на свете вожделеют эротической жизни, то они же и ненавидят ее по причине сопровождающих ее напастей, обманов, неисполнимых желаний, комплексов и прочих неприятностей.

Он снова прокрутил перед участниками семинара тот же эпизод телефильма: Шанталь смотрела на поданные крупным планом влажные губы, приникающие к другим влажным губам, отдавая себе отчет (впервые в жизни столь определенный и ясный), что она с Жаном-Марком никогда вот так не целовалась. Это ее даже удивило: неужели и впрямь никогда?

Нет. Было такое — тогда они еще не знали друг друга по имени, сидели в просторном зале горной гостиницы среди пьющих и болтающих клиентов, обменивались какими-то банальными репликами, но тон их беседы свидетельствовал о том, что они страстно желают друг друга, и тут они выскользнули в пустынный коридор и, ни слова больше не говоря, принялись целоваться. Она открыла рот и сунула язык в рот Жана-Марка, чтобы вылизать все, что окажется там внутри. Прыть, проявленная их языками, была не чувственной необходимостью, а способом поскорее сообщить другому, что оба они готовы любить, немедля, по-настоящему, изо всех сил, не теряя времени. Их слюна не имела никакого отношения к желанию или наслаждению, она заменяла им посредницу. У них не хватало духу открыто и вслух признаться: «Я хочу тебя, прямо сейчас, не мешкая», и они передоверяли своей слюне говорить от их имени. Вот почему во время их первого соития (последовавшего через несколько часов после первого поцелуя) их губы, кажется (эта подробность уже забылась, но сейчас, по прошествии стольких лет, она почти уверена в ее подлинности), уже не обращали друг на дружку никакого внимания, не соприкасались, не облизывались и даже не отдавали себе отчета о причине этого непростительного взаимного охлаждения.

Леруа снова прервал просмотр эпизода:

— Вся штука в том, чтобы найти образы, которые поддерживали бы эротическое влечение, не обостряя неудовлетворенности. Именно с этой точки зрения нас интересует данный эпизод: чувственное воображение пробуждено, однако тут же переведено в сферу материнства. Ибо интимный телесный контакт, полная и взаимная откровенность, слияние слюны — все это нельзя считать исключительным достоянием эротизма для взрослых, все это присутствует и в отношениях между матерью и ребенком, в тех отношениях, которые можно считать первозданным раем всех радостей земных. Кстати, известно ли вам, что удалось заснять на пленку жизнь человеческого плода в материнской утробе? Так вот, находясь в акробатическом положении, которое нам с вами не под силу повторить, этот плод ухитрялся играть со своим собственным крохотным членником. Отсюда следует, что сексуальность не является исключительным достоянием юных и прекрасно сложенных тел, возбуждающих у нас с вами горькую зависть. Автофеллация плода способна умилить всех бабушек на свете, даже самых сварливых, самых строгих нравов. Ибо младенец — это самый неоспоримый, самый несомненный, самый убедительный общий знаменатель любого большинства. А плод, дорогие мои друзья, — это нечто большее, чем младенец, это архимладенец, супермладенец!

Им еще раз пришлось просматривать тот же эпизод, и Шанталь еще раз ощутила легкий приступ отвращения при виде двух влажных ртов, слившихся в поцелуе. Ей вспомнились чьи-то рассказы о том, что в Китае и Японии эротическая культура не знает поцелуя в губы. Слияние слюны не является, стало быть, фатальной чертой эротизма, а всего лишь капризом, отклонением, чисто европейской формой неопрятности.

Закончив показ, Леруа сделал вывод:

— Слюна мамаш — вот тот клей, который скрепит то большинство, что составит клиентуру фирмы Рубашофф.

А Шанталь подправила свою старую метафору: не аромат розы, нематериальный и поэтичный, пронизывает насквозь человечество, а слюна, материальная и прозаичная: вместе с полчищем микробов изо рта любовницы в рот любовника, любовника его жены, от жены к ее ребенку, от ребенка к его тетке, от тетки, подавальщицы в ресторане, к ее

клиенту, в чей суп она плюнула, от клиента к его жене, от жены к ее любовнику, а оттуда к бесконечному количеству ртов, так что все мы погрузимся в целое море слюны и составим единое слюнное сообщество, единое человечество — влажное и однообразное.

18

В этот вечер, устав от шума моторов и автомобильных гудков, она еле доползла до дома. Ей не терпелось побыть в тишине, но, войдя в подъезд, она услышала крики рабочих и стук молотков. Оказалось, что сломался лифт. Поднимаясь, она чувствовала на всем теле гнусную испарину, удары молотков гремели на всю лестничную клетку — словно барабаны сопровождали этот жар, подстегивали его, раздували, прославляли. Вся мокрая от пота, она остановилась перед дверью квартиры, подождала минутку, чтобы Жан-Марк не увидел ее запыхавшейся.

«Огонь крематория сует мне свою визитную карточку», — сказала она себе. Эта фраза как-то сама собой мелькнула у нее в мозгу. Стоя перед дверью — а грохот не прекращался, — она повторяла ее про себя. Не нравилась ей эта фраза, в ней было что-то нарочито кладбищенское, отдававшее дурным вкусом, но отвязаться от нее она не могла.

Молотки наконец смолкли, жар стал спадать — и она решилась войти. Жан-Марк бросился к ней с объятиями, но, когда она начала что-то говорить, перестук, хоть и не так слышный за дверью, раздался опять. Ей казалось, что от него некуда деваться. От испарины тоже не было спасения. Ни к селу ни к городу она простонала:

— Лишь огонь крематория избавит нашу плоть от всего этого.

Заметив удивление в глазах Жана-Марка, она осознала всю нелепость этой фразы и принялась поскорее пересказывать только что виденный телефильм и все, что по этому поводу выложил Леруа, не забыв, конечно же, о человеческом плоде, заснятом в чреве матери. Который, повиснув в акробатической позе, ухитрялся заниматься чем-то вроде мастурбации, да так ловко, что ни одному взрослому не удалось бы.

— Нет, ты только представь себе: половая жизнь плода! У него еще никакого сознания нет и в помине, никакой личности, никаких впечатлений, а он уже испытывает сексуальные эмоции, а может быть, и наслаждение. Стало быть, сексуальность предшествует нашему самосознанию. Наше «я» еще не существует, а похоть уже тут как тут. И представь себе, эта идея растрогала всех моих коллег. Когда они глазели на мастурбирующий плод, у них слезы навертывались на глаза.

— А у тебя?

— А я ничего не почувствовала, кроме отвращения. Только отвращение, Жан-Марк, и ничего больше.

Почувствовав странный приступ волнения, она обняла его, прижалась покрепче и так простояла несколько долгих секунд. Потом продолжала:

— Нет, ты еще вот о чем подумай: даже в материнском чреве, которое называют священным, тебя не оставляют в покое. Снимают на пленку, шпионят, подсматривают, как ты мастурбируешь. Следят за твоей жалкой мастурбацией плода, живым ты от них не вырвешься, это каждому ясно. Но и до рождения не вырвешься тоже. И после смерти от них не вырваться. Вот что я прочла как-то в газете: жил-был тип, выдававший себя за русского аристократа в изгнании. Его заподозрили в присвоении чужого имени. Тут он и умер. Для доказательства его вины пришлось разрыть могилу, где покоились бренные останки крестьянки, его предполагаемой матери. Разворошили кости, исследовали гены. Хотела бы я знать, какая благовидная причина позволила им заниматься гробокопательством! Осквернять наготу, абсолютную наготу, супернаготу скелета! Ах, Жан-Марк, я чувствую только отвращение, сплошное отвращение! А история с головой Гайдна тебе известна? Ее отрезали от еще не остывшего тела, чтобы какой-то чокнутый ученый мог вскрыть ему мозг и уточнить, в каком именно месте находится его музыкальный гений. А история с Эйнштейном? Он честь честью составил завещание, согласно которому его должны были кремировать. Воля покойного была исполнена, но тут самый верный и преданный его ученик решил, что не может жить без взгляда учителя. И вот перед крема-

цией он вынул глазные яблоки учителя и опустил их в банку со спиртом, чтобы они смотрели на него до тех самых пор, пока он сам не отдаст богу душу. Вот почему я тебе только что сказала, что вся наша надежда на огонь крематория. Это единственная абсолютная смерть. И я не хочу никакой другой. Я, Жан-Марк, хочу абсолютной смерти.

После недолгого перерыва в комнату снова ворвались удары молотков.

— Только обратившись в пепел, я буду уверена, что никогда их больше не услышу.

— Да что ты такое городишь, Шанталь?

Она смерила его взглядом, потом отвернулась: ее опять душило волнение. Но взволнована на сей раз она была не тем, что только что сказала, а изменившимся голосом Жана-Марка, в котором звучало нескрываемое участие.

19

На следующий день она поехала на кладбище, которое посещала хотя бы раз в месяц, замерла над могилой сына. Бывая там, она всегда разговаривала с ним, вот и сегодня ей нужно было объясниться, оправдаться, и она сказала ему: милый мой, миленький, не думай, что я тебя не люблю или не любила, но как раз потому, что я тебя любила, я не могла бы сделаться такой, какая я теперь есть, если бы ты не оставил меня. Невозможно иметь ребенка и ни во что не ставить весь свет, потому что мы произвели его на этот свет, каков бы он ни был. Ребенок заставляет нас привязаться к миру, поддакивать любому его слову, участвовать в его суете, принимать всерьез любую его глупость. Уйдя из жизни, ты лишил меня радости быть с тобой, но заодно даровал мне свободу. Свободу стоять лицом к лицу с миром, который мне совсем не мил. И я не милую мир именно потому, что в нем больше нет тебя. Мои мрачные мысли уже не могут принести тебе никакого вреда. И теперь, через столько лет после твоего ухода, я могу сказать тебе, что осознала твою смерть как подарок и в конце концов приняла его, как бы этот дар ни был ужасен.

20

На следующее утро она опять обнаружила в ящике конверт, а в нем — письмо, написанное тем же незнакомым почерком. В нем не было и следа прежней лаконичной легковесности. Оно смахивало на подробный отчет. «В прошлую субботу, — сообщал ее корреспондент, — Вы вышли из дому в девять двадцать пять, чуть раньше, чем обычно. Я было двинулся к Вашей автобусной остановке, но Вы пошли в противоположную сторону. Неся в руках чемоданчик, вы заглянули в химчистку. Хозяйка Вас хорошо знает, а быть может, и любит. Я наблюдал с улицы: она прямо вся расцвела, как только Вас увидела, и Вам это было, разумеется, приятно. До меня донесся ее смех, вызванный Вашим появлением, — смех, в котором сквозил отсвет Вашего лица. Потом Вы вышли с полным чемоданом. Что в нем было — Ваши свитера, скатерти или белье? Во всяком случае, этот чемоданчик казался искусственным продолжением Вас самой, Вашей жизни». Дальше незнакомец описывал ее платье и жемчужное ожерелье: «Этих жемчугов я на Вас прежде не видел. Чудо как хороши. Их розоватый оттенок очень Вам идет. Прямо-таки Вас озаряет».

Это послание было подписано: С. Д. Б. Это ее заинтриговало. Под первым письмом подписи не было, и она могла подумать, что этот аноним был, как бы это сказать, искренним. Какой-то незнакомец просто-напросто послал ей привет, чтобы тут же бесследно исчезнуть. А подпись, пусть даже сокращенная, свидетельствовала о его намерении открыться, пусть не сразу, пусть постепенно, но неизбежно. С. Д. Б., повторяла она с улыбкой: Сириль-Дидье Бургиба. Серж-Давид Барберусса.

Она принялась размышлять над текстом: этот человек, должно быть, следовал за нею по улице; «Я хожу за Вами по пятам», — писал он в первом письме; стало быть, она должна была его видеть. Но она и обычно смотрит на мир без особого интереса, а в тот день и подавно — ведь с нею был Жан-Марк. К тому же это именно он, а не она рассмешил хозяйку химчистки, да и чемоданчик нес тоже он. Она перечла строчку о чемодан-

чике, который «казался искусственным продолжением Вас самой, Вашей жизни». Как это чемоданчик мог показаться «продолжением ее жизни», если она его не несла? Не был ли этим «продолжением жизни» сам Жан-Марк? Не хотел ли ее корреспондент таким образом уколоть исподтишка ее возлюбленного? И тут же, придя в хорошее настроение, она осознала весь комизм своей реакции: вольно ей защищать Жана-Марка даже от воображаемого приставалы!

Как и в первый раз, она не знала, что делать с письмом, и пантомима сомнений в ее исполнении повторилась: она заглянула в унитаз, совсем было решив бросить письмо туда, порвала конверт в мелкие клочья и спустила их вместе с водой, потом сложила письмо, отнесла к себе в спальню и сунула под стопку лифчиков. Склонившись над бельевым ящиком, услышала скрип открывающейся двери. Быстренько закрыла ящик и обернулась: на пороге стоял Жан-Марк.

Медленно подошел к ней, окинул незнакомым взглядом, неприятно пристальным, а приблизившись вплотную, взял за локти и, застыв сантиметрах в тридцати, все продолжал разглядывать. Смутившись от всего этого, она была не в силах раскрыть рта. Когда ее замешательство сделалось невыносимым, он прижал ее к себе и, рассмеявшись, сказал:

— Я просто хотел взглянуть на твое веко: оно увлажняет роговицу точь-в-точь как «дворник» — ветровое стекло.

21

Со времен своей последней встречи с Ф. он все раздумывал над этим: глаз — окно души; средоточие красоты лица; точка, где сосредоточена подлинная суть личности; но в то же время орган зрения, который нужно без конца смачивать, увлажнять, обмывать специальной солоноватой жидкостью. Взгляд, величайшее из чудес, дарованных человеку, регулярно затмевается механическим движением века, которое его увлажняет. Как ветровое стекло, увлажняемое «дворником». Впрочем, теперь скорость «дворника» можно регулировать: одно движение в десять секунд, почти такой же ритм, которому подчиняется веко.

Жан-Марк вглядывается в глаза тех, с кем ему приходится говорить, наблюдая за движением века; оказывается, что это не так-то легко. Мы не осознаем мерцания век. И он говорит себе: во что я всматриваюсь чаще всего, как не в глаза собеседников, стало быть, в их мигающие веки? И все же не замечаю этого мигания. Я упускаю из виду то, что у меня прямо перед глазами.

И еще он говорит себе вот что: орудуя в своей мастерской, Господь по чистой случайности нашел модель тела, чьей душой все мы должны стать хотя бы на мгновение ока. Но как плачевна участь души, оказавшейся в сработанном на скорую руку теле, чьи глаза были бы не способны ничего видеть, если их не увлажнять каждые десять-двадцать секунд! Как после всего этого поверить, что находящийся лицом к лицу с нами человек — существо свободное, независимое, самодовлеющее? Как поверить, что его тело — верное отражение обитающей в нем души? Чтобы поверить во все это, следовало бы забыть о беспрестанном моргании век. Забыть о кустарной мастерской, в которой изготовлены все мы. Следовало бы подчиниться договору, обрекающему нас на забвение. Ведь он был навязан нам самим Господом Богом.

Но между детством и отрочеством Жана-Марка наверняка же был недолгий промежуток, когда он еще и понятия не имел об этом договоре забвения, когда он отрешенно следил, как веко скользит по глазному яблоку: он констатировал, что глаз — это вовсе не окно, заглянув в которое можно увидеть душу, неповторимую и чудодейственную, а кое-как сработанный механизм, запущенный кем-то в незапамятные времена. И потому момент внезапного юношеского озарения непременно должен был оказаться шоковым. «Ты остановился, — сказал ему Ф.,— смерил меня взглядом и произнес тоном, не допускающим возражения: а мне стоит лишь увидеть, как она моргнет...» Жан-Марк не помнил об этом. Это был шок, обреченный на забвение. Он и в самом деле забыл бы о нем навсегда, если бы не напоминание Ф.

Погруженный в эти мысли, он вернулся домой и отворил дверь в спальню Шанталь. Она что-то убирала в бельевой шкафчик, и Жану-Марку пришло на ум взглянуть на ее веко, скользящее по глазу, которое казалось ему окном ее невыразимой души. Подошел, взял Шанталь за локти, всмотрелся в глаза; она и в самом деле моргала, даже чаще, чем следует, словно он устроил ей что-то вроде испытания.

Он видел, как ее веко скользит вверх и вниз, быстро, слишком быстро, и ему захотелось вновь пережить свое собственное ощущение, ощущение шестнадцатилетнего Жана-Марка, которому этот глазной механизм казался чем-то безнадежно разочаровывающим. Но необычная быстрота мигания скорее умилила его, нежели разочаровала: в «дворнике», протирающем глаза Шанталь, ему почудилось крыло ее души — трепетное, испуганное, отбивающееся. Чтобы скрыть это внезапно налетевшее на него чувство, он прижал ее к груди.

А когда разжал объятия, увидел все ее лицо, смущенное, растерянное. И сказал ей:

— Я просто хотел взглянуть на твое веко: оно увлажняет роговицу глаза точь-в-точь как «дворник» — ветровое стекло.

— Не понимаю, о чем это ты говоришь, — отозвалась она, тут же справившись со своим замешательством.

И он стал ей рассказывать о забытом воспоминании, которое пробудил в нем его бывший друг.

22

— Когда Ф. напомнил мне об одной фразе, которую я якобы обронил, будучи лицеистом, мне показалось, что он порет явную чушь.

— Ну уж нет, — сказала Шанталь, — насколько я тебя знаю, ты и впрямь мог ляпнуть что-нибудь в этом духе. Все сходится. Ты только вспомни, как ты пытался заниматься медициной!

Он был далек от недооценки того магического мига, когда мужчина выбирает свою будущую профессию. Прекрасно сознавая, что жизнь слишком коротка и выбор этот может оказаться непоправимым, он изводился оттого, что ни одна из профессий не привлекает его больше другой. Скептически перебирал ассортимент предлагавшихся ему возможностей: прокурор, посвящающий всю свою жизнь преследованию себе подобных; учитель, козел отпущения для плохо воспитанной детворы; технические дисциплины, чей прогресс ведет к малоощутимой выгоде и явному вреду; столь же напыщенное, сколь и пустое, суесловие наук гуманитарных; оформление интерьеров (оно влекло его как память о дедушке, кормившемся столярным ремеслом), полностью зависящее от веяний моды, которую он презирал; ремесло бедных аптекарей, сводившееся к продаже всевозможных пакетов и пузырьков. И когда он вопрошал себя: да какое же ремесло можно выбрать на всю жизнь, его внутренний голос тут же терял дар речи. Остановившись в конце концов на медицине, он пошел на поводу не у какого-то тайного влечения, а у бескорыстного идеализма, медицина казалась ему единственным занятием, безусловно приносящим пользу людям, а к тому же технический прогресс в этой области был чреват лишь минимумом отрицательных последствий.

Разочарование не заставило себя ждать, когда на втором курсе пришлось проводить немало времени в анатомичке: там ему суждено было испытать шок, от которого он так и не оправился: он оказался не способен заглянуть в лицо смерти; чуть позже до него дошло, что истина была еще страшнее: он оказался не способен взглянуть на тело, на его роковое, безответственное несовершенство; на часовой механизм разложения, неумолимо властвующий над ним; на его кровь, его внутренности, его страдания.

Когда он говорил Ф. о своем отвращении к мигающему веку, ему исполнилось, должно быть, лет шестнадцать. А когда он решил изучать медицину, стукнуло, наверное, девятнадцать; уже успев подписать договор забвения, он не помнил о том, что сказал другу три года назад. Тем хуже для него. Это воспоминание могло бы послужить ему предостережением. Могло бы подсказать, что его выбор в пользу медицины был чисто

теоретическим, что он остановился на нем, не имея ни малейшего понятия о себе самом.

Вот таким-то манером он и штудировал медицину целых три года, прежде чем сбежал с факультета, как пассажир с тонущего корабля. Какую же новую стезю избрать, если столько лет прошли впустую? За что зацепиться, если его внутренний голос все так же упорствовал в своем молчании? Он в последний раз спустился по широкой факультетской лестнице; у него было такое чувство, будто он стоит один-одинешенек на вокзальной платформе, от которой давно отошли все поезда.

23

Шанталь исподтишка, но внимательно оглядывалась вокруг, стараясь высмотреть своего корреспондента. На углу их улицы приткнулось бистро: идеальное местечко для того, кто решил бы ее выслеживать; оттуда просматривается подъезд ее дома, две улицы, по которым она ходит каждый день, и остановка ее автобуса. Она вошла, присела за столик и принялась разглядывать клиентов. Заметила у стойки молодого человека: увидев, как она вошла, он тут же отвел взгляд в сторону. Это был завсегдатай бистро, она знала его в лицо. Даже вспомнила, что прежде их взгляды не раз встречались, но это не мешало ему неизменно делать вид, будто он не замечает ее.

А однажды она указала на него своей соседке. «Да это же мсье Дюбарро!» — воскликнула та. — «Дюбарро или дю Барро?» Это соседке было неизвестно. «А как его зовут? Вы знаете?» Нет, этого соседка тоже не знала.

«Дю Барро» — это было в самый раз. Во всяком случае, ее обожателя звали не Сириль-Дидье и не Серж-Давид, поскольку «Д» оказалось частицей «дю». Имя у него могло быть только одно. Сириль дю Барро. Или Серж. Она тут же вообразила себе разорившуюся аристократическую семью из провинции. Семейство, смехотворно гордящееся своей частицей «дю». Представила себе этого Сержа дю Барро у стойки, выставляющего напоказ свое безразличие, и тут же подумала, что эта частица ему идет, вполне соответствует его облику пресыщенного аристократа.

Несколько дней спустя, когда она шла по улице вместе с Жаном-Марком, этот самый дю Барро попался им навстречу. На ней было ожерелье из розоватых жемчугов, подарок Жана-Марка. Находя это украшение слишком уж броским, она носила его редко. Да и то лишь потому, что дю Барро в своем письме сказал о жемчужинах: «Чудо как хороши!» Он должен был подумать (и, впрочем, не без основания!), что она надела их ради него, для него. Он мельком взглянул на нее, она тоже бросила взгляд в его сторону и, вспомнив о жемчугах, покраснела. Покраснела до кончиков ногтей, будучи уверенной, что он это заметил. Они разминулись, он был уже далеко от них, и только тогда Жан-Марк сделал удивленные глаза:

— Ты так покраснела! С чего бы это? Что случилось?

Она тоже была удивлена: с чего бы это ей краснеть? Устыдилась того, что уделяет слишком уж большое внимание этому человеку? Да ведь это и вниманием нельзя назвать — пустячное любопытство. Господи, почему это она в последнее время так часто и так легко краснеет — словно девчонка какая-нибудь?

Девчонкой она и в самом деле часто краснела; она находилась в начале пути, по завершении которого должна была превратиться в женщину; ее собственное тело казалось ей чем-то обременительным, стесняющим, вызывающим стыд. Повзрослев, она отучилась краснеть, даже и думать забыла об этом. Потом наплывы румянца возвестили ей о конце пути, и она снова начала стесняться своего тела. Стыдливость проснулась в ней снова, и она снова научилась краснеть.

24

Письма продолжали приходить одно за другим, и ей становилось все труднее и труднее оставлять их без внимания. Они были умны, благопристойны, без капли насмешки,

без тени назойливости. Ее корреспондент ничего не хотел, ни о чем не просил, ни на чем не настаивал. Ему хватало ума (или хитрости) не выставлять напоказ собственную персону, свою жизнь, свои чувства и желания. Это был настоящий соглядатай; он писал не о себе, а только о ней. В его письмах звучали нотки восхищения, а не обольщения. А если обольщение и было их подспудной целью, то путь к ней казался очень долгим. Впрочем, последнее из посланий было чуть более смелым: «Я на целых три дня потерял Вас из виду. А когда увидел снова, был восхищен Вашей походкой — такой легкой, словно бы устремленной ввысь. Вы были похожи на пламя, которое может существовать лишь в порыве и танце. Вы не шли, а парили в окружении языков пламени, пламени веселого, вакхического, опьяняющего, неистового. Мысленно я окутываю Ваше нагое тело мантией, сотканной из языков пламени. Я облачаю Ваше белое тело в кардинальскую мантию карминного цвета. И в этом облачении провожаю Вас в красную опочивальню, на красное ложе, — Вас, мой аленький цветочек, моя прекраснейшая красная кардиналия[1]!»

Несколько дней спустя она купила себе красную ночную рубашку. Вернулась домой и принялась охорашиваться перед зеркалом. Поворачивалась так и этак, слегка приподнимала подол: нет, никогда не выглядела она такой стройной, никогда ее кожа не сияла такой белизной!

Вернулся Жан-Марк. Застыл от изумления, видя, как она, в красной рубашке бесподобного покроя, кокетливой и соблазнительной походкой подкралась к нему, увернулась от его объятий, снова подошла и опять отпрянула. Не устояв против этой соблазнительной игры, он начинает гоняться за ней по всей квартире. Перед глазами у него тут же вспыхивает сценка незапамятных времен: женщина, преследуемая мужчиной; было от чего потерять голову. Она обегает большой круглый стол, в свою очередь опьяненная мыслью о женщине, которая убегает от распаленного страстью мужчины, потом ищет спасения на постели, задирает до подбородка свою красную рубашку. В этот день он любит ее с новой и негаданной силой, и внезапно ей начинает казаться, что в спальне есть кто-то еще, и он следит за ними с неослабным вниманием, она видит его лицо, лицо Сириля дю Барро — ведь это он нарядил ее в красную рубашку, навязал ей эту любовную игру, и, представляя его себе, она стонет от наслаждения.

Потом они лежат рядом, еле переводя дыхание, но ее продолжает будоражить образ того, кто следит за нею изо дня в день; она лепечет на ухо Жану-Марку бессвязные слова о карминной мантии, которую она набросила прямо на голое тело, чтобы вот так, в образе прекраснейшей красной кардиналии, прошествовать по церкви, битком набитой прихожанами. Тут Жан-Марк снова обнимает ее и, влекомый волнами ее неумолчных фантазий, возобновляет любовную схватку.

Наконец все успокаивается; перед глазами у нее остается только смятая их телами красная рубашка в уголке кровати. Перед ее полузакрытыми глазами это красное пятно превращается в клумбу розария, она вдыхает хрупкий полузабытый аромат, аромат розы, стремящийся обнять всех мужчин на свете.

25

На следующий день, в субботу утром, она открывает окно и видит за ним восхитительную небесную голубизну. Чувствуя себя счастливой и оживленной, она ни с того ни с сего спрашивает Жана-Марка, который уже собрался уходить:

— Интересно, что сейчас поделывает мой бедный Британик[2]?

— Странный вопрос!

— Он все такой же похотливый? Да и жив ли он еще?

— Почему ты о нем вспомнила?

— Сама не знаю. Просто так.

---

[1] Кардиналия (или лобелия) — экзотический пурпурный цветок.

[2] Тиберий Клавдий Британик (41—55 гг. от Р. Х.), сын Клавдия и Мессалины, наследник римского престола. Отравлен по приказу Нерона.

Жан-Марк отправился по своим делам, она осталась одна. Заглянула в ванную, потом подошла к платяному шкафу, ей хотелось сегодня выглядеть особенно привлекательной. Окинула взглядом полки — и тут ее внимание привлекла какая-то мелочь. Поверх стопки белья лежала ее аккуратно сложенная косынка, а ведь она отлично помнила, что бросила ее кое-как. Кто же это взялся наводить порядок в ее гардеробе? Приходящая домашняя работница появляется раз в неделю и никогда не заглядывает в ее шкафы. Шанталь подивилась собственной наблюдательности и подумала, что этому качеству она обязана летним отпускам, проведенным на даче у бывшей золовки: хороший был урок! Там она постоянно чувствовала себя под надзором и быстро приучилась запоминать, что, куда и как положено из ее вещей, примечать малейшую перемену в их раскладке, произведенную посторонней рукой. Радуясь тому, что это прошлое уже никогда не вернется, она с довольным видом посмотрела на себя в зеркало и вышла. Отперла внизу почтовый ящик, где ее поджидало новое письмо. Сунула его в сумочку и задумалась над тем, где бы его прочесть. Неподалеку был маленький скверик, где она и уселась под необъятной липовой кроной, уже тронутой осенней желтизной и пронизанной горячим солнцем.

«...Ваши цокающие по тротуару каблучки навели меня на мысль о еще не пройденных мною дорогах — они расходятся во все стороны, как древесные ветви. Вы пробудили во мне мои юношеские грезы: я представлял себе мою будущую жизнь чем-то вроде дерева. В ту пору я называл его древом возможностей. Жизнь представляется такой совсем недолго. Потом она рисуется тебе дорогой, с которой не свернешь ни вправо, ни влево, или туннелем, из которого ни за что не выберешься. И однако прежний образ дерева остается в нас подобием неизгладимой мечты. Вы напомнили мне это древо, и мне хотелось бы взамен подарить Вам его образ, дать Вам вслушаться в его чарующий шелест».

Она подняла голову. Там, в вышине, подобно золотому потолку, украшенному птицами, простиралась липовая крона. Ни дать ни взять — крона того древа, о котором говорилось в письме. Это метафорическое древо сплеталось в ее сознании с ее давней метафорой розы. Пора, однако, и домой. В знак прощания она еще раз взглянула ввысь и пошла прочь.

Сказать по правде, мифологическая роза ее девичества не послужила поводом для сколько-нибудь серьезных приключений; ей, в сущности, и не вспомнить теперь ни о чем конкретном, кроме, пожалуй, забавного случая с одним англичанином куда старше ее самой, который лет двенадцать назад, заглянув к ней в агентство, добрых полчаса пытался за нею ухаживать. Гораздо позднее она узнала, что он слыл страшным бабником и блудодеем. Их встреча осталась без последствий, если не считать, что она стала предметом шуточек со стороны Жана-Марка (он-то и окрестил этого англичанина Британиком) да прояснила для Шанталь значение нескольких слов, которые до тех пор были ей безразличны: слово «блудодей», например, а также слово «Англия» — в противоположность общепринятому мнению, оно стало звучать для нее как синоним плотских утех и порока.

Пока она шла обратно, в ее ушах не смолкал птичий щебет среди ветвей липы, а перед глазами маячил старый порочный англичанин; отуманенная этими образами, она шагала, никуда не торопясь, и сама не заметила, как оказалась на своей улице; в полусотне метров от нее из бистро на тротуар вынесли столики, за одним из которых устроился ее молодой корреспондент, один, без книги, без газеты, он сидел в компании большой бутыли красного вина и глядел в пустоту с выражением блаженной лени на лице — точно такой же, какую испытывала Шанталь. Сердце ее заколотилось. Как все это дьявольски ловко подстроено! Откуда он мог знать, что повстречает ее тотчас после того, как она прочтет его письмо? Сама не своя от волнения, словно она шагала в красной мантии, наброшенной прямо на голое тело, она подходила все ближе и ближе к соглядатаю интимнейших подробностей ее жизни. Их разделяет всего несколько шагов, она ждет мига, когда он ее окликнет. Как ей следует в таком случае поступить? Вот уж не чаяла она подобной встречи! Не броситься же ей бежать, словно какой-нибудь оробевшей девчонке?

Она замедляет шаг, она старается не смотреть в его сторону (господи боже, она и впрямь ведет себя как настоящая девчонка, уж не значит ли это, что она так постарела?), но — странное дело, — сидя перед своей бутылью, он все с тем же божественным безразличием продолжает смотреть в пустоту, словно бы вовсе ее не замечая.

Она уже далеко, она держит путь к дому. Неужели у дю Барро не хватило смелости к ней обратиться? Или он сумел пересилить себя? Да нет же, нет. Его безразличие было таким искренним, что у Шанталь не остается больше никаких сомнений: она обманулась, она глупейшим образом обманулась.

26

Вечером она вместе с Жаном-Марком пошла в ресторан. Парочка за соседним столиком была погружена в бесконечное молчание. Хранить молчание на виду у всех — дело нелегкое. Куда эти двое должны были девать глаза? Набрав воды в рот, смотреть друг на друга — что может быть комичнее? Пялиться в потолок? Это придало бы их игре в молчанку еще более показной характер. Коситься на соседние столики? В таком случае они рисковали бы напороться на удивленные взгляды, это было бы хуже всего.

— Послушай, — сказал Жан-Марк, обращаясь к Шанталь, — это вовсе не значит, что они друг друга ненавидят. Или что взаимное безразличие заменило им любовь. Мы не вправе мерить степень обоюдной любви двух людей по количеству слов, которыми они обмениваются. Просто-напросто у них сейчас пусто в голове. А может быть, они не решаются беседовать из деликатности, зная, что им нечего сказать. В этом смысле их можно считать полной противоположностью моей тетки из Перигора. Когда нам с ней приходится встречаться, она тараторит без умолку. Я попытался понять методику ее словоохотливости. Она как бы дублирует словами все, что видит, и все, что делает. Как она проснулась поутру, как вместо завтрака ограничилась чашкой черного кофе, как ее муженек отправился потом на прогулку — на прогулку, Жан-Марк, ты только представь себе, — как он вернулся и приклеился к телеку, представь! И совсем осоловел, а потом, притомившись у экрана, принялся листать какую-то книжонку. Вот таким-то образом — это ее подлинные слова — он и проводит время... Ты знаешь, Шанталь, мне очень нравятся такие простецкие, ничего не значащие фразы — в них словно выражается какая-то тайна. «Вот таким-то образом он и проводит время» — да это же не фраза, а некая сакральная формула! Их основная проблема — это время, время должно проходить, проходить само собой, без малейших усилий с их стороны, чтобы им не нужно было, как усталым пешеходам, шагать по нему на своих на двоих, вот потому-то она и болтает без умолку, ведь слова, которые она выпаливает, заставляют время потихоньку пошевеливаться, а когда ей случается набрать воды в рот, время останавливается, выступает из тьмы — огромное, тяжкое, наводящее жуть на мою беднягу тетушку, и она, сама не своя от страха, спешит найти хоть кого-нибудь, кому она могла бы рассказать, что у ее дочери настоящая морока с сыном, у которого начался понос, да, Жан-Марк, понос, жуткий понос, и ей пришлось обратиться к врачу, ты его не знаешь, он живет недалеко от нас, а мы его знаем давным-давно, да, представь себе, Жан-Марк, давным-давно, он и меня пользовал в ту зиму, когда я подхватила грипп, ты помнишь, Жан-Марк, лихорадка у меня было просто страшная...

Шанталь не смогла сдержать улыбки, а Жан-Марк принялся рассказывать другую историю:

— В ту пору мне едва стукнуло четырнадцать лет, и мой дедушка — не столяр, а другой — лежал при смерти. Уже который день у него изо рта исходил всего один звук, ни на что не похожий, даже на стон, потому что он не мучился, но и сходства с каким-то словом тоже нельзя было уловить, и не оттого, что он утратил дар речи, а просто потому, что ему нечего было сказать, не о чем сообщить, и никаких конкретных просьб у него не было, да и не с кем ему было разглагольствовать, он никем больше не интересовался, он остался наедине со своим непонятным звуком, одним-единственным звуком, похожим на бесконечное «а-а-а-а», прерывавшимся лишь тогда, когда деду нужно было вздохнуть.

Я смотрел на него как завороженный, и никогда мне этого зрелища не забыть, потому что, каким бы мальцом я в ту пору ни был, мне все-таки было понятно: вот жизнь, как таковая, столкнулась со временем, как таковым; и еще я понимал, что это столкновение называется скукой. Скука моего дедушки выражалась этим звуком, этим бесконечным «а-а-а-а», потому что без этого «а-а-а-а» время давно раздавило бы его, и не было у дедушки другого оружия для борьбы со временем, кроме этого жалкого «а-а-а-а», которое все не кончалось и не кончалось.

— Ты хочешь сказать, что он умирал и скучал?

— Именно это я и хочу сказать.

Они говорили о смерти, о скуке, они пили бордо, они смеялись, они шутили, они были счастливы.

Потом Жан-Марк вернулся к своей мысли:

— Я сказал бы, что количество скуки — если только скука поддается измерению — теперь куда больше, чем прежде. Потому что прежние ремесла, по крайней мере в большинстве своем, были немыслимы без сердечной к ним привязанности: крестьяне любили свою землю, мой дедушка был волшебником по части добротных столов, сапожники знали назубок ноги своих односельчан; прибавь сюда же лесников и садовников; полагаю даже, что солдаты истребляли один другого не без сердечной страсти. Смысл жизни тогда был не отвлеченной проблемой, он вполне естественно воплощался в них самих, в их мастерских, в их пашнях. Каждое ремесло взращивало соответствующий ему образ мыслей, образ жизни. Врач думал не так, как крестьянин, поведение военного отличалось от поведения учителя. Теперь же нас всех равняет, всех стрижет под одну гребенку наше общее безразличие к нашей работе. В конце концов это безразличие и стало нашей страстью. Единственной всеобщей страстью нашего времени.

— И однако, скажи-ка мне, — прервала его Шанталь, — когда ты был инструктором по лыжному спорту, когда ты кропал статейки по дизайну, а потом о медицине или делал эскизы мебели...

— ...да, именно это мне больше всего нравилось, но никакого толку из всего этого не выходило...

— ...или когда ты сидел без работы и ровным счетом ничего не делал, ты ведь тоже должен был скучать!

— Все изменилось с тех пор, как мы с тобой познакомились. Не потому, что мои мелкие работенки стали меня больше увлекать. А потому, что я научился превращать все, что вокруг меня происходит, в темы наших разговоров.

— Можно было бы поговорить и о чем-нибудь еще!

— Два любящих существа, предоставленные самим себе, оторванные от мира, — это, конечно, дело хорошее. Но чем могут питаться их разговоры с глазу на глаз? Как бы пошловат ни был мир, им без него не обойтись, если они хотят поддерживать беседу.

— Вполне могли бы и помолчать.

— Как эта вот парочка за столом напротив? — усмехнулся Жан-Марк. — Ну уж нет, никакая любовь не переживет игры в молчанку.

27

Гарсон склонился над их столиком, расставляя десерт. Жан-Марк ухватился за другую тему:

— Ты знаешь того нищего, что время от времени появляется у нас на улице?

— Нет.

— Да как же нет, ты его наверняка встречала. Тип лет сорока с ухватками чиновника или школьного учителя, который дошел до ручки и теперь выклянчивает у прохожих гроши. Ты его не видела?

— Нет.

— Да как же нет! Он всегда торчит под платаном, единственным, что остался у нас на улице. Крону видно прямо из нашего окна.

Образ платана тут же напомнил ей об этом попрошайке:

— Ах да! Видела, видела!

— Мне страшно хотелось к нему обратиться, завязать разговор, но знала бы ты, как это трудно.

Шанталь не расслышала последних слов Жана-Марка: перед ее мысленным взором стоял нищий. Человек под деревом. Безликий человек, чья сдержанность прямо-таки бросается в глаза. Всегда безукоризненно одетый, так что прохожие с трудом догадываются, что он побирается. Несколько месяцев назад он обратился и к ней и очень вежливо попросил милостыню.

Жан-Марк тем временем продолжал:

— Это трудно, потому что он, должно быть, недоверчив. Он не понял бы, с какой стати я решил с ним заговорить. Из любопытства? Ничего хорошего оно ему не сулит. Из жалости? Это унизительно. Чтобы предложить ему что-нибудь? Но что, собственно, я могу ему предложить? Я попытался влезть в его шкуру, чтобы понять, что он может ждать от других. Но так ничего и не понял.

Она снова представила себе этого нищего под его излюбленным деревом, и это дерево тут же, в мгновение ока, подсказало ей, что автор писем — это он. Он выдал себя своей метафорой дерева — он, человек под деревом, исполненный образом своего дерева. Ее мысли мгновенно выстроились в цепочку: никто, кроме него, человека без занятий, у которого уйма свободного времени, не может незаметно сунуть письмо к ней в ящик, никто, кроме него, укрытого своей униженностью, не может, оставаясь незамеченным, следить за ее повседневной жизнью.

А Жан-Марк продолжал:

— Я мог бы ему сказать вот что: помогите мне привести в порядок мой погреб. Он отказался бы — не по лености, а потому, что у него нет рабочей одежды, а тот костюм, что на нем, он должен беречь. И все-таки мне страшно бы хотелось с ним поговорить. Ведь это мой alter ego!

Не слушая Жана-Марка, Шанталь спросила:

— А что за интимная жизнь у него может быть?

— Интимная жизнь? — расхохотался Жан-Марк. — Да никакой, ровным счетом никакой! Одни мечтания!

«Мечтания», — повторила про себя Шанталь. Стало быть, она — всего лишь мечтание какого-то горемыки. Но почему он выбрал для своих мечтаний ее, именно ее?

А Жан-Марк продолжал гнуть свое:

— Как-то раз мне захотелось ему сказать: а не выпить ли вам со мной чашечку кофе? Ведь вы мой alter ego. Вам выпала такая судьба, от какой я сам отвертелся только по случайности.

— Не городи глупостей, — сказала Шанталь. — Никогда тебе такая судьба не угрожала.

— Мне не забыть время, когда я бросил медицинский факультет и понял, что все поезда ушли.

— Да, я знаю, знаю, — подтвердила Шанталь, у которой эта история навязла в зубах, — но как можно сравнивать твою мелкую неудачу с настоящими напастями этого человека, который ждет, чтобы кто-нибудь швырнул ему монетку в ладонь?

— Отказаться от продолжения занятий — это, конечно, просто неудача, но я-то ведь заодно отрекся и от всех своих амбиций. Я внезапно стал человеком без амбиций. А растеряв свои амбиции, тут же очутился на задворках мира. Хуже того: мне именно там и хотелось находиться. Тем более что никакая нищета мне не угрожала. Но если у тебя нет амбиций, если ты не горишь желанием преуспеть, добиться признания, тебе ничего не остается, кроме как устроиться на краю пропасти. Там-то я и устроился, и, надо сказать, со всеми удобствами. И плевать мне было на то, что устроился я не где-нибудь, а на краю пропасти. Стало быть, можно безо всякого преувеличения сказать, что я нахожусь на стороне какого-то нищеброда, а не на стороне владельца этого роскошного ресторана, где мне так приятно сидеть.

«Итак, я стала эротическим кумиром попрошайки, — сказала себе Шанталь. — Честь поистине шутовская. — И тут же поправила себя: — А почему это желания нищего менее достойны уважения, чем прихоти какого-нибудь дельца? Будучи несбыточными, эти желания обладают одним неоценимым достоинством: они свободны и искренни».

Вслед за тем в голову ей пришла другая мысль: «В тот день, когда, вырядившись в красную рубашку, она играла в постельные игры с Жаном-Марком, тот, третий, кто следил за ними, кто присутствовал при этих играх, был не молодой человек из бистро, а этот самый нищий! Ведь это он набросил ей на плечи красную мантию, ведь это он превратил ее в порочную кардиналию!» На мгновенье эта мысль показалась ей стеснительной и тягостной, но ее чувство юмора быстро взяло верх, и в глубине души она беззвучно рассмеялась. Она представила себе этого бесконечно застенчивого типа в трогательном галстуке: он стоит у стены их спальни с протянутой рукой, смотря неотрывным и порочным взглядом на то, что они выделывают прямо перед ним. Она представила себе, как, отыграв любовную сцену, голышом и вся в поту, она поднимается с постели, берет со стола свою сумочку, выуживает из нее монетку и кладет ее в протянутую ладонь. И уж тут-то ей еле удалось удержаться от настоящего хохота.

28

Жан-Марк смотрел на Шанталь, на ее лицо, внезапно озарившееся потаенным весельем. Он не горел желанием узнать у нее о причине этого веселья, он был доволен и тем, что просто-напросто смотрит на нее. Пока она предавалась своим потешным фантазиям, он думал о том, что Шанталь — его единственная живая связь с миром. Что ему там говорят о заключенных, гонимых, изголодавшихся?

Их несчастья могут тронуть его лично глубоко и болезненно лишь тогда, когда он вообразит Шанталь на их месте. Что ему там твердят о женщинах, изнасилованных во время гражданской войны? Он видит в них Шанталь, изнасилованную Шанталь. Только она, и она одна, может избавить его от равнодушия. Только посредством ее он способен сострадать.

Ему хотелось бы сказать Шанталь обо всем этом, но он стыдился патетики. Тем более что в голову ему тут же пришла другая мысль, полностью противоположная первой: что будет, если он потеряет это единственное существо, связывающее его со всем родом человеческим? Он думал не о ее смерти, а о чем-то ином, куда более тонком, неуловимом; последнее время это наваждение просто не давало ему покоя. Что, если однажды он не узнает ее; что, если однажды он убедится, что Шанталь — это вовсе не та Шанталь, с которой он прожил столько лет, а та женщина с пляжа, которую он за нее принял; что, если однажды та достоверность, которой была для него Шанталь, окажется иллюзорной, и она станет для него такой же безразличной, как и все остальные?

Она тронула его за руку:

— Что это с тобой? Ты снова нос повесил. Уже который день не в своей тарелке. Что случилось?

— Ничего, ровным счетом ничего.

— Нет, что-то случилось. Скажи, что тебя беспокоит в данную минуту?

— Я представил себе, что ты — это вовсе не ты.

— Как это?

— Что ты совсем не такая, как мне представляется. Что я обманулся в твоей подлинности.

— Ровным счетом ничего не понимаю.

Он видел стопку лифчиков. Жалкий бугорок лифчиков. Этот смешной бугорок. Но из этого морока тотчас просквозило реальное лицо Шанталь, сидящей напротив. Он ощущал на своей руке тепло ее ладони, и оно мгновенно избавило его от впечатления, будто перед ним какая-то чужачка или предательница. Он улыбнулся:

— Забудь обо всем этом. Считай, что я ничего не говорил.

29

Вжавшийся в стену спальни, где они занимались любовью, с протянутой рукой, с глазами, жадно пожирающими их нагие тела, — таким он представился ей за ужином в ресторане. А теперь он стоял, прислонившись к дереву, и робко протягивал руку к прохожим. Сначала она хотела проскользнуть мимо, притворившись, будто не замечает его, потом намеренно, решительно, томимая смутным желанием прояснить запутанную ситуацию, остановилась прямо перед ним. Не поднимая глаз, он твердил заученную фразу:

— Помогите чем можете.

Она оглядела его: обескураживающе опрятный, при галстуке, седоватые волосы зачесаны на затылок. Красив ли он, неприглядан ли? Понятия красоты и неприглядности на таких, как он, не распространяются. Ей хотелось сказать ему что-нибудь, но она никак не могла сообразить, что же именно. Замешательство лишило ее дара речи, и она просто-напросто открыла сумочку, поискала мелочь, но кроме нескольких сантимов ничего не нашла. А он все стоял, словно врос в землю, недвижимый, с протянутой к ней ужасной ладонью, и его неподвижность еще увеличивала гнет молчания. Сказать ему теперь «простите, больше у меня ничего нет» показалось ей невозможным, и она стала искать банкноту, но обнаружила только билет в двести франков; такая несуразно большая для милостыни сумма заставила ее залиться краской: можно было подумать, что она тратит ее на содержание воображаемого любовника или переплачивает ему за еще не присланные любовные письма. Когда вместо холодной медяшки нищий ощутил в своей ладони банкноту, он поднял голову, и она увидела его глаза — в них застыло страшное удивление. Это был взгляд насмерть перепуганного человека, и она, чувствуя себя крайне неловко, поспешила удалиться.

Подавая ему банковский билет, она все еще продолжала думать, что дает его своему обожателю. И только отойдя от него на порядочное расстояние, обрела способность мыслить хоть чуточку более здраво: в его глазах не было ни проблеска сообщничества, ни малейшего немого намека на некую совместно хранимую тайну; ничего, кроме искреннего и безграничного удивления; удивления перепуганного бедняка. И тут-то ей стало ясно: считать этого человека автором писем — верх абсурда.

Злость на себя самое ударила ей в голову. С какой стати она уделяет столько внимания всей этой чепухе? С какой стати она влипла в эту авантюру, затеянную каким-то скучающим бездельником?

Мысль о стопке писем, спрятанной под лифчиками, внезапно показалась ей невыносимой. Она представила себе соглядатая, исподтишка подсматривающего за всем, что она делает, но знать не знающего, о чем она думает. Увиденное дает ему основания считать ее особой, пошлейшим образом помешанной на мужчинах, более того — особой романтичной и глупой, способной хранить как святыню каждую любовную записку.

Не в силах более выносить насмешливый взгляд незримого соглядатая, она, едва переступив порог дома, бросается к бельевому шкафу. Всматривается в стопку лифчиков — и в глаза ей бросается какая-то несуразность. Ах да, она заметила ее еще вчера: головной платок сложен совсем не так, как она сама обычно его складывает. Она была так взволнована, что тут же обо всем забыла. Но на сей раз невозможно оставить без внимания след чьей-то чужой руки. Что ж, все яснее ясного! Он прочел письма! Он подсматривает за ней! Шпионит, выслеживает!

Ее душит приступ гнева, который она готова излить на всех сразу: на незнакомца, который беспардонно морочит ей голову своими письмами; на себя самое, глупейшим образом прячущую эти письма; на Жана-Марка, который шпионит за ней. Она достает пакет и направляется (в который уже раз!) в отхожее место. Перед тем как изорвать послания в клочья и спустить в унитаз, она напоследок просматривает их — и почерк, которым они написаны, вдруг кажется ей подозрительным. Вглядывается повнимательней: чернила одни и те же, буквы чересчур крупны и слегка наклонены влево, но в их начертании заметен какой-то разнобой, словно писавшему не всегда удавалось соблюсти одинаковый почерк. Эта особенность кажется ей до такой степени странной, что она и на этот раз не

решается порвать письма, а усаживается за стол, чтобы их перечитать. Останавливается на втором, где описано ее посещение химчистки: как это все тогда происходило? С нею был Жан-Марк, он и нес чемодан. Когда они зашли в заведение, она это прекрасно помнит, Жан-Марк рассмешил хозяйку. Ее корреспондент напоминает об этой подробности. Но как он ухитрился услышать этот смех? Он утверждает, что следил за нею с улицы. Но кто мог это сделать так, что сама она не заметила никого? Ни Барро. Ни попрошайку. Это мог сделать лишь тот, с кем она вошла в химчистку. И тогда фразу об «искусственном продолжении Вашей жизни», которую она восприняла как неуклюжий выпад в адрес Жана-Марка, можно считать свидетельством кокетливого нарциссизма самого Жана-Марка. Так оно и есть: он выдал себя своим нарциссизмом, плаксивым нарциссизмом, суть которого проста: как только на твоем пути окажется другой мужчина, я превращусь в бесполезный довесок к твоей жизни. Потом она вспомнила курьезную фразу, произнесенную под конец их ужина в ресторане. Он сказал ей, что, возможно, обманулся в ее подлинности. Что, возможно, она — это вовсе не она! «Я хожу за Вами по пятам», — написал он ей в первом письме. Стало быть, он и ходит за нею по пятам, он и есть шпион. Он учиняет ей проверки, ставит на ней эксперименты, чтобы доказать себе, что она вовсе не та, за которую он ее принимает! Пишет ей письма от лица какого-то незнакомца, а потом наблюдает за ее поведением, залезает в ее шкаф, ворошит ее лифчики!

Но с какой целью он все это делает?

Единственный ответ напрашивается сам собой: он хочет заманить ее в ловушку.

Но зачем ее заманивать в ловушку?

Чтобы избавиться от нее. От правды не уйдешь: он моложе ее, а она постарела. Сколько бы она ни старалась скрывать свои вспышки жара, она постарела, и от этого никуда не денешься. Он не способен сказать ей в лицо: ты старишься, а я молод. Он слишком мягок для этого, слишком деликатен. Но как только у него появится уверенность, что она ему изменяет, что она способна ему изменить, он бросит ее с той же легкостью, с той же холодностью, с какой вычеркнул из своей жизни своего старого друга Ф. Ее всегда ужасала в нем эта холодность, таящаяся под наигранной веселостью. Теперь ей понятно, что ее ужас был вещим.

30

Он вписал румянец Шанталь как заглавную буквицу в золотую книгу их любви. В первый раз они встретились среди многолюдья, в большом зале за длинным столом, уставленным бокалами с шампанским и тарелочками с поджаренными тостами, паштетами, ветчиной. Дело было в горном отеле, где он числился тогда инструктором по лыжам и в этом качестве был приглашен, по капризу случая и всего-то один-единственный раз, на небольшой коктейль, которым заканчивался каждый рабочий день какой-то там конференции. Ему представили участников, но так наспех и походя, что он не сумел запомнить их имена. Тогда они с Шанталь успели обменяться лишь несколькими словами в присутствии всех остальных. На следующий коктейль Жан-Марк явился безо всякого приглашения, только для того, чтобы увидеть ее еще разок. Заметив его, она покраснела. У нее покраснели не только щеки, но и шея, и то, что не скрывало декольте; она восхитительно залилась краской на глазах у всех присутствующих, покраснела из-за него и для него. Эта краска была ее признанием в любви, эта краска решила все. Минут через тридцать они исхитрились остаться вдвоем в полутьме длинного коридора и, не обменявшись ни единым словом, принялись жадно целоваться.

Тот факт, что потом, в течение стольких лет, он больше не видел, как она краснеет, подтверждал исключительность этого румянца, который тогда, в далеком прошлом, горел как рубин, коему не было цены.

Потом она как-то раз обмолвилась ему, что на нее уже не оглядываются мужчины. Эти сами по себе пустячные слова обрели особое значение из-за краски, которая залила ее лицо. Он не мог остаться глухим к языку румянца, который был языком их любви и теперь, связанный с произнесенной ею фразой, прямо-таки вопиял о печали увядания.

Вот почему он и написал ей, скрывшись под маской незнакомца: «Я хожу за Вами по пятам, Вы красивая, очень красивая».

Опустив первое письмо в почтовый ящик, он и не думал посылать ей другие. Он не строил никаких планов, не думал ни о каких последствиях, ему просто-напросто хотелось доставить ей удовольствие, немедленно, без малейшего отлагательства, избавить ее от гнетущего впечатления, будто на нее перестали оглядываться мужчины. Он не пытался предвидеть ее ответные действия. А если бы наперекор всему и попытался это сделать, ему пришлось бы предположить, что она покажет ему письмо, сказав: «Посмотри-ка! Как бы там ни было, мужчины меня еще не забывают!» — и тогда со всей невинностью влюбленного он дополнил бы восторги незнакомца своими собственными похвалами. Но она письма ему не показала. Без финального аккорда эпизод оставался открытым. Видя, как она день за днем мучается безнадежностью, как ее томят мысли о смерти, он волей-неволей решил продолжать.

Сочиняя второе письмо, он твердил себе: я становлюсь Сирано де Бержераком; Сирано: человек, который под маской другого объясняется в любви любимой женщине; который, избавившись от собственного имени, переживает взрыв красноречия, внезапно вырвавшегося на свободу. Именно поэтому он и подписал письмо сигнатурой: С. Д. Б. Это был шифр, понятный лишь ему самому. Тайная отметина его присутствия. С. Д. Б.: Сирано де Бержерак.

Превратившись в Сирано, он продолжал разыгрывать его роль. Догадываясь, что она перестала верить в свою неотразимость, он принялся расписывать для нее ее телесные прелести. Ничто не было упущено — лицо, нос, глаза, шея, ноги, лишь бы только она вновь начала гордиться всем этим. Он с удовольствием отмечал, что теперь она уделяла больше внимания своему туалету, что она повеселела, но его успех имел и неприятную оборотную сторону: прежде она не любила носить ожерелье из розовых жемчужин, даже когда он просил ее об этом; теперь же без колебаний подчинилась чужой воле.

Жизнь Сирано немыслима без ревности. В тот день, когда он неожиданно зашел в спальню и увидел Шанталь возле бельевого шкафа, от него не укрылось ее замешательство. Он завел с нею разговор о глазном веке, притворившись, будто ничего не заметил; лишь на следующий день, оставшись дома один, он открыл шкаф и обнаружил под стопкой лифчиков два своих письма.

Тут он призадумался и еще раз спросил себя, отчего она их ему не показала; ответ напрашивался сам собой. Если мужчина пишет женщине любовные письма, значит, он готовит почву, чтобы затем попытаться ее соблазнить. И если женщина прячет эти письма, значит, ей подспудно хочется, чтобы ее сегодняшняя скрытность стала залогом завтрашнего приключения. Если она хранит их, значит, готова принять это будущее приключение как настоящую любовь.

Он долго простоял перед открытым шкафом, а потом, всякий раз, опустив новое письмо в ящик, не забывал проверять, окажется ли оно на своем месте, под лифчиками.

31

Если бы Шанталь узнала, что Жан-Марк ей изменяет, это укололо бы ее, но не расходилось бы с тем, что она на худой конец могла бы от него ожидать. Совсем другое дело — этот шпионаж, эти сыскные эксперименты, которые он на ней ставил: они не увязывались с тем, что она о нем знала. Когда они познакомились, он не хотел ничего слышать о ее прошлой жизни. И она тут же примирилась с радикализмом этого отказа. У нее никогда не было от него никаких тайн, она умалчивала лишь о том, чего он сам не захотел бы услышать. И теперь не видела ни малейшей причины, из-за которой он ни с того ни с сего начал бы ее подозревать и следить за нею.

Внезапно она вспомнила фразу о карминной кардинальской мантии, от которой у нее голова пошла кругом, и ее охватил стыд: до чего же она оказалась восприимчива к образам, которыми первый встречный может задурить ей голову! Какой смешной она должна была ему показаться! Он загнал ее в клетку, словно какого-то кролика. А потом, тешась недоброй забавой, стал наблюдать за ее реакцией.

Но не ошибается ли она? Ведь она уже дважды обманывалась, думая, что уличила своего корреспондента.

Она не поленилась отыскать несколько старых писем Жана-Марка и сравнила их с посланиями С. Д. Б. Жан-Марк писал с легким наклоном вправо, почерк у него был сравнительно мелкий, а буквы незнакомца были куда крупнее и заваливались влево. Но именно эта бросающаяся в глаза несхожесть и выдавала подлог. Кто хочет скрыть свой собственный почерк, прежде всего меняет наклон и величину букв. Шанталь попробовала сравнить написание букв «ф», «а» и «о» у Жана-Марка и незнакомца. И убедилась, что, несмотря на различную величину, их начертание почти совпадало. Но, продолжая сравнивать их снова и снова, она лишилась первоначальной уверенности. Да что там говорить, она не графолог и не может быть уверена ни в чем.

Отобрав два письма — одно от Жана-Марка, второе от С. Д. Б., она положила их в сумочку. А что делать с остальными? Подыскать для них тайник понадежнее? Какая разница. Жан-Марк знает о них, ему известно и то, где она их хранит. Пусть думает, будто она и не подозревает о том, что находится под наблюдением. И она сложила письма в шкаф точь-в-точь так, как они лежали раньше.

Потом она позвонила в дверь кабинета графологии. Молодой человек в темном костюме встретил ее и отвел по коридору в комнату, где за столом сидел здоровяк в одной рубашке, без пиджака. Провожатый прислонился к стене в дальнем углу комнаты, здоровяк поднялся и протянул ей руку.

Затем он снова уселся и пригласил ее сесть в кресло напротив. Она положила на стол письма Жана-Марка и С. Д. Б., и пока пыталась сбивчиво объяснить графологу, что именно ей нужно, он произнес весьма официальным тоном:

— Я могу произвести для вас психологический анализ человека, в подлинности существования которого вы не сомневаетесь. Но произвести психологический анализ фальсифицированного почерка — дело трудное.

— Я не нуждаюсь ни в каком психологическом анализе. Психология человека, написавшего эти письма, если он, как я предполагаю, и в самом деле написал их, мне достаточно известна.

— Если я правильно вас понял, вы желаете с достоверностью убедиться, что человек, написавший это письмо — ваш любовник или муж, — является тем же самым лицом, которое изменило здесь свой почерк. Вы хотите его уличить.

— Это не совсем верно, — сказала она, смутившись.

— Не совсем, но почти. Но только дело в том, мадам, что я графолог-психолог, а не частный детектив, и с полицией дела не имею.

В комнате воцарилась тишина, которую не желал прервать ни один из двоих мужчин, поскольку ни один из них не испытывал к ней сострадания.

Она почувствовала, как из глубин ее существа вздымается жаркая волна, могучая, неукротимая, всеохватывающая; она покраснела, вспыхнула всем телом — с головы до ног; ей снова пришли на ум слова о карминной кардинальской мантии, потому что тело ее и впрямь облеклось в эту роскошную мантию, сотканную из языков пламени.

— Вы ошиблись адресом, мадам, — добавил человек за столом. — Мы здесь доносами не занимаемся.

Она услышала слово «доносы» — и ее огненная мантия мгновенно превратилась в позорное рубище. Она поднялась, чтобы забрать письма. Но не успела протянуть к ним руку, как молодой человек, встретивший ее у дверей, обогнул стол и, оказавшись рядом со здоровяком, принялся внимательно разглядывать оба письма.

— Ну разумеется, это одно и то же лицо, — заключил он, а потом обратился к ней: — Посмотрите на это «т», посмотрите на это «г»!

И тут она сразу узнала его: этот молодой человек был тем самым гарсоном из нормандского городка, где она ожидала Жана-Марка. И едва узнала, как из глубин ее охваченного пламенем тела донесся ее собственный удивленный голос: «Да это же все неправда! Это бред, сущий бред, такого быть не может!»

Молодой человек поднял голову, посмотрел на нее (как бы желая показать ей, что

она не ошиблась, узнав его) и произнес с улыбкой столь же вежливой, сколь и презрительной:

— Ну разумеется! Почерк один и тот же. Он только укрупнил его и наклонил влево.

Она не хотела больше ничего слышать, слово «доносы» отогнало от нее все остальные слова. Она чувствовала себя женщиной, явившейся в полицию с доносом на любимого и принесшей в качестве улики волос, найденный в постели. Забрав наконец свои письма и ни слова не говоря, она повернулась, чтобы уйти. И тут молодой человек снова переменил место: он оказался у двери и распахнул ее. Она была всего в нескольких шагах от него, но это расстояние показалось ей бесконечным. Она была вся красная, она пылала, все плыло у нее перед глазами. Стоящий перед нею человек был нахально молод и нахально пялился на ее бедное тело. Ее бедное тело! Под взглядом молодого человека оно увядало прямо на глазах, ускоренным темпом, открыто и без утайки.

Ей казалось, что повторяется ситуация, которую она пережила в кафе на берегу моря в Нормандии, когда, все с той же похабной улыбочкой, он загородил ей проход к двери и она испугалась, что ей уже не выбраться оттуда. Она ожидала, что он разыграет с нею такой же номер и сейчас, но он вежливо застыл возле двери и пропустил ее; потом она неуверенной походкой пожилой женщины поплелась по коридору к выходу (его взгляд прямо-таки повис на ее взмокшей спине) и, лишь оказавшись на лестничной площадке, поняла, что ей удалось ускользнуть от страшной опасности.

32

Почему она ни с того ни с сего покраснела, когда они шли однажды вдвоем по улице, ни слова не говоря, видя вокруг только незнакомых прохожих? Это было необъяснимо; сбитый с толку, он не смог удержаться от вопроса:

— Ты покраснела! Почему ты покраснела?

Она ничего не ответила, и ему стало не по себе при мысли, что с нею что-то творится, а он не имеет об этом никакого понятия.

Но этот эпизод словно бы вновь разжег алую заглавную буквицу в золотой книге его любви, и тогда он написал ей письмо о карминной кардинальской мантии. Продолжая играть роль Сирано, он сумел совершить величайший свой подвиг: он околдовал ее. Он гордился своим письмом, своими чарами соблазнителя, но в то же время испытывал жесточайшие муки ревности. Он сотворил фантом другого мужчины и, сам того не желая, подверг Шанталь тесту на ее восприимчивость к чужим чарам.

Его теперешняя ревность была совсем не похожа на ту, что он испытывал в юности, когда воображение раздувало в нем мучительные эротические фантазии; на сей раз она оказалась менее болезненной, но более разрушительной: потихоньку, исподволь она преображала любимую женщину в кажимость любимой женщины. И поскольку она уже не была для него существом, на которое можно положиться, он не мог нащупать ни единой устойчивой точки опоры в том лишенном ценностей хаосе, которым является мир. В присутствии Шанталь пресуществленной (или рас-существленной) им овладевало странное меланхолическое равнодушие. Равнодушие не только к ней, но и ко всему на свете. Если Шанталь — всего лишь кажимость, то кажимостью оказывалась и вся жизнь Жана-Марка.

Но в конце концов его любовь взяла верх над ревностью и сомнениями. Когда он склонялся над платяным шкафом, уставившись на стопку лифчиков, им внезапно и непонятно почему овладевало волнение. Волнение, порожденное вековечной привычкой женщин прятать письма среди своего белья, привычкой, благодаря которой Шанталь, единственная и неповторимая, занимала свое место в бесконечной череде себе подобных. Никогда он не стремился узнать о той части ее интимной жизни, которую ему не довелось с ней разделить. Так с какой же стати он должен интересоваться ею теперь, да что там интересоваться — возмущаться?

К тому же, спросил он себя, что это такое — интимная тайна? Разве в ней заключена самая индивидуальная, самая оригинальная, самая таинственная суть человека? Разве

интимные тайны превращают Шанталь в единственное на свете существо, которое он любит? Никоим образом. Тайной следует считать нечто самое общее, самое банальное, самое повторяющееся и присущее всем и каждому: тело и его потребности, его болезни и слабости, запоры, например, или месячные. И мы стыдливо скрываем эти интимные подробности не потому, что они такие уж личные, а, напротив, потому, что они жалчайшим образом безличны. Разве может он винить Шанталь за то, что она принадлежит к своему полу, походит на других женщин, носит лифчик , а вместе с ним — и психологию лифчика? Разве он сам не принадлежит к дурацкому разряду вечной мужественности? Оба они происходят из той жалкой мастерской, где их зрение было подпорчено беспорядочным движением глазного века, а в животе у них открыли крохотную зловонную фабричку. У каждого из них есть тело, в котором бедная душа занимает довольно скромное место. Так не должны ли они взаимно прощать друг другу все это? Не должны ли закрывать глаза на всякие глупые мелочи, которые они прячут в глубине своих тайников? Охваченный безмерным состраданием и желая подвести черту подо всей этой историей, он решил написать ей последнее письмо.

33

Склонившись над листком бумаги, он снова думает о том, что Сирано, которым он был (и еще остается — в последний раз), называл древом возможностей. Древо возможностей: жизнь в том виде, в каком она предстает перед удивленным взглядом человека, переступающего порог зрелости: пышная крона, полная поющих пчел. И ему кажется понятным, почему она так и не показала ему письма: ей хотелось слышать шепот дерева в одиночку, без него, ибо он, Жан-Марк, воплощал в себе утерю всех возможностей, выжимку (пусть даже удачную) собственной жизни, после которой остается одна-единственная возможность. Она не могла заговоритъ с ним об этих письмах, потому что такое признание означало бы (для нее самой и для него), что ее вовсе не интересуют возможности, предлагаемые в этих письмах, что она заранее отрекается от изображенного в них волшебного древа. Может ли он ставить ей это в вину? Ведь в конечном счете он сам пожелал, чтобы она услышала музыку певучей кроны. И она повела себя именно так, как ему хотелось. Она подчинилась ему.

Склонившись над листком, он сказал себе: нужно, чтобы отзвук этой музыки не умолкал в душе Шанталь, даже если истории с письмами придет конец. И он написал ей, что внезапная необходимость вынуждает его к отъезду. Потом уточнил свое утверждение: «В самом ли деле этот отъезд можно считать внезапным, или я писал свои письма именно потому, что знал: они останутся без продолжения? Быть может, уверенность в скором отъезде и позволила мне говорить с Вами с предельной откровенностью?»

Отъезд. Да, это единственная возможность развязки, вот только куда ехать? Он погрузился в размышления. Не упоминать о месте назначения? Это отдавало бы дешевой романтической таинственностью. Или невежливой уклончивостью. Его жизнь, разумеется, должна оставаться в тени, поэтому он не должен раскрывать перед нею причины отъезда, ведь по ним можно догадаться о воображаемой личности корреспондента, о его профессии например. И однако, было бы естественней сказать, куда он отправляется. Куда-нибудь в другой французский город? Нет, это недостаточный повод для прекращения переписки. Нужно двинуться подальше. В Нью-Йорк? В Мексику? В Японию? Это было бы довольно подозрительным. Следует придумать какой-нибудь иностранный город, который был бы в то же время близким, банальным. Лондон! Ну конечно же; это решение показалось ему столь логичным, столь естественным, что он с улыбкой подумал: я и в самом деле не могу отправиться никуда, кроме Лондона. И тут же спросил себя: отчего это Лондон кажется мне таким естественным? В голове мелькнуло воспоминание о человеке из Лондона, над которым они так часто подтрунивали вместе с Шанталь, об этом бабнике, оставившем ей свою визитную карточку. Англичанин, британец, которого Жан-Марк прозвал Британиком. Неплохо, совсем неплохо: Лондон, город похотливых грез. Именно туда и двинется неведомый поклонник, чтобы раствориться там в толпе распутников, во-

локит, наркоманов, эротоманов, извращенцев, блудодеев: там он и исчезнет навсегда.

И еще он подумал: слово «Лондон» останется в его письме чем-то вроде подписи, вроде едва уловимого намека на их беседы с Шанталь. Молчком посмеялся над самим собой: он хочет остаться неизвестным, неразгаданным, ибо этого требуют правила игры. И в то же время желание прямо противоположного свойства, желание совершенно неоправданное и не имеющее оправданий, иррациональное, тайное и уж конечно же глупое побуждало его не проходить совершенно незамеченным, оставить какой-нибудь знак, скрыть где-нибудь шифрованную сигнатуру, с помощью которой некий неведомый и невероятно проницательный изыскатель смог бы установить его личность.

Спускаясь по лестнице, чтобы бросить письмо в ящик, он услышал чьи-то крикливые голоса. А сойдя вниз, увидел женщину с тремя детьми, стоявшую перед табло со звонками. Направляясь к ящикам, висевшим напротив, он прошел мимо этой группы. А когда обернулся, увидел, что женщина нажимает на кнопку, рядом с которой значатся имена Шанталь и его самого.

— Вы кого-то ищете? — спросил он.

Женщина назвала ему фамилию.

— Это я и есть!

Она сделала шаг назад и воззрилась на него с подчеркнутым восторгом:

— Так это вы! Как я рада с вами познакомиться! Я — золовка Шанталь!

34

Он смутился; ему ничего не оставалось, кроме как пригласить их подняться.

— Я не хочу вам мешать, — объявила золовка, едва они вошли в квартиру.

— Вы нисколько мне не мешаете. К тому же Шанталь скоро подойдет.

Золовка начала распинаться, время от времени поглядывая на детей, которые вели себя тише воды, ниже травы: бессловесные, робкие, почти забитые.

— Я счастлива, что Шанталь наконец-то их увидит! — воскликнула она, гладя одного из ребятишек по головке. — Она их даже не знает, они родились после ее ухода. Она так любила детей. У нас на вилле от них проходу не было. Ее муж был довольно гнусный тип, хотя я и не должна так говорить о собственном брате, но он женился во второй раз и с тех пор у нас не появляется. — И добавила со смехом: — По правде сказать, я всегда предпочитала Шанталь ее мужу!

Она снова сделала шаг назад и смерила Жана-Марка взглядом столь же восхищенным, сколь и вызывающим:

— Наконец-то она выбрала настоящего мужчину! Я затем и приехала, чтобы сказать вам: вы будете у нас желанным гостем. Буду вам очень признательна, если вы навестите нас вместе с Шанталь. Наш дом — это ваш дом. Запомните.

— Спасибо.

— Вы ростом под потолок, ах, как мне это нравится! А мой брат ниже ростом, чем Шанталь. Мне всегда казалось, что она ему приходится не женой, а мамашей. Она звала его «моя маленькая мышка», нет, вы только подумайте, она дала ему прозвище женского рода! Я всегда представляла, — прибавила она, давясь от смеха, — как Шанталь держит его на руках и баюкает, напевая: «Моя маленькая мышка, моя маленькая мышка!»

Она прошлась по комнате, пританцовывая и делая вид, будто держит на руках ребенка, не переставая повторять: «Моя маленькая мышка, моя маленькая мышка!» Представление слегка затянулось, словно она требовала у Жана-Марка вознаградить ее улыбкой. Он через силу улыбнулся и вообразил себе Шанталь рядом с мужчиной, которого она называет «маленькой мышкой». Золовка все продолжала свою болтовню, а он никак не мог избавиться от картины, вызывающей у него дрожь омерзения: Шанталь, называющая мужчину (ниже ее ростом) «моей маленькой мышкой».

Из соседней комнаты донесся какой-то шум. Жан-Марк сообразил, что детей рядом с ними уже не было. Настоящая коварная стратегия захватчиков: пользуясь собственной неприметностью, они проскользнули в комнату Шанталь, где сначала вели себя тишком,

словно секретная армия, а потом, прикрыв за собою дверь, разбушевались вовсю, как настоящие победители.

Жан-Марк забеспокоился, но золовка успокоила его:

— Ничего страшного. Это же дети. Пусть себе играют.

— Ну конечно, — сказал Жан-Марк, — я вижу, что они играют, — и направился в шумную комнату. Золовка оказалась проворнее. Она распахнула дверь: дети превратили крутящееся кресло в карусель: один из них лежал животом на сиденье, а двое других криками выражали свой восторг.

— Они играют, говорю же я вам, — повторила золовка, прикрывая дверь. И подмигнула ему с заговорщицким видом: — Дети — они есть дети. Чего вы от них хотите? Как жаль, что Шанталь нет дома. Мне бы так хотелось, чтобы она посмотрела на них.

Шум в соседней комнате превратился в настоящий содом, но у Жана-Марка уже не было никакой охоты утихомиривать детвору. Перед глазами у него стояла Шанталь, которая среди семейной сутолоки качает на руках коротышку мужа, называя его «своей маленькой мышкой». К этой картинке присоединилась другая: Шанталь, ревниво хранящая письма от неизвестного поклонника, чтобы не погубить в зародыше возможность новых приключений. Эта Шанталь была не похожа на самое себя; эта Шанталь была не той, которую он любит; эта Шанталь была кажимостью. Странное дело: ему захотелось рвать и метать, он даже радовался детскому шуму и гаму. Ему хотелось, чтобы они разнесли вдребезги всю комнату, весь этот крохотный мирок, который он так любил и который тоже стал теперь кажимостью.

— Мой братец, — продолжала между тем золовка, — был слишком хил для нее, вы меня понимаете, хил, — она хихикнула, — во всех смыслах этого слова. — Она хихикнула еще раз. — Кстати, не могу ли я дать вам один совет?

— Если вам будет угодно.

— Совет весьма интимный!

Она приложила рот к его уху и принялась что-то говорить, но ее движущиеся губы производили столько шума, что разобрать слова было невозможно. Отодвинувшись, она хихикнула:

— Ну и что вы об этом скажете?

Он ничего не понял, но из вежливости тоже рассмеялся.

— Стало быть, это вас позабавило, — сказала золовка и сообщила: — Я могла бы вам рассказать кучу таких историй. У нас, знаете ли, нет секретов друг от дружки. Если у вас с нею возникнут проблемы, вы мне только скажите, и я мигом все улажу. — Она хихикнула: — Уж мне ли не знать, как надо с нею управляться!

А Жан-Марк думал: «Шанталь всегда отзывалась о семье золовки с неприязнью. Отчего же эта золовка проявляет к ней такую откровенную симпатию? Следует ли из этого, что Шанталь на самом деле их всех ненавидела? Но как можно ненавидеть и в то же время легко приспосабливаться к тому, что ненавидишь?»

В соседней комнате буйствовали дети, и золовка, махнув рукой в их сторону, улыбнулась:

— Вас, как я посмотрю, все это вовсе не беспокоит. В этом смысле вы похожи на меня. Вы знаете, я не могу назвать себя женщиной строгих правил, я люблю, чтобы все вокруг ходило ходуном, крутилось, вертелось, горланило во всю глотку, короче говоря, я люблю жизнь!

Перебарывая детский крик, Жан-Марк продолжал думать о своем: неужели так уж восхитительна легкость, с которой она приспосабливается к тому, что ненавидит? Неужели двуликость — это и в самом деле достоинство? Он оживился при мысли о том, что в своем рекламном агентстве она исполняет роль самозванки, шпионки, замаскированного врага, потенциальной террористки. Хотя нет, террористкой ее не назовешь; если уж пользоваться политическими терминами, она скорее коллаборационистка. Коллаборационистка, пошедшая в услужение ненавистной власти, не отождествляя себя с нею, работающая на нее, но держащаяся особняком. Когда-нибудь, выступая на суде, она скажет в свою защиту, что у нее было два лица.

35

Шанталь остановилась на пороге и простояла там добрую минуту, потому что ни Жан-Марк, ни золовка ее не замечали. Она внимала трубному гласу, который ей давно уже не приходилось слышать: «В этом смысле вы похожи на меня. Вы знаете, я не могу назвать себя женщиной строгих правил, я люблю, чтобы все вокруг ходило ходуном, крутилось, вертелось, горланило во всю глотку, короче говоря, я люблю жизнь!» Наконец золовка увидела ее:

— Шанталь, — завопила она, — какой сюрприз, ты не находишь? — и бросилась обнимать ее. Шанталь почувствовала в уголках своих губ слюну изо рта золовки.

Замешательство, вызванное появлением Шанталь, вскоре было прервано вторжением маленькой девчушки.

— А это наша крошка Коринна, — сообщила золовка, обращаясь к Шанталь, а потом велела ребенку: — Поздоровайся со своей тетей! — но ребенок не обратил ни малейшего внимания на Шанталь и заявил, что хочет пи́сать. Золовка, без малейших колебаний, словно у себя дома, вышла с Коринной в коридор и скрылась в туалете.

— Господи, — простонала Шанталь, пользуясь отсутствием золовки, — как же это они сумели нас выследить?

Жан-Марк пожал плечами. Золовка оставила открытыми двери в коридор и в туалет, так что особенно разговориться не было возможности. Они слышали, как струится моча в унитаз; этот звук смешивался с голосом золовки, то сообщавшей им подробности о своей семье, то одергивавшей писавшую девочку.

Шанталь вспоминала: однажды, проводя лето на вилле, она заперлась в туалете; внезапно кто-то дернул за ручку. Она терпеть не могла никаких переговоров через дверь уборной и поэтому промолчала. «Это Шанталь там засела», — донесся из другого конца дома чей-то голос, пытавшийся утихомирить нетерпеливого страдальца. Несмотря на это сообщение, страдалец еще несколько раз подергал за ручку, словно протестуя против молчания Шанталь.

Журчание мочи было прервано шумом спускаемой воды, а Шанталь все не могла отвязаться от мыслей об огромной бетонной вилле, где каждый звук разносился таким образом, что нельзя было догадаться, откуда он исходит. Она привыкла слышать стоны золовки при совокуплении (их ненужная звучность отдавала провокацией не столько сексуальной, сколько моральной: демонстративным отказом от любых секретов); однажды, когда до нее снова донеслись любовные вздохи, она не сразу поняла, что это хрипло дышит в другом конце гулкого дома старая бабушка, страдавшая астмой.

Золовка вернулась в гостиную. «Ступай отсюда», — велела она Коринне, которая тут же рванулась в соседнюю комнату к другим детям. Потом обратилась к Жану-Марку:

— Я не виню Шанталь за то, что она бросила моего брата. Быть может, ей нужно было сделать это и пораньше. Я виню ее за то, что она совсем нас забыла. — Тут она обернулась к Шанталь: — Как ни крути, Шанталь, но мы — изрядный кусок твоей жизни. Ты не можешь отвергнуть нас, стереть из памяти, изменить свое прошлое! Твое прошлое как было, так и есть. Ты не можешь отрицать, что была счастлива с нами. Я приехала, чтобы сказать твоему новому спутнику жизни, что вы оба всегда будете у меня желанными гостями!

Шанталь слушала ее болтовню и думала, что она слишком долго прожила в этой семье, не выказывая к ней неприязни, а посему золовка могла справедливо обижаться, что после развода она порвала с ними все связи. Почему, спрашивается, она была такой любезной и податливой, пока длился ее брак? Ей и самой непонятно было, как можно назвать ее тогдашнее поведение. Покорность? Лицемерие? Безразличие? Дисциплина?

Пока ее сын был жив, она готова была принять эту жизнь в коллективе, под неусыпным надзором, с коллективной нечистоплотностью, с обязательным оголением возле бассейна, с невинным промискуитетом, позволявшим ей догадываться по едва заметным и тем не менее убедительным следам, кто пользовался туалетом перед ней. Нравилось ли ей все это? Нет, оно вызывало у нее отвращение, но то было отвращение ровное, спокойное, молчаливое, покорное, почти миролюбивое, чуть насмешливое, но нисколь-

ко не воинственное. Если бы ее ребенок не умер, она прожила бы так до конца своих дней.

Возня в комнате Шанталь стала слышней. «Потише», — крикнула золовка, но ее голос, скорее веселый, чем раздраженный, не только не утихомирил разбушевавшуюся свору детей, а скорее присоединился к ней.

Потерявшая терпение Шанталь врывается в комнату. Детвора беснуется на креслах, но Шанталь не замечает сорванцов; словно окаменев, она смотрит на шкаф; его дверца распахнута настежь; а перед ним, на полу, раскиданы ее лифчики, трусики — и письма. Лишь через несколько секунд она замечает, что старшая девочка обмотала один из лифчиков вокруг головы: на макушке у нее торчит что-то вроде островерхой казацкой шапки.

— Нет, вы посмотрите только! — зашлась от смеха золовка, дружески обнимая Жана-Марка за плечи. — Посмотрите, посмотрите! Они устроили настоящий бал-маскарад!

Шанталь глядит на раскиданные по полу письма. Кровь приливает у нее к щекам. Всего какой-нибудь час назад она еле выбралась из кабинета графолога, где ей разве что не плюнули в лицо, а она, покраснев с ног до головы, не сумела дать им отпор. Теперь она чувствует, что ей осточертело считать себя виноватой: чего ей стыдиться смешного секрета, заключенного в этих письмах: теперь они стали для нее символом двуличности Жана-Марка, его вероломства, его измены.

До золовки дошла ледяная реакция Шанталь. Не переставая болтать и хохотать, она нагнулась к девочке, размотала лифчик и присела на корточки, чтобы собрать остальное белье.

— Нет-нет, прошу тебя, оставь, — строгим тоном сказала Шанталь.

— Как хочешь, как хочешь, я для твоего же блага старалась.

— Знаю, — сказала Шанталь, глядя на золовку, вновь положившую руку на плечо Жана-Марка; ей показалось, что они отлично подходят друг другу, составляют прекрасную пару, пару соглядатаев, пару шпионов. Нет, никакого желания закрывать дверцу шкафа она не испытывает. Она оставляет ее нараспашку, как свидетельство разграбления. Она говорит себе: это моя квартира, и мне страшно хочется остаться здесь в одиночестве, в гордом, самовластном одиночестве. Потом произносит вслух: — Эта квартира моя, и никто не имеет права открывать мои шкафы и рыться в моем белье. Никто. Я повторяю: никто.

Последнее слово относилось скорее к Жану-Марку, чем к золовке. Но чтобы как-нибудь не выдать незваной гостье свою тайну, Шанталь тут же без обиняков объявила ей:

— Прошу тебя покинуть квартиру.

— Никто и не собирался рыться в твоем белье, — отпарировала золовка, переходя к обороне.

Вместо ответа Шанталь кивком головы указала ей на раскрытый шкаф, на раскиданные по полу лифчики, трусики и письма.

— Господи, дети просто играли!— сказала золовка, и дети, почуявшие в воздухе угрозу, мгновенно смолкли, проявив немалый дипломатический такт.

— Прошу тебя, — повторила Шанталь, указав ей на дверь.

Один из ребят держал яблоко, взятое без спросу с блюда на столе.

— Положи на место,— велела ему Шанталь.

— Это чистый бред! — заорала золовка.

— Положи яблоко. Кто тебе разрешил его брать?

— Пожалела яблоко ребенку: это чистый бред!

Ребенок положил яблоко на блюдо, золовка взяла его за руку и вместе со всеми остальными ретировалась.

36

Она остается наедине с Жаном-Марком; она не видит никакой разницы между ним и теми, кого ей удалось выпроводить.

— Я чуть не забыла, — сказала она, — что когда-то приобрела эту квартиру, чтобы наконец почувствовать себя на свободе, чтобы за мною никто не смел шпионить, чтобы иметь возможность держать свои вещи там, где мне заблагорассудится, и чтобы быть уверенной в том, что они останутся лежать там, куда я их положила.

— Я тебе не раз говорил, что мое место — рядом с тем попрошайкой, а не с тобой. Я на задворках этого мира. Что же касается тебя, ты расположилась в центре.

— Ты устроился на роскошных задворках, которые к тому же ничего тебе не стоят.

— Я всегда готов покинуть мои роскошные задворки. А вот ты никогда не откажешься от своей цитадели конформизма, где обосновалась вместе со всеми твоими многочисленными лицами.

37

Минутой раньше Жан-Марк хотел все объяснить, признаться в своей мистификации, но этот обмен четырьмя репликами сделал любой диалог невозможным. Ему нечего больше сказать, ведь квартира и в самом деле принадлежит ей, а не ему; она ему заявила, что он устроился на прекрасных задворках, которые ему ничего не стоят, и это тоже правда: он зарабатывает впятеро меньше ее, и все их отношения строятся на негласном договоре, что об этом неравенстве они никогда не обмолвятся.

Они стояли лицом друг к другу, а между ними был стол. Она достала из сумочки конверт, распечатала и вытащила письмо: то самое, которое он только что написал ей, с тех пор не прошло и часа. Она и не подумала прятать его, напротив, она выставила его напоказ. И глазом не моргнув, она прочла на виду у него письмо, которое ей следовало бы держать втайне. Потом убрала его в сумочку, смерила Жана-Марка быстрым и почти безразличным взглядом и, не сказав ни слова, ушла к себе в комнату.

А он продолжал крутить в голове ее слова: «Никто не имеет права открывать мои шкафы и рыться в моем белье». Стало быть, она, бог знает как, проведала, что ему известны и эти письма, и тайник, где они хранятся. Она хочет показать ему, что обо всем этом знает и что ей это совершенно безразлично. Что она решила жить, как ей заблагорассудится, не обращая на него никакого внимания. Что впредь готова читать адресованные ей любовные письма в его присутствии. Этим безразличием она как бы предваряет отсутствие Жана-Марка. Его уже как бы нет в квартире. Она его уже выдворила.

Она долго оставалась у себя в комнате. Он слышал яростный вой пылесоса, наводящего порядок после разгрома, учиненного непрошеными гостями. Потом она пошла на кухню. А еще через десять минут позвала его. Они сели поужинать. И впервые за все время их совместной жизни ели молчком. Старались поскорее проглотить пищу, вкуса которой даже не замечали. Потом она снова удалилась к себе. Не зная, чем заняться (и неспособный заняться ничем), он напялил пижаму и улегся на широкое ложе, где обычно они были вдвоем. Время текло, а сон все не приходил. В конце концов он поднялся и приложил ухо к двери. И услышал ее ровное дыхание. Этот спокойный сон, эта легкость, с которой она заснула, оказались для него сущей пыткой. Он долго простоял так, приложив ухо к двери, и все думал, что она оказалась куда менее уязвимой, чем он предполагал. И что, быть может, он ошибся, когда-то приняв ее за более слабую сторону, а себя — за более сильную.

А на самом деле, кто из них сильнее? Когда они оба пребывали на земле любви, сильнее, наверное, был он. Но вот эта земля обрушилась у них под ногами, и теперь ничего не оставалось, как признать, что она сильна, а он слаб.

38

Лежа на своей узенькой постели, она спала вовсе не так уж мирно, как ему казалось; сон то и дело прерывался и был полон сновидениями неприятными и бессвязными, нелепыми, никчемными и удручающе эротическими. Просыпаясь после такого рода кошмаров, она всякий раз испытывала замешательство. Вот, думалось ей, и все жизнен-

ные тайны женщины, любой женщины: ночной промискуитет, делающий сомнительными все клятвы верности, всякую чистоту, всякую невинность. В наше время всему этому не придают особенного значения, но Шанталь представляла себе принцессу Клевскую, или целомудренную Виргинию Бернардена де Сен-Пьера, или святую Терезу Авильскую, или, поближе к нашим дням, Мать Терезу, которая в поте лица носится по свету ради добрых дел, — она представляла, как все они выныривают из своих ночей, словно из клоак, полных всевозможных пороков — несказуемых, невероятных, идиотских, чтобы при свете дня снова стать непорочными и добродетельными. Такой была и ее ночь: она много раз просыпалась, а снилось ей одно и то же: дикие оргии с мужчинами, которых она знать не знала и к которым не испытывала ничего, кроме отвращения.

Ранним утром, не желая больше предаваться этим гнусным наслаждениям, она встала, оделась и сложила в небольшой чемоданчик кое-какие вещи, необходимые в недолгой поездке. Окончательно собравшись, она увидела Жана-Марка: он стоял в пижаме на пороге своей комнаты.

— Куда ты? — спросил он.

— В Лондон.

— Что? В Лондон? Почему в Лондон?

Она с расстановкой ответила:

— Ты отлично знаешь, почему в Лондон.

Жан-Марк покраснел.

Она повторила:

— Ты и сам знаешь не хуже меня, — и посмотрела ему прямо в глаза. До чего же ей было приятно видеть, что на сей раз не она, а он побагровел, как вареный рак!

Красный до ушей, он промямлил:

— Нет, я не знаю, почему в Лондон.

Она сделала вид, что не замечает краски на его лице:

— У нас конференция в Лондоне, — сказала она. — Я только вчера вечером узнала. Сам понимаешь, у меня не было ни возможности, ни желания тебе об этом сообщать.

Она была убеждена, что он ей не верит, и ликовала оттого, что ее ложь оказалась такой откровенной, такой бесстыдной, наглой и враждебной.

— Я вызвала такси. Мне пора. Машина должна подойти с минуты на минуту.

Она улыбнулась ему вместо того, чтобы сказать «до свиданья» или «прощай». И в последний момент, словно помимо собственного желания, словно этот жест вырвался у нее сам собой, провела ладонью по щеке Жана-Марка; этот жест был мимолетным, мгновенным, потом она повернулась и вышла.

39

Он еще ощущал на щеке прикосновение ее руки, точнее — кончиков трех пальцев, и это было ощущение холода, будто его задела лягушка. Ее ласки всегда были неторопливыми, спокойными, ему казалось, что они как бы растягивают время. А это беглое прикосновение трех пальцев к щеке было не лаской, а напоминанием. Словно ее уносило бурей, смывало волной, и у нее хватило времени только на краткий жест, означавший: «И все-таки я была рядом с тобой! Я прошла рядом! И что бы ни случилось в грядущем, не забывай меня!»

Он машинально одевался, вспоминая о том, что они говорили по поводу Лондона. «Почему в Лондон? — спросил он у нее, и она ответила: — Ты отлично знаешь, почему в Лондон». То был внятный намек на сообщение об отъезде из его последнего письма. Это «ты отлично знаешь» значило: ты знаешь о письме. Но это письмо, которое она только что достала из ящика, не могло быть известно никому, кроме отправителя и ее самой. Иначе говоря, Шанталь сорвала маску с бедного Сирано и дала ему понять: ты сам пригласил меня в Лондон, вот я и приняла приглашение.

Но если она догадалась (господи боже, как же ей удалось догадаться), что он и есть сочинитель этих писем, почему она обошлась с ним так плохо? Почему она так жестока?

Если она догадалась обо всем, почему бы ей не догадаться и о причинах этого обмана? В чем она его подозревает? И за всеми этими вопросами маячила уверенность: он ее не понимает. Впрочем, она уж тем более ничего не поняла. Их мысли разошлись в разные стороны, и теперь ему казалось, что они больше никогда не сойдутся.

Терзавшая его боль и не думала униматься, она только бередила душевную рану, побуждала выставлять ее напоказ, как выставляют пережитую обиду. Ему не хватало терпения дождаться возвращения Шанталь, чтобы объяснить ей причины недоразумения. В душе он понимал, что это было бы единственно разумной линией поведения, но боль не желает слушать доводов разума, у нее свой собственный разум, который никак не назовешь разумным. И его неразумному разуму хотелось, чтобы по приезде Шанталь обнаружила квартиру пустой, без него, такой, какой, по ее словам, желала ее видеть она сама, — чтобы жить там одной и не подвергаться никакому шпионажу. Он сунул в карман несколько банкнот, все свое состояние, и чуть помедлил, раздумывая, брать ли с собой ключи. В конце концов оставил их на полочке у двери. Увидев их, она сообразит, что он больше не вернется. Лишь пара-тройка пиджаков и рубашек в платяном шкафу да несколько книг на стеллажах останутся здесь на память о нем.

Он вышел, совершенно не представляя, что же ему теперь делать. Главное — бросить эту квартиру, которую он больше не может называть своей. Бросить — а уж потом решать, куда двигаться дальше. Только оказавшись на улице, он заставит себя подумать об этом.

Но внизу его охватило странное ощущение — он словно бы очутился вне реальности. Пришлось остановиться посреди тротуара, чтобы найти в себе силы поразмыслить. Куда же податься? Мысли были совершенно бессвязные: Перигор, где живет часть его крестьянского семейства, — там он всегда мог рассчитывать на радушную встречу; какая-нибудь дешевенькая гостиничка в Париже. Пока он размышлял, рядом, у красного огня светофора, остановилось такси. Он поднял руку.

40

Никакое такси, разумеется, не ждало Шанталь на улице, и у нее не было ни малейшего понятия, куда идти дальше. Ее решение было чистейшей импровизацией, вызванной потрясением, которое она была не в силах перебороть. Сейчас ей хотелось только одного: не видеть Жана-Марка хотя бы сутки. Она подумала о гостиничном номере здесь, в Париже, но эта идея тут же показалась ей идиотской: что она будет делать целый день? Гулять по улицам, дышать бензинной гарью? Торчать в номере? Там тоже заняться нечем. Потом ей пришло в голову взять машину и поехать за город, все равно куда, подыскать там спокойное местечко, пожить денек-другой. Но куда?

Сама не зная как, она оказалась рядом с автобусной остановкой. Нужно бы сесть в первый попавшийся и доехать до самого конца. Подошел автобус, его маршрут лежал через Северный вокзал. Как раз оттуда идут поезда на Лондон.

Она чувствовала, что ее влечет стечение обстоятельств, и старалась внушить себе, что к ней пришла на подмогу какая-то добрая фея. Лондон: она объявила Жану-Марку, что едет туда лишь для того, чтобы он знал, что разоблачен. Сейчас ей в голову пришла другая мысль: возможно, Жан-Марк принял это заявление всерьез; в таком случае не исключено, что он будет искать ее на вокзале. К этой мысли тотчас пристроилась другая, куда более тихая, еле слышная, будто песенка крохотной пичужки: если Жан-Марк объявится там, всему этому забавному недоразумению придет конец. Мысль была словно ласка, но ласка оказалась слишком мимолетной, потому что сразу же вслед за тем она снова настроила себя против него и отринула все идеи о примирении.

Но куда же ей все-таки деться и что делать? А что, если и вправду махнуть в Лондон? Позволить своей лжи материализоваться? Она вспомнила, что в записной книжке у нее до сих пор сохранился адрес Британика. Британик: а сколько ему может быть лет? Ей было ясно, что встреча с ним маловероятна. Что с того? Тем лучше. Она приедет в Лондон, прогуляется, снимет номер в гостинице, а завтра вернется в Париж.

Потом эта мысль разонравилась ей: уходя из дому, она рассчитывала вновь обрести независимость, а на самом деле позволяет манипулировать собой какой-то неведомой и бесконтрольной силе. Решение отправиться в Лондон, подсказанное кучей нелепых случайностей, показалось ей теперь чистым безумием. Благоразумно ли думать, что этот заговор совпадений работает на нее? С какой стати считать его вмешательством доброй феи? А что, если это фея злая, вознамерившаяся ее погубить? И Шанталь дала себе обещание: когда автобус остановится у Северного вокзала, она не двинется с места; она поедет дальше.

Но когда автобус и впрямь остановился, она с удивлением обнаружила, что выходит из него. И, как заколдованная, направляется к зданию вокзала.

Оказавшись в необъятном помещении, она увидела мраморную лестницу, ведущую вверх, в зал ожидания для пассажиров, едущих в Лондон. Она захотела посмотреть расписание, но не успела этого сделать, так как услышала свое имя, сопровождаемое взрывом хохота. Остановилась — и заметила своих сотрудников, столпившихся на лестнице. Когда они поняли, что она их засекла, хохот стал еще громче. Они вели себя как школьники, которым удалась озорная выходка, потрясающий театральный номер.

— Уж мы-то знаем, что нужно сделать, чтобы ты поехала с нами! Если бы ты пронюхала, что мы здесь, ты, как всегда, придумала бы какую-нибудь отговорку! Индивидуалистка чертова! — и они снова зашлись от хохота.

Шанталь было известно, что Леруа планирует конференцию в Лондоне, но она должна была состояться только через три недели. Как же случилось, что все они оказались здесь именно сегодня? В который раз ее посетило странное чувство, что все происходящее нереально, не может быть реальным. Но это чувство изумления тут же сменилось другим: вопреки всему, что она могла бы предположить, она чувствовала себя по-настоящему счастливой в толпе коллег, была искренне благодарна им за то, что они приготовили ей такой сюрприз.

На лестнице молоденькая сослуживица подхватила ее под руку, и тут Шанталь сказала себе, что Жан-Марк только и делал, что отвлекал ее от жизни, которая должна была быть ее настоящей жизнью. В ушах звучал его голос: «Ты расположилась в центре». И еще: «Ты обосновалась в цитадели конформизма». Теперь она может ему ответить: «Да. И ты не помешаешь мне там остаться».

Молоденькая коллега, все еще держа Шанталь под ручку, потащила ее в толпе пассажиров к полицейскому посту возле другой лестницы, что вела вниз, к перрону. А она, словно в каком-то бреду, продолжала беззвучный спор с Жаном-Марком: «Какой судья постановил, что конформизм — это зло, а нонконформизм — благо? Сообразовываться с другими — значит приближаться к ним. Разве нельзя считать конформизм великим местом встреч, где все сливается воедино, где жизнь наиболее насыщенна, наиболее кипуча?»

С высоты лестницы она увидела лондонский поезд, современный и элегантный, и еще раз сказала себе: «На счастье или на горе мы родимся на этой земле, лучше всего провести земную жизнь так, как я провожу ее сейчас — увлекаемая вперед веселой и шумной толпой».

41

Усевшись в такси, он сказал: «На Северный!» — и тут его озарило: он может съехать с квартиры, может бросить ключи в Сену, но оторваться от нее у него нет сил. Искать ее на вокзале — это, конечно, дело безнадежное, но лондонский поезд был единственным указателем, который она ему оставила, и Жан-Марк был не в состоянии им пренебречь, сколь бы ничтожной ни была вероятность того, что он направит его на верный путь.

Когда он приехал на вокзал, лондонский поезд уже стоял у перрона. Прыгая через несколько ступенек, он взбежал по лестнице и купил билет; большинство пассажиров уже заняли свои места; на тщательно охраняемую платформу он сошел последним; вдоль поезда прохаживались полицейские с овчарками, обученными вынюхивать взрывчатку;

он поднялся в вагон, битком набитый японцами с фотоаппаратами на груди; отыскал свое место и сел.

Тут-то ему и бросилась в глаза вся абсурдность его поведения. Он находился в поезде, в котором, по всей вероятности, не было той, которую он искал. Через три часа он окажется в Лондоне, не ведая, зачем там оказался; денег у него было в обрез: только-только хватит на обратную дорогу. Потерянный, он поднялся и вышел на перрон, движимый смутным искушением вернуться домой. Но как войдешь в квартиру без ключей? Ведь он оставил их на полочке у двери. Малость опомнившись, он понял, что этот жест был всего лишь сентиментальной комедией, которую он разыграл сам с собой: у привратницы внизу есть дубликаты ключей и она, естественно, даст ему свои. Он нерешительно посмотрел в конец перрона и увидел, что все выходы уже закрыты. Спросил у полицейского, как пройти в город; тот объяснил ему, что это невозможно; из соображений безопасности поезд покидать нельзя; каждый пассажир должен оставаться на своем месте как живая гарантия того, что он не подложил в поезд бомбу; вокруг полным-полно террористов мусульманских и террористов ирландских; они спят и видят, как бы устроить жуткий взрыв в туннеле под Ла-Маншем.

Он вернулся в вагон, женщина-контролер улыбнулась ему, весь вагонный персонал тоже улыбнулся, и тогда он сказал себе: делать нечего, такими бесчисленными натянутыми улыбками и сопровождается эта ракета, запущенная в туннель смерти, ракета, битком набитая поборниками скуки, американскими, немецкими, испанскими, корейскими туристами, готовыми рискнуть своей жизнью в этой великой битве. Он сел, а как только поезд тронулся, вскочил и пустился на поиски Шанталь.

Вошел в вагон первого класса. С одной стороны коридора кресла стояли в один ряд, с другой — в два; посреди вагона они были обращены одно к другому, так что сидящие в них пассажиры могли вести шумные беседы. Среди них была и Шанталь. Он увидел ее со спины, но тут же узнал бесконечно трогательную и почти забавную форму головы с вышедшим из моды шиньоном. Сидя у окна, она участвовала в оживленной беседе; ее собеседниками были, по всей видимости, сотрудники по агентству; стало быть, она не солгала? Сколь невероятным это ни кажется, она все-таки не солгала.

Он замер на месте; до него то и дело доносились взрывы смеха, среди которых он различал и смех Шанталь. Ей было весело. Да, ей было весело, и это ранило его. Он смотрел на ее оживленную жестикуляцию, какой он раньше за ней не замечал. Он не слышал того, что она говорила, но видел руку, то энергично взлетавшую вверх, то опускавшуюся, невозможно было ее узнать: рука эта принадлежала кому-то чужому; он не думал, что Шанталь его предала, тут было что-то другое: ее вроде бы больше для него не существовало, она ушла куда-то далеко, в другую жизнь, где если он и встретит ее, то все равно не узнает.

42

— Да как же мог троцкист стать верующим? — воинственным тоном воскликнула Шанталь. — Где тут логика?

— Дорогая моя, вам известна знаменитая формула Маркса: изменить мир?

— Разумеется.

Она сидела у окна, лицом к самой старшей из своих сотрудниц по агентству, изысканной даме с пальцами в перстнях; устроившийся рядом с дамой Леруа продолжал:

— Так вот, наш век заставил нас понять потрясающую истину: человек не способен изменить мир и никогда его не изменит. Таково фундаментальное заключение моего революционного опыта. Заключение, впрочем, молчаливо одобряемое всеми. Но есть и другая истина, куда более глубокая. Это истина богословского порядка, и она гласит: человек не имеет права изменять того, что сотворено Богом. И сей запрет нужно соблюдать до конца.

Шанталь смотрела на него с восхищением: он говорил не как учитель, а как провокатор. Что ей нравилось больше всего — так это сухой тон этого человека, который умуд-

рялся превращать в провокацию все что ни делал, в лучших традициях революционеров или авангардистов; он никогда не забывал «эпатировать буржуа», даже если изрекал самые банальные истины. Впрочем, разве самые подстрекательские истины («буржуев — на фонарные столбы!») не становятся самыми банальными, когда их носители приходят к власти? Банальность способна в любой момент стать провокацией, а провокация — банальностью. Самое главное — стремление довести до конца любую установку. Шанталь отлично представляла себе Леруа на бурных сходках студенческого бунта 1968 года, вполне интеллигентным образом, сухо и логично изрекающим сентенции, все здравые возражения против которых были заранее обречены на разгром: буржуазия не имеет права на жизнь; искусство, непонятное рабочему классу, должно исчезнуть; наука, служащая интересам буржуазии, бессмысленна; преподавателей нужно выгнать из университетов; противников свободы нельзя оставлять на свободе. И чем более абсурдной была изрекаемая им фраза, тем больше он ею гордился, ибо только великий ум способен придать логический смысл бессмысленным идеям.

— Не спорю,— ответила Шанталь, — я тоже думаю, что любые перемены ведут только к худшему. Во всяком случае, наш долг — уберечь мир от перемен. Но, увы, мир не в состоянии приостановить безумную гонку своих изменений...

— В которых человек играет роль простого инструмента, — прервал ее Леруа. — Изобретение паровоза таит в себе, как в зародыше, план самолета, а тот в свою очередь неотвратимо ведет к созданию космической ракеты. Такого рода логика содержится в самих вещах, иными словами, она составляет часть божественного предначертания. Вы можете полностью заменить нынешнее человечество каким-то другим, но эволюция, ведущая от велосипеда к ракете, останется неизменной. Ведь человек — не творец, а только пособник этой эволюции. Можно даже сказать — жалкий пособник, ибо ему неведома суть того, чему он пособляет. Эта суть принадлежит не нам, а только Богу, и мы живем на свете лишь затем, чтобы повиноваться Ему, а Он мог делать все, что Ему заблагорассудится.

Она прикрыла глаза: сладостное слово «промискуитет» пришло ей на ум и заполнило его до краев; она тихонько произнесла про себя: «промискуитет идей». Каким это образом два столь несхожих понятия могут умещаться в одной голове, словно две любовницы в одной постели? В прежнее время такой вопрос мог бы почти возмутить ее, а сейчас прямо-таки очаровал: сейчас она знает, что разница между тем, что Леруа говорил когда-то, и тем, что он вещает теперь, не имеет ни малейшего значения. Потому что все идеи стоят одна другой. Потому что все утверждения и выступления равноценны, им бы только тереться друг о друга, скрещиваться, ласкаться, сливаться, сплетаться, трепыхаться, совокупляться.

В это время напротив Шанталь раздался приятный, хотя и чуть дребезжащий голос:

— Но зачем же в таком случае мы существуем в сем дольнем мире? Зачем мы живем?

Это был голос изысканной дамы, сидевшей рядом с Леруа, к которому она относилась с обожанием. Шанталь вообразила, что начальник окружен сейчас двумя женщинами, между которыми он должен выбирать: дамой романтичной и дамой циничной; она услышала умоляющий голосок той из них, которая не хочет отрекаться от своих прекраснодушных взглядов и в то же время (согласно фантазии Шанталь) защищает их с тайной надеждой, что они будут попраны ее демоническим кумиром, который как раз в этот момент к ней обернулся:

— Зачем мы живем? Чтобы поставлять Господу плоть человеческую. Ибо Священное Писание не требует от нас, дорогая моя, искать смысл жизни. Оно требует, чтобы мы плодились. Любитесь и плодитесь. Раскиньте-ка умом: смысл этого «любитесь» определен словом «плодитесь». Стало быть, повеление «любитесь» никоим образом не означает любви харистической, сострадательной, духовной или чувственной, оно значит просто-напросто: «занимайтесь любовью!», «совокупляйтесь!» (он подбавил в свой голос побольше меду и наклонился к ней поближе)... «трахайтесь!» — Дама смотрела ему в глаза с покорностью преданной ученицы. — В этом и только в этом состоит смысл человеческой жизни. Все остальное — сущий вздор.

Рассуждения Леруа были жесткими, словно бритва, и Шанталь не взялась бы оспа-

ривать их: любовь как взаимоэкзальтация двух личностей, любовь как верность, страстная привязанность к одному-единственному лицу — нет, такого на свете не существует. А если и существует, то лишь в виде самовнушения, добровольного самоослепления, бегства в монастырь. Шанталь сказала себе, что если любовь и существует, то она не имеет права на существование, и эта мысль вовсе не огорчила ее, а, напротив, исполнила ликованием. Она подумала о метафоре розы, чей аромат пронизывает всех на свете мужчин, и сказала себе, что до сих пор она жила в любви словно в заключении, а теперь готова повиноваться мифу розы и слиться с ее хмельным ароматом. Дойдя до этого пункта своих размышлений, она вспомнила о Жане-Марке. Остался ли он дома? Ушел ли? Она спрашивала себя об этом совершенно бесстрастно, как если бы задавалась вопросом, идет ли дождь в Риме и стоит ли хорошая погода в Нью-Йорке.

И все же, сколь ни безразличным было ей воспоминание о Жане-Марке, оно заставило ее повернуть голову. В глубине вагона она увидела человека — он тут же повернулся к ней спиной и прошел в соседний вагон. Ей показалось, что это был Жан-Марк, пытающийся скрыться от ее взгляда. Но так ли было на самом деле? Вместо того чтобы ломать себе голову над этим вопросом, она поглядела в окно: пейзаж становился все более и более удручающим, поля — все более серыми, на них все чаще торчали металлические башни и бетонные строения за колючей проволокой. Голос из громкоговорителя объявил, что через несколько секунд поезд войдет в туннель. Перед нею и в самом деле разверзлась круглая и черная дыра, куда, подобно змею, скользнул состав.

43

— Мы спускаемся, — проговорила изысканная дама, и в ее голосе прозвучало боязливое возбуждение.

— В ад, — добавила Шанталь, полагавшая, что Леруа был бы не прочь иметь подле себя даму еще более наивную, еще более впечатлительную, еще более боязливую. Теперь она чувствовала себя его демонической сообщницей. В голову ей пришла веселенькая идея: привести эту изысканную и целомудренную даму к нему в постель, которая грезилась ей не в каком-нибудь шикарном лондонском отеле, а на помосте среди языков пламени, стонов, клубов дыма и дьявольских игр.

В окно больше не на что было смотреть, поезд мчался по туннелю, и ей казалось, что он уносит ее от золовки, от Жана-Марка, от всякой слежки, всякого шпионажа, уносит прочь от собственной жизни, которая липла к ней, давила на нее; в памяти всплыли слова «пропавшие бесследно», и она поразилась тому, что путь к исчезновению оказался вовсе не тягостным, а приятным и радостным, ибо свершался под эгидой мифологической розы.

— Мы спускаемся все глубже и глубже, — с дрожью в голосе заметила дама.

— Туда, где находится истина, — уточнила Шанталь.

— Туда, — подхватил Леруа, — где находится ответ на ваш вопрос: зачем мы живем? в чем суть нашей жизни? — Он уставился на даму: — Суть жизни — это продление жизни; это роды и то, что предшествует родам, сиречь соитие, и то, что предшествует соитию, то есть поцелуйчики, волосы, ласкаемые ветром, трусики, хорошо скроенные лифчики, а потом то, что делает людей способными к соитию, то есть жратва — я имею в виду не хорошую кухню, это штука излишняя, и до нее теперь никому дела нет, а простую жратву, что покупают все на свете, а вместе со жратвой и дефекация, ибо вам ли не знать, моя дражайшая и обожаемая дама, сколь важное место в нашем деле занимает реклама туалетной бумаги и подгузников? Туалетная бумага, подгузники, стирка, жратва. Вот священный круг, предначертанный для человечества, и наша задача состоит не только в том, чтобы обозначить, установить и ограничить этот круг, но и чтобы сделать его как можно более прекрасным, превратить его в некий ангельский хорал. Нашими стараниями туалетная бумага выпускается почти исключительно розового цвета, что следует считать высокопоучительным фактом, над коим, моя дорогая и впечатлительная дама, я и советую вам хорошенько поразмыслить.

— Но ведь все это тщета, тщета, — воскликнула дама таким трепетным голосом, будто ее только что изнасиловали, — это же приукрашенная тщета! Мы занимаемся тем, что приукрашиваем тщету!

— Совершенно верно, — подтвердил Леруа, и Шанталь услышала в этом «совершенно верно» отголосок наслаждения, которое доставила ему жалоба почтенной дамы.

— Но где же в таком случае величие жизни? Если мы обречены на жратву, соития и туалетную бумагу, то кто мы такие? И если нас хватает только на это, вправе ли мы гордиться званием свободных существ, которое нам приписывают?

Шанталь посмотрела на даму и подумала, что та — вожделенная жертва обычнейшей групповухи. Она представила себе, как ее раздевают, ввергают ее немолодые и почтенные телеса в общий круг и заставляют громким и жалобным голосом повторять свои наивные истины перед бесстыдно трахающейся компанией...

— О какой свободе вы говорите? — прервал фантазии Шанталь Леруа. — Прозябая в своей тщете, вы вольны быть несчастной или счастливой. В этом выборе и состоит ваша свобода. Вы вольны растворить вашу индивидуальность в котле множества с чувством поражения или с ощущением эйфории. Наш выбор, моя дорогая, это эйфория.

Шанталь почувствовала, как на ее лице прорисовывается улыбка. Она распрекрасно усекла то, что сказал Леруа: наша единственная свобода — в возможности выбора между горечью и наслаждением. Пусть наш удел — осознание ничтожности всего, что нас окружает, но мы не должны ощущать его как изъян, мы должны научиться извлекать из него удовольствие. Она смотрела на невозмутимое лицо Леруа, лучившееся умом, столь же чарующим, сколь и извращенным. Она смотрела на него с симпатией, но безо всякого вожделения, повторяя про себя (и как бы махнув рукой на свое предыдущее видение), что он уже давным-давно претворил всю свою мужскую энергию в беспощадную логику, в абсолютную власть над своим рабочим коллективом. Она представила себе их прибытие на вокзал: пока Леруа будет по-прежнему нагонять своими речами дрожь на даму, которая его обожает, она потихоньку шмыгнет в телефонную будку, а потом и вовсе оторвется ото всех.

44

Японцы, американцы, русские, все с фотоаппаратами на груди, повалили из поезда, и Жан-Марк изо всех сил старался не потерять Шанталь из виду. Широкий людской поток внезапно сужался, уносимый эскалатором куда-то под платформу. У подножия эскалатора, в холле, люди с кинокамерами в сопровождении толпы зевак перегородили течение потока. Пассажирам пришлось остановиться. Послышались аплодисменты и крики, с соседнего эскалатора сходила вереница детей. У всех на головах были шлемы разных расцветок, словно у членов спортивной команды, маленьких мотоциклистов или лыжников. Их-то и примчались снимать киношники. Жан-Марк встал на цыпочки, чтобы разглядеть Шанталь поверх голов. И наконец увидел ее. Она стояла в телефонной будке по другую сторону детской колонны, с кем-то разговаривала. Жан-Марк попробовал пробиться к ней. Толкнул владельца кинокамеры, который в сердцах дал ему пинок ногой. Жан-Марк двинул его локтем так, что тот едва не выронил свой аппарат. Подоспевший полицейский попросил Жана-Марка потерпеть, пока не кончится съемка. И вот тут-то его взгляд на две-три секунды встретился со взглядом Шанталь, выходящей из кабины. Он снова бросился расчищать себе дорогу в толпе. Но полицейский так вывернул ему руку, что Жан-Марк скрючился от боли и потерял Шанталь из виду.

Лишь когда мимо прошагал последний малыш в шлеме, полицейский ослабил хватку и выпустил свою жертву. Жан-Марк посмотрел в сторону телефонной будки, но там было пусто. Возле него остановилась группа французов; он узнал сослуживцев Шанталь.

— А где Шанталь? — спросил он у какой-то девушки.

— Вам виднее, — ответила та укоризненным тоном. — Ей было так весело! Но когда мы вышли из вагона, она куда-то пропала!

Другая девушка, этакая толстушка, не старалась скрыть раздражения:

— Я вас видела в поезде. Вы еще делали ей знаки. От меня не скроешься! Это вы все испортили.

— Пошли! — прервал их голос Леруа.

— А как же Шанталь? — спросила первая девушка.

— У нее есть адрес.

— Этот господин тоже ее ищет, — сказала изысканная дама с перстнями на пальцах.

Жану-Марку было известно, что Леруа знает его в лицо, да и сам знал его.

— Добрый день, — обратился он к нему.

— Добрый день, — отозвался Леруа и улыбнулся. — Я видел, какую кашу вы заварили. Один против всех.

Жану-Марку почудилась теплота в его голосе. В эту отчаянную минуту она была словно протянутая ему рука помощи; словно искра, готовая разгореться в пламень дружбы, бескорыстной дружбы двух мужчин, готовых помочь друг другу просто так, лишь в силу взаимной симпатии. Эта теплота была как сбывшийся наяву добрый сон.

Преисполнившись доверия к Леруа, он попросил:

— Вы не могли бы мне сказать, в какой гостинице остановились? Я позвонил бы и узнал, там ли она.

Помолчав, Леруа осведомился:

— А она сама вам не сказала?

— Нет.

— В таком случае, прошу прощения, — вежливо и почти с сожалением произнес Леруа, — и я не могу вам этого сказать.

Искра вспыхнула и погасла, а Жан-Марк тут же почувствовал боль в плече, едва не вывихнутом стараниями полицейского. Вновь оставшись в одиночестве, он вышел из здания вокзала. И, не зная куда податься, побрел наугад по улицам.

На ходу он достал из кармана деньги и еще раз пересчитал их. На обратную поездку хватало, но и только. Нужно решиться и ехать немедленно. К вечеру он будет в Париже. И разумеется, это было бы наилучшим решением. Что ему тут делать? Делать ему тут ровным счетом нечего. И однако, уехать он не мог. И никогда не решится уехать. Как покинешь Лондон, если Шанталь в нем остается?

Но поскольку деньги нужны ему на обратный билет, он не может снять номер в гостинице, не может разориться на еду, даже на какой-нибудь бутерброд. А где ему прикажете ночевать? Он внезапно осознал, что его положение наконец-то подтверждает то, о чем он так часто говорил Шанталь: по истинному своему призванию он не кто иной, как маргинал, отщепенец, живший, правду сказать, в свое удовольствие, но только благодаря временному и зыбкому стечению обстоятельств. И вот он внезапно стал самим собой, вернулся в соприродную ему среду — среду бедняков, не имеющих даже крыши над головой.

Он вспомнил о своих спорах с Шанталь, и его охватило ребяческое желание увидеть ее прямо сейчас единственно для того, чтобы сказать ей: наконец-то ты понимаешь, что все это не было притворством, что я и на самом деле такой: маргинал, бездомный босяк, клошар.

45

Наступил вечер, сразу похолодало. Он свернул на улицу, по одной стороне которой стояли дома, а по другую виднелся парк за черной оградой. На дорожке вдоль ограды парка стояла деревянная скамья; он сел на нее. Он чувствовал себя усталым, ему хотелось лечь на скамью и вытянуться во весь рост. Вот так это и начинается, подумалось ему. В один прекрасный день забираешься с ногами на скамью, а потом, когда приходит ночь, засыпаешь. В один прекрасный день оказываешься среди бродяг и сам становишься бродягой.

Вот почему он изо всех сил старался перебороть усталость и сидел прямо, как от-

личник в классе. Позади него темнел парк, а перед ним, по ту сторону дороги, стояли дома, совершенно одинаковые, белые, трехэтажные, с двумя колоннами у дверей и четырьмя окнами на каждом этаже. Он внимательно оглядывал каждого из проходивших по этой малолюдной улице. Он решил сидеть так до тех пор, пока не увидит Шанталь. Что ему еще оставалось сделать для нее, для них обоих? Только ожидать.

Внезапно, метрах в тридцати справа, зажглись все окна одного из домов, а изнутри кто-то задернул красные занавески. Жан-Марк подумал было, что там затеяла пирушку какая-нибудь веселая компания. Но удивительно, как это он не заметил гостей, входящих в дом; неужели все собрались там уже давно и только теперь решили включить свет? А может быть, он, сам того не заметив, заснул и прозевал сбор приглашенных? Господи боже, а что, если он вот так, во сне, проворонил и Шанталь? И тут же его как молнией поразила мысль о задуманной здесь оргии; он вспомнил слова «ты сам отлично знаешь, почему в Лондон», и это «ты сам отлично знаешь» внезапно открылось перед ним в совершенно ином свете: Лондон — это город англичанина, британца, Британика; это ему она звонила с вокзала, это ради встречи с ним она оторвалась от Леруа, от своих коллег, ото всех.

Его охватило чувство ревности, непомерной и мучительной, совсем не той абстрактной, ментальной ревности, какую он испытывал, когда, стоя перед открытым шкафом, задавался чисто теоретическим вопросом о том, способна ли Шанталь ему изменить, — нет, то была ревность, которую он знавал в пору юности, — пронзительная, болезненная, невыносимая. Он представил себе, как Шанталь отдается другим, отдается покорно и самозабвенно, и почувствовал, что не в силах больше сдержаться. Вскочил, и помчался к дому. Его совершенно белую дверь освещал фонарь. Он повернул ручку, дверь открылась, он вошел, увидел лестницу, застланную красным ковром, услышал шум голосов, поднялся до просторной площадки второго этажа, во всю ширину занятой длинной вешалкой, на которой висели не только плащи, но и (сердце его снова дрогнуло) женские платья и мужские рубашки. Вне себя от бешенства, он проскочил весь этот гардероб и очутился перед большой двустворчатой дверью, тоже белой, и тут чья-то тяжелая ладонь опустилась на его ноющее плечо. Он обернулся и почувствовал у себя на щеке дыхание какого-то здоровяка в тенниске и с наколками на руках, который что-то говорил ему по-английски.

Он попытался стряхнуть с себя эту ладонь, все больнее сжимавшую его плечо и толкавшую его к лестнице. Там, пытаясь хоть как-то освободиться, он споткнулся и лишь в самый последний момент сумел уцепиться за перила. Чувствуя себя побежденным, он медленно заковылял вниз. Тип с наколками шагал вслед, и когда Жан-Марк в нерешительности замер перед дверью, прокричал ему что-то по-английски и взмахом руки велел убираться.

46

Образ групповухи преследовал Шанталь уже давно, он присутствовал в ее смутных снах, в воображении и даже в разговорах с Жаном-Марком, который в один прекрасный (и такой теперь далекий) день признался ей: я был бы не прочь в ней поучаствовать, но при одном условии — чтобы в решающий миг все присутствующие превратились в животных, кто в овечку, кто в корову, кто в козу, а вся эта дионисийская оргия обернулась бы пасторалью, где мы одни останемся людьми среди скотов, словно пастух с пастушкой. (Эта идиллическая фантазия немало позабавила ее: бедные распутники спешат в дом порока, не зная, что им придется покинуть его в виде коров.)

Ее окружало скопище голых людей, и в этот миг она охотно предпочла бы людям овечек. Ей никого больше не хочется видеть, и она закрывает глаза: но и за сомкнутыми веками она продолжает их видеть, от них некуда деваться, от них и от их органов, которые то встают, то поникают, то поникают, то вздуваются, то съеживаются. Это было похоже на поле, среди которого корчатся земляные черви — распрямляются, изгибаются, скручиваются, опадают. Потом земляных червей сменяют змеи; зрелище отвратительное, но

в то же время возбуждает. Вот только возбуждение это не подталкивает ее снова заняться любовью, как раз наоборот, чем сильнее она возбуждена, тем большее отвращение испытывает к собственному возбуждению, внушающему ей мысль, что ее тело принадлежит не ей самой, а этому мерзкому полю с червяками и змеями.

Она открывает глаза: из соседней комнаты появляется какая-то женщина, она застывает у распахнутой настежь двери и, словно желая вырвать Шанталь из этого мужевидного морока, из этого царства земляных червей, окидывает ее обольстительным взглядом. Она высока, прекрасно сложена, белокурые пряди обрамляют чарующее лицо. В тот самый миг, когда Шанталь уже готова ответить на ее безмолвный призыв, белокурая красавица округляет губки и выпускает из них струйку слюны; Шанталь видит ее рот словно в сильную лупу, под большим увеличением: слюна белая и полная воздушных пузырьков; женщина то выпускает, то вбирает эту слюнную пену, будто завлекая Шанталь, обещая ей блаженство нежных и влажных поцелуев, во время которых одна из них растворится в другой.

Шанталь смотрит на слюну, искрящуюся, дрожащую, переливающуюся на губах, и ее отвращение сменяется приступом тошноты. Она поворачивается, чтобы потихоньку улизнуть. Но блондинка, подкравшись из-за спины, хватает ее за руку. Шанталь вырывается и делает несколько шагов, пытаясь скрыться. И, снова чувствуя на себе руку блондинки, бросается бежать. За ее спиной слышится дыхание преследовательницы, которая, надо думать, принимает ее бегство за эротическую игру. Шанталь попадает в ловушку: чем отчаяннее становятся ее попытки ускользнуть, тем сильнее возбуждается блондинка, к которой присоединяются другие загонщики, преследующие ее, словно дичь.

Она выбегает в коридор, все еще слыша за собой шаги. Гонящиеся за ней тела столь гадки, что ее отвращение превращается в ужас: она мчится так, словно спасает собственную жизнь. Длинный коридор заканчивается раскрытой дверью, за ней небольшое помещение, выложенное плиткой, с дверцей в углу; она распахивает ее и захлопывает за собой.

В полной темноте прислоняется к стене, чтобы перевести дыхание; потом, пошарив вокруг двери, включает свет. Похоже, это клетушка уборщицы: пылесос, метлы, тряпки. На куче тряпья, свернувшись в клубок, лежит пес. Не слыша больше никаких голосов снаружи, она говорит себе: вот и настала пора зверей, я спасена. И громко спрашивает пса:

— Ты кто из этих мужчин?

И тут же приходит в замешательство от собственных слов. Господи, спрашивает она себя, откуда ко мне пришла мысль, будто в конце групповухи люди становятся зверями? Да, это странно: она уже не может припомнить, откуда взялась эта мысль. Роется в памяти, но ничего там не обнаруживает. Никакого конкретного воспоминания, только легкое загадочное впечатление, невыразимо благодатное, словно невесть откуда взявшаяся подмога.

Дверь неожиданно и резко отворяется. Входит небольшого росточка черная женщина в зеленой кофте. Без удивления окидывает Шанталь беглым взглядом, в котором сквозит презрение. Шанталь отступает в сторону, чтобы дать ей возможность забрать большой пылесос и вместе с ним убраться из каморки.

И оказывается рядом с псом, который ощеривает клыки и ворчит. Ее снова охватывает ужас; она выходит.

47

Шанталь очутилась в коридоре, преследуемая одной-единственной мыслью: найти лестничную площадку, где на металлической вешалке осталась ее одежда. Но сколько она ни крутила дверные ручки, все двери оказались запертыми на ключ. Наконец одна большая дверь подалась, она вошла в зал; он показался ей диковинно большим и пустым. Черная женщина в зеленой кофте уже принялась за работу, орудуя своим огромным пылесосом. Из всей вечерней компании осталось всего несколько господ, они стояли и

негромко разговаривали; все они были одеты и не обращали никакого внимания на Шанталь, которая, сознавая свою внезапно ставшую неуместной наготу, поглядывала на них с некоторым смущением. Еще один господин лет семидесяти в белом утреннем халате и домашних туфлях подошел к ним и присоединился к разговору.

Она ломала себе голову, как бы отсюда выбраться, но в этой изменившейся атмосфере, в этом неожиданном малолюдье расположение комнат тоже вроде бы изменилось, и она никак не могла разобраться в нем. Увидела широко открытую дверь в соседнюю комнату, где блондинка со слюной на губах пыталась ее искушать; прошла в нее; комната была пуста; она остановилась и поискала взглядом другую дверь; таковой не оказалось.

Она вернулась в зал и заметила, что господа уже отбыли. Ах, быть бы ей хоть немного повнимательней! Тогда она могла бы уйти вместе с ними! Только семидесятилетний старик еще оставался в зале. Их взгляды встретились, и Шанталь узнала его; внезапно преисполнившись восторженного доверия, она подошла к нему:

— Я вам звонила, помните? Вы пригласили меня к себе, но когда я приехала, вас не оказалось дома!

— Знаю, знаю, но вы уж меня простите, я больше не участвую в этих детских забавах, — ответил он любезно, но не задерживая на ней внимания. Подошел к окнам и одно за другим распахнул их. В зал ворвался сильный сквозняк.

— Так приятно встретить здесь хоть кого-то знакомого, — взволнованно сказала Шанталь.

— Нужно выветрить всю эту вонь.

— Скажите мне, где найти лестницу? Там все мои вещи.

— Потерпите немножко, — отозвался он и направился в угол, где стоял всеми забытый стул, принес его и предложил: — Присядьте. Я займусь вами, как только освобожусь.

Теперь стул торчит посреди зала. Она послушно садится. Старик подходит к черной женщине и вместе с нею скрывается в соседней комнате. Оттуда теперь доносится гудение пылесоса; сквозь него пробивается голос старика, отдающего какие-то приказания, потом слышится стук молотка. Молоток? — удивляется она. Кто же здесь работает молотком? Она никого не видела! Значит, кто-то пришел. Но через какую дверь он сюда проник?

Сквозняком взметает красные занавески на окнах. Шанталь, сидящая на стуле голышом, начинает зябнуть. Снова слышатся удары молотка, и, охваченная внезапным ужасом, она соображает: да они же заколачивают все двери! Ей никогда не выбраться отсюда! Ее охватывает чувство страшной опасности. Она вскакивает со стула, делает два-три шага, но, не зная, куда идти дальше, останавливается. Нужно бы позвать на помощь. Но кто может ее спасти? В этот жуткий миг у нее перед глазами мелькает образ человека, который в одиночку идет против толпы, лишь бы пробиться к ней. Кто-то заламывает ему руку за спину. Она не видит его лица, только скрюченное в три погибели тело. Господи боже, нужно бы вспомнить, кто он такой, представить себе его черты, но у нее ничего не получается, она знает лишь, что этот человек ее любит, и теперь это единственное, что для нее важно. Она видела его в этом городе, он где-то здесь, неподалеку. Ей нужно поскорее отыскать его. Но как это сделать? Двери заколочены. Она переводит взгляд на красную занавеску, вьющуюся над окном. Окна! Они же открыты! Нужно подойти к окну! Окликнуть кого-нибудь на улице! Или даже спрыгнуть вниз, если окно не слишком высоко. Снова удар молотка. И еще один. Сейчас или никогда. Время работает против нее. Нельзя упускать последнюю возможность.

48

Он вернулся к скамейке, еле видной в темноте между двумя фонарями, единственными на этой улице и стоящими далеко один от другого.

Сделал попытку сесть — и услышал ворчание. Подскочил как ужаленный; бродяга, тем временем занявший скамейку, послал его куда подальше. Жан-Марк без возражений удалился. Все в порядке, сказал он себе, таков мой новый статут; я должен биться даже за тот жалкий уголок, где мог бы переночевать.

Он остановился там, где на другой стороне дороги, напротив него, подвешенный между двумя колоннами фонарь освещал белую дверь дома, откуда его только что выставили. Сел прямо на тротуар и прислонился к решетке, окружавшей парк.

Потом начал моросить мелкий дождь. Он поднял воротник куртки, не отрывая глаз от дома.

Внезапно одно за другим отворяются окна. Раздернутые занавески колышатся под сквозняком, позволяя ему видеть белый освещенный потолок. Что все это может означать? Что пирушка закончена? Но ведь из дома никто не выходил! Всего несколько минут назад он корчился на угольях ревности, а теперь им владел один только страх, страх за Шанталь. Он готов был сделать для нее все, но не знает, что именно нужно сделать, и это было невыносимо: он не представляет себе, как ей помочь, и в то же время сознает, что только он один может помочь ей, он, он один, потому что у нее нет больше никого на свете, никого на всем белом свете.

Не вытирая мокрого от слез лица, он поднимается, делает несколько шагов к дому и громко зовет ее по имени.

49

Держа в руках другой стул, старик останавливается перед Шанталь:

— Куда это вы направляетесь?

Застигнутая врасплох, она смотрит на него с удивлением, и в этот миг величайшей растерянности неистовая волна жара взметается из глубин ее существа, захлестывает живот и грудь, покрывает лицо. Вся она пылает. Она совершенно нагая, с ног до головы красная, и мужской взгляд, устремленный на ее тело, принуждает ее ощущать каждую частицу своей обжигающей наготы. Машинальным жестом она кладет руку на грудь, как бы пытаясь ее заслонить, но пламя, бушующее внутри, стремительно пожирает ее храбрость и бунтарский порыв. Внезапно она чувствует себя уставшей. Внезапно она чувствует себя слабой.

Он берет ее за руку, подводит к стулу, а сам усаживается напротив. Так они и сидят лицом к лицу напротив друг друга посреди пустого зала.

Холодный сквозняк обдает покрытое испариной тело Шанталь. Она вздрагивает и ломким, умоляющим голосом спрашивает:

— Отсюда нельзя выбраться?

— А почему бы вам не остаться вместе со мной, Анна? — в свой черед спросил старик укоризненным тоном.

— Анна? — она леденеет от ужаса. — Почему вы зовете меня Анной?

— Но разве это не ваше имя?

— Я никакая не Анна!

— Для меня вы всегда были Анной!

Из соседней комнаты донеслось еще несколько ударов молотка; он повернул голову в ту сторону, как бы раздумывая, не вмешаться ли. Она воспользовалась этой заминкой, чтобы попытаться понять: она и без того голая, а они все продолжают раздевать ее. Раздевать так, чтобы у нее не осталось собственного «я». Раздевать так, чтобы у нее не осталось собственной судьбы! Назвав ее другим именем, они бросят ее среди незнакомых людей, которым она никогда не сможет объяснить, кто она такая.

Нет надежды выбраться отсюда. Двери заколочены. Ей нужно начать с самого малого — с начала. Начало — это ее имя. Она хочет малой малости, самого необходимого — чтобы стоящий напротив дома человек позвал ее по имени, произнес ее подлинное имя. Это — первое, что она у него попросит. Что она потребует. Но едва наметив себе эту цель, она обнаруживает, что ее имя как бы заблокировано у нее в голове; она не в силах его вспомнить.

Это приводит ее в дикую панику, но она знает, что на карту поставлена ее жизнь, и чтобы защищаться, чтобы сражаться, ей во что бы то ни стало необходимо снова обрести хладнокровие; отчаянно пытаясь сосредоточиться, она силится вспомнить; при кре-

щении ей дали три имени, да-да, три, хотя носила она только одно, это ей известно, но какое из этих трех имен она сохранила? Боже мой, она должна была слышать его тысячи раз!

Вновь мелькнула мысль о человеке, который ее любил. Если бы ей удалось вспомнить его лицо, она, возможно, представила бы себе и губы, произносящие ее имя. Это кажется ей неплохим ходом: докопаться до собственного имени окольным путем, через того человека. Она пытается представить его себе и снова видит фигуру, неистово пробивающуюся сквозь толпу. Образ получается бледным, расплывчатым, она силится удержать его, удержать и углубить, продвинуть в прошлое: откуда он явился, этот человек? как он оказался в толпе? зачем устроил стычку?

Она силится расширить это воспоминание, и перед нею появляется сад, большой сад и вилла, и там среди прочих людей она различает низенького, щуплого человечка и вспоминает, что у них был ребенок, ребенок, о котором она не знает ничего, кроме того, что он умер...

— Где это вы заблудились, Анна?

Она поднимает голову и видит какого-то старика: он сидит перед нею на стуле и смотрит на нее.

— Мой ребенок умер, — говорит она. Воспоминание оказывается слишком зыбким; именно поэтому она говорит о нем вслух; ей хочется придать ему больше реальности; ей хочется удержать и его, удержать как ускользающий от нее кусочек жизни.

Он склоняется к ней, берет ее за руки и произносит ободряющим тоном:

— Забудьте о своем ребенке, Анна, забудьте о своих мертвецах, подумайте о жизни!

Он улыбается ей. Потом делает рукой широкий жест, словно желая обрисовать нечто необъятное и возвышенное:

— О жизни! О жизни, Анна, о жизни!

Эта улыбка и этот жест вселяют в нее ужас. Она встает. Она дрожит. И голос ее тоже дрожит:

— О какой жизни? Что вы называете жизнью?

Бездумно заданный ею вопрос влечет за собой другие: а что, если все это уже смерть? если все это и есть смерть?

Она отбрасывает стул, он катится через весь зал и стукается о стену. Она хочет закричать, но не может вспомнить ни единого слова. Только нескончаемый и нечленораздельный вопль вырывается у нее изо рта:

— А-а-а-а!

— Шанталь! Шанталь! Шанталь!

Он сжал в объятиях ее сотрясающееся от крика тело.

— Проснись! Это все неправда!

Она дрожала у него в объятиях, а он все твердил ей, что это неправда.

Она повторяла за ним: «Да, это неправда, это неправда», и мало-помалу, мало-помалу приходила в себя.

А я задаюсь вопросом: кому все это приснилось? Кто высмотрел во сне эту историю? Кто ее выдумал? Она? Он? Они оба? Каждый для другого? И с какого момента их реальная жизнь начала превращаться в обманчивую фантазию? Когда поезд нырнул под Ла-Манш? Или раньше? С того утра, когда она объявила ему о своем отъезде в Лондон? Еще раньше? С того дня, когда в кабинете графолога она повстречала гарсона из кафе в нормандском городке? А может быть, и еще раньше? Когда Жан-Марк послал ей первое письмо? Но посылал ли он на самом деле эти письма? Или писал их только в собственном воображении? Можно ли установить точный момент, когда реальное превратилось в нереальное, реальность — в сновидение? Где была граница между ними? И где она теперь?

51

Я вижу оба их лица, в профиль, они освещены слабым светом ночной лампы: затылок Жана-Марка утопает в подушке, лицо Шанталь склонилось сантиметрах в десяти над ним.

— Я больше не упущу тебя из виду, — говорит она. — Буду смотреть не отрываясь.

И после паузы:

— Мне страшно мигать. Страшно, что за тот миг, когда мой взгляд гаснет, на твое место может проскользнуть змея, крыса или другой мужчина.

Он пытается чуть приподняться, чтобы коснуться ее губ.

Она качает головой:

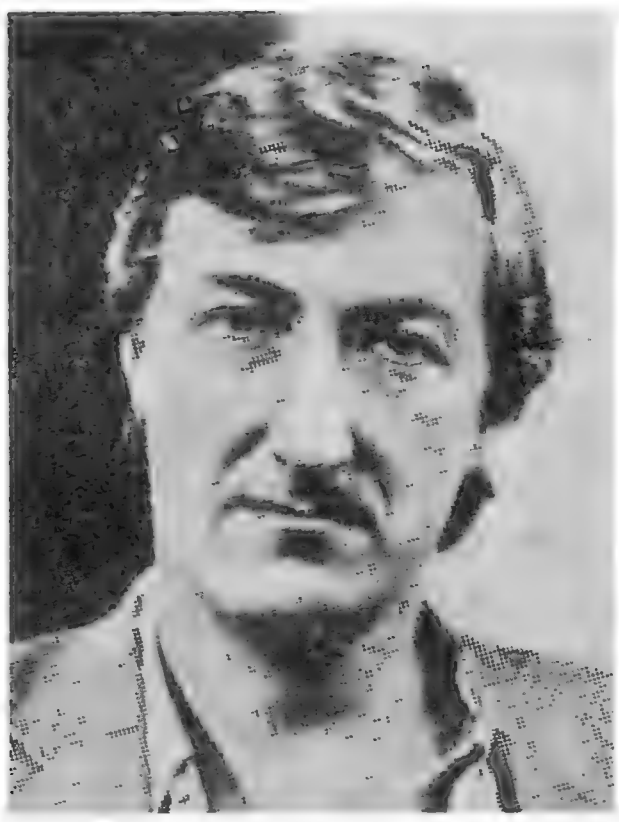
— Нет-нет, я хочу только смотреть на тебя.

А потом:

— Я оставлю лампу гореть всю ночь. Все ночи.

Закончено во Франции осенью 1996 г.

■



ДЖУЛИАН БАРНС

Три рассказа из книги «Через Ла-Манш»

Перевод с английского ИННЫ СТАМ

От переводчика

Джулиан Барнс уже давно пользуется репутацией одного из самых интеллектуальных и остроумных писателей современной Англии. Читатели «ИЛ» наверняка помнят его романы «История мира в 10 1/2 главах» и «Дикобраз».

Сборник рассказов «Через Ла-Манш» посвящен многовековым и очень непростым отношениям двух народов, английского и французского, тесно связанных друг с другом географической и исторической близостью, которая, увы, не всегда порождает человеческую близость, а тем более любовь. Барнсу же удается подняться над стереотипами восприятия соседей; с пониманием и юмором рисует он проявления этих разных национальных характеров и в комических ситуациях, и в исторических катаклизмах. Неудивительно, что его книга имела большой успех не только на Британских островах, но и по другую сторону водораздела, который англичане называют Английский канал, а французы (и остальной мир) — Ла-Манш.

Эксперимент

Для этой истории у дяди Фредди было припасено несколько разных зачинов. Вот самый любимый: дядя отправился в Париж по делам фирмы, производившей натуральный воск для натирки полов. По приезде зашел в бар выпить бокал белого вина. Стоявший рядом посетитель поинтересовался, чем он занимается, и дядя ответил:

— Cire réaliste[1].

Но мне доводилось слышать от дяди и совсем иную версию. Например, будто один богач взял его с собой в Париж штурманом на авторалли. Незнакомец в баре (а в этой версии, между прочим, мы уже оказываемся в отеле «Риц») держался с утонченной высокомерной любезностью, и дядя, мобилизовав свой французский, постарался не ударить лицом в грязь. На вопрос, с какой целью он прибыл, дядя ответил:

— Je suis, sire, rallyiste[2].

В третьем же, наименее, по-моему, правдоподобном варианте — впрочем, повседневность частенько бывает нелепой, а нелепость может, напротив, оказаться вполне правдоподобной — в бокале у дяди было белое вино рейли — из одной деревушки в долине Луары, всякий раз пояснял он, — букетом напоминавшее сансер. Дядя впервые приехал в Париж, еще не освоился, однако уже пропустил несколько стаканчиков (теперь дей-

---

[1] Натуральным воском. Автор обыгрывает небезупречный французский своего героя и каламбурное сходство его ответов со словом «сюрреалист». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Я, сир, раллист (*франц.*).

© Julian Barnes, 1996
© И. Стам. Перевод, 1998

ствие переместилось в petit zinc[1] в quartier Latin[2]), а потому, когда незнакомец (в этой версии не проявлявший никакого высокомерия) поинтересовался, что пьет сосед, дядя испугался, что забыл французское выражение, и со страха и отчаяния перевел родную английскую фразу дословно. Имея в виду оборот «пивком балуюсь», он объявил:

— Je suis sur Reuillys[3].

Как-то я упрекнул дядю в противоречивости его воспоминаний; в ответ он довольно усмехнулся:

— Удивительная штука подсознание, верно? И до чего изобретательно...

Мало того, что случайный сосед по стойке бара выступал в разных физических обличьях, он и представлялся по-разному: то Танги[4], то Превером[5], то Дюамелем[6], то Юником[7], а однажды даже самим Бретоном[8]. Зато нам доподлинно известно время этой неправдоподобной встречи: март 1928 года. Главное же — чего не отрицают даже самые осторожные комментаторы — состоит в том, что под не слишком загадочными инициалами Т. Ф. скрывается (вернее, скрывался) мой дядя Фредди, который участвовал в Заседании 5 (а) Кружка сюрреалистов, посвященном знаменитым и отнюдь не платоническим диалогам о сексе. Полностью эти диалоги были опубликованы в приложении к «Recherches sur la sexualité»[9], январь 1928 — август 1932 года. В примечаниях говорится, что дядю скорее всего представил собравшимся Пьер Юник и что Т. Ф., вопреки необъяснимым выкрутасам его подсознания, на самом деле приехал в Париж отдохнуть.

Не стоит чересчур скептически относиться к ничем не заслуженному entrée[10] дяди в круг сюрреалистов. На свои сборища они действительно пускали иногда посторонних: лишенного сана священника или активиста коммунистической партии. Вероятно, они решили, что рядовой двадцатидевятилетний англичанин, попавший к ним, надо полагать, вследствие лингвистической путаницы, им пригодится: расширит их научный кругозор. А дядя, объясняя, почему его допустили в этот круг, с удовольствием ссылался на известное французское изречение о том, что в душе каждого законника похоронен погибший в нем поэт. Я, как вы понимаете, чужд и юриспруденции и поэзии (а мой дядя тем более). Да и насколько эта мудрость вернее ее зеркального варианта: в душе каждого поэта похоронен погибший в нем законник?

Дядя Фредди утверждал, что заседание с его участием проходило в квартире того господина, с которым он познакомился в баре; тогда список возможных мест встречи ограничивается пятью вариантами. Если верить дяде, членов кружка набралось человек двенадцать; а согласно «Recherches», всего девять. Хочу пояснить, что, поскольку материалы Заседания 5 (а) были опубликованы только в 1990 году, а дядя мой умер в 1985-м, все несообразности в рассказе проистекали исключительно из его собственной непоследовательности. Кроме того, повесть о дяде Фредди и сюрреалистах предназначалась лишь для посиделок в комнате, которую он величал курительной: там известное вольнодумство считалось более уместным. Взяв со слушателей клятву до гроба держать язык за зубами vis-à-vis[11] тети Кейт, он принимался откровенно и подробно расписывать всю безнравственность того, что происходило в 1928 году в Париже. Иной раз он заявлял, что был глубоко потрясен, услышав от парижан за один вечер больше непристойностей, чем за три года армейской жизни во время последней войны. Но бывало, что рисовал себя этаким английским прожигателем жизни, повесой и щеголем, который не скупится на

---

[1] Маленькое дешевое кафе (*франц.*).
[2] Латинский квартал (*франц.*).
[3] Балуюсь рейли (*искаж. франц.*).
[4] Ив Танги (1900—1955) — французский художник-сюрреалист, с 1939 г. жил в США.
[5] Жак Превер (1900—1977) — французский поэт и сценарист, в начале творческого пути был близок к сюрреалистам.
[6] Жорж Дюамель (1884—1966) — французский писатель.
[7] Пьер Юник (1909—1945) — французский поэт, киносценарист и журналист; в юности примкнул к сюрреалистам, но в 1932 г. порвал с ними.
[8] Андре Бретон (1896—1966) — французский писатель, теоретик и один из основоположников сюрреализма.
[9] «Исследования проблем сексуальности» (*франц.*).
[10] Вхождению (*франц.*).
[11] *Здесь:* в присутствии (*франц.*).

дельные советы и готов подсказать кое-какие изощренные приемчики этим французишкам, ибо, по мнению дяди, напряженная умственная деятельность явно затрудняла их естественные плотские реакции.

Опубликованные материалы, разумеется, не подтверждают ни одной из этих версий. Те, кто читал «Recherches», уже имеют представление об этой странной смеси из псевдонаучных изысканий и откровенно субъективных суждений. Дело в том, что каждый ведь толкует о сексе на свой лад, да и занимается им тоже, надо полагать, по-своему. Андре Бретон, вдохновитель всех этих сборищ, этакий Сократ местного пошиба, держится сурово, а временами просто отвратительно («Не люблю, когда меня ласкают. Терпеть не могу»). Остальные же люди очень разные: добродушные и циничные, склонные к самоиронии и к хвастовству, безыскусные и язвительные. Разговор их, к счастью, исполнен юмора, порою, впрочем, непреднамеренного, вызванного, к примеру, страхом перед грядущим холодным судом потомков; но чаще намеренно шутливый тон их бесед порожден горестным пониманием нашей хрупкости и бренности. Так, на Заседании 3 Бретон допытывается у своих собеседников, позволяют ли они женщине трогать свой член, когда он не находится в состоянии эрекции. Марсель Нолль[1] отвечает, что очень этого не любит. Бенжамен Пере[2] говорит, что в таких случаях чувствует себя принижен-

ным. Да, соглашается Бретон, «приниженный» — именно то слово, которым можно было бы определить и его собственные ощущения. На что Луи Арагон[3] возражает:

— Если бы женщина трогала мой член, только когда он стоит, вряд ли у нее часто бывал бы повод его потрогать.

Но я отвлекся от темы. Быть может, я просто тяну время — уж очень не хочется признавать, что участие дяди в Заседании 5 (а) по большей части откровенно разочаровывает. Вероятно, эти суровые исследователи руководствовались ложно понимаемым демократизмом, полагая, что англичанин, которого они случайно, из-за его языкового ляпсуса, подобрали в баре, представит на их суд крайне важные показания. Т. Ф. было задано множество стандартных вопросов: в каких условиях он предпочитает заниматься сексом? Как именно он утратил девственность? Может ли он определить, что женщина испытала оргазм, а если может, то по каким приметам? Со сколькими партнерами (партнершами) он вступал в половые сношения? Когда последний раз онанировал? Сколько раз подряд способен достичь оргазма? И далее в том же роде. Не стану пересказывать дядины ответы, поскольку они либо банальны, либо, подозреваю, не совсем правдивы. Вот Бретон в своей лаконичной манере спрашивает:

— Помимо влагалища, заднего прохода и рта, куда еще вам нравится извергать семя? Укажите в порядке предпочтения: 1) под мышку; 2) между грудями; 3) на живот.

И дядя Фредди отвечает (за точность не ручаюсь, поскольку приходится переводить его слова с французского):

— А если в ладошку чашечкой?

На вопрос, какую сексуальную позу он предпочитает, дядя признается, что любит лежать на спине и чтобы женщина сидела на нем.

— А, — отзывается Бенжамен Пере, — так называемая «поза лентяя».

Далее дядю допрашивают о склонности англичан к половым извращениям; он старательно защищает репутацию соотечественников, как вдруг выясняется, что речь идет вовсе не о гомосексуализме, а скорее об анальном сексе между мужчинами и женщинами. Дядя мой совсем ошарашен.

— Мне такого делать не доводилось, — говорит он, — и о других тоже не слыхал.

— Но вы ведь об этом мечтаете? — спрашивает Бретон.

— И мысли такой отродясь не было, — упрямствует Т.Ф.

— А монахиню покрыть прямо в церкви мечтали? — задает Бретон следующий вопрос.

---

[1] Марсель Нолль (годы жизни неизвестны) — французский писатель, в 1923—1929 гг. участник группы А. Бретона.

[2] Бенжамен Пере (1899—1959) — французский писатель-сюрреалист.

[3] Луи Арагон (1897—1982) — французский писатель, поэт; начинал как сюрреалист.

— Нет, никогда.

— А священника или монаха? — вопрошает Кено[1].

— Тоже нет, — отвечает дядя.

Меня не удивляет, что материалы Заседания 5 (а) перенесены в приложения. Следователи и коллеги-исповедники задают вопросы будто во сне или чисто автоматически, а ненароком залученный на этот суд свидетель упорно твердит свое. Потом, уже поздним вечером, наступает минута, когда присутствие англичанина обретает некий смысл. Здесь, на мой взгляд, необходимо привести стенограмму заседания полностью.

Андре Бретон. Что вы думаете о любви?

Т.Ф. Когда двое вступают в брак...

Андре Бретон. Нет-нет-нет! Слово «брак» антисюрреалистично.

Фернан Бальдансперже[2]. А как вы относитесь к половым сношениям с животными?

Т.Ф. Что вы имеете в виду?

Фернан Бальдансперже. Овец. Ослов.

Т.Ф. В Илинге[3] ослов негусто. А вот дома у нас жил ручной кролик.

Фернан Бальдансперже. Вы вступали в сношения с кроликом?

Т.Ф. Нет.

Фернан Бальдансперже. А мечтали о сношениях с кроликом?

Т.Ф. Нет.

Андре Бретон. Не могу поверить, что ваша сексуальная жизнь настолько лишена воображения и сюрреализма, как вы нам ее преподносите.

Жак Превер. Укажите основные различия в сношениях с англичанкой и с француженкой.

Т.Ф. Да я только вчера приехал во Францию.

Жак Превер. Вы фригидны? Ну-ну, не обижайтесь. Я ведь шучу.

Т.Ф. Давайте я вам расскажу, каким мечтаньям я по молодости предавался; может, мое сообщение вам и пригодится.

Фернан Бальдансперже. Мечтанья были об ослах?

Т.Ф. Нет. Но на нашей улице жили сестры-двойняшки.

Фернан Бальдансперже. Вам хотелось вступить в половые сношения с обеими одновременно?

Раймон Кено. Сколько им было лет? Еще девочки?

Пьер Юник. Лесбиянки вас возбуждают? Вам нравится смотреть, как женщины ласкают друг друга?

Андре Бретон. Пожалуйста, господа, дайте высказаться нашему гостю. Мы, конечно, сюрреалисты, но это уже просто хаос.

Т.Ф. Я часто засматривался на этих двойняшек, с виду совершенно одинаковых, и думал: интересно, как далеко простирается их сходство?

Андре Бретон. То есть вас занимало, как, вступив в половые сношения с одной из них, вы могли бы удостовериться, что это она, а не ее сестра?

Т.Ф. Вот-вот. Поначалу именно эта мысль мне не давала покоя. А потом возник и другой вопрос. Что, если бы нашлось двое людей, вернее, две женщины, которые в своих...

Андре Бретон. В своих сексуальных проявлениях...

Т.Ф. ...в своих сексуальных проявлениях были бы абсолютно одинаковыми, но во всех других отношениях — совершенно разными?

Пьер Юник. Эротически идентичные, хотя в бытовом плане диспаратные индивиды.

Андре Бретон. Абсолютно точно. Чрезвычайно ценное сообщение.

Жак Превер. С француженкой, стало быть, вы еще не переспали?

Т.Ф. Говорю вам, я только вчера приехал.

На этом документально подтвержденное участие дяди Фредди в Заседании 5 (а) за-

---

[1] Раймон Кено (1903—1976) — французский писатель.

[2] Фернан Бальдансперже (1871—1958) — французский литературовед.

[3] Илинг — западный пригород Лондона.

канчивается; члены группы вернулись к вопросам, обсуждавшимся на Заседании 3 — о различии между оргазмом и извержением семени, а также о связи между сновидениями и тягой к мастурбации. На эти темы, естественно, мой дядя мало что мог сообщить.

Когда я виделся с дядей в последний раз, я, разумеется, и думать не думал, что потом появятся документы, подтверждающие его байки. Мы встретились с ним в ноябре 1984 года. Тетя Кейт уже умерла, и я наезжал к Т.Ф. (как я теперь склонен мысленно его называть) все более из чувства долга. Племянники обыкновенно отдают предпочтение тетушкам. Тетя Кейт была женщина мечтательная и мягкая, окутанная, словно газовым шарфом, ореолом тайны. Дядя Фредди же был прям и самонадеян до неприличия; всегда казалось, что он ходит, как напыщенный индюк, сунув большие пальцы в карманы жилета, даже если жилета нет и в помине. В его манере держаться ощущался морально и физически некий вызов: он-то, мол, прекрасно понимает, что значит быть мужчиной, его поколению чудом удалось удержаться на тонкой грани между былым жестким подавлением всего и вся и последующей вольницей, и любое отклонение от этого beau ideal[1] весьма прискорбно, а то и просто порочно. Поэтому в обществе Т.Ф. я всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Однажды он объявил, что считает своим святым долгом научить племянника разбираться в винах, но его педантизм и самоуверенный напор до самого недавнего времени отвращали меня от этой материи.

После смерти тети Кейт у нас вошло в обычай отмечать день рождения дяди Фредди в ресторане, где я угощал его обедом, а потом мы ехали к нему на Кромвель-роуд и напивались вдрызг. Последствия кутежа не имели для дяди большого значения, но мне-то предстояло принимать больных, и я всякий раз пытался наклюкаться поменьше, чем в предыдущем году. Попытки эти, признаться, ни разу не увенчались успехом: моя решимость год от года крепла, однако же и дядино занудство отнюдь не ослабевало. Жизненный опыт убедил меня, что для запойного пьянства есть немало достойных, хотя и не очень веских причин: чувство вины, страх, невзгоды, счастье; но существует и вполне весомый повод позволить себе упиться в стельку — это скука. Один неглупый алкоголик, мой давний знакомый, утверждал, что пьет он лишь потому, что тогда с ним происходят такие вещи, каких на трезвую голову ему вовек не видать. Я склонен был ему верить, хотя само по себе спиртное, на мой взгляд, не может быть причиной событий, оно только помогает не отчаиваться оттого, что ни единое событие не нарушает однообразия жизни. И оттого, например, что в дни рождения дядя неизменно бывал особенно занудлив.

Падая в стакан с виски, кубики льда покрывались сетью трещин, пощелкивала, накаляясь, облицовка газового камина, дядя Фредди закуривал свою, как он выражался, ежегодную сигару, и разговор вновь сворачивал на тему, которую я теперь называю про себя Заседание 5 (а).

— Итак, дядя, напомни-ка мне, чем ты на самом деле занимался в Париже.

— Пытался свести концы с концами. Чем же еще обычно занимаются в молодости? — Мы уже почали вторую фляжку виски; понадобится еще и третья, прежде чем будет достигнута желанная стадия анестезии. — Таков уж от века удел мужчин, верно?

— И как, сходились?

— Кто сходился?

— Сходились концы-то?

— Такой молодой, и такие непристойности на уме, — с хмельной враждебностью вдруг ополчился на меня дядя.

— Яблочко от яблони, дядя Фредди.

Это я, конечно, сказал не всерьез.

— А я тебе когда-нибудь рассказывал?..

Всё, завелся с пол-оборота, если только это выражение не слишком утрирует его внутреннюю готовность и целеустремленность. На сей раз дядя снова выдал вариант, по которому он приехал в Париж в качестве штурмана и механика при некоем английском милорде.

— И какой марки была машина? Любопытно все-таки.

---

[1] Прекрасного идеала (*франц.*).

— «Панар», — небрежно бросил он.

В этой версии неизменно присутствовал «панар». Чтобы немного развлечься, я размышлял над вопросом: как следует трактовать дядину приверженность именно к этому элементу повествования? Придает ли она большую достоверность рассказу или, наоборот, подчеркивает его неправдоподобие?

— А где проходило ралли?

— По горам, по долам, мой мальчик. Где только не проходило. С одного конца страны в другой.

— Чтобы свести наконец концы, да?

— Пойди прополощи рот после этаких слов.

— Яблочко от ябл...

— Стою, значит, я в баре...

Я ублажал дядю, задавая наводящие вопросы, и вот он уже добрался до неизменной кульминации своей истории; то был один из считанных эпизодов, полностью совпадавших с опубликованными потом материалами Заседания 5 (а).

— ...этот малый мне и говорит: «А с француженкой ты уже пробовал?» «Дай же срок, — отвечаю, — я ведь только вчера с парохода!»

Тут я всегда, деланно хохотнув, подливал себе еще виски и молча ждал завершения эпопеи. Но в тот раз я почему-то решил нарушить традицию.

— Ну и как?

— Что «как»?

— Попробовал с француженкой?

Я нарушил правила, и в дядином ответе слышался упрек — так, во всяком случае, я воспринял его слова.

— Твоя тетя Кейт была чиста как свежий снег, — икнув, заявил дядя Фредди. — Поверишь ли, несмотря на прошедшие после ее кончины годы, тоска моя по ней не убывает. Жду не дождусь, когда мы снова будем вместе, уже навеки.

— Держись, дядя Фредди, помереть всегда успеется. — А ведь я пользуюсь этим выражением крайне редко. И чуть было не ляпнул вдобавок: «Жив еще курилка!» — до того заразительна, прямо-таки прилипчива была дядина болтовня. Впрочем, я удержался и лишь повторил: — Так попробовал ты с француженкой?

— Это целая история, мой мальчик, я ее не рассказывал ни единой живой душе.

Прояви я тут неподдельный интерес, наверняка вспугнул бы рассказчика, но я отупело предавался унылым раздумьям о том, что дядя мой не просто старый зануда, но еще и карикатура на старого зануду. Не хватало ему только пристегнуть к ноге деревяшку и, размахивая трубкой, начать выкаблучиваться возле камина в какой-нибудь допотопной пивнушке на потеху таких же старых чудиков. «Это целая история, я ее не рассказывал ни единой живой душе». Так сейчас никто не говорит. Разве только мой дядя — он именно так и выразился.

— Они мне все устроили, понимаешь?

— Кто устроил?

— Да ребята эти, сюрреалисты. Мои новые приятели.

— Ты хочешь сказать, они нашли тебе работу?

— Я что-то не пойму: ты сегодня так поглупел или это твое обычное состояние? Женщину мне устроили. Вернее, двух.

Тут я навострил уши. Дяде я, разумеется, не поверил. А он, возможно с досады, что его тысячу раз рассказанная история «Как я познакомился с сюрреалистами» уже почти не производит впечатления, пустился ее приукрашивать.

— Видишь ли, по зрелом размышлении я пришел к выводу, что такого рода встречи... Ребятам просто хотелось собраться и поболтать на непристойные темы, но признаться в этом они не могли, вот и объявили, что ставят какие-то там научные задачи. На деле-то они оказались не большими мастаками по части непристойностей. Что-то им, я бы сказал, внутренне мешало. Одно слово — интеллектуалы. Нет жара в крови, одни идеи. Да за три года, что я был в армии...

Избавляю вас от этого традиционного отступления.

— ...А потому я сразу понял, куда ветер дует, но ублажать их я не собирался. Знаешь, болтать на непристойные темы в компании иностранцев — это ведь почти то же самое, что предавать родину. Непатриотично, правда?

— В жизни не пробовал, дядя.

— Ха! Да ты сегодня в ударе. «В жизни не пробовал». Точно как они, всё хотели вызнать, чего я в жизни не пробовал. Но ведь с такими типами беда: им говоришь, что отродясь не хотел делать то-то и то-то, так они не верят. Мало того, стоит сказать им, что делать то-то и то-то ты не желаешь, они немедленно приходят к заключению, что тебя прямо-таки подмывает заняться именно этим. Вот бестолочи, да?

— Не без того, наверное.

— Ну я и счел своим долгом несколько облагородить характер обсуждений. Не смейся, я знаю, что говорю. Смотри, попадешь сам в компанию интеллектуалов, которые не закрывая рта талдычат о своем приборе, небось не так запоешь. Стало быть, я им говорю: «Задам-ка я вам задачку. Предположим, нашлись бы две девочки, которые занимаются любовью одинаково. Настолько, что если закрыть глаза, то одну от другой и не отличишь. Вот была бы штука!» А им, при всей их башковитости, такая головоломка на ум не приходила. Тут они, сказать по правде, чуть не передрались.

Ничего удивительного, подумал я. Обычно ведь такими вопросами не задаешься. Ни о себе самом (а нет ли на свете кого-нибудь еще, кто трахается в точности как я?), ни о других. В том, что касается секса, нас занимают различия, а не схожесть. Он/а был/а хорош/а или не слишком хорош/а, скучноват/а, скован/на и тому подобное; но вряд ли мы когда-нибудь мысленно отмечаем: ага, в постели она очень напоминает ту особу, с которой мы занимались тем же самым пару лет назад. Собственно, если закрыть глаза... Такие мысли нам, как правило, в голову не приходят. Отчасти, полагаю, из этических соображений, из желания оберечь чужую индивидуальность. А еще, может быть, из страха: как ты о них, так же ведь и они о тебе начнут думать.

— Тогда мои новые приятели мне все и устроили.

— ?..

— Пожелали отблагодарить меня за ценный вклад в их изыскания. Поскольку я-де им изрядно помог. Тот щеголь, с которым я познакомился в баре, сказал, что будет держать со мной связь.

— Дядя, но ведь вот-вот должны были начаться автогонки? — не удержался от шпильки я.

— На следующий день он пришел и сообщил, что вся компания делает мне, как он выразился, сюрреалистический подарок. Разволновавшись оттого, что я еще не познакомился поближе с прелестями француженок, они решили восполнить это упущение.

— Редкостная щедрость, — сказал я, а про себя подумал: редкостная причуда.

— Назавтра, с трех часов пополудни, они сняли мне номер в гостинице возле церкви Сен-Сюльпис[1], сообщил мне гость. И добавил, что сам он тоже туда придет. Это меня немножко удивило, но, с другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят и все такое прочее. «Вам-то зачем приходить? — удивился я. — Меня ведь за ручку водить не надо». Тогда он раскрыл мне условия: они, мол, хотят, чтобы я принял участие в эксперименте. Компания желает выяснить, отличаются ли сношения с француженкой от сношений с англичанкой. Я спросил, почему для этого исследования им понадобился я. А потому, ответил он, что, по их предположениям, мои реакции будут более непосредственными. Под этим, видимо, надо было понимать, что в отличие от них я не стану сидеть сложа руки и предаваться размышлениям.

«Давайте-ка начистоту, — говорю я гостю. — Вы хотите, чтобы я часика два провел с француженкой, а на следующий день пришел к вам и доложил свои впечатления?» — «Нет, — отвечает Щеголь, — не на следующий день, а через день. На следующий день мы заказали вам в тот же номер другую девочку». — «Щедро, — говорю я, — две францу-

---

[1] Католическая церковь в юго-западной части Парижа.

женки по цене одной». — «Не совсем так, — замечает он, — одна из девочек — англичанка. И вам надо отгадать, кто из них кто». — «Ну, это я сразу отгадаю, как только скажу «бонжур» да взгляну на них». — «Именно поэтому, — говорит он, — вам не разрешается ни говорить «бонжур», ни смотреть на них. К вашему приходу я уже буду в номере: первым долгом завяжу вам глаза, а потом сам впущу девочку. Повязку с глаз можно будет снять, только когда девица, уходя, хлопнет дверью. Как вам наше предложение?»

Как мне их предложение? Да я просто обалдел. Ведь едва я успел подумать «дареному коню в зубы не смотрят», оказалось, что аж *двум* дареным лошадкам нельзя будет смотреть в зубы или еще куда-нибудь. Как мне их предложение? Положа руку на сердце, чувство у меня было такое, будто разом сошлись целых два Рождества. С одной стороны, вся эта петрушка с завязыванием глаз мне не очень-то нравилась; но с другой, если честно, — нравилась, да еще как.

До чего же старики любят приврать насчет своих похождений в былые годы — даже жалость берет. Ведь слепому ясно, что это сплошные выдумки. Париж, молодость, девица, *две* девицы, снятый на день номер в гостинице, и все это устроено и оплачено неизвестно кем? Расскажи это своей бабушке, дядя. Двадцать минут в hôtel de passe[1], где вместо полотенца жесткая тряпица, а потом — морока с подцепленным триппером; вот это было бы правдоподобнее. И зачем старикам утешаться такими побасенками? Экую банальную чушь смакуют они в одиночестве! Ладно, дядя, полный вперед с твоей скромной порнушкой. Про штурмана и авторалли мы уж напоминать не станем.

«Идет, говорю, согласен». И на следующий день отправился после полудня в гостиницу позади церкви Сен-Сюльпис. Хлынул ливень, пришлось от метро бежать бегом, и явился я туда весь в мыле.

Уже неплохо, а то я опасался услышать про ясный весенний денек, про аккордеонистов, под чьи серенады он шел через Люксембургский сад.

— Отыскал я номер. Щеголь был уже там, помог мне снять шляпу и пальто. Но, как ты догадываешься, я не собирался раздеваться догола перед моим радушным хозяином. «Не беспокойтесь, — сказал он, — она все сделает сама». Он лишь усадил меня на кровать, завязал мне глаза шарфом на двойной узел, взял с меня честное английское слово не подглядывать и вышел из комнаты. Минуты две спустя я услыхал скрип отворяемой двери.

Отставив стакан с виски, дядя откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза, чтобы яснее припомнить то, чего он, безусловно, видеть не мог. Я решил проявить снисходительность и не стал прерывать затянувшееся молчание. Наконец он произнес:

— А потом настал второй день. Все повторилось снова. И снова лил дождь.

Газовый камин шумно ахнул, забормотали, грассируя, кубики льда в моем стакане, словно пытались что-то подсказать. Но дядя Фредди вроде бы раздумал продолжать свою повесть. Может быть, он и впрямь ее завершил? Так дело не пойдет, подумал я. Это смахивает, если так можно выразиться, на вербальное разжигание сексуальных аппетитов.

— Ну и как?..

— Как? — тихо отозвался дядя. — Вот так.

С минуту-другую мы сидели молча, наконец я не выдержал:

— И в чем же все-таки было различие?

Не меняя позы и не открывая глаз, дядя Фредди издал звук, походивший одновременно на вздох и на всхлип.

— Француженка слизывала с моего лица капли дождя, — в конце концов вымолвил он и открыл глаза; в них стояли слезы.

Ни с того ни с сего я растрогался. *Француженка слизывала с моего лица капли дождя.* И дядя — то ли ловкий врун, то ли сентиментальный воспоминатель — был щедро вознагражден: я не мог скрыть зависти.

— Значит, ты все-таки догадался...

— Догадался о чем? — рассеянно переспросил он, предаваясь пикантным воспоминаниям.

---

[1] Доме свиданий (*франц.*).

— Которая была англичанка и которая француженка.

— А, да, еще бы, конечно догадался.

— Как же?

— А по-твоему — как?

— По запаху чеснока?

Дядя довольно хмыкнул.

— Нет. По правде сказать, они обе надушились. И очень сильно. Но, разумеется, разными духами.

— Значит... штуки они проделывали с тобой не одни и те же? Или закавыка в том, каким манером они все проделывали?

— А вот это коммерческая тайна. — На дядином лице вновь появилось самодовольное выражение.

— Да будет тебе, дядя Фредди.

— Я всегда придерживался правила: ни с кем о своих дамах не судачить.

— Помилуй, ты же их в глаза не видел. Тебе их поставили по договору. Вовсе они не были твоими дамами.

— Для меня — были. Причем обе. Такое у меня сложилось ощущение. Так я к ним с тех пор и отношусь.

Я чуть не лопнул с досады, не в последнюю очередь потому, что невольно сам высказал доверие к дядиным выдумкам. Но какой смысл, спрашивается, сочинив целую историю, изымать из нее самое главное?

— Уж мне-то ты можешь сказать, дядя, им же ты ведь сказал.

— Им?

— Той компании. Небось на следующий день представил им полный отчет.

— Н-да, разумеется, слово англичанина — закон, кроме разве тех случаев, когда его нарушают. Ты уже большой мальчик и сам должен это понимать. К тому же... отчасти и в первый раз, а особенно во второй мне, признаться, чудилось, что за мной наблюдают.

— Кто-то сидел в платяном шкафу?

— Где и как — понятия не имею. Но чувство такое было. И оттого казалось, будто я вляпался в какую-то дрянь. Опять же я давно взял себе за правило: о своих дамах не судачить. Поэтому на следующий день я сел в поезд, потом на пароход — и домой.

Естественно, напрочь забыв, подумал я, об авторалли и о блестящих перспективах в деле распространения натурального воска для натирки полов или еще чего-нибудь в том же роде.

— И это был самый умный шаг в моей жизни, — продолжал дядя. — Ведь там я и познакомился с твоей тетей Кейт. На пути домой.

— Я об этом не знал.

— Откуда ж тебе об этом знать? Через месяц мы обручились, через три поженились.

Что и говорить, напряженная тогда выдалась весна.

— А как *она* отнеслась к твоему приключению?

На дядином лице снова появилась отчужденность.

— Твоя тетя Кейт была чиста как свежий снег. Мне и в голову не пришло это обсуждать... как не пришло бы в голову прилюдно ковыряться в зубах.

— И ты ей так ничего и не рассказал?

— Ни словечка. И потом, поставь себя на ее место. Вот знакомится она с симпатичным парнем, он ей, в общем-то, по сердцу, она спрашивает, чем он занимался в Париже, и он сообщает, что каждый божий день брал на часок девицу-другую под честное слово, что потом пойдет и выложит кому-то все непристойные подробности. Навряд ли он после этого был бы ей мил, правда?

Сколько я мог заметить, тетя Кейт и дядя Фредди преданно любили друг друга. Когда она умерла, он неподдельно горевал, хотя иногда, после возлияний, в его чрезмерной скорби ощущался налет театральности. Дядя пережил жену на шесть лет, но я относил это лишь за счет мощной жизненной инерции. Через два месяца после нашей вечерин-

ки, в его последний день рождения эта инерция иссякла. На похоронах, как водится, было немноголюдно и тягостно; венок от сюрреалистов с непристойными намеками, возможно, пришелся бы кстати.

Пять лет спустя вышли «Recherches sur la sexualité», частично подтвердив дядину повесть. Мое любопытство, смешанное с досадой от невозможности его удовлетворить, разгорелось вновь; я, как дурак, снова ломал голову над прежними вопросами. Меня бесило, что, выдавив из себя тогда одну-единственную фразу «француженка слизывала с моего лица капли дождя», дядя так и не раскололся.

Я уже говорил, что материалы о неожиданном знакомстве дяди с кружком сюрреалистов даны лишь в приложении. «Recherches», разумеется, снабжены обширным аппаратом: здесь и предисловие, и введение, и текст, и приложения, и сноски к тексту, и сноски к приложениям, и сноски к сноскам. Вероятно, я единственный человек, обнаруживший там нечто представляющее интерес, да и то чисто семейный. В сноске 23 к материалам Заседания 5 (а) говорится, что англичанин, обозначенный инициалами Т.Ф., однажды участвовал — цитирую — «в попытке подтвердить теорию сюрреалистов (см. сноску 12 к Приложению 3)», но данные, полученные в ходе эксперимента, не сохранились. В сноске 12 к Приложению 3 описываются эти «попытки подтвердить теорию» и упоминается, что в некоторых из них участвовала англичанка. Женщина эта обозначена лишь буквой К.

В завершение всей этой истории приведу лишь два соображения. Первое: прибегая в своих исследованиях к услугам добровольцев, ученые зачастую скрывают от непосредственных исполнителей истинные цели испытания, опасаясь, что знание этих целей может сознательно или бессознательно повлиять на чистоту эксперимента и, следовательно, исказить результаты.

Вторая мысль пришла мне в голову совсем недавно. Кажется, я уже упоминал, что с увлечением неофита занимаюсь дегустацией вин. Я вхожу в небольшую группу знатоков, мы собираемся дважды в месяц; каждый приносит с собой бутылку, а дегустация проходит вслепую. Как правило, мы ошибаемся, иногда определяем верно, хотя в этом деле сказать, что верно, а что неверно, совсем не просто. Если на вкус вино напоминает вам австралийское молодое шардоннэ, то, в известном смысле, это оно и есть. Потом, на этикетке, его могут объявить дорогим бургундским, но раз уж на пробу оно выше шардоннэ не тянет, значит, не бывать ему никогда настоящим бургундским.

Впрочем, суть не в этом. Суть в том, что пару недель назад к нам приехала знаменитая специалистка по винам. И она рассказала одну курьезную вещь. Если взять большую бутыль вина объемом в две кварты[1], разлить содержимое в две бутылки и провести дегустацию вслепую, то, по экспериментальным данным, даже самые изощренные знатоки крайне редко догадываются, что на самом деле в этих двух бутылках одно и то же вино. Участники дегустации ведь полагают, что им подадут непременно разные вина, и вкусовые ощущения обычно это подтверждают. Очень показательный эксперимент, заметила специалистка, и сбоев почти не бывает.

Навечно

Она постоянно носит их с собой, повесив пакетик на шею. Чтобы внутри не скапливалась влага и ветхий картон не подгнил, она проткнула полиэтилен вилкой. Известно же, что́ бывает, если плотно накрыть горшок с рассадой: откуда ни возьмись возникает сырость и среда под укрытием стремительно меняется. Этого необходимо избежать. А уж они-то, бедные, и так хлебнули тогда неизбывной сырости, дождей и грязного месива, в котором утопали лошади. За себя она не беспокоится. У нее и сейчас сердце кровью обливается за них за всех — каково-то им приходилось.

Открыток было три, последние, что пришли от него. Все предыдущие роздали, они,

[1] Примерно два с четвертью литра.

наверное, затерялись, но эти хранятся у нее, последние его весточки. В заветный день, развязав бечевку, она снимает с шеи пакет и пробегает глазами коряво выведенный карандашом адрес, строгую подпись — только фамилия и инициалы — и вымарки военной цензуры. Долгие годы она с болью думала о том, о чем в открытке не говорится ни слова; но теперь эта официальная бесстрастность кажется ей вполне уместной, хотя и не приносит утешения.

На самом деле ей, конечно же, нет нужды перечитывать открытки, как нет нужды рассматривать фотографии, чтобы вспомнить его темные глаза, оттопыренные уши и беспечную улыбку, подтверждавшую, что к Рождеству весь тарарам закончится. В любой миг она может во всех подробностях восстановить в памяти три пожелтевших картонных прямоугольника со штампом полевой почты. И даты: 24 дек., 11 янв., 17 янв., написанные его рукою и подкрепленные штемпелем с указанием года: 16, 17, 17. «На этой стороне не писать НИЧЕГО, кроме даты и подписи отправителя. Ненужное можно стереть. *При написании сверх положенного открытка будет уничтожена».* Дальше шли бездушные фразы на выбор.

Я совершенно здоров
Меня положили в госпиталь
по болезни и я поправляюсь
по ранению и я надеюсь скоро выписаться
Меня отправляют в тыл
ваше письмо от...
Я получил вашу телеграмму...
вашу посылку...
Подробности письмом при первой возможности
Я не получил от вас ни одного письма
за последнее время
за долгое время

Всякий раз он бывал совершенно здоров. Его ни разу не положили в госпиталь. Не отправляли в тыл. Он получил письмо от такого-то числа. Подробности сообщит письмом при первой возможности. Он получил от них не одно письмо. Все это перемежается сделанными жирным карандашом вымарками, и стоит дата. А ниже, рядом с безапелляционным указанием «только подпись», — последний поданный ее братом сигнал связи: «С. Мосс». Большое размашистое «С» с кружочком вместо точки. Затем одним махом, не отрывая, как ей неизменно представлялось, наслюнявленного огрызка карандаша от открытки, — «Мосс».

На обороте имя их матери — миссис Мосс: крупное заглавное М, дальше подчеркнуто короткой разящей чертой, — и адрес.

По краю напечатано еще одно указание, но уже мелким шрифтом: «На этой стороне писать только адрес. В случае дополнительных приписок открытка будет уничтожена». На второй открытке тем не менее Сэмми приписал кое-что сверху; однако ее не уничтожили. Аккуратная чернильная строчка без тех небрежных петелек, что в карандашной подписи: «До неприятеля *50 ярдов*[1]. Посылаю из окопа». Через пятьдесят лет, по году на каждый подчеркнутый ярд, она так и не нашла ответа: почему он приписал эту строку? почему чернилами? почему это вообще разрешили? Сэм был мальчик осмотрительный и заботливый, особенно по отношению к матери, он не рискнул бы встревожить ее долгим молчанием. И все же факт налицо, он эти слова написал. Причем чернилами. Быть может, он зашифровал здесь нечто другое? Предчувствие смерти? Но ведь Сэм был совсем не из тех, кого посещают предчувствия. Возможно, он был просто возбужден, хотел поразить родных. Смотрите, мол, как близко мы подошли. До неприятеля *50 ярдов.* Посылаю из окопа.

Хорошо, что он лежит на Кабаре-Руж, под своим собственным надгробием. Его

[1] Примерно 45 метров.

нашли и опознали. Похоронили отдельно и с почетом. Тьепваль[1] внушает ей трепет, непреходящий ужас, хотя она исправно ездит туда каждый год. Павшие под Тьепвалем. Нужно хорошенько готовиться ко встрече с ними, к тому, что их нет. Поэтому она всегда начинает издалека, где-нибудь в Катерпиллер-Вэлли, Тисл-Дампе, Куорри, Блайт-Вэлли, Ольстер-Тауэре, Эрбекуре.

Заря не взойдет
И ночь не падет
Без мыслей о Тебе

Это из Эрбекура; там, на выгороженном среди поля, обнесенном стеной кладбище упокоились сотни две солдат, по большей части австралийцев, но та эпитафия принадлежит английскому мальчику. Может, это дурно, что она горе освоила до тонкости? Зато теперь у нее есть по-настоящему любимые кладбища. Вроде Блайти-Вэлли и Тисл-Дампа; оба наполовину скрыты в глубине долины, с дороги и не заметишь; или Куорри — заброшенный погост, словно позабытый родной деревней; или Девоншир — крошечный уединенный уголок, отведенный для девонширцев, павших в первый же день битвы при Сомме, они дрались, стараясь удержать эту высоту, и держат до сих пор. Сначала едешь, повинуясь указателям с темно-зелеными надписями по-английски; затем по полям, охраняемым деревянными распятиями, добираешься до этих святых мест, своей упорядоченностью напоминающих бухгалтерский отчет. Надгробные плиты выстроились, как поставленные на попа костяшки домино; под ними строем, согласно списку личного состава, в полной амуниции лежат их владельцы. Надписи на кремовых плитах с фамилиями пропавших без вести утверждают, что ИХ ИМЕНА ОСТАНУТСЯ ЖИТЬ НАВЕЧНО. И верно, живут — на могилах, в книгах, в сердцах, в воспоминаниях.

Не последняя ли это поездка, каждый год думает она. Уже нет прежней уверенности, что судьба подарит ей еще двадцать, десять или пять лет. Теперь ее жизненный контракт продлевается лишь на год, как водительские права. Ежегодно в апреле доктор Холлинг обязан заново подтвердить, что ей позволено сидеть за рулем еще двенадцать месяцев. Возможно, ей и «моррису»[2] придет капут в один и тот же день.

Раньше надо было сначала ехать на поезде, потом — на пароме через пролив, там пересаживаться на экспресс до Амьена, затем — на пригородный поезд, а дальше на автобусе, а то и на двух. Обзаведясь «моррисом», она теоретически приобрела бóльшую свободу передвижения; и все же в ее поездках мало что изменилось. Добравшись на машине до Дувра, она въезжает на паром и коротает ночь в трюме, в кромешной тьме, рядом с могутными водителями грузовиков. Так выходит дешевле, и к тому же во Францию она попадает к рассвету. Заря не взойдет... Наверное, Сэм, встречая рассвет, всякий раз думал, не эту ли дату выбьют на его надгробной плите... Потом по шоссе N 43 она направляется к Сент-Омеру, Эру и Лиллеру; в Лиллере она обычно пьет чашку thé à l'anglaise[3] с рогаликом. Оттуда трасса идет дальше на Бетюн, но она съезжает с нее: южнее Бетюна пролегает шоссе D 937 на Аррас, и там, на равнинном отрезке, где дорога делает памятный крутой изгиб, стоит украшенный куполом портик бригадного генерала сэра Фрэнка Хиггинсона. Не проезжайте мимо, даже если вы собираетесь сюда вернуться. Однажды, только-только купив «моррис», она так сделала — проехала мимо Кабаре-Руж на второй передаче, но это показалось ей чудовищным пренебрежением к Сэмми и к тем, кто лежит с ним рядом: еще, мол, не ваша очередь, погодите немножко, мы завернем к вам попозже. Нет уж, пусть так поступают другие водители.

Она же вместо этого берет от Лиллера резко на юг и по D 341 подъезжает к Аррасу. Оттуда, как бы с вершины узкого островерхого треугольника, в южных оконечностях которого находятся Альбер и Перонн, она пускается в свой неизменный торжественный объезд лесов и полей, где десятилетия назад английская армия перешла в контрнаступле-

---

[1] Деревня в северной Франции, близ реки Соммы, где во время первой мировой войны шли затяжные жестокие бои, в которых обе стороны потеряли свыше 1,3 млн. человек; в этих местах остались массовые захоронения погибших солдат. Далее приводятся названия подобных же захоронений.

[2] Небольшая машина английского производства.

[3] Чай по-английски (*франц.*).

ние, чтобы облегчить тяжкое положение французов под Верденом. Во всяком случае, с этого все началось. Теперь-то историки наверняка толкуют события иначе, на то они и историки; но ей ведь уже не нужно ни приводить убедительных доводов, ни отстаивать определенной позиции. Она дорожит тем, что запало ей в душу еще в ту пору: некий стратегический план, твердая вера в отвагу бойцов и боль за павших.

Тогда, в первое время, ей помогала причастность к общему горю; в утренней, похожей на газовое облако мгле, которую не могло рассеять чахлое ноябрьское солнце, вокруг были жены, матери, товарищи, множество высоких армейских чинов и горнист. Потом она стала поминать Сэма иначе: это превратилось в работу, в определенный ритуал; на смену мукам и славе пришло понимание отчаянной бессмысленности не только его гибели, но и ее поклонения его памяти. В этот период она жаждала одиночества, чтобы эгоистически сладострастно предаваться горю: Сэм — ее утрата, только ее, это скорбь, недоступная для других. Нимало не стыдясь, она так прямо и говорила. Но теперь, спустя полвека, ее чувства вошли в ее плоть и кровь. Горе стало посохом, необходимой опорой; ей теперь без него никуда.

Обойдя Эрбекур и Девоншир, Тисл-Дамп и Катерпиллер-Вэлли, она с неизменно тяжелым сердцем направляется к огромному краснокирпичному мемориалу в Тьепвале. Да, триумфальная арка, но в честь какого триумфа? — размышляет она; что это, торжество *над* смертью или торжество *смерти*? «Здесь поименно перечислены офицеры и рядовые Британской армии, павшие в боях на Сомме в июле 1915-го — феврале 1918-го; по прихоти военной судьбы они, в отличие от товарищей по оружию, не были опознаны и похоронены с почетом». Высоты Тьепваля, Позьерский лес, Альбер, Морваль, Женши, Гиймон, Анкр, возвышенности под Анкром, Хай-Вуд, Дельвильский лес, Бапом, кряж Базантена, Миромон, высоты Транслуа, Флер-Курслет. Одна битва за другой, каждая удостоена своего лаврового венка из камня, своей части стены; имена, имена, имена. «Пропавшие без вести на Сомме» — узаконенные настенные росписи смерти. Этот монумент, созданный по проекту сэра Эдвина Лютьенса[1], всегда вызывает в ней тягостное чувство. Невыносимо даже думать о тех, кого разорвало снарядами на неопознаваемые клочки, поглотило раскисшей грязью; вот только что они были здесь, целые и невредимые, каждый при полевом ранце и гетрах, кисете и пайке, каждый полон своих воспоминаний и надежд, своего прошлого и будущего, — а в следующий миг только лоскуток ткани защитного цвета или осколок берцовой кости подтверждает, что они и впрямь жили на свете. Бывало и еще хуже: сначала владельцев некоторых имен, опознав, хоронили с почестями, каждого на отдельном месте, под именной плитой, но в очередном сражении артиллерия по небрежности вдребезги разносила временный погост, во второй раз уничтожая их, уже окончательно. Тем не менее все эти клочья плоти и защитной ткани — и от недавно убитых, и от полностью разложившихся тел — свозились сюда и с полным снаряжением, под безупречно ровными шеренгами надгробных камней зачислялись навечно во вновь сформированную часть пропавших без вести. В том, как они исчезали, и в том, как их возвращают из небытия, есть что-то для нее непереносимое: ей чудится, что армия, с такой легкостью их отбросившая, теперь решила не менее торжественно ими снова завладеть. Может быть, на самом деле все обстоит и не совсем так. Но она и не считает, что разбирается в военных делах. Она считает, что разбирается только в делах скорби.

Из-за своего настороженного отношения к Тьепвалю она всегда пробегает списки критическим взглядом корректора. И заметила, например, что, в отличие от английского варианта, во французском переводе приведено точное число пропавших без вести. 73 367. Еще и по этой причине ей не нравится тут бывать и, стоя под аркой, смотреть вниз на маленькое англо-французское кладбище (слева кресты французов, справа — плиты британцев), ей хочется отвести глаза, на которые от ветра наворачиваются слезы. 73 367; за определенной гранью цифры уже не воспринимаются, производя обратный эффект: чем бо ше погибших, тем, соответственно, слабее боль. 73 367; даже она, знающая толк в горе, вообразить такое множество не способна.

---

[1] Эдвин Ландсир Лютьенс (1869—1944) — английский архитектор.

Возможно, британцы сознавали, что количество пропавших без вести будет год от года расти, что окончательное число непременно окажется неточным; возможно, исполненный не стыда, а здравого смысла порыв побудил их не указывать цифру. И они были правы: цифры действительно менялись. В 1932 году принц Уэльский открыл арку, на ее стенах выбили имена всех пропавших без вести; и однако то здесь, то там, совсем не в надлежащих местах, появлялись имена солдат, с опозданием извлеченные из небытия и внесенные в список под грифом «Дополнение». Она знала эти имена назубок: Доддс Т., полк Нортумберлендских стрелков; Малькольм Г. У., Камеронский полк; Леннокс Ф. Дж., полк Ирландских королевских стрелков; Ловелл Ф. И. Г., Уорикширский королевский полк; Орр Р., Шотландские королевские стрелки; Форбс Р., Камеронские горцы; Робертс Дж., Мидлсекский полк; Моксам А., Уилтширский полк; Хамфрис Ф. Дж., Мидлсекский полк; Хьюз Г. У., Вустерширский полк; Бейтман У. Т., Нортгемптонширский полк; Тарлинг И., Камеронский полк; Ричардс У., Королевская полевая артиллерия; Роллинс С., Восточно-Ланкаширский полк; Берн Л., полк Ирландских королевских стрелков; Гейл И. О., Восточно-Йоркширский полк; Уолтерс Дж., Королевские стрелки; Аргар Д., Королевская полевая артиллерия. Заря не взойдет,/ И ночь не падет...

Роллинс С. ей кажется ближе других, ведь он был из Восточного Ланкашира; она всякий раз улыбается, глядя на инициалы, которые достались бедному рядовому Ловеллу; но более всего возбуждает ее любопытство Малькольм Г.У. — полностью там значится: «Малькольм Г. У., Камеронский полк (Шотл. стрл.); служил под именем Уилсон Г.» То есть одновременно и дополнение и исправление. Впервые заметив это, она с удовольствием рисовала в воображении историю Малькольма Г. У. Быть может, он был допризывного возраста? Или назвался чужим именем, чтобы удрать из дома, сбежать от какой-нибудь девчонки? Или его разыскивали как преступника, вроде тех парней, что вступают во французский Иностранный легион? Она, в общем-то, и не ищет ответа, ей просто нравится предаваться фантазиям об этом человеке, которого сначала лишили собственного имени, а потом и жизни. Это нагромождение утрат словно бы возвеличивало его; на время он, безликий, иконоподобный, грозил стать вровень с Сэмом и Денисом как олицетворение той войны. Годы спустя она отринула эту фантазию. Никакой тайны на самом деле нет. Рядовой Г. У. Малькольм легко превращается в Г. Уилсона. В действительности он был, конечно же, Г. Уилсоном Малькольмом, но когда пошел в армию добровольцем, писарь, перепутав, записал его имя в графе «фамилия», и уже нельзя было ничего изменить. И в этом был свой смысл: человек есть всего лишь канцелярская ошибка, которую исправляет смерть.

Ей никогда не нравилась надпись на главной арке:

AUX ARMEES
FRANÇAISE ET
BRITANNIQUE
L'EMPIRE
BRITANNIQUE
RECON-
NAISSANT[1]

Каждая строчка отцентрована, и это хорошо, однако под надписью оставили слишком много пустого места. В гранках она пометила бы такое значком #[2]. И с каждым годом ее все больше раздражал перенос в слове reconnaissant. На этот счет существуют две разные научные школы, и она много лет спорила со своими начальниками, доказывая, что разрывать слово на двойной согласной нелепо. Слово можно прервать там, где оно уже разделено надвое. Только посмотрите, что натворил этот простофиля от армии, архитектуры или скульптуры! Разбил по глупости слово так, что получилось отдельное слово naissant[3]. Но ведь naissant ничего общего с reconnaissant не имеет, ну ничегошеньки; а главное, из-за этого ляпсуса на монументе смерти возникло понятие рождения.

---

[1] Французской и английской армиям от Британской империи с признательностью (*франц.*).
[2] Корректорский значок, означает «убрать отбивку».
[3] Зарождающийся (*франц.*).

Много лет назад она обращалась в Комиссию по захоронению павших, ее заверили, что все сделано как полагается. Только *ей* пусть они этого не рассказывают!

Не радовало ее и слово «НАВЕЧНО». «Да пребудут их имена с нами навечно» — так написано и здесь, в Тьепвале, и в Кабаре-Руж, и в Катерпиллер-Вэлли, и на воинских могилах общинного кладбища в Комбле, и на всех других мемориалах. Конечно, это написание верное, по крайней мере общепринятое; но в глубине души ей хотелось бы видеть не одно, а два слова: НА ВЕЧНО. Так, пожалуй, звучало бы весомее, будто на каждом слове мерно ударяет колокол. Во всяком случае, она была решительно не согласна со Словарем в толковании слова «навечно»: «навсегда, во все времена, постоянно, непрерывно». Да, в расхожей кладбищенской формуле оно, вероятно, означает именно это. Но она отдает предпочтение первому значению: «на все грядущие века». Их имена да будут жить во всех грядущих веках. Заря не взойдет, и ночь не падет без мысли о тебе. Вот что означает эта надпись. Однако в Словаре первое значение дается с пометой *«уст. кр. арх.»*. Устаревшее, кроме намеренно архаичного употребления. Нет же, нет, вовсе нет. И нельзя согласиться с тем, что пример последнего употребления в этом значении относится к 1854 году. Она охотно обсудила бы эти тонкости с мистером Ротуэллом или на крайний случай пометила бы данное значение в гранках; но в новом издании эту статью перерабатывать не стали, и вообще буква «Н» прошла мимо нее, лишив ее возможности внести правку.

НАВЕЧНО. Да существует ли на свете такая вещь, как коллективная память, представляющая собой нечто большее, чем сумма памяти отдельных людей? А если существует, то ограничена ли она теми же рамками или в самом деле чем-то богаче индивидуальной? Или она живет дольше? И можно ли наделить этой памятью молодых, размышляет она, тех, кто сам не был причастен к событиям той эпохи, можно ли привить им эти воспоминания? Особенно неотступно эти мысли преследуют ее в Тьепвале. Хотя место это ей страшно не нравится, при виде молодых семейств, неторопливо бредущих по траве к arc-de-triomphe из красного кирпича, в ее душе зарождается робкая надежда. Способны же христианские соборы внушать веру уже одним своим подавляющим величием; что, если и мемориал работы Лютьенса оказывает такое же иррациональное воздействие? Скажем, вон тот маленький капризуля, не желающий есть непривычную пищу, которую скармливает ему из пластмассовых баночек мать, возможно, впитает здесь эту память. При первом же взгляде на арку любое самое юное существо непременно проникнется издавна копившимися тут глубокими страданиями. Здесь ведь и поныне живут горе и страх; их можно вдохнуть, вобрать в себя. А если так, то спустя годы этот малыш может привести сюда своего сына и так далее, от поколения к поколению, НАВЕЧНО. И не для того только, чтобы пересчитывать пропавших без вести, а чтобы вникнуть в чувства и мысли тех, кого покинули без вести пропавшие, и чтобы заново пережить ее утрату.

Может быть, именно потому она и вышла замуж за Дениса. Ей, конечно же, не следовало за него выходить. В сущности, она за него так и не вышла, физическая близость ведь не состоялась; у нее не было желания, а у него мужской силы. Так продолжалось два года, и ей не забыть недоумения, с каким он смотрел на нее, когда она привезла его обратно. В свою защиту она может только сказать, что за всю жизнь один-единственный раз проявила чистейшей воды эгоизм: вышла замуж, когда сочла нужным, а когда сочла нужным — отделалась от мужа. Некоторые, вероятно, скажут, что она и потом жила эгоистично, целиком отдавшись воспоминаниям; но ведь такой эгоизм никому не приносит вреда.

Бедняга Денис. Он вернулся с фронта прежним красавцем, только полголовы у него поседело и изо рта текли слюни. Когда начинались припадки, она упиралась коленями ему в грудь и огрызком карандаша прижимала язык к нижним зубам. Из ночи в ночь он беспокойно метался во сне, бормотал что-то, рычал, замолкал ненадолго, а потом четко, как на плац-параде, выкрикивал: «Ура! Ура! Ура!» Она его будила, но он ни разу не мог припомнить своих снов. Его терзали вина и боль, но он забыл, в чем именно виноват. Она-то знала: Дениса ранило шрапнелью, его увезли в полевой лазарет, и он не простился со своим лучшим другом, Еврейчиком Моссом, а на следующий день Сэмми погиб во время бомбардировки. Два года она терпела этот брак, два года смотрела, как Денис

изо всех сил водит щеткой по седым прядям, надеясь, что они исчезнут сами собой, и в конце концов отвезла его назад к его сестрам. С этих пор, сказала она им, пусть они занимаются Денисом, а она будет заниматься Сэмом. Сестры молча, изумленно смотрели на нее. Позади них стоял в прихожей Денис, по подбородку текли слюни, карие глаза непонимающе взирали на мир; его неловкая терпеливая фигура выражала одно: это событие ничем не отличается от вереницы других столь же недоступных его уму вещей, и таких будет в его жизни еще очень много.

Месяц спустя она получила место в редакции Словаря. Она сидела одна в сыром подвале, через весь стол тянулись, завиваясь на концах, листы гранок. Оконные стекла были усеяны каплями конденсата. Она располагала двумя орудиями труда: латунной настольной лампой и карандашом, который она без устали оттачивала, покуда от него не оставался такой огрызок, что едва можно было удержать в руке. Почерк у нее был крупный, размашистый, немного похожий на почерк Сэмми; она кое-что вычеркивала, кое-что вставляла, в точности как он на фронтовых открытках. *На этой стороне гранок ничего не писать. В случае написания сверх положенного гранки будут уничтожены.* Нет, ей нечего было опасаться; она бестрепетно ставила свои значки. Зорким корректорским глазом она замечала двоеточие, набранное вместо прямого шрифта курсивом, или квадратные скобки вместо круглых, замечала непоследовательность в сокращениях, ошибки в перекрестных ссылках. Иногда она карандашом предлагала свои коррективы, помечая петлистым почерком, что данное слово, на ее взгляд, является скорее просторечным, чем разговорным, или что в примере иллюстрируется скорее образное, нежели переносное значение. Гранки она передавала мистеру Ротуэллу, заместителю главного редактора, но никогда не пыталась выяснить, учли ее пометы при окончательной редактуре или нет. Мистер Ротуэлл, бородатый, молчаливый и невозмутимый, высоко ценил ее дотошность, ее безошибочное понимание лексикографических тонкостей и готовность брать работу на дом, когда подходил срок сдавать очередную порцию в набор. Он про себя и вслух отмечал, что почему-то она особенно придирчиво относится к словам с пометой «устаревшее», частенько предлагая сопроводить помету знаком вопроса. Дело, наверное, в возрасте, думал мистер Ротуэлл; более молодым, видимо, легче согласиться с тем, что слово уже свое отслужило.

Вообще-то мистер Ротуэлл был всего лишь на пять лет моложе; но мисс Мосс — расставшись с Денисом, она снова стала именовать себя «мисс» — старилась быстро и словно бы даже охотно. Шли годы, она грузнела, пряди волос, и прежде непослушные, чуть больше обычного выбивались из-под заколок, а стекла очков стали еще толще. Ее плотные чулки казались совсем допотопными, плащ ни разу не бывал в чистке. Входя в ее кабинет, где частично хранился архив, молодые лексикографы пытались понять, от чего именно тут попахивает крольчатником — от стен, от старых словарных карточек, от плаща мисс Мосс или от самой мисс Мосс? Но мистера Ротуэлла все это ничуть не занимало, он видел главное — ее скрупулезность в работе. Хотя ей положен был отпуск в пятнадцать рабочих дней, она уезжала самое большее на неделю.

В первые годы ее отпуск неизменно начинался в одиннадцать часов одиннадцатого числа одиннадцатого месяца; из деликатности мистер Ротуэлл ее об этом не расспрашивал. Впрочем, потом она стала брать отпуск и в другие месяцы, поздней весной или ранней осенью. После смерти родителей она получила по завещанию небольшую сумму денег и, к изумлению мистера Ротуэлла, однажды приехала на работу в маленьком сером «моррисе» с красными кожаными сиденьями. Впереди на радиаторе у него красовался значок желтого металла с буквами AA[1], а сзади — номерной знак с буквами GB[2]. В свои пятьдесят три года она с первой попытки сдала экзамен на вождение автомобиля и управляет «моррисом» ловко и точно, едва ли не ухарски.

Ночует она всегда в машине. Во-первых, так дешевле; но главное, никто не мешает ей быть наедине с Сэмом. Жители деревушек в том остроконечном треугольнике к югу от Арраса привыкли, что возле памятника павшим часто стоит старенькая английская

---

[1] Автомобильная ассоциация — английская организация, оказывающая техническую, юридическую и прочую помощь автомобилистам.

[2] Великобритания (для автомобилистов, выезжающих на машине за рубеж).

машина цвета ружейного металла, а внутри на пассажирском месте спит закутанная в походное одеяло пожилая дама. Машину на ночь она не запирает никогда: было бы глупо и даже невежливо чего-то бояться, считает она. Спят деревни, и она спит, просыпаясь, когда мокрая от росы корова, бредя на дойку, шаркает мягким боком по крылу «морриса». Время от времени кто-нибудь из деревенских зовет ее к себе в дом, но она уклоняется от их гостеприимства. Ее поведение никому не кажется странным, и в окрестных кафе ей безо всяких просьб подают thé à l'anglaise.

Посетив Тьепваль, Тисл-Дамп и Катерпиллер-Вэлли, она проезжает Аррас и по дороге D 937 направляется в Бетюн. Впереди лежат Вими, Кабаре-Руж, Нотр-Дам-де-Лоретт. Но сначала предстоит заехать еще в одно место: в Мезон-Бланш[1]. Какие же у этих уголков обычно мирные названия! Но здесь, в Мезон-Бланш, погибло 40 000 немцев, 40 000 гансов лежат под тонкими черными крестами, в образцовом порядке, как то у гансов водится, хотя им далеко до великолепия английских захоронений. Она медлит, пробегая глазами несколько случайных имен; замечая дату чуть позже 21 января 1917 года, она праздно размышляет: а не тот ли это ганс, который убил ее Сэмми? Не он ли жал на курок, или строчил из пулемета, или зажимал уши, когда бухала гаубица? И смотрите, как мало он после прожил: два дня, неделю, месяц с небольшим еще барахтался в грязи, прежде чем занять свое место в ряду тех, кого опознали и с почетом похоронили, и снова он оказался напротив ее Сэмми, только разделяют их уже не колючая проволока и считанные *50 ярдов*, а несколько километров асфальта.

Никакой вражды к немцам она не испытывает; время вытравило в ней всякую злость на человека, на полк и армию, и даже на страну, лишившую Сэмми жизни. Но она негодует на тех, кто пришел позже, их она не желает величать дружеской кличкой «гансы». Начатая Гитлером война ей ненавистна за то, что она умалила память о Великой Войне, за то, что та война получила свой порядковый номер — всего лишь первая из двух. Ей тошно оттого, что в Великой Войне усматривают истоки второй, и получается, будто Сэм, Денис и все павшие на первой войне солдаты из Восточного Ланкашира были в том отчасти повинны. Сэм сделал все, что мог: пошел на фронт и погиб — и за это же был вскоре наказан, заняв в исторической памяти лишь второстепенное место. Время вещь странная, нелогичная. Пятьдесят лет назад была битва при Сомме; за сто лет до того — Ватерлоо, еще четыреста лет назад — при Адженкуре, или, как говорят французы, при Азенкуре. Однако теперь эти громадные временные отрезки словно сжались, приблизившись друг к другу. В этом она винит события 1939—1945 годов.

Она старается избегать тех районов Франции, где проходила вторая война, во всяком случае тех, где жива память о той войне. В первые годы после покупки «морриса» она по глупости воображала себя порою туристкой, которая едет в отпуск развлечься. Могла беспечно остановиться у придорожной забегаловки или пойти прогуляться по глухому закоулку в какой-нибудь тихой, одурманенной зноем деревушке, и вдруг в глаза ей кидалась аккуратная табличка в сухой стене, увековечивавшая память Monsieur Un Tel, lâchement assassiné par les Allemands[2], или tué[3], или fusillé[4], и стоял возмутительно недавний год: 1943, 1944, 1945. Они заслоняли историческую перспективу, эти смерти и эти даты; они привлекали внимание своей новизной. Она не желает их видеть, не желает.

После такого столкновения со второй войной она обычно торопливо идет в ближайшую деревню, ища утешения. И всегда знает, где его искать: рядом с церковью, с mairie[5], с железнодорожной станцией; на развилке дороги; на пыльной площади с безжалостно обкорнанными липами и несколькими тронутыми ржавчиной столиками кафе. Там она и находит искомый, покрытый пятнами сырости памятник павшим, с непременной poilu[6], горюющей вдовой, победоносной Марианной и бойким петушком. Нельзя сказать, чтобы слова на стеле нуждались в скульптурных пояснениях. 67 против 9, 83

---

[1] *Букв.:* Белый дом *(франц.)*.
[2] Мсье такого-то, подло убитого немцами (*франц.*).
[3] Замученного (*франц.*).
[4] Расстрелянного (*франц.*).
[5] Мэрией (*франц.*).
[6] Статуей героя-солдата первой мировой войны (*франц.*).

против 12, 40 против 5, 27 против 2 — вот в чем видится ей вечное пояснение, историческая правка. Она трогает выбитые на камне имена, на наветренной стороне позолоту с букв давно смыло непогодой. Эти столь памятные ей численные соотношения утверждают страшное верховенство Великой Войны. Глаза ее бегут по более длинному списку, спотыкаясь на имени, которое повторяется дважды, трижды, четырежды, пять, шесть раз — это в большой семье забрали всех мужчин, чтобы потом опознать и похоронить с почестями. В рельефной статистике смерти она и находит столь необходимое ей утешение.

Последнюю ночь она проводит в Экс-Нулетт (101 против 7); или в Сушé (48 против 6), где она поминает убитых 17 декабря 1916 года Плувьера, Максима, Серджента — последних ребят из деревни Сэма, которые погибли раньше его; или в Каранси (19 против 1); или в Аблен-Сен-Назэр (66 против 9), здесь погибли восемь мужчин по фамилии Лербье: четверо пали на champ d'honneur[1], трое как victimes civiles[2], один — civil fusillé par l'ennemi[3]. А наутро, когда роса еще лежит на траве, она, вся взъерошенная от переживаний, отправляется в Кабаре-Руж. Одиночество и мокрый от росы подол утишают боль. Она уже не разговаривает с Сэмом; все переговорено десятки лет назад. И душу излила, и прощенья испросила, и тайны поведала. Она не плачет больше; слезы иссякли. Но те часы, что она проводит с ним в Кабаре-Руж, самые важные в ее жизни. И так было всегда.

Возле Кабаре-Руж дорога D 937 делает памятный крутой изгиб, так что водители волей-неволей почтительно притормаживают, привлеченные видом изящного, украшенного куполом портика бригадного генерала Фрэнка Хиггинсона; портик служит одновременно воротами на кладбище и мемориальной аркой. За портиком земля идет под уклон, затем снова отлого поднимается к вертикально стоящему кресту, на котором висит, однако, не Христос, а металлический меч. На симметричном, расположенном амфитеатром кладбище Кабаре-Руж покоятся 6 676 английских солдат, матросов, морских пехотинцев и летчиков; 732 канадца; 121 австралиец; 42 южноафриканца; 7 новозеландцев; 2 королевских пехотинца с острова Гернси; 1 индиец; 1 солдат неизвестной воинской части и 4 немца.

Здесь же был похоронен, вернее, развеян прах бригадного генерала сэра Фрэнка Хиггинсона, секретаря имперской Комиссии по военным захоронениям, умершего в 1958 году в возрасте шестидесяти восьми лет. Вот пример настоящей верности памяти своих боевых товарищей. Вдова генерала, леди Вайолет Линсли Хиггинсон, умерла четыре года спустя, и ее прах был тоже развеян здесь. Счастливая леди Хиггинсон. Почему жене бригадного генерала, который, при всех его заслугах, на Великой Войне все же не погиб, дозволяются такие завидные, достойные похороны, а сестре солдата, военная судьба которого завершилась опознанием и почетными похоронами, в этом утешении отказывают? Комиссия дважды отклоняла ее просьбу, ссылаясь на то, что прах гражданских лиц не подлежит захоронению на военных кладбищах. Когда она написала в третий раз, ей ответили уже не столь вежливо и без экивоков отослали к предыдущим посланиям.

За долгие годы случалось всякое. Стало невозможно ездить сюда к одиннадцати часам одиннадцатого числа одиннадцатого месяца, потому что ей запретили проводить ночь возле могилы Сэмми. Здесь, мол, не предусмотрены условия для ночевки; говорилось это с показным сочувствием, но потом прозвучал вопрос: что будет, если и все остальные пожелают тут ночевать? Совершенно очевидно, отвечала она, что никто больше тут ночевать не желает, а если пожелает, то подобное желание следует уважить. Впрочем, через несколько лет она перестала огорчаться, что не попадает на официальную церемонию: там собираются во множестве люди, в чьих воспоминаниях ей чудится что-то неправильное, нечистое.

Были свои трудности и с травой на могиле. На кладбище растет французская трава, непривычно, кажется ей, жесткая и потому менее подходящая для упокоения английских солдат. Ее борьба по этому поводу с Комиссией ни к чему не привела. И как-то ранней весной она привезла с собой маленькую лопатку и пластиковый пакет, в котором лежал

---

[1] Поле битвы (*франц.*).
[2] Жертвы среди мирного населения (*франц.*).
[3] Гражданское лицо, расстрелянное противником (*франц.*).

квадратный ярд влажного английского дерна. Когда стемнело, она срыла лопаткой противную французскую траву и положила шелковистый английский дерн, потом прихлопала его лопаткой и утоптала ногами. Она уехала довольная собой, а на следующий год, подойдя к могиле, не нашла и следа своих стараний. Опустившись на колени, она поняла, что труды ее пошли насмарку: все снова заросло французской травой. То же самое произошло, когда она тайком посадила там тюльпаны. Сэм любил тюльпаны, особенно желтые, и как-то осенью она воткнула в землю с полдюжины луковиц. Но следующей весной у его надгробного камня цвели лишь пыльные герани.

Однажды могилу осквернили. Не очень давно. Она приехала на рассвете и, заметив в траве кое-что, решила, что это наделала собака. Но, увидев то же самое перед плитой 1685, где лежит рядовой У. А. Андред, «4-й б-н Лондонского полка, Кор. стрл., 15 марта 1915» и перед плитой 675, «рядовой Леон Эмманюэль Ливи, Камеронский полк (Шотл. стрл.), 16 августа 1916 в возрасте 21 года. И душа да вернется к Богу, который наделил ею — Мама», она задумалась: едва ли собака или даже три собаки сумели бы разыскать на кладбище три еврейские могилы. Она резко отчитала кладбищенского сторожа. Да, признался тот, такое и раньше случалось, еще и краской прыскали, но он всегда старается пораньше прибыть на место и все убрать. Может быть, он и честный человек, сказала она, но явно нерадивый. Виною всему она считает вторую войну. И пытается больше об этом не думать.

Теперь ничто не загораживает ей исторической панорамы до самого 1917 года: десятилетия видятся ровно подстриженной травкой, за которой встает ряд белых могильных плит, тонких, как костяшки домино. 1358, «рядовой Сэмюэл М. Мосс, Восточно-Ланкаширский полк, 21 января 1917», а в центре плиты звезда Давида. На некоторых могилах в Кабаре-Руж нет ни надписей, ни символов; на других — надписи, знаки полков, ирландские арфы, южноафриканские газели, кленовые листья, новозеландские папоротники. На большинстве плит выбиты кресты; только на трех — звезда Давида. Рядовой Андред, рядовой Ливи, рядовой Мосс. Английский солдат лежит под звездой Давида; она не сводит глаз с плиты. Из учебного лагеря Сэм писал, что товарищи его поддразнивают, но ведь его еще в школе прозвали Еврейчик Мосс, а в большинстве своем ребята они хорошие; во всяком случае, не задирают ни в казарме, ни на плацу. Шуточки у них все те же, что он и раньше слышал, но Еврейчик Мосс — все равно английский солдат и вполне годится на то, чтобы драться и умереть вместе с товарищами; так он и сделал, за то его и помнят. Она отталкивает от себя вторую войну, которая все только запутала. Он был английским солдатом, из Восточно-Ланкаширского полка, похоронен в Кабаре-Руж под звездою Давида.

Неужели, думает она, распашут эти кладбища: Эрбекур, Девоншир, Куорри, Блайти-Вэлли, Ольстер-Тауэр,Тисл-Дамп и Катерпиллер-Вэлли; Мезон-Бланш и Кабаре-Руж. Обещали ведь не распахивать никогда. Эту землю, повсюду читает она, «французский народ безвозмездно отдает для вечного упокоения тех солдат союзных армий, кто пал...» и так далее. НАВЕЧНО, говорится там, и ей хочется слышать, «на все грядущие века». Комиссия по военным захоронениям, любой очередной член парламента от ее округа, министерство иностранных дел, командир полка, в котором служил Сэмми, — все твердят одно, но она им не верит. Скоро — лет через пятьдесят или около того — умрут все, кто воевал на той Войне; а через еще какое-то время умрут и те, кто знал людей, воевавших на той Войне. Что, если прививка памяти не сработает или последующие поколения станут стыдиться об этом вспоминать? Сначала, предвидит она, в глухих закоулках со стен срубят те каменные таблички, поскольку много лет назад французы и немцы приняли официальное решение перестать ненавидеть друг друга, и некрасиво получится, если немецкого туриста обвинят в вероломных убийствах, совершенных его предками. Потом снесут военные памятники со всей их наглядной статистикой. Отдельные монументы, быть может, и сохранят за их архитектурные достоинства; да только новое, жизнерадостное поколение сочтет их устрашающими и придумает что-нибудь получше для оживления сельского пейзажа. Вот тогда и наступит пора распахать кладбища и вернуть хлеборобу землю, слишком долго она лежала в запустении. Священники и политики найдут способы это оправдать, и крестьяне получат назад свою пашню, удобренную кровью и

костями. Тьепваль, наверное, войдет в список исторических достопримечательностей, а вот сохранится ли портик с куполом — памятник бригадному генералу сэру Фрэнку Хиггинсону? Крутой изгиб дороги на трассе D 937 объявят помехой транспорту; за поводом дело не станет — попадет кто-нибудь по пьяной лавочке под колеса, и после стольких лет дорогу снова спрямят. А дальше начнется великое забвение, растворение в пейзаже. Войну упрячут в парочку музеев, в несколько окопов для показа туристам, сведут к горстке имен — они и будут символизировать бессмысленное жертвоприношение.

Возможно ли, что напоследок вновь воссияет память о павших? Ее-то поездки, в которых она заново переживает былое, продлятся недолго, и канцелярская ошибка ее жизни будет исправлена; но даже хотя она называет себя старой рухлядью, воспоминания ее словно становятся ярче. Если такое происходит с отдельным человеком, разве не может это же случиться со всей страной? Вдруг однажды, в первые десятилетия следующего века, настанет тот последний, освещенный закатным солнцем миг, после которого всё наконец сдадут в архив? Вдруг придет великая минута, когда люди дружно обернутся, и поверх скошенной травы десятилетий, в просвете между деревьями проглянут взбирающиеся по откосу стройные ряды могильных камней, белые плиты, на которых откроются взору славные имена и ужасающие даты, арфы и газели, кленовые листья и папоротники, христианские кресты и звезды Давида? А потом, не успеешь моргнуть увлажнившимся глазом, как сомкнутся деревья, исчезнет подстриженная трава, темно-синяя туча закроет солнце, и история, грубая повседневная история предаст это забвению. Неужели все произойдет именно так?

Туннель

Пожилой англичанин ехал в Париж по делам. Неторопливо устраиваясь на своем месте, он поправил подголовник и подставку для ног; недавно пришлось вскопать после зимы пару грядок, и спину у него все еще поламывало. Он раскрыл складной столик, проверил, работают ли вентилятор и лампочка над сиденьем. Ни бесплатный журнал, предлагаемый железнодорожной компанией, ни наушники и видеоплейер, на экране которого уже светилось обеденное меню с перечнем вин, не привлекли его внимания. Нет, он отнюдь не противник еды и напитков; хотя ему уже под семьдесят, он по-прежнему с волнением, порою совестясь самого себя, предвкушает очередную трапезу. Но теперь он не боится казаться — даже себе, не только окружающим — чуть-чуть старомодным. Вот и сегодня: хотя пассажиров бизнес-класса кормят обедом бесплатно, он везет из дому бутерброды и в специальной холодильной сумке — маленькую бутылочку мерсо; сторонний человек увидит в этом, наверное, одну лишь блажь. Пусть; он поступает так, как хочется ему.

Когда состав плавно и торжественно отошел от вокзала Сент-Панкрас, пожилой господин по обыкновению принялся размышлять над общеизвестным, но удивительным обстоятельством: на протяжении его жизни Париж стал ближе, чем Глазго, а Брюссель — чем Эдинбург. Выехав из дому в северной части Лондона и ни разу не предъявив паспорта, он может через каких-то три часа уже шагать по отлого идущему под уклон бульвару Мажанта[1]. Важно только иметь при себе общеевропейское удостоверение личности, да и то лишь на случай, если владельцу вздумается ограбить банк или упасть на рельсы в метро. Он достал из бумажника пластиковый прямоугольник: имя, адрес, дата рождения, пенсионный счет и номер социальной страховки, телефон, факс и электронная почта, группа крови, перечень заболеваний, данные о кредитоспособности и сведения о ближайших родственниках. Но все, кроме имени и адреса, зашифровано в маленьком радужном ромбе. Он прочел свое полное имя — два слова и инициал, за долгие годы ставшие настолько привычными, что не задевают сознания, — и вгляделся в фотографию. Длинное худощавое лицо, кожа под подбородком обвисла, на щеках яркий румянец и несколько лопнувших жилок — плата за пренебрежение советом врача воздержи-

[1] Бульвар в северо-восточной части Парижа.

ваться от алкоголя; а глаза серийного убийцы, как бывает на моментальных снимках. Ему всегда казалось, что он человек не тщеславный, но поскольку собственные фотографии его, как правило, слегка разочаровывают, он, видимо, все же не лишен тщеславия.

Впервые он побывал во Франции пятьдесят шесть лет тому назад, всей семьей они поехали на машине отдыхать в Нормандию. Тогда не было паромов, на которых можно переправиться через пролив, не выходя из автомобиля, не было экспрессов «Евростар» и «Le Shuttle»[1]. В те времена на пристани в Ньюхейвене машину закрепляли на деревянной площадке и, словно тюк товара, опускали в трюм. Память привычно развертывала перед ним подробности тех путешествий. Он отплывал из Дувра, Фолкстона, Ньюхейвена, Саутгемптона, Портсмута. Высаживался в Кале, Булони, Дьепе, Гавре, Шербуре, Сен-Мало. Вылетал на самолете из Хитроу, Гатвика, Станстеда и Лондонского городского аэропорта; садился в Ле-Бурже, Орли, Руасси. В шестидесятых годах он совершил ночное путешествие в спальном вагоне от вокзала Виктория до Гар-дю-Нор[2]. А еще примерно в те же времена уже существовал маршрут «Серебристая стрела», которым все очень гордились: за четыре часа с четвертью вы попадали из центра одной столицы в центр другой — с вокзала Ватерлоо[3] в Лидд[4], из Лидда в Ле-Туке[5], а там у посадочной полосы уже ждал экспресс на Париж. Что еще? Летал из Саутгемптона (точнее, из Истли) в Шербур и по так называемому «воздушному мосту», а его кургузый «моррис-майнор» путешествовал в брюхе неуклюжего грузового самолета. Высаживался в Монпелье и Лионе, Марселе и Тулузе, в Бордо, Ницце, Перпиньяне, Нанте, Лилле, Гренобле, Нанси, Страсбуре, Безансоне. По монорельсовой железной дороге возвращался из Нарбона, Авиньона, Брив-ла-Гайарда, Фрежюса и Перпиньяна. Сколько раз он летал над этой страной, пересекал ее на поездах и автобусах, ездил на собственной машине и на попутках; бродя по Севеннам[6], натирал на ногах мозоли величиною с крупный боб. За эти десятилетия у него накопилось несколько изданий мишленовских[7] карт; стоит развернуть любую, и в памяти ярко вспыхивают картины прошлого. Он хорошо помнит, как поразился лет сорок тому назад, увидев, что французы ввели у себя круговые нерегулируемые развязки: бюрократия со своими чиновными установлениями уживается здесь с галльским свободолюбием — извечное французское противоречие. Потом французы ввели еще одно новшество — «спящий полицейский»: асфальтовый гребень поперек проезжей части; они называют его ralentisseur, или policier couchant[8]. Странно, что у нас полицейский спит, а у них — только лежит. Что бы это значило?

Промчавшись сквозь последний лондонский туннель, «Евростар» вырвался на апрельское солнце. Темно-коричневые кирпичные стены ограждения, сплошь покрытые разноцветными надписями, сменились молчаливыми предместьями. Утро стояло обманчиво ясное, но холодное; домохозяйки выходили развесить белье в короткорукавых платьях, и напрасно; а молодые люди, поспешившие убрать складной верх на своих автомобилях, рисковали простудить себе уши. Мимо летели одинаковые, словно ксерокопии, двухквартирные домики; сливовые деревья усыпаны тяжелыми, как плоды, соцветиями. Промелькнули огородные участки, затем спортплощадка, где аккуратным рядком выстроились убранные на зиму белые крикетные экраны. Он отвел глаза от окна и взялся за кроссворд в «Таймс». Несколько лет тому назад он объявил, что придумал способ защиты от старческого маразма: решай каждый день по кроссворду и, если замечаешь у себя признаки склеротического идиотизма, называй себя вслух «старый хрыч». Да только не веет ли маразмом, или предвестием маразма, от этаких стараний?

Он решил отвлечься от собственной персоны и переключиться на спутников. Справа сидели трое в костюмах и еще один тип в полосатом блейзере; напротив расположи-

---

[1] Французское название того же поезда.
[2] Северный вокзал в Париже.
[3] Вокзал в Лондоне.
[4] Городок в графстве Кент, Англия.
[5] Аэропорт в городке Туке-Пари-Плаж, на берегу пролива Ла-Манш.
[6] Севенны — горы на юго-востоке Франции; там же расположен одноименный национальный парк.
[7] Мишлен — фирменное название путеводителей и карт, созданных Андре Мишленом в 1900 г. и с тех пор регулярно переиздаваемых.
[8] *Букв.:* лежащий полицейский *(франц.)*.

лась пожилая дама. Пожилая; стало быть, примерно его возраста. Он повторил про себя это словцо, камешком покатал во рту. Он его всегда недолюбливал, было в нем что-то противное, заискивающее, а теперь, когда оно пристало и ему самому, оно ему совсем разонравилось. Молодой, средних лет, пожилой, старый, мертвый — вот как оно спрягается. (Нет, жизнь ведь существительное, значит, оно склоняется вместе с жизнью. Да-да, так вернее: жизнь склоняется, *идет под уклон*. А тут брезжит еще одно значение: уклоняться, ускользать. «Теперь я вижу, что всегда боялся жизни», — однажды признался Флобер. Свойственно ли это всем писателям? И является ли обязательным условием: чтобы стать писателем, нужно в определенном смысле уклоняться от жизни? Или так: человек ровно в той мере писатель, в какой он способен уклоняться от жизни?) Но о чем это он думал? Ах да, *пожилой*. Правильно, побоку эту ложную учтивость. Молодой, средних лет, старый, мертвый — вот оно как на самом деле. Он презирает людей, которые норовят осторожно обойти вопрос о возрасте — о собственном возрасте, — но зато с другими не церемонятся. Мужчины, которым далеко за семьдесят, рассуждают о «восьмидесятилетнем старикане», шестидесятипятилетние женщины жалеют «бедняжку», которой уже семьдесят. Лучше уж перегибать палку в противоположную сторону. До тридцати пяти человек молод, до шестидесяти — средних лет, а потом — просто стар. Стало быть, сидящая напротив дама не пожилая, а старая, как и он сам; и стар он уже ровно девять лет. Благодаря врачам, впереди еще долгая старость. И все заметнее станут штришки, которые он уже не раз замечал у себя: страсть рассказывать разные истории и вспоминать случаи из жизни, путаница в мыслях и речах; и если он еще способен верно усматривать связь между отдельными предметами и событиями, то общий порядок вещей его пугает. Он любит приводить удачную фразу, сказанную его женою давно, когда оба они были еще средних лет: «С возрастом в наших характерах закрепляются наименее привлекательные черты». Что правда, то правда; но даже понимая все, разве от этого убережешься? Ведь наименее привлекательные черты характера бросаются в глаза прежде всего окружающим, а не нам. Вот у него — какие это черты? Одна из них — самодовольная склонность задаваться вопросами, на которые нет ответов.

Соседей-мужчин он решил оставить на потом. Итак, женщина: серебристые волосы без претензий на натуральность (в смысле цвета; сами по себе волосы, насколько он мог судить, у нее свои), бледно-желтая шелковая блузка, темно-синий жакет с бледно-желтым платочком в кармашке, клетчатая юбка, которая... Нет, он уже не способен оценивать длину юбок с точки зрения моды, не стоит и пытаться. Довольно высока ростом, пять футов восемь или девять дюймов, и приятной наружности. (Он не желает пользоваться препротивным словом «интересная». По отношению к женщине определенного возраста оно значит «со следами былой красоты». Это жестокое заблуждение, поскольку красоту женщина приобретает с годами, обычно когда ей за тридцать, и потом уже редко ее теряет. Вызывающая дерзость юности — вот она я, только свистни, — совсем другое дело. Красоту порождает самопознание плюс знание окружающего мира; отсюда следует, что в ранней молодости проявляются лишь отдельные пленительные черты, но только лет в тридцать или около того женщина становится по-настоящему прекрасной.) А может быть, она в прошлом девица из «Шалой лошадки»? По всем статьям подходит. И ростом, и сложением, и выхоленностью. Скажем, едет на встречу однокашниц, у них это водится. Выпуск мадам Олив 1965 года или что-нибудь в том же роде. Чудно́, что такие развлечения до сих пор не перевелись, и даже теперь, когда есть куда более непритязательные сексуальные забавы, все же находятся охотники до этих английских кобылок, исправно отплясывающих в кордебалете и похожих друг на друга, как домишки предместья; их танцы принято считать эротичными, но в рамках приличий, а девушкам запрещается заводить знакомства в радиусе 200 ярдов от клуба. Он живо вообразил себе ее прошлую жизнь: балетная школа в Камберли[1], выступления в круизах; потом конкурс в «Шалой лошадке», яркий испанский или французский псевдоним; и на сцене, и за кулисами жизнь одной семьей, клубная система отчислений на черный день; наконец, спустя четыре-пять лет, она возвращается в Англию и, получив от клуба кругленькую сумму,

[1] Городок на юге Англии, в графстве Суррей.

открывает магазин готового платья; затем — добропорядочные кавалеры, замужество, дети. Да, вон и обручальное кольцо поблескивает меж двух других геологических находок. Пожалуй, все верно, едет на пятидесятую годовщину... Мадам Олив, разумеется, давно уже нет на свете, но Бетти из Фалмута будет непременно, и еще...

В блейзере того малого, что сидит наискосок, чудится какая-то фальшь. Впрочем, во всех полосатых блейзерах au fond[1] кроется известная фальшь — будто они подделываются под эпоху Джерома К. Джерома или под завсегдатаев Хенлейской регаты[2], но это сочетание темно-красного и светло-зеленого выглядит почти пародийно. Хозяин блейзера, толстячок средних лет с седеющей шевелюрой, бачками и густо загорелым лицом, зевает над журналом о велосипедном спорте. Работяга, которому подфартило, и он едет гульнуть по бардакам? Слишком банально. Представитель телекомпании, которая жаждет освещать нынешние гонки «Тур де Франс»? Да нет, придумай что-нибудь посвежее. Торговец антиквариатом, направляющийся в отель «Друо»[3]? Уже лучше. Броский пиджак предназначен слегка сбивать с толку окружающих; кроме того, он поможет привлечь внимание аукциониста, а соперники по серьезным торгам наверняка недооценят его владельца.

Глядя вдаль мимо мужчин в костюмах, он увидел поле хмеля; бечева на подпорках еще не натянута, на крыше сарая для сушки хмеля торчит изогнутая печная труба. Переведя взгляд на соседей, он решил вычислить и этих ребят. Тот, при очках и газете, вроде бы пристально изучает вагонное окно; ладно, будет инженером. Тот, который без очков, но при газете и полосатом галстуке — то ли школьного братства, то ли фирмы, — третьеразрядный чиновник Европейской комиссии? И последний... Постой, как там в считалочке? Царь, царевич, король, королевич, пирожник... Н-да, всех не вычислишь, он уже в этом убеждался.

В старые времена — даже еще в пожилые времена — пассажиры бы уже давно разговорились. А теперь хорошо, если проявят осторожную приветливость. Стоп. Старый хрыч. Это словечко «теперь» выдает тебя с головой, за ним непременно следует или ему предшествует сентенция, которую он сам, но другой, уже исчезнувший — более молодой и критичный, — обязательно бы осудил. И чувства твои не новы: вспомни, ты же не вчера родился. Когда ты был еще мальчишкой, взрослые без конца нудили о том, что «в войну все *друг с другом разговаривали*». И как ты, одурманенный пульсирующей отроческой тоской, на это реагировал? Бурчал про себя, что война — высоковатая плата за такую, несомненно желанную, общительность.

Да, и все же... Он же помнит... Нет-нет, он ведь все чаще убеждается, что этот глагол не совсем верен. Ему вроде бы вспоминается, или, оглядываясь назад, он представляет себе, или восстанавливает по фильмам и книгам, с помощью ностальгии, размякшей, как залежавшийся камамбер, — словом, реконструирует времена, когда пассажиры трансъевропейского экспресса за время пути успевали подружиться. Случались и мелкие происшествия, и непредвиденные сюжеты; а какие встречались типы: ливанский бизнесмен, поедавший из крохотной серебряной коробочки изюм сабзу, загадочная обольстительная женщина, решавшаяся на короткую интрижку, — чего только не бывало. После проверки паспортов, в которые косились осторожные соседи, и треньканья колокольчика, которым буфетчик в белом пиджаке приглашал к обеду, традиционная сдержанность британцев таяла; а еще можно было щелкнуть крышкой своего черепахового портсигара и, изрядно разгрузив его, завязать общий разговор. А теперь... да, теперь езда по этому новому европейскому Zollverein[4] стала чересчур стремительной, еду пассажирам разносят на места, и никто не курит. Кончина Купейного Поезда и Ее Влияние на Общение Путешественников.

Вот еще один признак «старохрычества»: вымучивание смешных названий для якобы научных диссертаций. И все же... в начале девяностых годов он сел в Цюрихе на мрач-

---

[1] В сущности (*франц.*).
[2] Хенлейская регата — традиционные международные соревнования по гребле на р. Темзе в г. Хенли.
[3] Отель в Париже, где проводятся аукционные продажи произведений искусства.
[4] Таможенному союзу (*нем.*).

ный, неприветливый поезд до Мюнхена. Вскоре выяснилась причина этого убожества: пунктом назначения оказалась Прага, и состав был наследием минувшей коммунистической эпохи, но ему милостиво разрешили пятнать собою безукоризненно капиталистические пути. По обе стороны окна уселась супружеская пара из Швейцарии, в костюмах из твида, со множеством пледов, бутербродов и пожилых чемоданов (вот здесь это слово вполне уместно, чемодан может — даже должен — быть пожилым), которые только средних лет англичанину было по силам взгромоздить на багажную полку. Напротив него сидела высокая белокурая швейцарка в алом пиджаке и черных брюках, от нее словно бы исходил негромкий, но внятный звон золота. Англичанин машинально вновь раскрыл европейское издание «Гардиан». Тряский поезд неспешно бежал первые километры, и всякий раз, когда он замедлял ход, дверь купе, возле которой сидел англичанин, с грохотом отъезжала. Потом поезд набирал скорость, и дверь с лязгом задвигалась. Каждые несколько минут на голову неизвестного чешского проектировщика вагонов сыпались одно-два, а то и больше молчаливых проклятий. Через некоторое время швейцарка отложила журнал и, надев темные очки, откинулась на спинку сиденья. Дверь бахнула еще несколько раз, и англичанин в конце концов уперся в нее ногой. Для этого пришлось изогнуться всем телом, и в такой неудобной, напряженной позе он просидел с полчаса. Стук в окно положил конец его добровольному мытарству, это барабанил металлическим компостером контролер (англичанин уже лет десять не слыхал этого звука). Соседка очнулась, достала билет и, когда контролер ушел, обернулась к англичанину:

— Vous avez bloqué la porte, je crois.

— Oui. Avec mon pied, — педантично уточнил он. И, опять явно без всякой нужды, добавил: — Vous dormiez[1].

— Grâce a vous[2].

Они проезжали озеро. Что это за озеро, спросил он. Не знаю, сказала она. Возможно, Констанс. И обратилась по-немецки к супругам.

— Der Bodensee[3], — выяснив, подтвердила она. — Здесь потонула единственная швейцарская подводная лодка: забыли задраить люк.

— Когда же такое случилось? — спросил он.

— Да это анекдот.

— A-a...

— Je vais manger. Vous m'accompagnerez?

— Bien sûr[4].

В вагоне-ресторане официантками работали чешки, широкобедрые, с усталыми лицами и неухоженными волосами. Он взял пльзеньского пива и омлет по-пражски, а она — неаппетитную груду разных гарниров, увенчанную куском говядины, ломтиками бекона и безбожно пережаренной яичницей. Его омлет оказался не менее восхитительным, чем это неожиданное знакомство. Ему принесли кофе, а ей стакан горячей воды, в которой болтался пакетик чая «Уинстон Черчилль». Затем последовала еще кружка пива, еще стакан чая, еще чашка кофе и сигарета. Под стук колес за окном тем временем развертывался мирный сельский пейзаж южной Германии. Они разошлись во взглядах на несчастье. Все несчастья от головы, а не от сердца, говорила она, от тех заблуждений, что рождаются в наших умах; он же с бескомпромиссным пессимизмом утверждал, что все несчастья — от сердца. Она называла его «мсье», и они учтиво говорили друг другу «vous»[5]; это несоответствие между чинными языковыми формальностями и кроющейся за ними близостью сильно возбуждало его. Он пригласил ее на свою лекцию, которую должен был вечером читать в Мюнхене. Она ответила, что планировала вернуться в Цюрих. Сойдя с поезда в Мюнхене, они расцеловались, и он сказал:

---

[1] — Полагаю, это вы не дали открыть дверь.
— Да. Удерживал ее ногой *(франц.)*.

[2] — Вы спали.
— Благодаря вам *(франц.)*.

[3] Боденское озеро (*нем.*); его французское название — озеро Констанс.

[4] — Я иду поесть. Пойдете со мной?
— Конечно. *(франц.)*.

[5] Вы (*франц.*).

— A ce soir, peut-être, sinon à un autre train, une autre ville...[1]

То был флирт высокой пробы, и, лишний раз подтвердив это, она на его лекцию так и не пришла.

За окнами промелькнула платформа для «Шатла» в Черитоне[2]; начальник поезда объявил по радио, что они приближаются к Проливу. Ограждения, девственно чистые бетонные стены, почти неощутимый уклон и — мягко обволакивающая тьма. Он закрыл глаза и в туннеле памяти уловил отголоски ритмичного скандирования. Тому, наверное, лет пятнадцать-двадцать. Быть может, этот подозрительный малый, сидящий напротив, пробудил воспоминания о своем двойнике. Повторяются ведь не только события, но и люди.

В укромной тьме собственного прошлого он, обернувшись, увидел надвигающуюся компанию футбольных болельщиков: у каждого в одной руке банка пива, другая рука сжата в кулак и взброшена вверх. «Дра-ко-ны! Дра-ко-ны!» Черные кожаные куртки, в носу кольца. И вдруг они замечают сладкоречивого, но самоуверенного Ленни Фултона, ведущего программы «Мир спорта в Великобритании»; да, это он, седой, в блейзере клоунской расцветки, — Ленни Фултон, «человек, который ни одной тусовки не пропустит»; в начале сезона, осуждая не блиставших хорошими манерами болельщиков одного клуба, расположенного в южной части Лондона, он заявил, что они «хуже свиней»; «в сущности, — добавил он, — назвать их свиньями — значит, оклеветать это превосходное животное». Обвиненные в свинстве ответили издевательским согласием. Вы зовете нас свиньями? Отлично, так тому и быть. На следующий матч сотни болельщиков явились с латунными кольцами в носу; у самых ярых носовая перегородка была проткнута насквозь, их демонстрация новой моды превратилась в образ жизни. Сидя на трибунах, они поддерживали свою команду громким хрюканьем. И вдруг они обнаруживают своего хулителя!

— Елки-палки, да это Ленни! Гляньте-ка, кто нам попался!

Поднялась неразбериха, брызнули струи пива, и под нарастающий рев, в котором утонул испуганный писк «Привет, ребята!», Ленни Фултона сдернули с сиденья и за руки, за ноги утащили прочь.

Минут десять остальные пассажиры озирались, уговаривая друг друга не встревать в происходящее. Потом Фултон появился вновь, но не один, а с провожатыми, которые пихнули его примерно на то же место. Он был всклокочен, красен как рак, волосы намокли от пива, а в носу висело большое латунное кольцо.

— Что, Ленни, твою мать, легко отделался? Если б не двери... — Один из провожатых, массивный здоровяк, влепил ему затрещину. — Гляди не снимай его, понял?

— Понял, ребята.

— До самого Парижа не снимай. И на телепередаче тоже. Мы будем смотреть в оба.

Посверкивая кольцами в носах, они повернулись к выходу. На спинах их черных кожаных курток распростерлись вышитые алыми нитками крылья дракона. Оглядев соседей по купе, Ленни Фултон смущенно хохотнул.

— Они, в общем-то, ребята неплохие. Просто распалились. Матч ведь был не рядовой. Да нет, хорошие ребята. — Он смолк, потрогал кольцо в носу, снова засмеялся и буркнул: — *Твари,* чтоб им пусто было. — И стал пальцами расчесывать влажные волосы, пока они не встали ежиком, к которому так привыкли зрители программы «Мир спорта». — Если б двери в вагоне не были заперты, они сбросили бы меня с поезда. Свиньи. — Затем, словно по зрелом размышлении, однако явно рассчитанном на публику, внес необходимое уточнение: — Слово *свиньи* чересчур хорошо для них. Это был бы сущий поклеп на превосходное животное.

Стремясь вернуть себе прежнее мирное и покойное состояние духа, пассажиры заговорили о спорте: о матче с командой «Пари-Сен-Жермен», о зимнем турне национальной сборной по крикету, о турнире «пяти наций»[3]. Англичанин тогда тоже не без смущения вступил в разговор, задав один из своих любимых вопросов: «Когда в послед-

---

[1] Возможно, сегодня вечером, разве только в другом поезде, в другом городе... (*франц.*).

[2] Черитон — городок в графстве Кент, недалеко от пролива Ла-Манш.

[3] Турнир по крикету между пятью основными государствами Содружества — Великобританией, Канадой, Австралией, Южной Африкой и Индией.

ний раз на Олимпийских играх проводились соревнования по крикету и кто завоевал медали?» Ленни Фултон покосился на него с привычным подозрением, как профессионал на докучливого любителя спорта.

— Вопросик небось с подвохом?

Ответить никто не отважился.

— 1900 год, Лос-Анджелес, команда Англии завоевала золотую медаль, французы серебро. Бронзу не получил никто, потому что в соревнованиях участвовали только эти две команды.

Его сообщение вызвало весьма слабый интерес слушателей. Что ж, тому ведь больше ста лет. Он не стал донимать их вторым заветным вопросом: что за приз вручили победителю очередного этапа, когда «Тур де Франс» проходил через Коломбе-ле-Дёз-Эглиз[1]? Сдаетесь? Все три тома мемуаров генерала де Голля.

Разносивший обед официант, вопросительно взглянув на Ленни Фултона, вполголоса произнес:

— Ура «драконам», да, мистер Фултон?

— Да пошли эти «драконы» к такой-то матери. Подлейте-ка мне еще порции четыре. Только чисто солодового виски, а не этой вашей смешанной бурды.

— Хорошо, мистер Фултон.

Теперь же, много лет спустя, пожилой англичанин развернул свои бутерброды и, вынув походный штопор, откупорил маленькую бутылочку мерсо 2009 года. Он предложил стаканчик и даме, танцовщице из «Шалой лошадки». Та, поколебавшись, взяла бутылку и, изучив наклейку, согласилась:

— Капельку, только попробовать.

А больше никто и не пьет, подумал он. Во всяком случае, не пьют столько, сколько он, — чуть больше, чем советуют доктора. Хотя только так и стоит пить. Но нет, либо по четыре порции виски зараз с последующим размягчением мозга, либо по несчастной «капельке» вроде той, что он сейчас наливает. Он представил себе соседку в ее мишурно-блестящем прошлом: как она, стараясь не оттопыривать мизинчик, поднимала бокал с coupe de champagne[2], заказанный очередным распалившимся от нетерпения кавалером, с которым она познакомилась в 201 ярде от клуба.

Однако он ошибся. Едет она вовсе не в Париж, а если когда-то и танцевала, то лишь на любительских концертах. Она рассказала, что направляется в Реймс на профессиональную дегустацию шампанского «Крюг» разных лет, начиная с 1928 года. Она — признанный специалист по винам; оценивая цвет напитка, она подержала бокал над белой скатертью, потом прополоскала рот глоточком мерсо и объявила, что для немарочного вина вкус у него неплохой, но чувствуется, что лето в тот год выдалось дождливое, да и дубовой бочкой немного отдает. Он попросил ее примерно определить цену вина, и названная ею сумма оказалась ниже той, что заплатил он.

Что ж, забавная вышла ошибка; не то чтобы из ряда вон, а все же поучительная. Больше всего ему запомнилось, как он промахнулся в Касабланке. Лет двадцать назад он делал там пересадку, направляясь в Агадир; он торопливо шел через душный аэровокзал к залу ожидания, заполненному английскими путешественниками, невозмутимыми стоиками; на табло над их головами уже помаргивали огоньки: посадка началась. Вдруг одна молодая женщина, словно спятив, опрокинула раскрытую сумочку вверх дном, и на пол с разной скоростью полетели бумажные салфетки, косметика, ключи, деньги, а хозяйка с маниакальным упорством продолжала трясти и колотить свою давно опустевшую сумку. Потом очень медленно, будто проверяя, решится ли самолет улететь без нее, принялась собирать разбросанное и класть обратно. Ее кавалер окаменело стоял в очереди на посадку, а она, все еще разъяренная, но ничуть не смущенная, копошилась, как тряпичник, в своем барахле.

Очевидно, на самолет они все-таки успели, потому что оказались в одной с ним гостинице, окруженной мандариновыми рощами, за которыми вздымались снежные

---

[1] Деревушка в Арденнах, где умер и похоронен генерал Шарль де Голль.

[2] Глотком шампанского (*франц.*).

вершины Атласских гор, — поистине райский уголок. В первое же утро, направляясь к увитому бугенвиллией главному зданию, он заметил ту девушку; она сидела за столом, на котором в беспорядке валялись кисти, акварельные краски, картон. В нем с новой силой взыграло любопытство: что же такое она потеряла тогда в аэропорту Касабланки? Дорогой крем от загара? Телефоны и адреса тех, кто мог ей пригодиться в Агадире? Нет, видимо, кое-что поважнее — недаром же она так разъярилась, а у ее спутника запылали щеки. Противозачаточное средство, без которого весь их отдых мог пойти насмарку? Капсулы с инсулином? Слабительное с эффектом глубинной бомбы? Пакетик хны? Задним числом он встревожился за нее, мысль о том происшествии не давала ему покоя. Он принялся воображать ее жизнь, заполняя психологическую пропасть между рассвиреневшей до буйства путешественницей и безмятежной акварелисткой. День ото дня его домыслы становились все причудливее, но он не спешил выяснять истину, словно оттягивая удовольствие. Наконец страх так и не узнать то, что было известно девушке — и чего она явно не умела оценить по достоинству, — совсем его одолел. Как-то днем он подошел к ней, сказал несколько плоских комплиментов о ее работах, а затем, скрывая волнение под противным, нарочито небрежным тоном — будто на кону было счастье его жизни, — спросил, что же такое она потеряла тогда в Касабланке.

— Да посадочный талон, — пренебрежительно бросила она.

От радости он едва не расхохотался во весь голос, но остался стоять столбом, вытаращив глаза, словно истомившийся жених; он и сам не понимал, чем упивается больше: неумеренностью своих ложных фантазий или неприкрашенной правдой. На следующий день, будто выполнив свое предназначение — во всяком случае, по отношению к нему, — девушка и ее спутник уехали.

Он смотрел на французский пейзаж за окном, лениво отмечая его немногочисленные приметы. Узкие дренажные канавки и сонные каналы. Водонапорные башни на холмах, напоминавшие очертаниями то рюмку для яйца, то метку для мяча в гольфе. Вместо квадратных английских башен церкви увенчаны тонкими остроконечными шпилями. Над кладбищем павших в первую мировую войну развевается tricolore[1]. Но мысли его упорно возвращались в прошлое. Агадир; да, и еще один неприятный для него сюрприз, с полвека назад, когда он учительствовал в Ре́не[2]. Тот год жизни съежился в его сознании до нескольких забавных эпизодов, изложение которых давно уже отшлифовано до блеска. Но там был не просто забавный случай, а кое-что другое, более похожее на подлинное воспоминание. Ученики относились к нему дружелюбно, во всяком случае с веселым любопытством, — все, кроме одного. Никак не удается припомнить его имя, внешность, выражение лица; в памяти осталось только место, где сидел тот мальчик в маленьком прямоугольном классе: последний ряд, чуть правее середины. С чего все началось, он уж и не помнит, но однажды этот ученик вдруг решительно объявил, что ненавидит англичан. Почему? Потому, сказал он, что они убили его дядю. Когда? В 1940 году, сказал он. Как? Английский флот вероломно напал на французские корабли у Мерс-эль-Кебира[3]. Это вы убили моего дядю, вы. Такая ненависть и ее непостижимая историческая подоплека совершенно ошеломили молодого assistant d'anglais[4].

Мерс-эль-Кебир. Постойте, да это вовсе не рядом с Агадиром. Мерс-эль-Кебир находится неподалеку от Орана, в Алжире, а не в Марокко. Старый дурень. Старый хрыч. Хотя между отдельными событиями ты и способен усмотреть связь, их общий ход ты все равно упускаешь. А там он и события-то не связал. Закостенел в своих наименее привлекательных чертах характера. Даже сам с собою перескакивает с пятого на десятое. Мысль его уже побежала по другой колее, а он и не заметил.

Кто-то протянул ему горячее полотенце; на его лице оно мгновенно превратилось в холодную влажную тряпку. Начни сначала. С 1940 года. Отлично. Не рискуя ошибиться,

---

[1] Национальный французский флаг (*франц.*).

[2] Рен — город во Франции.

[3] Мерс-эль-Кебир — порт на юго-западе Алжира; в июле 1940 г., после оккупации Франции войсками фашистской Германии, английский флот уничтожил французские корабли, стоявшие в гавани Мерс-эль-Кебира, чтобы они не достались немцам.

[4] Учителя английского языка (*франц.*).

он утверждает, что 1940 год был семьдесят пять лет назад. Его поколение последнее из тех, кто еще помнит великие европейские войны, у кого память о них вплетена в историю каждой семьи. Ровно сто лет назад его дед пошел на первую мировую войну. Ровно семьдесят пять лет назад его отец пошел на вторую мировую войну. Ровно пятьдесят лет назад, в 1965 году, у него самого появилась робкая надежда: а может, ему повезет и третьей войны не будет? Так оно и вышло: на протяжении его жизни великое историческое везенье Европы ему не изменило.

Сто лет назад его дед пошел в армию добровольцем, полк отправили во Францию. Года два спустя дед вернулся домой, от службы его освободили по причине траншейной стопы. От его пребывания на войне не сохранилось совершенно ничего. Ни писем, ни желтоватых фронтовых открыток, ни снятой с его кителя колодки с шелковистыми орденскими ленточками; младшим поколениям не досталось ни пуговицы, ни даже клочка аррасских кружев. На склоне лет у бабушки развилась страсть выкидывать из дому все подряд. Мало того, что памяти не за что было зацепиться, прошлое окутал еще один слой мглы — туман умолчаний. Он помнит или думает, что помнит — по крайней мере полжизни так думал, — что дед охотно рассказывал о своем вступлении в армию, о военной подготовке, об отъезде из Англии и прибытии во Францию; однако дальше он рассказывать не желал ни в какую, а может, и не мог. Повествование неизменно останавливалось возле линии фронта, предоставляя слушателям воображать неистовые атаки по опостылевшей грязной жиже навстречу беспощадному огню. Такая неразговорчивость казалась вполне понятной, правильной, возможно, даже вызвала восхищение. Как описать словами ту кровавую бойню? Дедова молчаливость — то ли от пережитого, то ли по свойству его мужественной натуры — была вполне уместна.

Но однажды, когда дед и бабушка уже умерли, он стал расспрашивать мать об ужасной войне, на которой сражался ее отец, и мать развеяла все, что он себе навоображал. Нет, сказала она, ей неизвестно, где именно во Франции служил отец. Нет, ей кажется, он находился совсем даже не в прифронтовой полосе. Нет, он никогда не употреблял выражения «идти в атаку». Да нет, он вовсе не был травмирован пережитым. Тогда отчего же он никогда не рассказывал о войне? После продолжительного молчания мать промолвила: «Мне кажется, он о ней не рассказывал потому, что не считал это интересным».

Вот и все. Теперь уж ничего не поделаешь. Его дед примкнул к тем, кто пропал без вести на Сомме. Да, верно, он вернулся домой; просто потом он все потерял. Его имя могли тоже высечь на огромной каменной арке в Тьепвале. Несомненно, в какой-нибудь livre d'or[1] он внесен в полковой список представленных к наградам — документальное подтверждение той ненайденной колодки медалей. Но и это не поможет. Никаким усилием воли не воссоздать образ того человека 1915 года, в обмотках и, скорее всего, с усами. Он исчез за горизонтом памяти, и пухленькому французскому печеньицу, обмакнутому в чай, не дано пробудить правдивые воспоминания о былом. Воскресить их можно иначе, способом, которым внук того человека по-прежнему владеет. В конце-то концов, ему на роду написано добывать свой хлеб, балансируя между известным и неизвестным, обращая себе на пользу многозначащее заблуждение, частично вскрытые факты или будоражащую воображение подробность. Такова point de départ[2] в его ремесле.

«Томми» — вот как их называли сто лет назад, когда во Франции вырубали леса, заготовляя опоры для траншей. Позже, когда он учительствовал в Рéне, его самого и его соотечественников, этих надежных, хотя и лишенных воображения здоровяков, что живут на северных островах неподалеку, ласково прозвали les Rosbifs[3]. Потом, однако, появилась новая кличка: les Fuck-offs[4]. В европейском семействе Англия превратилась в трудного ребенка, ее нерешительные политики вяло лгали о своих обязательствах, в то время как ее одетые в штатское вояки-фанаты важно расхаживали по улицам, не зная ни слова по-французски и высокомерно насмехаясь над здешним пивом. Отвали! Отвали! Отвали! Так «томми» и «ростбифы» превратились в «отвали».

---

[1] Книге славы (*франц.*).
[2] Исходная точка (*франц.*).
[3] «Ростбифами» (*франц.*).
[4] От англ. груб. *fuck off* — отвали, пошел ты.

Чему ж тут удивляться? Он никогда особенно не верил в возможность улучшения человеческой породы, не говоря уж о достижении совершенства; отдельные скромные сдвиги к лучшему происходили, видимо, и вследствие случайных мутаций, а не только благодаря социальным и нравственным переменам. В туннеле его памяти кто-то походя дернул Ленни Фултона за кольцо в носу и пробурчал:

— Ура «драконам», запомнил, сука?

Ох, да забудь ты про это. Вернее, взгляни на вещи шире: не всегда же нас звали славными «томми» да «ростбифами». Раньше, на протяжении столетий, еще со времен Жанны д'Арк (что подтверждает и Оксфордский словарь английского языка), их, богохульников, опустошавших счастливую страну, лежащую южнее их островов, обзывали «проклятыми» да «чертями». А от «проклятого» не слишком далеко до «отвали». И вообще, что может быть банальнее ворчания стариков на беспутную молодежь! Хватит ныть.

Разве только «нытье» — не совсем точное слово. Может, вернее было бы сказать «смущение, стыд»? Пожалуй, но лишь отчасти. Эти самые «отвали» попирали чувства других — вот что он имел в виду. Представления о чужих странах редко бывают беспристрастными и точными, в них обязательно перевешивает что-нибудь одно, либо презрение, либо сентиментальность. И его самого частенько упрекают именно в сентиментальном отношении к Франции. Если обвинение будет предъявлено, он, конечно же, признает себя виновным, но в качестве смягчающего обстоятельства укажет, что для этого-то чужие страны и существуют. Идеализировать собственную страну опасно, поскольку даже минимально непредвзятый взгляд на нее может незамедлительно вызвать глубокое разочарование. Стало быть, как раз чужие страны, с их кажущейся пасторальностью, и подпитывают наш идеализм. Такой довод иногда навлекал на него обвинения в цинизме. Но ему ведь все равно; для него уже несущественно, что там о нем думают другие. И он стал мысленно рисовать своего французского двойника, который сейчас едет в противоположном направлении, глядя на поле хмеля, где еще не натянута бечева: это старик в свитере из шерсти шетландской овцы, страстный поклонник апельсинного джема, виски, яичницы с ветчиной, магазинов «Маркс и Спенсер», le fair-play, le phlegme и le self-control[1] ; а также чая с густыми девонширскими сливками, песочного печенья, тумана, шляп-котелков, церковных хоров, неотличимых друг от друга домиков, двухэтажных автобусов, девушек из «Шалой лошадки», черных такси и деревень в Котсуолде[2]. Старый хрыч, старый французский хрыч. Верно, однако не отказывать же ему в столь необходимой для него экзотике? Возможно, главным злодеянием les Fuck-offs было оскорбление сентиментальных чувств этого воображаемого француза.

Поездка пролетела незаметно: сначала сельский пейзаж за окном, затем двадцать минут в туннеле, и снова пейзаж за окном. Можно было сойти в Лилле и осмотреть последний оставшийся во Франции террикон, ему ведь всегда хотелось взглянуть на эту гору шлака. Когда он впервые попал сюда, здесь стояли сотни антрацитово-черных, поблескивавших под дождем курганов. Угледобыча постепенно приходила в упадок, а забытые холмы пустой породы приобретали живописность: зеленые, подозрительно симметричные пирамиды, каких природе не создать никогда. Позднее разработали способ измельчения шлака и превращения его в жидкую массу — какой именно, он не помнит, — и теперь остался всего один террикон; лишенный зеленого покрова, он снова агатово чернеет, как встарь. Этот реликт стал частью маршрута по историческим местам на Сомме: можно погладить пони, который таскал вагонетку в шахте, потаращиться на диораму, где за стеклом стоит шахтер, чернолицый, как первобытный человек; можно даже скатиться с отвала. Правда, туристам строго-настрого запрещено взбираться на террикон; и брать с собой хотя бы кусочек шлака тоже не разрешается. Эту груду сторожат одетые в форму охранники, как будто пустая порода обладает подлинной, а не мнимой ценностью.

Значит, история завершает полный круг? Нет, полного круга не бывает никогда; если история и пытается проделать такой трюк, она все равно не попадает на ту же орбиту, как

---

[1] Игры по правилам, бесстрастия, самообладания (*англ.*).

[2] Холмистая местность в графстве Глостершир; дома там сложены из пожелтевшего от времени известняка и славятся своей красотой.

космический корабль, капитан которого явно перебрал мерсо. История главным образом занимается тем, что уничтожает, вымарывает прошлое. Нет, это тоже не совсем верно. Он подумал о своем огородике в северной части Лондона. Сначала копаешь — сажаешь, потом копаешь, убирая урожай, и в результате этой ежегодной работы на участке появляется нечто новое; а ведь размер участка остается неизменным. Поэтому осколок пивной бутылки «Гиннесс», фломастер, пробка и ребристый презерватив появляются на поверхности при условии, что в землю закопали наследие предыдущих лет. Что же планируется закопать теперь? А теперь Европейский парламент намерен обсудить предложение о разумном переустройстве кладбищ времен первой мировой войны. Естественно, все делается без лишнего шума, уважительно, под обещания соблюдать демократические процедуры и советоваться с общественностью. Но он-то, в его возрасте, прекрасно знает, как действуют правительства. Значит, рано или поздно, быть может уже после его смерти, но кладбища эти обязательно уберут. Непременно. Как выразился один самодовольный полемист, целый век помнили, хватит. Оставить одно для показа, как оставили шлаковый отвал, а остальные перепахать. Кому нужно столько кладбищ?

Проехали Руасси. Потом сортировочную станцию, забитую пустыми пригородными поездами, — значит, скоро Париж. Знаменитый «красный» северный пригород. По грубому бетону, как в Лондоне, — надписи всех цветов радуги. Однако здесь один министр культуры объявил этих писак художниками, чью форму самовыражения можно рассматривать наряду с музыкой хип-хоп или катанием на скейтборде. Старый хрыч. Если это тот самый министр, что вручил тебе зеленый значок, который ты носишь на лацкане, то поделом тебе. Он скосил глаза на зеленую бляшку; как и недовольство своими фотографиями, это еще один штришок, свидетельствующий о его тщеславии. Он оглядел свой костюм, сидящий на нем, увы, не безупречно: линии моды и линии тела расходятся все дальше. Пояс брюк врезается в растущий животик, зато сами брюки свободно болтаются на усохших ногах. Сейчас уже в магазин с веревочной сумкой не ходят, но он помнит, какие причудливые формы принимали эти набитые овощами сумки, старательно облекая свое содержимое. Вот во что он превратился — в уродливого, распираемого воспоминаниями старика. Да только метафора-то с изъянцем: в отличие от овощей, воспоминания имеют свойство разрастаться, как раковая опухоль. С каждым годом твою сумку распирает все сильнее, она тяжелеет, и от ее тяжести ты все больше кособочишься.

Да и что он такое, в конце-то концов? Всего лишь сборщик и просеиватель воспоминаний — собственных и исторических. А еще он прививает воспоминания другим людям. Что ж, нельзя сказать, что он позорно промотал свою жизнь. Да, он даже сам с собой, не говоря уж о беседах с посторонними, перескакивает с одной темы на другую; словно древний перегонный куб на железных колесах, неуклюже, со скрипом катит он от деревни к деревне, извлекая из местного уклада жизни его квинтэссенцию. Но то лучшее, что в нем еще осталось, — его сила, помогает ему по-прежнему заниматься своим ремеслом.

Поезд осторожно, не без изящества подкатил к Гар-дю-Нор. В туннеле памяти Ленни Фултон сорвал с носа кольцо, зашвырнул его под сиденье и как ни в чем не бывало ринулся к двери. Остальные, припомнившиеся и реальные, сидящие здесь и где-то в прошлом, смущенно закивали друг другу на прощанье. Начальник поезда поблагодарил их за поездку на «Евростар», добавив, что будет рад вскоре вновь увидеть их в этом поезде. На перроне уже выстроились уборщики, готовясь занять вагоны и вымести оттуда еле заметные следы, оставленные в истории этой группой пассажиров, прежде чем появятся другие, неловко кивнут друг другу в знак приветствия, а затем оставят там свои исторически еле заметные следы. Железная махина поезда издала могучий приглушенный вздох. И снова — шум, жизнь, город.

А вернувшись домой, пожилой англичанин сел писать рассказы, которые вы только что прочитали.

■

ЖАН ПОРТАНТ

Стихи

С французского

В марте этого года Жан Портант впервые посетил Москву по приглашению посла Люксембурга г-на Адриана Майша: Жан его любимый поэт. Родился Жан Портант в Люксембурге в 1950 году, живет в Бельгии, ранее жил в Париже, а по крови он итальянец (фамилия предков звучала: Портанте). Сам он считает себя люксембуржцем; для своего творчества же избрал язык не родной, а выученный — французский. Писать Жан начал поздно, в 33 года.

Жан Портант работает во всех жанрах: он автор стихов, романов, пьес, либретто. На французский язык им переведено немало люксембургских и латиноамериканских поэтов. Кроме того, он редактор книжного приложения к ежедневной люксембургской газете «Tageblatt», а с прошлого года — и еженедельной газеты для иностранцев, выходящей по четвергам и поэтому названной «Jeudi» («Четверг»). Газета эта публикуется на французском языке, который, как доказали социологи, в Люксембурге играет роль международного (а вовсе не английский, поскольку с англоязычным миром контактов у великого герцогства немного). Остальные же люксембургские газеты печатаются вперемежку на трех языках, одинаково распространенных в Люксембурге: люксембургском, немецком и французском, причем на каком языке написана та или иная статья, на таком она и печатается.

Современные средства связи легко позволяют Жану делать люксембургские газеты, сидя в Брюсселе, да и доехать до родной страны на машине — не дальше, чем из одного конца Москвы в другой. Жан еще и издатель художественной литературы: в люксембургском издательстве «phi» выходит задуманная им поэтическая серия «Граффити». Сам Жан — автор уже двенадцати поэтических книг. В 1986 году ему присуждена во Франции поэтическая премия имени средневекового трувера Рутбёфа, в 1993 году — люксембургская премия Тони Бурга за книгу стихов «Открыто — закрыто» («Ouvert Fermé»), стихи из которой, а также из последней книги Портанта, «Effaçonner», мы предлагаем вниманию читателя. «Effaçonner» — выдуманный глагол, состоящий из двух реальных: «стереть» и «изготовить, придать форму». Свои книги Жан неизменно посвящает жене, известной в Европе концертирующей скрипачке Сандрине Канторегги.

Жан Портант — член Европейской академии поэзии, в которой каждая страна представлена одним поэтом, а Люксембург — двумя (ее вице-президент — поэтесса Аниз Кольц, знакомая уже и русским читателям). Такая честь оказана Люксембургу как стране-основателю этой академии. Вместе с Аниз Кольц Жан Портант организовал международное литературное биеннале в Мондорфе (Journées littéraires de Mondorf), где выступают и поэты из России.

ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА

© Éditions phi, 1993, 1996
© Т. Щербина. Вступление, 1998

* * *

какое слово делает сон настоящим сном
и какое слово делает страну твоей страной
и какое слово делает язык живым языком
что я знаю кроме того что слова
врут друг другу в разных снах
что я знаю если знаю
что каждый сон это матрешка
и что каждая страна это матрешка
и что каждый язык это матрешка
которую откроешь, потом еще откроешь — а она все меньше, меньше

Сожаление

дерево гнется под тяжестью
листьев

в его тень приходят отдохнуть
садовник который наблюдал как оно растет
и мясник который не решается вонзить в него топор
приходят жена садовника
и жена мясника
и конечно дети тех
и других
с новыми игрушками
и старой игрой в жизнь

они расстилают скатерть на тени
тень расползается по скатерти
и люди шепчут друг другу на ушко
то о чем сожалеют больше всего на свете

Бесконечность

поднимаю взгляд
там наверху есть все
даже холодное оружие
спрятанное в облаках

но солнце убивает быстрее
и луна убивает быстрее
они путешествуют по небу
с багажом
жестоких замыслов

другая ночь ушла
и день другой
а я следую за ними как будто
передо мной скачет лошадь
бесконечности

Перевод ТАТЬЯНЫ ЩЕРБИНЫ

© Т. Щербина. Перевод, 1998

Рождение и смерть трагедии

это начинается
с маленького пятнышка
на небе

а вот и другое пятнышко —
кто-то прибывает на поезде самолете
корабле

все это происходит ночью
черная пыль падает
на дома

в них мы ожидаем нового дня

Чемодан

вот пробуждается день
солнце говорит:
вставай и иди
день подчиняется

и когда на полдороге
он вспоминает про свой чемодан
оставленный
в ночной камере хранения
едва заметная дрожь
пробегает по небу

никто не видит что небо дрожит
никто не знает что без чемодана
день столь легок
что малейший порыв ветра
может его задуть

Засуха

вода возвращается в небо
дождь идет снизу вверх
тучи питают друг друга влагой
но ни одна капля
не предназначена земле

время от времени
посланник с белым флагом
поднимается ввысь для переговоров

каждый раз
дождь подносит стакан воды тому
кто принимает условие
выпить ее залпом

© А. Плисецкая. Перевод, 1998

Ванна

когда холодно я принимаю
теплую ванну
вот так рождаются недоразумения
я уже путаю реки
и ванны

ванная приглашает в путешествие
где ты открываешь то один кран то другой
всякий раз выбирая дорогу

в ванных
рождаются трагедии
каждая ванна —
это река которая умирает

путешествие позволяет нам
добавить воды в эту смерть

Перевод АННЫ ПЛИСЕЦКОЙ

Ночная прогулка

ночью когда прикрыты
глаза и тела
дерево растущее под окном отправляется
на прогулку от дома к дому
длинные ветви его касаются
дверей и ставен и нам чудится
будто это стучится
смерть

утром огромное могучее дерево
смотрит лукаво —
как хищники питающиеся
чужими снами

каждую ночь я убегаю
от смерти которая ходит под окнами
дерево погружает меня все глубже в жизнь
как будто в стену вбивают
гвоздь

Страшный суд

опершись о подоконник я слежу за линией
разделяющей день и ночь

тонкая будто лезвие бритвы
она обезглавливает минуты

© Е. Туницкая. Перевод, 1998

если страшный суд есть
это его работа
день — вправо
ночь — влево от времени
солнцу — спасение
луне — приговор

лезвие бритвы
линия раздела
и кровь выступающая
по ее краям

Послание

не для меня ли деревья
меняют одежду
не мне ли адресуют
свое послание

это они умирая
подняли белые флаги
в больничном дворе

я тоже стараюсь спрятать под снегом
дары зимы —
немного белизны и смерти

я тоже могу наблюдать как стираются
все следы в небе
холодном как завещание

Перевод ЕЛЕНЫ ТУНИЦКОЙ

■

ИЛЬЯ ТРОЯНОВ

Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом

ФРАГМЕНТЫ РОМАНА

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Этот роман — еще не остывшая, совсем недавняя сенсация немецкого книжного рынка. Представленный на осенней Франкфуртской ярмарке 1996 года, он получил широкий отклик в печати, в том числе в самых известных и авторитетных изданиях, писавших о нем в необычайно лестных тонах: «незаурядная книга» («Нойе цюрхер цайтунг»), «Троянов повествует легко, многокрасочно и с богатой выдумкой» («Франкфуртер альгемайне цайтунг»), «он умеет сказочно рассказывать» («Бунд»), «он поражает, где только может» («Шпигель»), «без сомнения, надежда молодой немецкоязычной литературы» («Базлер цайтунг») и т. д. Книга уже успела получить несколько наград, в том числе почетную премию имени Ингеборг Бахман. Сам Троянов рассказывал в одном из интервью, что издательство («Карл Ханзер ферлаг») приняло ее к печати, когда были написаны только первые 80 страниц, но что более всего его обрадовала живая и заинтересованная читательская реакция; долгое время книга держалась в числе бестселлеров и неизменно упоминалась в разных рекомендательных списках, которых много в Германии и которые за последние годы заполняются главным образом переводными изданиями, в том числе и классикой; новинки текущей немецкой литературы встречаются в них лишь изредка.

Книга эта, однако, не переводная; несмотря на откровенно болгарскую фамилию автора, она написана тридцатилетним немецким писателем, и рецензенты особо отмечали его прекрасный, образный и выразительный немецкий язык «без плаксивой сентиментальности»; но этот молодой немецкий писатель — уроженец Софии, вывезенный в пятилетнем возрасте родителями, которые бежали из социалистической Болгарии («меняя чаепитие из русского самовара на питие американской кока-колы»), выросший в африканской Кении, где его отец работал инженером, получивший образование в немецких университетах, написавший несколько путевых очерков об Африке, принесших ему известность, и живущий в настоящее время в Мюнхене по своему свободному выбору. Он не единственный немецкий писатель болгарского происхождения, но, без сомнения, самый известный и признанный.

В Германии можно сегодня встретить немало людей пусть не с такой стремительно-пестрой, но в чем-то схожей биографией. Это выходцы из разных стран — Югославии, Польши, Турции (в особенности), приезжавшие на заработки, так называемые «гастарбайтеры», несколько поколений которых натурализовались в Германии, а также переселенцы (в последнее время — главным образом из бывших социалистических государств), которым Германия, согласно конституции, предоставляет убежище, кров и работу. Демографическая структура современного немецкого общества с этой точки зрения стала неоднородной; в нем сложились содружества и землячества по национальному принципу, сохраняющие особенности своего жизненного уклада, быта, религиозных обрядов, имеющие свои школы, газеты и журналы, а также радио- и телепрограммы на своем языке и т. д. Особенно это характерно для наиболее многочисленной в сегодняшней Германии турецкой диаспоры, в которой сформировалась уже своя интеллигенция, в том числе творческая. В этой ситуации таятся и причины социальной и национальной напряженности, что дало себя знать, например, в резкой критике дискриминационной политики немецкого правительства по отношению к переселенцам, которая прозвучала из уст Гюнтера Грасса на вручении Премии мира Немецкого союза книготорговли курдско-турецкому писателю Яшару Кемалю осенью 1997 года.

Что касается Троянова, то он привычно говорит о себе как о космополите; не надо думать, однако, что он не сохранил в себе ничего болгарского. Сохранил, и очень много, и это обстоятельство сыграло немалую роль в успехе его книги. Да и непосредственно, по жизненному материалу, в его первом романе есть много личного. Но замысел был шире, чем рассказ о себе самом, и куда как более смел: «Я задавался вопросом, что значит для человека попасть с Востока на Запад, хотел через гротескные эпизоды воспроизвести то, что представляет собой коммунистический режим».

© Carl Hanser Verlag, München Wien
© С. Фридлянд. Перевод, 1998
© П. Топер. Вступление, 1998

Столкновение «Востока» и «Запада» (то есть социализма и капитализма) — сквозная линия немецкой истории всего XX века, почти половину столетия это противостояние воплощалось на немецкой земле в реальности существования двух государств с разными общественными системами, и к концу века, после «бескровной революции» 1989 года (когда «восточноевропейское товарищество стронулось с места, чтобы возвестить миру свинцовую тяжесть недовольства, и переселенческие лагеря земли обетованной оказались переполненными»), оно отнюдь не ушло в прошлое, наоборот — подлинное осмысление его еще только начинается. Это многое объясняет в современной немецкой жизни и немецком искусстве; в частности, бросается в глаза, что немецкая культура 90-х годов оказалась в меньшей степени, чем культуры других европейских стран, затронута разнообразными «текстовыми» теориями и, в особенности, «текстовой» литературной практикой. Просто интересы немецких писателей и читателей — и на Востоке и на Западе — лежат преимущественно в другой плоскости; «деконструкция» берлинской стены в большей мере занимает их внимание, чем «деконструкция» текста и смысла в духе Жака Деррида́ и «Йельской школы». Не случайно такое внимание привлекают сегодня трагические гротески скончавшегося два года назад немецкого драматурга Хайнера Мюллера, главная тема которого — причины и следствия крушения социалистической революции и судьба человека в конце нашего столетия. Книга Троянова на ином, славянском материале непривычно и нестандартно выходит на эти же кардинальные проблемы современной немецкой жизни, они же — кардинальные проблемы всемирной жизни XX века (в том числе, конечно, и современной русской жизни).

Другую причину успеха первой книги молодого писателя надо видеть в его творческой смелости. Троянов демонстративно разрабатывает немодную сегодня повествовательную технику. Он — рассказчик по природе таланта, более того — его книга представляет собой имитацию доверительного разговора, она рассчитана на медленное чтение, точнее, даже на чтение вслух. Основа художественной манеры Троянова — не единица текста, воспринимаемого глазами, а рассказанный эпизод (самое частое слово в его высказываниях), нередко замещающий, как синекдоха, длинные фабульные описания, иногда даже мало связанный с общим действием; когда ему надо изменить повествовательную перспективу, он меняет ее, «забывая» сообщить об этом читателю; когда ему надо повернуть сюжет в сторону, он поворачивает его без всяких пояснений; когда ему надо перенести действие на десятилетия вперед, он говорит с непосредственностью средневековых богомазов: «Мы просто выйдем из этого времени, отступим в сторонку и поглядим». Творческий принцип Троянова — избыточность. Конечно, он учился нагромождению красочных эпизодов и детской простоте их сочетания в школе Гюнтера Грасса; «игровой момент» пронизывает всю книгу (отсюда — то значение, которое в ней придается игре в кости, ибо, по Троянову, — это категория философская: здесь, где все, казалось бы, построено на случайности, на деле все вершится по некоей закономерности, так же как за внешней случайностью, хаосом каждой человеческой судьбы таится скрытая определенность). Мир, созданный Трояновым, далек от того, что принято называть «традиционным реализмом», и неожиданные «наивные» сюжетные ходы только на поверхностный взгляд могут показаться лишенными художественной логики. Автор считает, что сто лет назад такой роман воспринимался бы как фантастика, а сегодня, «хотя в нем и есть фантастические моменты, он все же выглядит относительно реалистичным». Этой стороне своего писательства Троянов уделяет много внимания, подчеркивая роль фантазии и вымысла, сказочности и занимательности: «Для меня было очень важно показать моим романом, какую власть над людьми все еще имеют истории».

Конечно, Троянов, который сам называет себя «книжным червем», оставил в книге множество следов детального знакомства с мировой литературой, хотя «цитатность» нигде не служит у него доказательством прямолинейного тождества; она ведет к пониманию истоков современных явлений, которые автор видит в глубинах народной жизни, в первозданной фольклорной стихии. Такие «знаковые» телесные приметы, как то, что главный герой (по имени Александар Луксов) родился без пуповины, а пупок на его животике имел форму ушной раковины (то есть он не привязан ни к кому и ни к чему, но умеет внимательно слушать), надо думать, появились не без воспоминаний о свинячьем хвостике у младенцев из рода Буэндиа в романе «Сто лет одиночества», хотя у Гарсиа Маркеса речь идет о совсем другом знаке судьбы; крестный отец Александара, которого все называют Бай Дан, забыв данное ему при крещении имя, полный молодых сил столетний старик (или, точнее, человек без возраста, бессмертный), главный носитель проходящей через всю книгу идеи великой благотворности бескорыстной игры в кости, обязан своим происхождением не только древней народной традиции, но и стране Касталии из «Игры в бисер» Германа Гессе; бабушке Златке, простодушной и мудрой хранительнице домашнего очага, можно найти немало соответствий у крупнейших писателей славянского мира; сама одиссея Александара, ведомого Бай Даном по земле обетованной, через моря и страны, на велосипеде-тандеме, — сегодняшнее воплощение поисков истины, выстраданной хитроумным греком: отправиться в далекие страны и завоевать Трою дело нехитрое, вернуться домой, найти свою Итаку — вот в чем сложность.

Болгария — горная страна, но и средиземноморская, и в ее культурной традиции живо поклонение морю и чувствуется близость Эллады (отсюда — вставной эпизод о мальчике с гор, который никогда не видел моря, но всю жизнь рисовал его). Читатели «Иностранной литературы» знакомы с рассуждениями Тончо Жечева, видного болгарского исследователя, приложившего миф об Одиссее к истории своего народа («ИЛ», 1997, № 1). «Одиссея», по Жечеву, говорит не о любви к странствиям и поисках лучшей жизни за морями и океанами (это скорее относится к «Илиаде»), а о трудном пути на родину, через опасности, соблазны и сомнения. Миф об Одиссее древнее, чем сказание о Троянской войне, и его герой был некогда землепашец, а его приключения — это возвращение «к простоте чувств, к теплу очага, к роду и семье, теням предков, к дому и уюту, к берегу и пристани»; оно замыкает, «закольцовывает» странствия, начатые походом на Трою, — «тут конец пути, ибо тут было начало!». «Мир кругл» — вторит ему Троянов; его роман — это современная философская притча о трудных поисках себя человеком в мире рухнувших ценностей — они приводят его героя в Стару планину (Старые горы), сердцевину Болгарии, к друзьям бессмертного Бай Дана, в которых живы древние обычаи и народный здравый смысл.

Конечно, местами видно, что в таланте автора пока еще больше смелости и молодого задора, чем зрелости; но это не помешало громкому успеху романа. Уже сейчас можно указать на немецкие книжные новинки самого последнего времени, в которых явно чувствуется воздействие свободной и размашистой манеры письма Троянова, и это прежде всего говорит о том, что он верно уловил общую тенденцию.

П. ТОПЕР

На Георги
Здрав будь и гъз гол[1].

Для истолкования мира средствами искусства
обычно прибегают к форме путешествия.

Гюстав Флобер

I'm looking for a home in every face I see[2].

Джим Моррисон

Нет ничего более постоянного, чем временное.

Еврейская поговорка

Начало игры

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОВЕРШИТЬСЯ ВЕЛИКОМУ-ПРЕВЕЛИКОМУ МНОЖЕСТВУ БРОСКОВ, в тайной столице игроков, в городе, который до того надежно укрылся в горах, что о его существовании не подозревал ни один сборщик налогов и даже географы царей, султанов и генеральных секретарей не означили его на своих алчных картах, в горах под названием Балканы изо дня в день совершалось одно и то же действо. Действо это, внушающее не меньшее доверие, чем церковный благовест, имело своим исходным пунктом банк. Во всяком случае, там на фронтоне поверх портала красовалась надпись «*БАНКА*», и широкая лестница вела под его сень, но с тех самых пор, как была изобретена игра в кости, еще ни один человек не заходил в эту «*БАНКУ*».

О том, что же там все-таки есть, не знали и мужчины, которые изо дня в день чего-то дожидались перед этим зданием. Зато все знали, как зовут человека, который выходил оттуда: Бай Дан. Он выходил из тени портала, он поправлял свой галстук — протокольное действо, означающее, что Старые горы и на сей раз остались верны себе. Это и было

---

[1] Посвящается Георгию. Желаю здравствовать, хоть и с голым задом (*болг.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Я ищу приют в каждом лице, которое вижу (*англ.*).

отмеченное барабанной дробью начало всех начал. Кто ранее стоял, прислонясь к колонне, выпрямлялся, кто сидел на корточках, вставал. И вниз по лестнице шествовал квазидиректор банка, бывший на самом деле Великим Магистром игры в тайной столице игроков.

Центром этого города правит лысый, коренастый и грузный тип. Широко расставив ноги, он бдит перед дверью своего кафе — и ждет, и знает: они придут, прямо сейчас, как приходят каждый день, — придут на маленькую площадь, где каштаны и колодец, и попасть на нее можно лишь через тот самый переулочек, по которому и шагают игроки. Процессия вливается в маленькую площадь и наводняет ее.

— Бай Дан! Наконец-то! Приветствую тебя!

— А я тебя, Пейо!

— Как прошел день, Бай Дан?

— Спасибо, а твой?

— Мой только начинается... а как здоровье?

— Не жалуюсь! А твое?

— Как всегда, не о чем и говорить.

— Что слышно нового, Пейо?

— А что может быть слышно, Бай Дан? Они ждут тебя.

— А как семья?

— Все путем, Бай Дан, все путем. Но скажи на милость, где ты пропадал?.. Почему нам так долго пришлось тебя дожидаться? Чем мы тебе не угодили? Или в другом месте тебя лучше обслуживают, или тебе не по вкусу мое гостеприимство? Кто захочет ходить ко мне, если ты меня не почтишь?

— Ну что ты, Пейо, Пейо! Какой же петух не нарушит тишины, когда восходит солнце? У тебя мы всегда как дома, куда ж нам еще идти?

— Рад это слышать, Бай Дан, такие слова мне по душе. Но чего мы разболтались перед дверью, когда за дверью нас ждет столько дел?

И, как обычно, хозяин заходит первым, через плечо переброшено белое полотенце, которое на исходе вечера пятнами и другими следами поведает историю долгого дня. Хозяин указывает на самый большой стол, окруженный широкими скамьями. Вот за этим столом Бай Дан каждый вечер бросает игральные кости, являя игрокам свое мастерство. А хозяин кричит своей матроне: «Вейка, у нас гости, поставь-ка еще кофе на огонь!..»

Кофе подан и с удовольствием выпит. Наступила тишина, шапки горой навалены в углу, звяканье и шипенье позади занавески сулят ужин. Допитые чашки перевернуты вверх дном. Через некоторое время мужчины заглядывают в свои чашки, предаваясь бесплодным размышлениям. Одна лишь Вейка может истолковать осевшую на дне кофейную гущу, одна лишь Вейка способна заглянуть в исход тишины...

внезапно пронзительный, обостренный корой мозга звук, *дитя с криком извещает о своем рождении, очень отчетливо извещает* в некоем городе в тишине после шума и гама светлых часов дня, *присоединяя свой голос к хоровому воплю рожениц,* в мрачном зале с зарешеченными окнами лежит новорожденный, еще липкий, еще мокрый, вонзает пальцы в воздух и кричит...

Из тайной столицы игроков

ТАК ЯВИЛСЯ НА СВЕТ АЛЕКСАНДАР ЛУКСОВ, сдается мне, что и вы явились точно таким же манером. Из одного броска — в другой. После чего вам пришлось приложить усилия, чтобы, подобно ему, обыграть этот факт наилучшим образом. В его случае бросок оказался удачным, вроде открытия солидного заведения: активные клетки

мозга медленные ноги белая кожа черные волосы и жилище на краю Европы, там, где она кончается, так еще и не начавшись. Его мать провидела свое счастье и хотела быть настолько в нем уверенной, насколько это допускает полет фантазии. Еще до родов она так углубилась в мысли о том, какая роскошная жизнь должна выпасть на долю ее дитяти (по-моему, это даже и объяснять не нужно: бочка здоровья и денег, профессия под названием адвокат или врач, и никаких неожиданностей), — а ее соседки тем временем вопили и стонали, — что она совершенно позабыла свою непосредственную обязанность для начала произвести Александара на свет. Она не замечала его нетерпения, не заметила даже, как он высунул голову, чтобы выбраться без посторонней помощи. Пробегавшая мимо медсестра увидела его пушистый затылок, во весь голос окликнула врача и, вынимая ребенка, бормотала себе под нос *...в жизни такого не видела, почему вы молчите, я здесь двадцать лет работаю, но чтобы такое, такое, такого и в самом деле не...* тем самым она допустила перерасход слов, и потом ей их не хватило, когда она взяла новорожденного на руки, по всем правилам осмотрела, и у нее захватило дыхание, и она спросила у врача — что это такое — как это понимать — вы мне не могли бы сказать?.. Врач сказать не мог, от растерянности он вообще не мог двинуться с места... впрочем, так внимательно, как сестра, никто на него и не глядел, та же устремила взгляд на животик младенца, мягкий и свежий, словно только что вызревший йогурт, вполне обычный вид для младенческого живота, если бы не отсутствие чего-то решающего — отсутствие пуповины. Не иначе Алекс сам ее оборвал своими беспокойными пальцами. Но сработал он при этом халтурно, до того халтурно, что и по сей день место, которое принято называть пупком, смахивает у него на третье ухо. С тех пор как мне стало об этом известно, я только и жду, что сыщется какая-нибудь наделенная богатой фантазией женщина, которая прошепчет в этот пупок слова любви.

Очередная накладка: нас до сих пор не представили друг другу. Итак, с вашего разрешения: меня называют Бай Дан, так давно называют, что я уже почти успел позабыть имя, перешедшее ко мне по наследству и данное мне при крещении. Бай Дан. Дан — это от Йор-дан, а словом Бай обозначают человека, которого подозревают в причастности к игре в кости. В причастности интимной, почти зловещей. Укротитель случая — так любят они шептать у меня за спиной. Маг и волшебник — часто слышу я их слова. Но они сильно преувеличивают. Я отнюдь не полностью застрахован от сюрпризов, приносимых костями, я и сам порой дивлюсь на их определенность и предопределение.

детский манеж возле кровати возле гобелена возле столика возле двери возле стены возле манежа — однокомнатная квартира; скрипит дверь, ведущая в остальные однокомнатные квартиры на пятом этаже дома в Старом городе. Дом приметный, известен во всем квартале как *Желтый дом на углу,* разукрашенная желтизна и узкие балкончики, и эта скрипучая, скребучая, заедающая, утомленная дверь в комнату со счастливыми родителями. Существует красивая открытка с изображением этого дома, его снимали снизу, на заднем плане — грозовые облака, обрамленные солнечными лучами, — дом производит очень живое впечатление, как картина Хоппера, она вполне совпала бы при наложении с черно-белыми фотографиями.

Алекс трех дней от роду, на руках у своей матери, оба весьма довольны тем, что столько раз подряд бросили дубль, оба вполне здоровы и исполнены ожиданий.

Алекс на руках у двух бабушек сразу.

Алекс в палисаднике размером с прикроватный коврик, слева мать, справа отец, на заднем плане строительные работы.

Алекс в манеже — на четвереньках.

Алекс — на нетвердых ногах.

Бабушка Алекса, рано поседевшая, кругленькая и с тех самых пор именуемая Златкой, любила яркие краски и была очень спокойная. Деятельность ее сводилась к поеданию засахаренных фруктов, мысли ее вращались вокруг сладости конфитюров — друг ее, священник Николай, к которому она ходила, поскольку он нуждался в ее поддержке, называл Златку *моя Галилея* и с видом заговорщика шептал ей на ухо: истинно говорю тебе, Земля вращается вокруг кусочка сахара.

Муж Златки, уже покинувший сей свет, покоился в семейном склепе, жертва неумолимого творческого призвания. По мнению его вдовы, во всем была виновата судьба... *вообще-то дирижеры живут долго...* утверждала она и принималась перечислять всемирно известных Мафусаилов дирижерского пульта. Творческая сила божественного происхождения и тем самым божественная услада придавала крепость этим людям, таково было ее твердое убеждение. При этом она упускала из виду, что даже божественная благосклонность бессильна против никотина, против ежедневных вынужденных кровопусканий, необходимых для снижения давления.

Когда Григорий Григоров превратился в музыкального коммивояжера, раз в несколько месяцев он на недельку-другую наведывался домой, часто затем, чтобы присутствовать при рождении очередной дочери или отпраздновать оное. Господь благословил его дочерьми, равно как и музыкальным успехом. А потом он умер — и все семь женщин стояли у его гроба: шесть раз черные кудри и один раз белое великолепие седины.

Если вам когда-нибудь доведется перелистывать журнал, в котором приводятся образцы человеческой мании величия, то в нем, в этом объемистом фолианте, вы лишь один-единственный раз обнаружите упоминание Златкиной родины как страны, которая отличается высочайшим уровнем потребления сахара во всем мире. И вы сразу догадаетесь, кому эта страна обязана столь славным первенством и какое семейство здесь особенно порадело.

Ах, эта сладкая жизнь, столь часто воспетая и столь редко пробуемая на вкус, как то было в доме господина дирижера и его Златки. Сладкая жизнь, гибель твоя, почти ежедневно предрекаемая, хотя, по большей части, без умысла. Когда в киноклубе первый раз после войны начали крутить шедевры итальянского кино на языке оригинала, с синхронным переводчиком, который самолично потел перед экраном, однажды вечером на этом экране напряженным глазам зрителей явилась настоящая Dolce Vita, и поди угадай, поведал ли впоследствии кто-нибудь хитроумному господину из Чинечиты, что в этом зале, набитом фанатами сахара, его ирония пропала втуне. Напротив, весь зал в полном составе мечтал о том, чтобы переселиться на экран.

Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом.

АЛЕКС. Безветрие

Я прыгаю с одной программы на другую, выглядываю в окно, созерцаю выставку нижнего белья на соседском балконе, экран отражается в стекле, усилием воли я наконец заставляю себя открыть окно, высовываюсь из него, жду, когда ветер взъерошит мои волосы, считаю машины, медленно смежаю веки, медленно-медленно, пока весь транспорт не сольется в одну сплошную ленту, опоясывающую каждое здание. Если я открою дверь, меня встретит коридор с темно-коричневым ковровым покрытием, массивные двери, дощечки с фамилиями жильцов, фамилии, только фамилии и всегда по две, управляющий выписал их и разделил черточкой при помощи струйного принтера («Хьюлетт Паккард» новейшей модели, который я помог ему приобрести со скидкой). Один из со-

седей по этажу оставляет снаружи перед дверьми детскую коляску, другой — свои башмаки. Колеса у коляски вполне чистые, подметки у башмаков тоже. Порой я обнаруживаю в резиновом рельефе мелкие камушки — как мне кажется, с дорожек расположенного поблизости парка. Если я провожу дома весь день, а так оно чаще всего и бывает, меня по вторникам и пятницам будит пылесос, потому что сплю я долго.

Мимолетные завихрения в общем безветрии.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРО ЖЕЛТЫЙ ДОМ НА УГЛУ: он стоит как раз на том месте, где примерно две тысячи лет тому назад переночевал некий римлянин. Вы, конечно, можете спросить: а что ж тут такого удивительного? Погодите. В те времена не было ни самого дома, ни улиц, ни строительных площадок. Не было и фотографий, ни цветных, ни черно-белых. И вообще в те времена почти ничего не было, кроме травы, да кустов, да деревьев и еще ручья — одним словом, кроме природы. Ну и скукотища, можете подумать вы и перемахнуть, не читая, через давно минувшее. Не спешите, прошу вас. Ибо на своем коне без рабов и букцин уже приближается римлянин, по случайности избравший этот путь, приближается утомленный разведчик в поисках места для ночлега. Повинуясь то ли инстинкту, то ли опыту, то ли игральным костям, которые при нем были, он сделал превосходный выбор. Место оказалось со всех сторон окружено холмами, обильно водой и наделено свойством притягивать к себе историю. Словом, этому римлянину можно лишь позавидовать, что жил он в те времена, когда человек безмятежно засыпал на лесной полянке, а утром просыпался основателем города.

Место его ночного бивака превратилось в перевалочный пункт и транспортный узел, начиная от которого прочие римляне принялись мостить булыжником свои дороги — на юг и на север. Римляне надолго задержались здесь, они смешались с людьми, что звались фракийцами, славянами и дикарями и приходили с севера. Здесь вполне можно было жить, здесь был здоровый климат, щедрые колодцы, обильные ванны, которые уже впоследствии, надстроенные банями османских времен, явили собой «палимпсест» первозданной чистоты. Даже Лобное место вскоре обросло традицией. А Товашский холм — его Алекс видит из окна тетки Нойки — с первых дней существования был взыскан милостью духов и богов.

На нем много столетий подряд правил Юпитер, глаза Бога тешились видом просторной долины, что открывался между колоннами. Сделан был Юпитер из мрамора, гладкий, мускулистый, как центурионы, которые порой составляли ему компанию. Разменяв несколько столетий, Юпитер уступил место Тангре — богу рангом пониже, тому, что предпочитал обитать в соседнем лесу, а всего охотней пребывал в кругу своих почитателей, простонародный чурбан, ценивший тепло домашнего очага. И его ничуть не тревожило, что вечный камень Юпитера среди буйной зелени являл взгляду столько трещин, сколько годовых колец его, Тангрины, деревья.

Желтый дом на углу долго оставался целым и невредимым, используя обманчивое везение, которое приберегало свой сюрприз на будущее. Последний и самый страшный налет случился в субботу. Дирижер и Златка с обеими дочерьми уехали к родным за город. И поэтому сигнал воздушной тревоги на пятом этаже мог лишь достичь ушей их домработницы, которая как раз вытирала пыль под звуки «Славянских танцев». Но поскольку в дело вмешался случай, она не успела спуститься в бомбоубежище, не успела даже выбежать из квартиры. Вот и святыню среди просеки бомбы под конец не пощадили. Утомленный пилот отклонился с предписанного курса, а его коллега сбросил бомбовый груз в аккурат над базиликой. Бомба прошила крышу Желтого дома на углу, разбежалась взрывной волной, вырвала патефонную иголку из такта размером в четыре четверти, приподняла служанку и выбросила ее из окна, Иисус был исторгнут из иконостаса, вылетел из окна простой доской, приземлился среди римских развалин, рядом с потрескавшейся мраморной головой. Побежденные боги лежали друг подле друга, залепленные грязью, — ливень затушил все пожары.

Златка и дирижер, вернувшись от родных, обнаружили на углу груду развалин — желтыми оставались лишь клочья краски, что лежали на земле как чешуя, — да свою с головы до ног загипсованную служанку.

АЛЕКС. Работа

Налоговый консультант сказал, вы только подумайте о тех преимуществах, которые сулит постоянная внештатная работа, вот у меня они есть, эти преимущества, с избытком, мне заблагорассудилось уйти из фирмы, из бюро, заказов у меня предостаточно, теперь я даже меньше работаю, могу сидеть дома, выходить не люблю, заработка хватает, за квартиру платить не надо, об этом своевременно позаботился отец, для него было делом чести, начав с нуля, за десять лет обзавестись двухкомнатной квартирой, ну и честолюбие же было у человека, для меня такое слишком утомительно, а вообще-то чего ради — я ведь получил наследство. Моих заработков хватает, чтобы платить за всякого рода страховки, и на покупки хватает тоже. Ума не приложу, чего ради некоторые коллеги горбатятся в своих офисах, удивительно. И в этом для них заключается весь смысл жизни, нет и нет, загадочно, крайне загадочно. А дома-то как удобно — есть компьютер и факсмодем, есть случайные заказы, а больше мне и не требуется. И надрываться тоже незачем, реклама работает сама по себе, я в срок сдаю, и тут уж надо — значит, надо.

Квартира нравится далеко не всем, вообще-то говоря, она никому не нравится, и всего меньше — женщинам, тем немногим, которым доводилось здесь бывать. Спору нет, она — и это, может быть, многим не нравится — набита книгами и бутылками, причем первые получены в наследство, и с них никогда не стирали пыль, вторые же куплены на оптовом рынке возле автобусной остановки и в холе лет выпиты до дна. Надо бы убрать их куда ни то, если б это можно было сделать за один присест, справа — контейнер для старой бумаги, слева — старое стекло, бросать нужно, предварительно рассортировав по цвету. Но я так этого и не сделал, на подвесном шкафчике, что в кухне, — повсюду стекло, весь пол заставлен бутылками, когда что-нибудь готовишь, надо двигаться очень осмотрительно, но я уже давно ничего не готовлю, по-моему, размешивание супового порошка и хлопьев пюре, разогревание замороженных блюд или намазывание тостов нельзя назвать готовкой.

Там, где я всегда сижу по вечерам, уставясь в экран, на ковровом покрытии пола отчетливо рисуется пятно, зря я выбрал песочный цвет, просто мне не хотелось, чтобы все выглядело слишком мрачно, и без того в комнату попадает мало света, не иначе мне и дальше придется жить с пятнами, следы красного вина, следы от гитары, ржавчина, хотя и было присыпано солью, устойчивые вмятины. Да и то сказать, не так уж и часто я смотрю на пол.

В году 19.., одном из годов великого мора для Европы, в провинциальной столице Т., некая молодая мать со своим дитятей одна пробивалась как могла и как усвоила за еще недолгие годы своей жизни. Выйдя замуж, она последовала сюда за офицером, своим супругом, теперь же могла лишь надеяться, что ее муж вот-вот вернется с фронта, живой и здоровый, не повредясь в рассудке, не повиснув на костылях подобно тем возвращенцам, которые в молчании передвигались по улицам, от вокзала к ратуше, где бургомистр произносил до неприличия короткую речь и отпускал их с богом. Что он и она снова встретятся, испытывая ту же радость, какую всегда доставляли друг другу, то же волшебство, которым всегда было для них присутствие другого, ту же уверенность, которую всегда внушала его заботливость, его изысканные манеры, его красноречие и, не в последнюю очередь, богатство его семьи. Война просто никак не могла затянуться, все о том твердили, к тому же тайные мирные переговоры в Швейцарии, после падения дома Романовых счет мог идти только на недели, кайзер отправил своего главного адъютанта в Лондон. Ну а наш царь? Да стоит союзникам подать самый маленький знак, он тотчас прикажет остановить огонь на всех фронтах.

Но в мужниных письмах, которые четко поступали к ней раз в неделю — она благодарила за это Бога, а почтальон воспевал точность полевой почты, — ни слова не говорилось о мире, ни слова о мирных перспективах, лишь юмористические описания друзей-офицеров и едва заметное дыхание того ужаса, который она угадывала на лицах возвращенцев. Он не хотел ее пугать, она же была достаточно встревожена, чтобы не расспрашивать. Ей хватало и того немногого, что она знает.

Ее ответы из недели в неделю фиксировали подрастание маленького Григория, описывали форму его пальцев, посадку головы. Звук его смеха. Причины его смеха. Отсутствие мужа вынуждало ее наблюдать развитие сына с вниманием, от которого ничто не могло укрыться. Каждое письмо она кончала заверением, что оба они вполне здоровы, что недостает им лишь отца и мужа, но, если потребуется ждать еще, они готовы ждать.

В эту неделю письмо не пришло, что она еще успела отметить. А вот получить похоронку она уже не смогла.

ДОЧЬ ГРИГОРИЯ И ЗЛАТКИ явилась на свет, наделенная известным преимуществом, которое утратила, выйдя замуж. Так она это воспринимала. Татьяна, которую большинство людей называло просто Яной, была самая молодая и самая красивая из шести дочерей. Мужчин в хозяйстве не было. Пять старших сестер были заняты самими собой и за пределами дома, мать же не видела причин допустить в дом печальную реальность. Сурово и громогласно одергивала она гостя, ежели тот, чуть-чуть приоткрыв дверь, шептал про разные ужасы, про сосланных и пропавших без вести. Даже Бай Дану и то от нее досталось — она снова и снова утверждала: рассказам о подобных неприятностях в ее доме не место. Она верила в живительную силу фантазии. Что еще оставалось нежному и юному существу в этой серой эпохе, кроме как пересидеть зиму в оторванных от времени мечтаниях?

Когда ей исполнилось девятнадцать лет, чужая жизнь преградила ей путь, застила ей свет, лишила ее сна, и развязаться с этим не было никакой возможности. Иными словами, она влюбилась, а несколько месяцев спустя уже была беременна.

Если, о дорогой слушатель и дорогая слушательница, вы принадлежите к числу тех, кого прежде всего интересует, *А как они познакомились,* ибо веруете в романтику начала, в чистоту первого влечения, ибо полагаете, что рождение есть первая и высочайшая вершина, после чего все сразу покатится под горку, я охотно и не мешкая выдам вам этот секрет.

Татьяна в черном купальнике плавала по Черному же морю, ее черные волосы отяжелели и намокли, а небо высоко над ней, небо, которое она видела и никогда больше не забудет, казалось ласково синим. Течение уносило свою добычу, на ветру колыхались красные флажки спасательной станции. Когда она подняла глаза, берег оказался миниатюрно маленьким, а люди — словно надломанные спички. Она не знала, как ей быть, то ли испытывать страх, то ли отдать себя на волю волн. Ноги ее начали шлепать по воде. Но ведь не может же берег быть так далеко. Она зажмурилась. А может, берег отодвинулся еще дальше? Она начала плыть под углом к течению, в сторону прибрежной косы.

Когда она уже из последних сил отбивала пощечины моря и потеряла сознание в маленькой бухточке на мелководье, спортивного вида мужчина прыгнул в море, украшенное штормовым предупреждением, и вынес ее на берег. Это лицо она и увидела, открыв глаза. Лицо озабоченное, а во взгляде уже симпатия. Она еще не раз пожалеет, что открыла глаза.

Спустя год без малого у нее не осталось другого выхода, кроме как произвести на свет Александара, в том мрачном зале с зарешеченными окнами.

АЛЕКС. Сегодня

Сегодня прибыла бабушка. Восточный экспресс, само собой, запоздал. Опоздание, тем временем мои мысли силились ввести меня в заблуждение, я же выпил три капучино и скомкал вечернюю газету. Бабушка — двадцать лет не виделись, лишь несколько раз переговорили по телефону, да и то давным-давно, всхлипывающий голос пытается одолеть посторонние шумы, несколько тяжеловесных слов, *Это ты, мой Сашко, мой малыш,* несколько мгновений, залитых совместными слезами, а тут она взяла и приехала. Я не знал, в каком купе она сидит, но был уверен, что узнаю ее. Вагон, надписанный кириллицей — столько-то я понимал. Я узнал ее тотчас, двое мужчин, которые помогли ей одолеть три ступени подножки, массивная, гордая фигура, и объятие, в котором можно потерять сознание от счастья. *А где твой багаж, бабушка?* Она повернула голову, и один из мужчин подал ей коричневый сверток. *И это все?* Стало быть, пикап нам был вовсе и не нужен, однако я мог держаться за него, как бабушка — за мою левую руку, когда мы медленно направлялись к зданию вокзала. Я говорил про всякие пустяки, ну как это принято, когда надо сказать друг другу столько важного. Бабушка выглядела очень внушительно, ей-же-ей, она очень здорово выглядела. Человек, который что-то собой представляет, бабушка, которой вполне можно гордиться. Я велел машине подъехать, я поднял пакет — он был совсем легкий. Я удивленно воззрился на бабушку... и получил удар по лбу. Передо мной стоял железнодорожник в робе, измазанной машинным маслом, и, чертыхаясь, тер свой лоб. Я ощупал собственную голову в поисках болевой точки и нашел здоровенную шишку, а пакет и вовсе упал на землю. *Смотреть надо!* Верно, все верно, хорошо ему так говорить, конечно, надо смотреть, но это моя бабушка, и мы не виделись с ней целых двадцать лет. *Ах, вы, вы...* Он повернулся ко мне спиной. А куда тем временем подевалась бабушка? Пакет лопнул, в нем ничего не было, только запах, запах пряности, которой она посыпáла для меня хлеб с маргарином после того, как я, бывало, выпью свое горячее молоко. Запах вознаграждения, он поднимался из коричневого порванного пакета, одуряющий запах. Чей-то башмак наступил на пакет и оставил на нем грязные следы. А бабушка? Исчезла, и люди, пробегавшие мимо, метали в меня удивленные и досадливые взгляды. Я, верно, и в самом деле престранно себя вел. Стоял среди вечерней суеты, пялился на бумажный пакетик и жадно принюхивался. Я украдкой вышел из толпы к автобусной остановке. Довольно я ждал.

***

Бегство в бегство, натиск прочь прочь прочь отсюда, из года в год бегство пускало корни в Васко Луксове (он же Алексов отец), словно экзотический цветок в баночке из-под конфитюра, что стоит на подоконнике. Питаемое плодородным черноземом его смутного недовольства, маленькими повседневными огорчениями, оно процветало наилучшим образом, орошаемое и удобряемое предчувствиями и смутными пожеланиями.

Началось все с винограда. Васко сидел на дереве в отцовском винограднике и клал большие, тугие, спелые, светло-зеленые ягоды себе в рот, не помыв, одну за другой, часами, пока не село солнце и тревога облаков не отразилась в его желудке: он потерпел неудачу при попытке съесть весь урожай, прежде чем тот обратится в разбавленное государственное вино. Отец и братья так же упорно вглядывались в чреватые кислотным дождем облака.

В первой половине дня им нанесли официальный визит. Секретарь горкома воздвигся у них перед дверью. В руках — письмо, письмо вручается с невнятным приветствием, в глазах — торжество. Ноги его, казалось, испытывают стыд и не смеют перешагнуть порог, несмотря на неоднократно повторенное приглашение. В свое время этот самый секретарь подсоблял у них в семейной лавке. Приветливый, несмелый человек, который все содержал в чистоте, правильно взвешивал и почти не воровал.

Все семейство собралось перед дверью, три брата в полосатых носочках и матрос-

ских рубашках, мать, не снявшая фартука. Все догадывались, о чем пойдет речь. Как и всегда, слухи опередили исполнение.

Отец семейства, владелец лавки и винодел, предложил кофе или, может быть, нашего свежеприготовленного виноградного желе. Так сказать, снять пробу. Он улыбался краешком губ, одновременно принял и конверт, и отказ.

— Спасибо, благодарю, пройдем в дом.

— Есть приказ, чтобы ты прочел письмо в моем присутствии, чтобы не осталось неясностей, понял?

— Неясностей, говоришь, чтоб не осталось?

Молчание. Он надорвал конверт, с задумчивой основательностью прочел содержание, после чего передал документ своей жене. Она лишь пробежала его глазами, а ее муж тем временем в упор глядел на письмоносца, как глядят на должника.

Мать передала письмо сыновьям. Старший уже без всякого труда читал в школе Лермонтова. Затем письмо попало в руки Васко, второго от начала, второго от конца, который покамест читал лишь про похождения хитрого Петера. Дочитав, он вопросительно взглянул на отца — третий брат еще не умел читать. «Прочтите ему», — буркнул отец. Секретарю горкома стало как-то муторно от этой процедуры. Смущение поднялось от ног к гортани и попыталось вырваться на волю с помощью кашля. Голос мальчишки запинался, читая приказ.

— Не так!

Отец взял письмо в руки и начал читать вслух. Тем же самым голосом, что перед началом трапезы, во имя Отца, Сына и... голосом, что спрашивает домашнее задание, будит детей, поет песни про царя, которые делают вечер для певца вполне удавшимся. Теперь этот голос был поставлен на службу воле народа. Он еще звучал в ушах у Васко, покуда тот ощипывал виноградную гроздь, надкусывал зубом ягоду, затем глотал ее. Они вчетвером сидели на стволе, коричневые полосатые носочки, исцарапанные руки и ноги, сгорбленные спины. Перед ними стояли корзины с ягодами, но они ели уже очень медленно, сперва обшаривая рот — не сыщется ли там какая-нибудь ниша для еще одной немытой ягоды... Губы и зубы гоняли каждую ягоду, пока та не лопнет и сок не закапает на матроску. Только с отцом ничего подобного не случалось, он молчал и ел, сосредоточенно, с отсутствующим видом, а взгляд его скользил вниз по склону, если глядеть с их ствола, виноградник походил на ковер, а тропинки между рядами лоз были как узор на ковре.

Стая людей в форме поднималась по склону, они рассыпались шеренгами и все вместе несли брезент. На фоне солнца казалось, будто между пилотками и рубашками у них есть только тень. Они продуманно двигались по склону, словно знали, что торопиться им незачем. Отец застыл на древесном стволе, сознавая свое поражение. Они подходили все ближе, молча, не представились, не обратили на него ни малейшего внимания, так и не продемонстрировали наличие лиц, уверенными движениями закрепили брезент на колышках-подпорках и снова удалились. Но оставили тень. На брезенте — приказ об изъятии частной собственности, слепой экземпляр, как и подпись и печать. Оригинал уже, верно, вложили в папку и поместили в архив.

Отец хотел вытащить из корзины еще одну гроздь, но тут младший отвернулся, и его вырвало. Отец прижал мальчика к себе и протянул ему свой носовой платок.

— А теперь пошли.

Он взял младшего за руку и начал опрокидывать корзины, потом ему пришла в голову более удачная мысль, он начал топтать корзины, продуманно и целеустремленно, рвалась плетенка, трещал деревянный остов — звук, даровавший ему такое удовлетворение, будто он крушил чьи-то ребра. Потом они спустились с горы на дорогу, осторожно и неуверенно. Когда они пришли домой, их желудки взбунтовались, и на ужин никто даже глядеть не захотел.

АЛЕКС. Больница

Сегодня мне пришлось съездить в больницу, чтобы узнать результаты обследова-

ния, проведенного на прошлой неделе. Вот уже несколько месяцев я чувствую усталость плюс легкую головную боль, сил хватает лишь на то, чтобы нажимать кнопки на пульте дистанционного управления да вынимать пробки из бутылок. В больнице они поначалу растерялись, быстро пропустили меня через всевозможные обследования, посмотрим, посмотрим, может, они что и отыскали.

Врач сообщает, будто уже сейчас можно утверждать, что у меня многое и очень даже многое не в порядке. Спасибочки, значит, настало время платить по первому разу? В теле у меня обнаружены узлы, так сказать, признаки внутреннего непорядка. Ах, доктор, доктор, я никогда и не был в порядке. Тем не менее для полной уверенности надлежит провести еще некоторые обследования. Валяйте, проводите. Но уже сейчас он может утверждать, может опасаться, что без оперативного вмешательства здесь не обойтись. Назначить срок, пребывать в состоянии готовности, предпринимать дальние поездки он бы не советовал, как знать, не придется ли нам, я понимаю, разумеется, в зависимости от результатов обследований, я понимаю, немедленно вас вытребовать.

ВАСКО БЫЛ СУГУБЫЙ ИНДИВИДУАЛИСТ. Он ненавидел парады, маршировку, пионерские песни, клятвы и собрания. Он хотел убежать. Он не знал как, он не знал куда, до тех пор пока Боро по кличке Марафонец не пригласил его бежать вместе с ним. Тощая фигура, глаза по большей части устремлены на руки, руки все время теребят пальцы, их неумолчный треск действует на нервы, а хорошо себя Боро чувствует, лишь когда бежит. Он и забежал за Васко. Позади дома булыжник переходил в пыль и вел через бедные кварталы. На первом подъеме они обогнали запряженную ослом тележку, на первом спуске им навстречу попался грузовик. Кашляя, выбежали из пыльного облака, дальше — по долине, где некогда горсточка гайдуков подкараулила отряд янычар и стерла его в пыль. С тех пор каждый школьный класс хоть раз да наведался сюда — кустарник, верно, оглох от повторяемой десятилетиями подряд хвалы былым подвигам. Беги на цыпочках, шепнул Боро, не то услышишь, как трещат кости. А в лесочке, который начинался за долиной, Боро начал петлять на бегу и соразмерял свои шаги так, чтобы не наступить на еловую шишку. Ты хоть разглядывал когда-нибудь внимательно еловую шишку?

— Я бы с удовольствием собирал их, все шишки, какие только есть на белом свете.

— Ерунда, шишки всюду одинаковые.

Лесная тропинка уперлась в обломок скалы, который нависал над небольшим озером, — готовая вышка для прыжков в воду. Цель воскресных прогулок. А ну, за мной. Боро спрыгнул вниз, как был, в белье. Они доплыли до середины озера. На другом берегу располагался небольшой зоопарк с ланями, оленями и медведями. Порой они даже видели зверей. Назад плыли наперегонки.

На горячем камне они быстро обсохли, на животе и на спине остались красные отпечатки размером со сковороду. Боро сделал несколько вольных упражнений и говорил при этом без умолку.

Вдруг он остановился.

— А ну погляди.

Васко глянул в направлении вытянутой руки и ничего необычного не увидел. Но Боро объяснил ему что к чему.

— Если бежать все прямо и прямо, я точно проследил по карте, можно попасть в Югославию, а Югославия тоже потом кончается. Тогда ты попадаешь в Италию и можешь выбирать, куда тебе хочется, в Париж, или в Лондон, или по соседству, в Швейцарию.

Год спустя Васко выиграл в своей возрастной группе городские соревнования по бегу на дальнюю дистанцию. Его освободили от всех общественных нагрузок, чтобы оставалось больше времени для тренировок. Потом его отправили на национальные соревнования в столицу, но подняться выше организованный спорт ему так и не помог.

TO WHOM IT MAY CONCERN[1].

АЛЕКСАНДАРА ПОЛОЖИЛИ В БОЛЬНИЦУ ТЧК ПОДОЗРЕНИЕ НА ОРГАНИЧЕСКУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СИТУАЦИЯ НЕЯСНАЯ ТЧК ВРАЧИ ОПАСАЮТСЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ИСКЛЮЧЕНА РЕЗЕКЦИЯ ОДНОЙ ПОЧКИ ТЧК ВИЗИТЫ И БУКЕТЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ ТЧК ТЕЛЕГРАММЫ-СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫ

NOMEN EST TOTEM[2]. MY NAME IS MY CASTLE[3]. Отгородиться забором имени своего и выманить тебя оттуда можно, лишь угадав имя и точно его произнеся. После чего тебя примут с распростертыми объятиями, даже если ты не принесешь с собой иных даров. Ты возложил свое имя почтительно, как принято возлагать венки. Представить только, как изнемогают игральные кости от того, что нет у них имени.

Все они побывали на крестинах в горном монастыре.

Иконостас согревал церковь, восхищенные взгляды собравшихся освещали ее. Кто понабожней, преклонял колена перед Святой Марией, Богородицей, которая была воплощена в маленькой, старой, чтимой по всей стране иконе. Яна держала на сгибе руки спящего Александара, Златка сияла, усердно осеняла себя крестом перед каждой иконой и снова принималась сиять.

Господу Богу нашему помолимся!

Ничего не скажешь, голос у него как труба!

...разрушь твое царство насилия и отпусти народ мой.

Бай Дан взял на руки Алекса, который все так же мирно спал, и загляделся на задумчивое личико, может, вовсе и не личико, а маску, под которой разыгрывались космические бои... выведи и сам творение твое из вражьего рабства, избавь его от козней супротивника, недобрых встреч и от полуденного демона... не иначе этот самый демон заставил Алекса так поспешать во время рождения, не иначе это он перегрыз пуповину своими демонскими зубами.

Бай Дан и отец Николай раздели Алекса, обратили его к востоку, ибо там — Бай Дан еще помнил это — пребывало царство справедливости, на востоке восходит солнце, на востоке Спаситель, Иисус Христос.

Священник дохнул на Алекса, на рот, на лоб, на грудь.

Изгони из него всякого духа недоброго и нечистого, что сокрылся и угнездился в его сердце, и отец Николай первый раз повторил это и начертал крест на лбу и на груди у Алекса, Александар бысть принят в сообщество мирское и в бесконечную мистерию, отец Николай повторил это и во второй раз, возложил руку на Алекса, дабы защитить его... тут вступил Бай Дан, *изгони из него глупость и невежество, что будут внушать ему другие...* изгони из него всякий дух недобрый и нечистый, что скрыто угнездился в его сердце, дух обмана и дух злобы, дух поклонения идолам и дух стяжательства, что скрылся и угнездился в сердце его, дух лжи и дух нечистоты...

Я иду следом, брате, я снова здесь.

Аминь.

НАСТАЛ ДЕНЬ, КОГДА ОПОЧИЛ ПРЕСТАРЕЛЫЙ ЦАРЬ, и все были очень печальные и горько плакали. Имя тому царю было сама доброта, весы правосудия раскачивались у него между глазами, на языке у него шпалерами выстроились мудрые слова, все равно как лауреаты премии мира. Покуда он царил, уделом его подданных было ничем

---

[1] Кому это небезразлично (*англ.*).

[2] Имя есть тотем (*лат.*), искаженная латинская поговорка «Nomen est omen» — «Имя есть знак».

[3] Мое имя — моя крепость (*англ.*), искаженная поговорка «Мой дом — моя крепость».

не омраченное счастье, и длилось это счастье столько лет и столько десятилетий, что казалось вечным и нерушимым. Неизмерима была скорбь молодых и старых, на лугах и в сиротских приютах, когда с башен и от городских ворот возвестили о его кончине.

— Он умер, — сказала бабушка.

Алекс проследовал на кухню. Там за столом сидел насвистывающий мужчина и с воодушевлением мазал себе что-то на хлеб — это был его собственный отец в непривычно хорошем настроении. Он увидел Алекса, засмеялся и присвистнул. Иди сюда. Налил вторую чашку чаю, подтянул Алекса к себе и спросил: сын мой, а знаешь ли ты, какой у нас сегодня день? Сегодня у нас третье мая. Запомни этот день. Это замечательный день. За-ме-чательный-пре-за-ме-чательный. Сегодня после обеда мы пойдем с тобой в зоопарк и отпразднуем его вместе с медведями и со львами. А если пожелаешь, то и с жирафами. От людей сегодня проку нет.

Еще прежде чем Алекс успел о чем-то спросить, в кухню ворвалась Нойка, тетка Алекса, и бигуди у нее были наполовину раскручены.

Перестань, ты накличешь беду на нашу голову. Не говори мальчику такие глупости. Того и гляди, он проболтается в детском саду. Возьми себя в руки. А вдобавок мог бы и сострадание проявить. Человек — он и есть человек, творение Божье, как бы плох он ни был.

Из гостиной донеслись коллективные причитания. Бабушка завывала в унисон с радио. «Хорошо хоть, что окна закрыты, — сказал отец. — Не то бы мы еще и с улицы услышали такой же концерт. Итак, Сашо, ты все понял? Вот и скажи в садике, что все семейство сидит перед радио и заливается горькими слезами».

Тетка вылетела из комнаты, и Алекс мог наконец спросить:

— Да что случилось-то?

Отец взревел, как вождь краснокожих:

— Умер Отец Нации, умер Отец Нации. — Он пустился вприсядку вокруг стола, схватил две вилки, сунул в руки Алексу две ложки и принялся выбивать дробь, тело у него раскачивалось из стороны в сторону, а Алекс семенил за ним вокруг стола, покуда оба не рухнули друг другу в объятия. Как весело, подумал Алекс, как весело, когда умирает Отец Нации. Хорошо бы они почаще умирали.

Через два дня после того, как народ распростился с телом выставленного в гробу Отца Нации, состоялось торжественное погребение в мавзолее на холме — холм этот вам уже известен, пароль: холм Юпитера, Тангры, Христа, — воздвигнутом с головокружительной быстротой, стены — просто за одну ночь. Когда хорошо выспавшийся туман обнажил чело холма, сразу стало видно, что вышеупомянутый Отец Нации не позволит, чтоб будущее на нем экономило.Все выдающиеся деятели столпились перед мавзолеем, укрывшись зонтиками. Небеса с величайшей точностью соблюдали дни траура, ливень так и не прекращался с той самой минуты, как было опубликовано известие о смерти. Улицы были залиты водой, земля раскисла. Многочисленная толпа окаймляла этот слезный поток, чихала, бранилась, а когда на нее смотрели, снова начинала плакать.

Из престарелых громкоговорителей доносилась приглушенная маршевая музыка.

Слезы текли не напрасно, они собирались воедино, пока вся улица не превратилась в бурный поток, с которым едва справлялись те, кто нес гроб. Форма на них промокла насквозь, глаза были едва видны за пеленой стекавшей с фуражек воды. Они добрались до холма, обрамленные неизбежным черным цветом и оптимистическим красным. И вдруг гроб вырвался у них из рук — международные гости давно уже спаслись бегством в мавзолей, — опрокинулся назад, накрыл менее проворных носильщиков и шмякнулся в воду. Первый сход со стапелей только что нареченного корабля на бешеной скорости вниз по улице, без руля и без ветрил. Крышка отлетела, голова покойника ударилась о дубовые планки, словно вознамерившись забить последний гвоздь, краска расползлась по тяжелым ресницам, по усам, губам, щекам и шее. Вода понесла гроб в аллею, гроб

объехал крохотную средневековую церквушку, перед Центральным Комитетом протаранил телеграфный столб, перекосился, выронил тело, которое проплыло еще некоторое расстояние, держа курс на резиденцию Отца Нации, после чего пошло ко дну достойно, недвижно и тяжело, как и надлежит телу государственного деятеля, оплаканного народом и небесами.

АЛЕКС. Температура

Температура высокая. У господина Хофнанга, моего соседа по палате, к которому никто никогда не приходит, температура всегда повышена. Началась эта история вполне безобидно, чуть выше 37, не о чем и говорить, ерундовое повышение, ничего такого, с чем нельзя совладать домашними средствами. Нет даже причин ложиться в постель. Чуть более утомленный, чем обычно, он вечером сел за ужин, потом рухнул в кресло перед телевизором, да там и заснул — на полчаса раньше обычного.

Температура продолжала лезть вверх, иногда это происходило раз в неделю, иногда раз в несколько месяцев, домашних врачей сменили больницы, городские и церковные. Теперь речь шла не только о температуре: его органы начали выходить из строя. Операции, ожидание трансплантации и жизнь с внутренним жаром. Вот и сегодня выдался такой день, сегодня температура впервые скакнула за отметку «сорок». Новая фаза. Хофнанг улыбается с несколько отрешенным видом, словно даже горд последним достижением.

Он рассказывает так, словно для него это было значительное и в то же время трагическое, жизненно важное решение. Он рассказывает многословно, лицо у него красное — из-за высокой температуры, и мы с ним пьем тепловатое белое вино.

С детских лет он мечтал стать музыкантом. Я разглядываю его руки, они дрожат, и не скажешь, что в них живет гибкое воспоминание о консерваторских годах. Четыре года теории и альта, потом в один прекрасный день — контракт на место альтиста в симфоническом оркестре государственного радио. Молодой человек, оставивший провинцию далеко позади, бродил по аллеям парка, и каждый вид тешил и соблазнял его сердце, оно стучало, как двери только что отстроенного дома, которые распахивает и захлопывает свежий ветер. Он радовался предстоящей поре, долгой и нескончаемой поре, которая предстоит ему в этом доме. Он был у цели, он пробыл у цели несколько часов. В общежитии сосед по комнате передал ему телеграмму, которая отзывала его обратно...

ОТЕЦ УМЕР ТЧК ПОЖАЛУЙСТА ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО

Повтор пьесы, которая уже сошла со сцены. Поцелуй в лоб, поминальная трапеза, мать в холодном ожесточении объявила: «Ты старший в семье, тебе и вести теперь виноторговлю, кроме тебя, этого никто не сможет». С воскресного обеда до утра у него еще оставалось время принять решение: то ли в очередной раз проявить послушание, то ли наконец взбунтоваться. Теперь, когда у него сорок, он понимает, что принял тогда ошибочное решение. Он покорился, пространствовав целую ночь, осушил целую бутылку дешевой водки и засунул в нее свернутый трубочкой текст контракта. Бутылку он бросил в строительный котлован, а много лет спустя проснулся с температурой тридцать семь и пять — откладывать протест на потом было уже невозможно, только острие его было теперь нацелено в самого Хофнанга. И надолго.

ОТЕЦ АЛЕКСАНДАРА ВЗЯЛ НА ВООРУЖЕНИЕ НЕСКОЛЬКО МАКСИМ, ЗА КОТОРЫЕ И ДЕРЖАЛСЯ, КАК ПОРТНОЙ-САМОУЧКА ЗА ВЫКРОЙКУ: *Если ты не способен плыть против течения, позволь течению нести тебя*. Вот он и позволял: прямо из кровати. Активисты не воссылали поздним вечером любовные серенады в окна третьего этажа, нет и нет, они просто доставили однозначное приглашение на очередное мероприятие международного форума студентов, который как раз происходит в столи-

це. Нужна вся бригада. Васко Луксов принялся, ворча, натягивать ботинки. В столицу съехались прогрессивные руководители студенчества со всего света. На лестнице перегорела лампочка. Васко ощупью, придерживаясь за стену, спускался вниз по ступеням, осторожно переставлял ноги под выкрики активистов, которые призывали его поторапливаться. Он оказался не единственным из тех, кого им полагалось привести с собой. Дело было спешное: на первых же мероприятиях форума, к несчастью, выяснилось, что некоторые из гостей приехали, чтобы дискутировать.

Актовый зал университета оказался набит битком. На повестке дня стояла дискуссия с участием выдающихся смутьянов из Франции, Италии и Латинской Америки. Когда Васко переступил порог зала с другими ребятами из своей группы, он угодил под проливной дождь оглушительных восторгов. Созванные аборигены топали ногами, скрипели стульями, горланили: «Браво! Брависсимо!» Зарубежные ораторы с удивлением наблюдали эту картину. Поначалу они ошибочно возомнили, будто слава битлов бунтующего студенчества предварила их приезд, а потому пытались утихомирить эту выдаваемую авансом какофонию восторгов.

Васко Луксов закрыл глаза, вокруг балагурили, кое-кто читал, кое-кто шепотком заводил разговоры с зарубежными гостями. Васко задремал. При виде укрощенных слушателей один из членов французской делегации решил примерно час спустя все-таки выбросить в зал провоцирующую мысль. И ему даже удалось беспрепятственно сформулировать несколько фраз, которые, хоть и были слегка обезврежены синхронным переводчиком, могли, однако, вызвать тяжелые последствия среди тех, кто знает французский. Но тогда от краев зала к центру начался топот. Сосед крепко толкнул Васко под ребро, Васко услышал, как тот шипит: «Топай!» — и ноги его чисто автоматически повиновались приказу. Он услышал крики, он подхватил их: «Ло-ко-мо-тив, Ло-ко-мо-тив!» Куда это он попал? Слишком много людей на него смотрит. Нет, что-то здесь не так, он должен срочно проснуться. Он услышал пение, а песня была ему знакома, но что это за песня? Что за мелодия? Это ведь совсем не боевые выкрики, это нечто более официальное. Не «Интернационал» же. Что-то другое. Тогда «Марсельеза»? Да-да, сомнений нет, это «Марсельеза», а сам он находится не на стадионе, этому фальшивому многоголосому пению, этим громовым раскатам на стадионе не место. Тогда почему же люди поют «Марсельезу»? Все равно почему, надо подтягивать. Сердце Васко затрепетало всеми клапанами. *Если ты не способен плыть против течения, позволь течению нести тебя.*

Дома он разбудил Яну. Мне надо с тобой поговорить. Она перевернулась на другой бок. Он перебрался через ее клубком свернувшееся тело, начал трясти и громко приговаривать: проснись, Яна, ну проснись же, я должен тебе кое-что сказать, важное, очень важное. Она выпрямилась, недовольно на него поглядела, взяла подушку, взбила ее и, придвинув к стене, прислонилась к ней.

— В чем дело? Ты что, только сейчас вернулся? Ты где пропадал?

— Очень затянулось, нам велели поднимать шум, чтобы никто не мог расслышать приглашенного оратора.

— Угу.

— Я хочу уехать.

— Куда уехать?

— Отсюда уехать, из этой страны, в какое-нибудь другое место. Здесь нечем дышать.

— Ты должен радоваться, что мы можем жить у моей матери. Или у тебя есть на примете свободная квартира, куда ты можешь нас пригласить?

— А иметь собственную квартиру, только для нас, разве ты бы этого не хотела? В других местах квартира не проблема. В других местах у каждого есть отдельная квартира.

— Хорошо, хорошо, давай поедем. Только говорить об этом надо на спокойную голову, а сейчас лучше спать.

— Но я серьезно. Сегодня ночью я это понял. Я знаю, я уверен, я думаю, что уже всегда этого хотел.

— А вот я не уверена.

— Я непременно хочу уехать.

— А меня ты и не спрашиваешь?

С этого дня все их разговоры привлекали соучастницей ночь. Васко обрушивал на жену аргументы и замыслы, Яна же отвечала, что сама мысль об этом вызывает у нее острейшее неприятие. Все ее чувства противились побегу, и вскоре Яна поняла, что Васко никогда и не примет ее чувства как нечто равноправное с его доводами. Когда он подступался к ней с вполне разумными мыслями, такими, например, как будущее Алекса, она не находила убедительных возражений. Она могла только поминать возможные опасности. Итак, у него были правильные аргументы, а у нее — ошибочные чувства.

АЛЕКС. Screen

Сегодня здесь побывал техник, чтобы проверить экран — так здесь называют окно. Проведя в больнице несколько недель, человек вправе претендовать на новую программу, правда, выбор не так уж и велик, но вид степного пейзажа осточертел мне до невозможности, а горы я не переношу. Потому я заказал лес. Вообще искусственное окно — это очень неплохая выдумка. Реальный вид из окна действует на меня удручающим образом, две слишком большие и уродливые амфоры; мы в них храним сердце старшей сестры, сказал санитар, — шутка такая, у нашего санитара юмор носит патологический оттенок, — если мы ампутируем твое, его тоже поместят в эти амфоры. Позади амфор виднеется угол автостоянки и еще навес. А ухоженный сад расположен по другую сторону здания. Впрочем, не знаю, даже если бы из окна открывался более приятный вид, тягаться с экраном он бы все равно не смог.

АЛЕКС. Лес

Лес себя оправдал, нет сомнений, что это мой излюбленный пейзаж. Я разглядываю лес с поля своей кровати, эти поблескивающие зеленые тона, которые успокаивают человека, да еще как успокаивают. Порой меня охватывает желание вытянуть руки и запустить их в зелень, я бы куда как охотно убежал в лес — и вот уже я карабкаюсь по искривленному стволу, осторожно, осторожненько, не соскользнуть бы, босиком оно, пожалуй, лучше.

Два чемодана — это не очень много, если их предстоит наполнить избранными деталями предшествующей жизни. Два чемодана — больше нельзя. А еще можно взять маленький чемоданчик. По вопросу об одежде и детских игрушках Яна и Васко в два счета пришли к согласию. Он проявил великодушие: женщинам нужно больше одежды, а детям, разумеется, нужны игрушки. В остальном мы должны сконцентрироваться на главном.

В последний раз гювеч источал запахи совместной трапезы. Они тесно расселись вокруг стола, и никто не догадывался о невозвратности. Кроме Васко и Яны. Догадайся другие, они, возможно, меньше бы спорили насчет денег, о том, кто, когда и сколько должен внести в общий котел, и кто из них не соблюдает уговора, и кто вообразил, будто деньги можно скомпенсировать другими делами по хозяйству, которые никак нельзя признать равноценными. Неужто вам всегда надо так ссориться, перебила их Златка, а Яна залилась слезами, рева-корова, прошипела тут тетка по имени Нойка, ты из-за любого пустяка устраиваешь целое представление. Васко был непривычно молчалив, другие вполне могли бы это заметить, когда б не так разгорячились. Он же с отсутствующим видом ел свой гювеч и молчал, и это он, который взрывался при каждом удобном случае, один раз он даже улыбнулся, и никто бы не мог угадать, о чем он думает: скоро мне больше не надо будет все это слушать. Вот вы тогда удивитесь. Зато Яна видела мысленным взором три незанятых стула и Златку, которая сидит, не поднимая головы.

Следовало принять окончательное решение. Уступили оба. На другой день, когда Васко сидел за рулем и, насвистывая, ехал в западном направлении, он уже выкинул все из головы. Яна же, напротив, страдала.

АЛЕКС. Подготовка к операции

Меня будят рано, как всегда, мне подают завтрак, серый хлеб с колбасой, при этом мне сообщают, что сейчас ко мне придут. И впрямь, немного погодя приходит человек с бумагами под мышкой, с миской в руке, а в миске той лежит губка, бритвенная кисточка, тюбик и бритва. Мы должны обрить вам голову и причинное место, говорит этот длинноволосый, бородатый человек. Но перед этим вы должны несколько раз расписаться. Вот, можете спокойно читать. И я начинаю читать принесенные бумаги. В первом документе содержится мое согласие в случае надобности на пользование протезом. Я подписываю, мне все равно, что с протезом, что без. Вторым документом я избавляю главврача, равно как и его клинику в целом, от возможного банкротства, а третьим — от тюрьмы. Ну я и подписываю. Едва бородач получает подписанные документы, он начинает торопить меня, чтоб я поскорей раздевался. Он, видите ли, спешит. Да, не сказать, чтобы у него была такая уж приятная работа. Он проходит в ванную и приносит оттуда воду. Вот добряк, он позаботился о том, чтобы вода была чуть теплой, кисточка у него тоже теплая, это приятно, только само бритье причиняет легкую боль, а потом кожа саднит, это ненадолго, скоро дадут наркоз, но пока его дадут, кожа саднит, и я радуюсь, что мне дадут наркоз, вот и она появляется, в очках и с бородавкой на верхней губе. Она дает мне наркоз, я еще могу сознавать, как мою кровать везут по коридору в другую, более светлую комнату. За всем прочим пусть прочие и наблюдают.

ПРОВОДНИК ПРИВЕЛ В ПОРЯДОК СВОЮ ДЛИННУЮ — ПРЯМО ДО САМОЙ ГРУДИ — БОРОДУ, словно вознамерился спрятать под ней некий груз, обычный гастарбайтер в который раз на пути в землю обетованную. Кто станет считать его чемоданы, кто — задавать вопросы. Безопасная работа при недурной оплате. Не в тысячный ли раз он предпринимает путешествие из одного места своих переменчивых мечтаний в другое, туда и обратно, туда и обратно? Не знают ли его в лицо некоторые таможенники и пограничники? За поручения такого рода он брался лишь по личной рекомендации коллег, друзей и родственников. А с совершенно посторонними дела иметь не желал.

С главной дороги он свернул на проселок и остановился. Растолковал, как идти дальше. Просека, лес, узкая тропинка, пройти ее до конца, просека, река, сторожевая вышка слева за поворотом, дальше брод, перейти осторожно, быстро, стоять и ждать. Отец, мать и Алекс вылезли из оформленного на южный лад «мерседеса», двери окрашены в другой цвет, всюду еле держатся наклейки, и неизбежный багажник, вмятины которого свидетельствуют о его интенсивном использовании. Они стояли рядышком, близко друг к другу и испытывали великий страх перед последним шагом. Мать не могла оторвать взгляд от маленького чемоданчика на заднем сиденье. Она в упор глядела на него, задавленная тоской последнего прощанья. Маленький чемоданчик она никогда больше не увидит, это вдруг стало ей совершенно ясно. «Мерседес» между тем тронулся. Я возьму чемоданчик с собой, она дернула дверь машины, проводник притормозил, опустил стекло. Чего опять надо этой истеричке? Извините, мне бы маленький чемоданчик.

Проводник развернулся к заднему сиденью, чтобы открыть дверь, уголки губ у него дернулись, потом он подождал, пока она снова захлопнет дверцу. Отец выкашливал на нее один аргумент за другим, идиотский поступок, это только затруднит и усложнит их положение, и никакого смысла...

Они провожали взглядом габаритные огни «мерседеса», предательские указатели, растворившиеся в темноте. «Пошли», — сказал отец. Единственный, кто хранил стоическое молчание все время, а с этой минуты тем паче, был Алекс.

Когда их взгляду открылась первая из упомянутых просек, отец несколько воспрянул духом, а утомительное продвижение против по-осеннему сильного ветра и вообще не

оставило времени для раздумий. Они дошли уже до середины просеки, когда ветер превратился в бурю и выдул из них все мысли. Он привлекал их к себе и отшвыривал их от себя. И самым тягостным грузом, и самой богатой добычей оказался маленький чемоданчик. Последний порыв ветра, чемоданчик вырван из рук, полетел прочь, ударился о ствол, раскрылся, и наружу выпали, наружу запрыгали всякие предметы, по неделям взвешенные в мыслях, собранные руками сувениры оставленной позади жизни: связанный на коклюшках платок с кружевным узором, несколько Алексовых игрушек, которые сразу шмякнулись на землю, пижамы и ночные сорочки, которые тотчас начали извиваться, блузка, миниатюрная иконка, маленький, но весьма нужный словарик, который должен был привести их в Центральную Европу, теперь же, пренебрегая направлением, скакал по земле, открылся, закрылся, словно бился за свое право говорить, потерял несколько страниц, те разлетелись, словно рекламные проспекты, зацепились за верхушки деревьев, обрамлявших просеку, и осели в подлеске. Платок завис, наколотый на острый сук, обложка словаря бросилась под ноги беглецам. Отец поспешно наступил на него, чтобы приостановить развитие беды. Мать побежала бы за вещами вдогонку, когда бы ветер позволил ей это сделать. Отец что-то такое кричал насчет того, чтобы идти дальше, захлопнул полупустой чемодан, другой рукой потащил за собой Алекса, пригнулся еще больше — и прямо в свист и в вой ветра. В соседнем участке леса мать обеими свободными теперь руками крепко прижала к себе Алекса — последнее, что осталось у нее на пути в обетованную...

Когда они добрались до границы, дорогу им преградила стена и скучающий солдат на карауле. Речки, которую им надлежало перейти вброд, на месте не оказалось. Мать, обессилев от ветра и страха, стояла оцепенело между деревьями, она сдалась, лицо ее было сплошной упрек, адресованный мужу, жизни, себе самой. Отец же считал шаги солдата:

всего восемьдесят до караульной будки, потом обратно. Ружье болталось на спине, без всякого интереса.

Когда он повернет назад, мы перебежим, надо успеть до стены, а я вас подсажу.

Мать незаметно кивнула и прилепилась взглядом к стене. Часовой дошел до будки, постоял, выудил из кармана носовой платок и смачно высморкался. Алекс дергал мать за руку, подталкивал ее. Она же была слишком взволнована, чтобы понять, чего он от нее хочет. Солдат прокашлялся, громко и безудержно, как человек, который считает, что вокруг никого нет, и продолжил свой путь.

Отец дернул за руку Алекса, Алекс — мать, и вся эта семейная цепочка сделала последний рывок за спиной у солдата, который вышагивал вдоль приграничной стены, спокойно и покашливая. Им предстоит еще пройти восемьдесят шагов. Семейство припустило по просеке, впереди отец, за ним сын, замыкает процессию мать, которую пронзила мысль, что теперь поздно говорить «нет» и останавливаться. Цепочка приблизилась к стене, солдат — к месту поворота, и теперь уже нельзя было сорвать кран экстренного торможения. Возможно, эта отрезвляющая мысль подставила ей ножку, возможно, она сама споткнулась о древесный корень, так или иначе, она упала и вскрикнула. Цепочка разорвалась, солдат совершил преждевременный поворот, и трое взрослых плюс один ребенок оказались лицом к лицу с проблемой, новой для всех участников. Отец таращился на солдата, Алекс глядел на упавшую мать, а солдат растерянно оглядывался. В мгновение ока все они поняли, что совершенно не подготовлены к сложившейся ситуации и могут совершить что-нибудь глубоко ошибочное. В голове у солдата засверкали молниями всевозможные варианты решения, и наконец ему стало ясно, что решение существует только одно-единственное: вести себя так, будто ничего не произошло. Легкий озноб пробежал по его телу, когда он повернулся и продолжил свой путь в обратном направлении много медленнее обычного. Отец выпрямился, как высвобожденная пружина, которую вдруг перестали удерживать, от подступившего восторга он поднял Алекса над головой и перекинул через стену, прежде чем мальчик успел что-либо понять.

СТОП. А теперь переведем дух. Зрители, которые занимают места на западных трибунах и видят все досконально, зрители на востоке, которые забрались на деревья либо подглядывают через щели в заборе, теперь вы все должны проявить фантазию. То, что мы видим, могло бы стать решающей сценой: Алекс перелетает через железный занавес, в нашем случае роль железного занавеса играет стена высотой в один метр шестьдесят, его родителям еще только предстоит взять это препятствие, солдат же, подавив смятение, шагает прочь от них. Вроде бы все ясно и все прекрасно: Алекс перелетает спиной вперед в обетованную, солдат в самом непродолжительном времени хлебнет супчику, родители же вот-вот перепрыгнут высокий барьер, отделяющий их от другой жизни. Вы, сидящие на бесплатных местах, вы заметили, что я не говорю: от лучшей жизни? Я ведь уже предупреждал вас: здесь требуется фантазия, причем бóльшая, чем та, что вы можете приобрести в киоске за наличный расчет.

Не бойтесь, дорогие зрители, вам не грозят ни кадры из Уолта Диснея, ни «Танец фей», ни кувырок через голову, ни джазовая импровизация, и флаги никто не собирается поднимать. Мы просто выйдем из этого времени, отступим в сторонку и поглядим: Алекс в воздухе, с открытыми глазами, в позе жука, руки распростерты, как у победителя, двадцать сантиметров по-над стеной. И даже без музыкального сопровождения.

Итальянский крестьянин, который шел рядом с лошадью вдоль пограничной стены, не слышал, как на его телегу с сеном упал сверху ребенок, ибо уже вступил в возраст известной тугоухости. Крестьянки же, наблюдавшие все происходящее с изрядного отдаления, заговорили об ангеле, который опустился с неба на Фриули. В трактире это событие сумели классифицировать без промедления и совершенно верно:

у них теперь даже ангелы летают

Вздор какой, и сам ты дурак, с каких это пор оттуда прилетают ангелы?

В таком же духе высказался и священник, когда ему сообщили о свершившемся чуде. Правда, любой священник мечтает о том, чтобы чудо произошло именно у него в приходе, но, на наш взгляд, это было бы не совсем уместно.

А крестьянин — тот несколько раз ударил свою клячу, и телега загромыхала вниз по склону. Алекс поудобнее устроился в сене, полюбовался на небо, которое жило своей жизнью над ним, и принялся ждать, когда со стены свалятся и его родители. Однако, когда последние перебрались через стену и огляделись по сторонам, нигде, ни вблизи, ни вдали, взгляд их не обнаружил никакого Алекса, лишь там, где каменистая дорога шла под уклон, они разглядели телегу, поднявшую пыль на всю округу.

Сказание о земле обетованной

АЛЕКС ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА СЕНЕ СТОЛЬ ЖЕ МЯГКО, сколь неудачно угодила на твердый гравий лодыжка его отца, и как результат —вывих. Он не стрелял, этот человек, когда отец подвернул ногу, не стрелял, когда отец падал, слава богу, он не стрелял не стрелял, пронзительная боль. Между прочим: откуда здесь взялась стена? Васко выпрямляется, боль острей, ну, Яна, дело сделано?! Мы уже на другой стороне, слышишь, Яна? Вот это была ошибка, боль пронизывает сустав, когда он подпрыгивает на другой ноге, вот дьявол, я совершенно не могу на нее наступить, но ведь не так же, не вприпрыжку, нет, он представлял себе это совсем по-другому, он рисовал себе все-все по-другому, когда засыпал: радость бьет через край, какое счастье, его встречают люди, люди рады его встречать, кричат «добро пожаловать», обнимают, их расспросы выражают глубокое восхищение, восхищение им и его побегом, они хлопают его по плечу, пытаются пожать ему руку, поздравляют героя, вручают сувениры. Изрыгаемые им проклятия приветствуют чужбину: это Италия, пусть даже он при всем желании не может воспользоваться указа-

ниями проводника, Италия, мы уже в Италии, постучи по дереву, поставить свечу, а где человек с их багажом, ну да, он нас ждет, а как же мне узнать, где мы находимся, надо спешить к месту встречи...

— А где Алекс?— спрашивает Татьяна. — Где Алекс?

Италия носит одежду, на которую там и сям ставят заплатки. Незавершенные стены рассказывают полуправду о своих владельцах, из куч песка копьями торчат лопаты, лежат доски, где навалом, где вперемешку. Обширные поля с упорядоченными рядами растений. Две немолодые женщины, опершись на мотыги, всецело отдались своему любопытству и молча созерцают престранное зрелище. Ребенок перелетел через стену, приземлился на телеге, за ним последовали мужчина и женщина, стоят как потерянные, не знают, верно, куда им надо двигаться, ну поглядим, что будет дальше.

Вдоль засыпанной гравием дороги рядами, хоть и не столь правильными, как у настоящей аллеи, растут кипарисы и другие деревья, которые подводят их к окраине небольшого городка. Тишина сохраняется до тех пор, покуда Татьяна не спрашивает снова, где Алекс. Она, можно сказать, требует: верни мне Алекса, но требование выражено не в словах, она ограничивается укоризненным тоном.

— Где он?

— Не знаю, я вижу не больше, чем ты. Верно, кто-нибудь прихватил его. Где ж его теперь искать?

— Пошли вон к тем домам, похоже, это город, что ж это такое, с чего это он вдруг исчез?

Бледное солнце следует за ними.

А телега тем временем въезжает в город.

— Чего это ты везешь, Колоре? — спрашивает первый же, у кого достает времени приглядеться.

— Сено, мне еще потом везти его в Помазо.

— Я не про сено, я про ребенка.

— Какого такого ребенка?

— Ты бы хоть оглянулся, Колоре. Совсем старик из ума выжил.

— Эй, малыш, ты откуда? Как ты попал на мою телегу, что нам с тобой делать? — Алекс глядит исподлобья и отвечает на родном языке беглых ангелов.

— Эй, Колоре, это, никак, твой внук?— Мужчина, только что возник рядом, но уже потрепал Алекса по щечке, погладил его по головке, после чего попотчевал сладостями самого Колоре — что может быть радостней для старого человека, чем похвалы, расточаемые его внукам?

— Нетнетнет, это приблудный мальчик, что мне с ним делать, подожди, малыш, никуда не уходи, никуданикуда, я сейчас вернусь, жди здесь.

И Колоре уходит. Алекс же остается сидеть на телеге ровно столько времени, сколько ему требуется, чтобы сообразить, как лучше всего спуститься вниз. Он спокоен, он вполне спокоен. Он устремляет свои шаги к первому же похожему на палатку сооружению, где разглядывает ряды подвешенных кур, курица за курицей, среди них — огромных размеров индюк, который подвешен вниз ногами и в безголовом виде выставляет себя на продажу. Индюк привлекает его внимание. Алекс глядит, глядит, подходит ближе, нельзя ли потрогать эту огромную птицу, поблизости вроде бы никого нет. Алекс испуган: у индюка, оказывается, есть уши и есть нос, и вокруг шеи обмотан шарф, и глаза у него есть, устремленные на Алекса, и рот, который говорит. Дородная женщина пристает к нему с расспросами.

— Кто этот миленький мальчик, он ведь не здешний, деточка, ты откуда? А мама где, где мама? За покупками или?.. А чего она покупает? А я случайно тебя раньше не видела? Пожалуй что и не видела. Пожалуй, ты вообще не здешний. Или здешний? Мы друг друга знаем или нет? Знаешь, такой милый мальчик, уж я бы такого приметила. Ну, пошли, только скажи мне сперва, ты разве со мной и разговаривать не хочешь?

Алекс таращится на нее во все глаза: целая женщина среди безголового птичника.

— Эй, Массимо, к нам приблудился один малыш, ни слова не говорит, робкий такой, иди-ка сюда, Массимо, погляди на него хорошенько, он совсем растерялся, вот что я тебе скажу, а по-твоему как?

Массимо и еще несколько покупателей возникают по обе стороны курятника. Массимо держит в руке коричневую бумагу, а на бумаге — розовые пластины.

— Перестань, ты его вконец запугала. Попробовать не хочешь? Тогда бери.

Он протягивает Алексу розовую пластину, сует под самый нос. Пластина довольно большая. Алекс неловко запихивает ее в рот, начинает недоверчиво жевать, его глаза уже поют хвалу щедрому жертвователю, который с улыбкой сунул ему в руки всю коричневую бумагу.

— Ну что, вкусно? Бери сколько захочешь, лакомься, сегодня у нас ветчинный день, свеженькая из Сан-Даниеле.

Вкусная ветчина, еще одну пластину, следующая всегда лучше на вкус, число смеющихся растет, и число любопытных глаз. Также и вокруг булочницы, которая для последних кусков ветчины выдает ему хлебец. Поступают и еще дары: тонкокожие помидоры, нежный виноград и кусок сыра...

— А, вот он где, найденыш. Его уже угощают. Голодный, верно. А теперь в сторонку, попрошу отойти. Теперь я им займусь.

Карабинер, которого весьма отдаленное родство связывает с Колоре. Он уже многое успел: позвонил в управление и получил указание отправить ребенка в Пельферино, в лагерь для беженцев, отсюда примерно час езды.

— Так, так, теперь пропустите меня, а ребенка оставьте наконец в покое, у него во рту столько снеди, что ему до ужина жевать не пережевать.

— Микеле, а откуда он взялся?

— Не иначе упал с неба на телегу нашего доброго старого Колоре.

Не такой уж и тяжелый груз приходилось тащить за собой Васко и Татьяне от одной тени до очередного кипариса, который преграждает дорогу солнцу. Маленький чемоданчик почти не обременял их. Они достигли первых домов, поначалу разрозненных, чуть дальше — сгрудившихся, теснивших друг друга — от одной крыши к другой, от одной расцветки к другой, черепичнокрасные и каменносерые и снова черепичнокрасные вперемежку с яркими красками.

Дорога проникает в город, ведет к продолговатой площади с домами, которые явно не уговорились загодя, кому где стоять, и стоят теперь всего тесней там, где какой-нибудь из них, никого не предупредив, привел за собой родственника. Углы и края отличают фасады со всех сторон. Васко и Яна останавливаются возле скамейки. На площади — ни души. Они оглядываются. Куда же теперь? Почему здесь так безлюдно? Где Алекс?

— Пойду искать полицию.

Яна кивает.

— Может, отдохнешь пока здесь?

Яна кивает.

Васко сворачивает в соседнюю улицу, которая ведет от площади. Пока он еще не задумывается. За углом, конечно же, будет стоять полицейский. Васко так привык к этому. А первую фразу он уже подготовил несколько недель тому назад, это почти что речь, пусть даже и не на местном языке, но во всяком случае на языке всемирном, на языке свободного мира, и, уж конечно, в свободном мире его понимает каждый человек. В этой Италии наблюдается явная нехватка полицейских. Он уже в третий раз сворачивает за угол, так и не угодив в объятия полиции в смысле: «Эй ты, ты откуда, чего тебе здесь понадобилось, попрошу документики?» Вот этого он никак не мог предвидеть. Чтобы пришлось самому искать полицейского — да у него и мысли такой не было. Из какой-то двери вышел человек с лоханью. Спросить у него!

— Scusi where is police... полиция?

Человек заглядывает в свою лохань, ставит ее себе на голову и разглядывает незнакомца.

— Carabinieri, eh? Dove sarà Michele? Oggi c'é mercato, sarà in giro da qualche parte. Forse é meglio andare a cercarlo al mercato...[1]

Порыв ветра поднимает пыль, подхватывает черные кудри, бросает их на глаза, ей, скрючившейся на скамейке... Татьяна больше не может сидеть, и стоять — тоже, и думать, как они там схватили ее Васко, арестовали, посадили под замок, выдали обратно, кто знает, правда ли, что итальянцы никогда не выдают беженцев, меня они тоже найдут, всех нас отправят обратно, посадят в тюрьму, а что будет с Алексом, зачем я только на это согласилась? Почему не переговорила с матерью? А все моя слабость, я всегда ему уступаю. Два молодых человека примерно того возраста, в котором Яна вышла замуж, приближаются к скамье, останавливаются, разглядывают ее, их намерения непонятны, один свистит, они не уходят, ухмыляясь заговаривают с ней, один садится рядом, нельзя садиться так близко к незнакомой женщине, пошел отсюда... Ей больше некуда отодвигаться. А что, если он не уйдет? Левая рука опирается на передний брус скамейки, как раз возле Яниного бедра, мизинец трогает ее.

Васко дважды обошел базарную площадь, ничего не обнаружил, спросил дорогу еще у одного человека, тот подвел его к дому, там возле двери висела вполне отчетливо читаемая дощечка, служебный кабинет, похож на те, которые ему уже известны.

— Non, — кричит Яна, она несколько раз выдохнула это слово, без толку, без результата, non. Неотразимый кавалер весьма удивлен, это не кокетство, это и не раздражение, может, женщина вообще ненормальная, он подталкивает своего приятеля, они еще причмокивают и уходят, раскачиваясь на ходу.

Открывается дверь. Васко погружен в раздумья. Раздумья чисто прагматические: что ему следует сказать, да как объяснить их положение, как отыскать адрес проводника, как описать Алекса. Рослый полицейский появляется в комнате вместе со скрипом двери, а за ним, бодро жуя, с веселым видом — этот вид Васко тотчас ставит ему в вину — вкатывается Алекс.

Васко не узнает более свои шаги, такие они стали легкие теперь, когда он во всем разобрался. Скрюченная фигура — это, наверно, Яна, молодец, где он ее оставил, там она и сидит. Со временем она поймет, как хорошо мы сделали, когда отвалили. Он подкрадывается к ней сзади. Она сидит неподвижно, тихо, не спугнуть бы! Он чуть не споткнулся о бордюрный камень, то-то она удивится, что я так быстро отыскал этого маленького негодника. Она ничего не замечает, прекрасно, ее красивые плечи, эй, товарищ, привет, чего это вы сидите в одиночестве, собирался он сказать, но визг нарушает его планы, Яна вскакивает, пятится. Она замахивается. Яна, девочка моя, дорогая моя, Яна, это же я, НЕ ТРОГАЙ МЕНЯ, да что с тобой, я его нашел, все в порядке, она отчаянно мотает головой, прячет лицо в собственных объятиях, мотает головой. Он стоит позади скамьи и ничего не понимает. Что он должен сказать? Она все равно его не слушает. Словно чем-то поперхнулась. Может, и в самом деле поперхнулась. Ну что? Опять не так. Да посмотри же на меня. Может, что и выйдет. Он проводит ладонью по ее спине. Малыш дожидается в полиции. Все в порядке. НУ КАК ТЫ МОГ. Она словно пытается стряхнуть с себя собственные руки. Ты, ты... мне было так страшно, где ты был, где ты был так долго, ты все не шел и не шел, как ты мог, ну как ты мог...

---

[1] Карабинер, да? А куда это у нас подевался Микеле? Сегодня базарный день, меня здесь все время можно найти, но, может, вам лучше поискать его на базарной площади? (*итал.*)

Она следует за ним в полицейский участок.

Первый опрос: скупые слова, которые можно понять по жестам. Ощипанный и убогий, как огородное чучело, думает про себя карабинер, а синьор Луксов тем временем показывает ребром ладони ребро стены, которую им предстояло перепрыгнуть, пальцами изображает дельфиний прыжок, а затем, хромая, делает оборот вокруг собственной оси. Как пчелы, когда роятся, — думает Васко, когда карабинеру надоедают эти постыдные усилия, когда он поднимает руки, спокойно объясняет на пальцах две-три фразы и потом — словно конфетти — перебрасывает их чужестранцу. Так он вживается в ситуацию, непривычную для него, непривычную и для любопытных, что стоят за окнами и за дверью... До чего ж элегантный мужчина, мелькает у нее в голове. Она держит Алекса, прижимает его к себе, слишком крепко, пожалуй, целует его снова и снова. Щеки Алекса по мере сил пытаются уклониться от этого влажного чмоканья. Ему куда приятней смотреть на карабинера Микеле, с которым они уже успели перекинуться несколькими шуточками.

— О чем он говорит? — спрашивает Яна у мужа.

— Не очень понятно.

Тогда она поворачивается к карабинеру. Grazie, grazie, o grazie, после чего крепче прижимает к себе Алекса и целует его. Карабинер ее понимает.

— Кушать?— спрашивает он, подносит к губам как нечто съедобное палец и улыбается Алексу.

— Ой, мамо, здесь все так вкусно,— Алекс потирает живот, ветчина и сыр, ай-ай-ай, на языке щекотно, как будто муравьи ползают.

— Мы мало денег, — говорит отец, и карабинер, признательный за очередную возможность проявить великодушие, мотает головой, смеется и одновременно что-то говорит, идет к дверям и что-то приказывает одному молодому человеку. Он усаживает беженцев, велит притворить дверь, представление окончено, теперь надо проявить авторитет власти. Он садится за свой письменный стол и снова набирает номер управления. Положение за это время несколько усложнилось...

и разговор еще не успевает закончиться, когда упомянутый молодой человек возвращается с тарелкой, а на тарелке хлеб, ветчина, сыр, помидоры и два яблока. Два больших, отличных с виду яблока. Янины тревоги отступают на второй план.

— Вот он, тот самый, такого вы еще не ели, — говорит Алекс выпрямясь и убежденно. — Это самый вкусный сыр.

— Не успел на порог войти и уже чирикает, — говорит Яна.

— Вот видишь, надо детей посылать за границу, они сразу становятся европейцами и могут кой-чему научить своих бедных, необразованных родителей.

Все трое — снова вместе после долгой разлуки — смеются.

Микеле, сидя рядом с шофером, пытается по мере возможности разговаривать с Васко, Яной и Алексом, которые сидят сзади. Полицейская машина едет по автостраде, проложенной по холму, над морем, над городом, первым настоящим городом на Западе.

— Триест, — говорит Микеле.

Значит, вот он, Триест. Всевозможные оттенки белизны, кирпичнокрасное прикрытие. До чего красиво. Словно медлительное море в этой бухте сплавилось в драгоценный камень. Надежно высятся краны, могучие, трансокеанские корабли, явно многоэтажные, стоят на якоре и ждут...

Полицейская машина сворачивает с автострады, проезжает через небольшой городок, потом, недолго, едет вдоль стены. Останавливается перед решетчатыми воротами. Шофер нетерпеливо сигналит, пока из сторожевой будки не возникает коллега, который затем подходит ближе, разглядывая машину и ее пассажиров. Оба полицейских заводят короткий разговор.

Переводчик. Яна испугана. Ему, верно, не нравится одежда, которую он надел, а

одежда, в свою очередь, недолюбливает его. Два ржавых гвоздя в упор смотрят на Яну, на гвоздях висит картинка без рамочки, на картинке — усталость от жизни.

— Добро пожаловать в лагерь Пельферино. Я — Богдан.

Земляк!

— Добрый день! Меня звать Васко, Васко Луксов, это моя жена Татьяна, а это наш сын Александар.

— Сашко, а ну, подай дяде лапу, ну давай же, привет тебе, мой мальчик, добродобропожаловать. Короче, не тревожьтесь, здесь вам будет хорошо, все тип-топ, можете перевести дух, расслабиться, самое трудное уже позади, теперь для начала отдохните сколько пожелаете, времени у вас навалом, вообще это делается не так уж и быстро, это Богдан должен вам сразу сказать. Попасть внутрь проще, чем выбраться наружу, но рано или поздно все утрясется, здесь не тюрьма, так что не бойтесь, мадам, я просто пошутил, все уладится, теперь перед вами распáхнут весь мир. Между прочим, а как вы вообще перебрались? Под Горицей? Ну, молодцы! С проводником? Да-да, все ясно, а потом? Роскошно, и что-то новенькое вдобавок, малышей здесь до сих пор не бывало, преклоняюсь, и главное — что вы не повернули назад, вот это храбрость. Перед такими людьми можно снять лысину, Богдан всегда так говорит. Но насчет проводников — можете выбросить из головы, если что не так, у них сразу душа в пятки уходит, и вообще мандраж. Вы не пришли куда положено, уговор не выполнили, одно слово, аривидерчи. Их вы больше не увидите. Кой-какую одежку вы тут получите, пожертвования, довольно приличные вещи. Ничего, вы все одолеете, во всяком случае, Богдану так кажется, а Богдан ошибается реже, чем Папа римский, вы наверняка все одолеете. Некоторые затрудняют себе жизнь, так что бывают всякие нелады, изредка, но я вам преподам сейчас золотое правило, а от меня — персональная премия за побег — здорово! Соблюдайте правила, постарайтесь по возможности не бросаться в глаза, тут такие встречаются типы — им бы только с кем-нибудь сцепиться, итак, сохранять спокойствие, голову в плечи — и все будет прекрасно, не тревожьтесь. После всех трудностей, которые у вас уже позади, остальное вы сделаете одной левой. В этом Богдан ни капли не сомневается. Только надо ответить на несколько вопросов. В смысле ктокакгдекогда. Вы ведь попросите здесь убежища. Значит, как же у вас там обстояли дела? Отец в тюряге, в университет не берут, в наказание — перевод в провинцию, ссылка? Ну, это неплохо, это у вас пройдет, преследования всей семьи — это надежная причина, нет, нет, мне вы можете ничего не объяснять, мне на это наплевать с высокой колокольни, меня абсолютно не колышет, правда это или брехня. Раз человек бежит, значит, у него есть на то свои причины, вот что думает по этому поводу Богдан, и поверьте слову, а я уже много перевидал, святых здесь нет, приходит какой-нибудь хмырь и хочет разделить беженцев на плохих и хороших, вот чего я на дух не переношу. Вот так, а теперь пошли, и не тревожьтесь, не с чего. Если вы и ляпнете какую-нибудь глупость, я это сглажу, когда буду переводить, сами понимаете. Я уже многих сюда приводил, не вы первые, не вы последние. Buon giorno, Dottore Sforza. Come sta lei e sua mogile? Ancora dei connazionali[1].

На исходе лета лагеря для беженцев в обетованной переполнены, лагеря первичные, лагеря распределительные, лагеря транзитные.

Понимаете, в разгар сезона они переполнены, поэтому будет нелегко пристроить сразу Васко, Татьяну и Александара Луксовых.

Коридор широкий и темный, окно в дальнем его конце сохраняет весь свет для себя, прислонившийся к стене человек, абрис ожидания, выглядывает наружу.

— Послушай,— говорит Богдан,— к сожалению, есть и еще неприятность...

— Ты о чем это? — И взгляд через плечо, на Яну.

---

[1] Добрый день, доктор Сфорца, как поживаете вы и ваша супруга? А у нас тут опять соотечественники (*итал.*).

— К сожалению, у нас сейчас слишком мало комнат, поэтому мужчины и женщины спят отдельно, вообще-то семьям надо бы выделять по комнате, но беженцев слишком много, а на всю Италию есть только три лагеря, что тут поделаешь, у них и других забот хватает, словом, глупо получается, но комнату вам придется делить, это бы еще полбеды, вот только, я и сам очень жалею, но по-другому не получалось, тут даже у самого Богдана власти не хватает, они сунули вас в одну комнату с цыганами, их там целая стая, цыгане — они все из Польши, вам будет выделена половина комнаты, вот сейчас мы посмотрим, ее можно отгородить занавеской или еще как, не так уж и страшно.

В конце коридора они сворачивают направо, в проход поуже. Человек у окна недоверчиво их разглядывает, а может, просто утомленно.

— Чех, — говорит Богдан.— Их здесь много, вы ж понимаете.

Группа мужчин стоит посреди коридора, голоса громко хлещут в спину. Цыгане. Их разговоры распадаются, едва Богдан и Васко останавливаются перед открытой дверью. Взгляды отнюдь не гостеприимные. Богдан кивает им и проходит в комнату. Васко — за ним. Татьяна следует по пятам, держит Алекса за руку. И запах. Этот запах вытеснил из комнаты всякое подобие свежести: кипящая похлебка, лук и чеснок, скверная говядина, сильно наперченная и чуть подгорелая еда. Яна усилием воли заставляет себя разглядывать эту комнату. В правом углу — раскаленная печка, на печке — большой чугунок, на стене — следы сажи и ковер из брызг, по большей части — помидоры, отчасти густокрасные, это когда неосторожно открывают консервные банки, и разные оттенки коричневого — это когда разлетаются брызги с кипящей поверхности какого-нибудь соуса. По левую руку стоят две двухэтажные кровати, в середине стол, в поверхность стола врезаны нескончаемые часы скуки.

Васко кладет на стол полупустой чемодан. Яна с Алексом подходит к одной из кроватей, садится на край.

— Мама, где я буду спать?

Цыгане из коридора пришли в комнату, их речи сливаются в крик. Богдан, по-видимому, знает несколько слов по-польски, но одобрения не получает. Есть проблемы. Богдан возбуждается. Один из цыган вынимает нож. Вгоняет в стол. Богдан кричит, кричит на цыгана. Тот кричит в ответ. Остальные удерживают его.

Богдан оборачивается.

— Они здесь готовят, они не хотят отсюда уходить, потому что они здесь готовят.

— А мы помешаем им готовить? Можно ведь как-нибудь договориться...

— Васко!

— Ну чего Васко, Васко, надо найти какое-нибудь решение. Раз других комнат нет...

— Да еще как помешаете! Они ведь не любят, когда посторонние подходят к ним чересчур близко. Подождите, их варево почти готово. Я им сказал, чтобы они дали вам переночевать здесь один раз, а я посмотрю, что делать дальше. Они тоже пусть подумают, не то я прямиком пойду к директору.

Возвращаются двое из цыган, начинают что-то объяснять Васко. Он непонимающе мотает головой. Они толкают его. Он отпихивает одного из них. Между ними вклинивается Богдан. Громкие крики.

Яна начинает плакать.

Старая цыганка, которая до тех пор неподвижно сидела на полу возле клокочущего горшка, запрятав ноги под пышную юбку, с трудом выпрямляется и медленно подходит к Яне с пустой пластмассовой тарелкой в руках. Остановившись перед Яной, она треплет ее по щеке и подставляет тарелку под подбородок. *Nje plaž.*

...Вы, конечно, хотите узнать, что будет дальше. Это, можно сказать, вопрос на засыпку, это у Богдана все спрашивают. Будь на то моя воля, вы бы уже завтра выехали в рай первым классом, а я бы весело помахал вам ручкой с перрона. Но чего нет, того нет. Scusi. Короче, попытаюсь объяснить вам положение дел. Вы попросили политического

убежища, а потому и можете проживать в этом лагере. Проблема номер один: Италия не предоставляет политического убежища, во всяком случае не предоставляет простым смертным. Короче, для вас Италия — это просто транзитная страна. А ехать вам надо куда-нибудь еще, причем выбор не сказать чтобы велик. Немногие страны готовы принимать у себя эмигрантов. Австралия, Южная Африка, Аргентина, ну и еще парочка. В Штаты вы можете попасть, только если у вас там найдется гарант, который должен подтвердить, что знает вас и дает гарантию, что вы не спалите всю страну, не застрелите президента и не выкинете еще чего-нибудь в том же духе. У вас есть там кто-нибудь? Тогда про Штаты можете сразу забыть. В Канаду можно и без гаранта, но тут надо ждать...

— А Европа? Вообще-то говоря, мы хотели остаться в Европе.

— Вот с этим плохо, совсем плохо. В Европе места нет. Могу предложить только Швецию, страна холодная, квота низкая. Ждать долго, зато Канада — вполне приличная страна. Так что Богдан еще бы десять раз подумал. Швеция — значит ждать, ждать и еще раз ждать, причем никто не знает, не передумают ли они, пока вы тут сидите и ждете, как ягнятки. Вот так обстоят дела. Но не обязательно сразу принимать решение. Прокрутите все это в голове и раз и другой. Успокойтесь немножко, не надо действовать очертя голову. Сашко, где же ты, интересно, спал? Сейчас Богдан попробует угадать. Наверняка сверху, так ведь?

— Нет, мамо не разрешила.

У ворот лагеря — молодой человек.

— Добрый день, меня звать Руджиеро. Я уговорился о встрече с господином директором.

— Прямо — до главного входа, а там — налево.

— Спасибо.

Вахтер замечает, что на плече у того болтается камера.

— Войдите.

— Добрый день. Я — Луиджи Руджиеро, редактор полосы в «La Cronaca».

— Чем могу быть полезен?

— Я хотел бы задать вам несколько вопросов.

— На какую тему?

— О требованиях забастовщиков.

— Каких таких забастовщиков?

— Забастовка, которая проходит в вашем лагере, господин директор, силами беженцев.

— Так они ж нигде не работают, как же они могут бастовать?

— Я имею в виду голодовку, господин директор. Может, вы станете возражать? Имейте в виду, нам кое-что известно.

— От кого у вас информация?

— Вы готовы со мной разговаривать или нет? Я ведь могу и написать, что директору лагеря Пельферино ничего не известно ни о какой голодовке. Посмотрим, что получится, когда весь город начнет об этом судачить.

— Пожалуйста, прикройте за собой дверь. И сядьте, пожалуйста, сядьте. Итак, что вы желаете узнать?

Луиджи Руджиеро быстро царапает что-то в своем блокноте. Разговор с директором: группа скандалистов из Восточной Европы, по большей части — бывшие уголовники, более конкретные сведения невозможны. Со вчерашнего дня начали бессрочную голодовку. Их требования: улучшить питание, устроить языковые курсы, организовать досуг. Наглость. Средства выделяются очень скупо. Увеличение расходов невозможно. И вообще все не так страшно. Через день-два все кончится. В лагере — недовольство. Ожидали от Запада большего. Беседы с голодающими исключаются. Нужны люди, которые говорят по-румынски, чешски или болгарски.

На газоне перед главным зданием сидит группа мужчин. Мимо пробегают дети. Громкие разговоры. Отличное настроение. На траве мужчины написали две буквы: L и I.

После обеда репортер возвращается с доктором славистики. Луиджи Руджиеро строчит. Беседа с Константином Р. — одним из вожаков. По-русски, с переводчиком. Высокий комиссариат ООН платит лагерю по 10 долларов (надо проверить) на человеко-день. А что остается, то забирает себе администрация. Следовательно, чем больше беженцев, тем больше денег. Беженцев задерживают в лагере дольше, чем нужно. Есть двухлетние дети, которые уже родились в лагере. Если и дальше так пойдет, они, того и гляди, умрут в лагере (цитата из К. Р.).

На пятый день голодовки прибывает высокий представитель Совета по делам беженцев при ООН. Это стройный, элегантный господин лет примерно пятидесяти и при дворянском титуле, прибывает он непосредственно с конференции в Вене, поездом — первый класс, спальный вагон. Секретарь директора встречает его на главном вокзале Триеста.

— Вот взгляните,— рука титулованной особы обводит скопище турок, югославов и африканцев, которые группками стоят, либо сидят на чемоданах, либо лежат на газетах среди просторных залов триестского вокзала. — Эта проблема присутствует всюду. И это сплошь проблемы в будущем, если мы уже сейчас не займемся их разрешением. Едва ситуация у них на родине ухудшается, они все сваливаются нам на голову, и это происходит почти непрерывно, это единственное, что мы с уверенностью можем предсказать, и напротив, редкая удача — если ситуация вдруг улучшится. Это миграционный осмос. Вам известно, что такое осмос? Перераспределение элементов при изменении агрегатного состояния. А пресса уже выступила по этому поводу? А газета у вас при себе? Да, настоятельно прошу. И давайте побыстрей, у нас мало времени. Мне хотелось бы до вечера разобраться с этим вопросом.

— Мы крайне недовольны тем, что вы дали этой проблеме разрастись до подобных масштабов.

Вот уже десять минут посланник мерит шагами кабинет директора, сам же директор вместе с секретарем сидит за столом, внимательно слушает и односложно отвечает.

— Вы газеты читали? А этот снимок вы видели, эти наглые ухмылки, это же чистейший афронт, а эта дурацкая надпись, LIBERTÀ. Из чего она, кстати, выложена?

— Из булочек.

— Из булочек???

— Да, из булочек, которые в столовой.

— Из булочек?! Час от часу не легче. Вы допустили, чтобы этот лагерь превратился в цирк. Я упомяну об этом в своем отчете. Мы постараемся разрешить проблему как можно скорей, и я надеюсь, что на будущее вы избавите нас от подобных происшествий. Когда я мог бы переговорить с зачинщиками?

— Мы ждем представителя из министерства. Он должен появиться с минуты на минуту.

— А правда, что с этими людьми можно объясняться и по-русски?

— Правда.

— Вот вам — в порядке исключения — положительный эффект интернационализма.

— Простите, не понял.

— Шутка. Забудьте. Я служил посольским атташе в Москве. Приведите зачинщиков. Можно немножко позондировать почву, пока мы ждем вашего начальника.

Через несколько минут ассистент возвращается один.

— Они не желают. Они требуют, чтобы мы сами к ним пришли.

— А больше им ничего не надо? Они здесь вообще всем командуют. Видно, вы, итальянцы, никогда не изменитесь. Ну что ж, тогда пойдем к ним.

— Господа,— говорит высокий представитель ООН, обращаясь к мужчинам, которые вот уже пять дней держат голодовку, — вы компрометируете демократию. Своими непродуманными действиями вы служите другой стороне, а на нас вы навлекаете позор. Мы приняли вас, мы содержим вас, мы прилагаем все усилия, чтобы помочь вам. И мне думается, что наше гостеприимство и дух свободного правопорядка налагает и на вас определенные обязательства. Господа, вы оставили за собой ад диктатуры и заслуживаете за это всяческого уважения, так не разменивайте же это уважение на глупые шутки. И не заблуждайтесь: даже самое демократическое государство не готово мириться с подобным поведением. Свободу надо защищать от анархии и хаоса. Когда вы были в опасности, мы чтили превыше всего ваши права, мы предоставили вам защиту, и вы с готовностью ее приняли. Это налагает на вас и некоторые обязанности, прошу серьезно об этом подумать. Я настоятельнейшим образом рекомендую вам немедленно прекратить вашу голодовку. От имени Верховного комиссариата по делам беженцев я обещаю вам безотлагательную обработку всех застрявших документов. Но до этого вам надлежит, господа, прекратить свою демонстрацию.

— Уважаемые господа,— это встал Константин, чтобы говорить от имени голодающих, — мы не готовы мириться с любым положением лишь потому, что вырвались из диктатуры. Вам известны условия в этом лагере, так что нет нужды о них рассказывать. Они бы могли быть и получше, но невыносимыми их отнюдь не назовешь. Для того, кто проведет здесь не больше нескольких недель. Но не для того, кто живет здесь годами. Есть дети, которые родились в этом лагере, они уже умеют говорить и ходить. Нам не хотелось бы, чтобы они в этом лагере стали взрослыми. Есть мужчины и женщины, которые так долго находятся в этом лагере, что утратили свою профессию. Беженцев систематизированно превращают в арестантов. Мы дадим вам срок, в течение которого все прошения, поданные ранее чем месяц назад, должны быть обработаны. А до тех пор мы продолжим голодовку.

Власти выдержали пятидневный срок, и на десятый день голодовка завершилась.

— Богдан, по-моему, нам не стоит и дольше здесь торчать. Мы хотим уехать. Ты еще помнишь, о чем мы недавно уговорились? Мы бы охотно так и сделали. Ты не мог бы нам посодействовать?

Богдан кивает.

— Вы правы. Для вас так будет лучше всего. Кто хочет остаться в Европе, тому незачем оставаться в Пельферино.

Двигаться вперед нелегко. Пару с маленьким ребенком иногда подвозят, но машины, в которые они садятся, едут, как правило, недалеко. Шофер показывает знаками: мне здесь сворачивать, мне здесь направо, ну, я уже приехал. Они вылезают, благодарят, оглядываются по сторонам, пробуют сориентироваться. Море осталось далеко позади, похолодало, местность тоже изменилась, и деревья здесь растут другие. Они видят заправочную колонку. Васко решает, что было бы неглупо остановиться там, где машины снова выезжают на шоссе. Они покупают кока-колу.

— Не понимаю, почему люди это пьют, — говорит Яна, отхлебнув глоток.— Противный вкус.

Васко выставляет большой палец, Яна молится, и вскоре перед ними останавливается...

— Алекс, что это такое?

— Это «альфа ромео».

Он гордо держит бутылочку кока-колы, отец и шофер произносят названия каких-то мест, отец знаками подзывает их.

Они бурно продвигаются вперед и легко, тоже благодаря советам Богдана, легче, гораздо легче, чем в первый раз, пересекают границу и осенним днем вместе с лучами закатного солнца попадают во вторую страну земли обетованной. Яна тревожится о ночлеге. На всякий случай Богдан дал им немного денег, но чтобы не тратить так уж сра-

зу. Авось их подберет какая-нибудь машина, которая поедет сквозь ночь. Яна сидит с Алексом на траве и играет в кости, за ними раскинулись пастбища. Васко стоит на краю шоссе, вытянув руку. Машины проносятся мимо в снопах встречного света. Разглядеть что-нибудь очень трудно. Вспыхивают фары, и резкое торможение останавливает сразу за Васко зеленый фургончик. На боку у фургончика веселая корова рекламирует сыр.

Дорога начинает подниматься. Как они здесь ухитряются обгонять, при таких-то поворотах, когда никакого обзора. Ни одна почти машина не задерживается без надобности позади фургона. Ну и ползет же он, жалуется Алекс. «Ты, может, пешком хочешь?» — спрашивает отец. «Вот психи», — говорит мать. К перевалу они подъезжают как раз на закате. Небо окрасило неяркой краской раздерганные облака, назад, к югу, и вперед, к северу, дорога круто идет под уклон, скрывается из глаз в высокогорных подъемах и спусках. Темнеет. В кабине они чувствуют себя вполне спокойно. Вскоре окружающий мир можно увидеть лишь при свете фар. Семейство садится плотней друг к другу, Васко обхватил правой рукой плечи Яны, она положила руку на голову Алексу, который откинулся назад, словно уснул. После двухчасовой езды человек за рулем зевает, что-то говорит и останавливается. И знаками велит им вылезать. Площадка для отдыха, огражденная балюстрадой, под которой шумит вода... Холод пронизывает до костей. Алекс идет с отцом пописать, Яна разминает затекшие ноги... Она слышит, как захлопывается дверца, когда Васко застегивает ширинку, как рядом взревел мотор, Васко быстро оборачивается. В свете единственного фонаря на этой безлюдной стоянке улыбающаяся корова приходит в движение. Он что, хочет поставить машину по-другому? Хочет развернуться? С чего вдруг? Тут показываются задние огни, Васко мчится за машиной. Мать бросается к Алексу. А отец останавливается. Фургон скрылся, его уже не догонишь. Васко тяжело дышит и силится понять, почему этот человек вдруг взял и уехал. Может, недоразумение какое? Нет, из-за какого такого недоразумения он мог бросить нас на этой заброшенной стоянке? Васко еще в нескольких шагах от Яны, и Яна кричит ему: мы оставили там чемодан. Чемодан. Никто из них не держит в руках чемодан. Быть того не может, чтобы этот тип ради дурацкого чемодана со старым тряпьем высадил их среди ночи в горах. Быть не может. Какой... какой... И вот они стоят втроем на границе отбрасываемого фонарем света. Яна плачет, Алекс крепко держит ее за руку. А Васко стоит неподвижно и пробует собраться с мыслями. Он подходит к балюстраде и пристальней вглядывается во тьму. На дне долины он видит скопление огней. Он знает, что расстояние обманчиво, что огни кажутся ближе, чем это есть на самом деле.

— Пошли к тому городку, — предлагает он.

Про большое путешествие вокруг маленькой Земли

Таксист едет, опустив до отказа стекла, щелкает семечки и сплевывает шелуху на полосу встречного движения, на лобовое стекло встречных машин. При этом он ведет счет попаданиям по какой-то своей, хитрой системе: за легковушку низшего класса — одно очко, за лимузин — два, за своего брата-таксиста — три, за служебные машины — четыре. Наибольшее число очков приносит попадание в полицейский мотоцикл, это вершина в системе лузгающего семечки и сплевывающего шелуху таксиста, это для него высший балл. Шофер смеется и подмигивает, в качестве целей не должны фигурировать — это он объясняет мне с помощью недвусмысленных жестов — местные женщины, чаровницы данного города...

Я снова проснулся. Заветное желание старой приятельницы, описание маршрута, сделанное для меня лишь несколько дней назад провидицей будущего, и невинные развлечения шофера положили конец моей многолетней праздности, нет, лучше сказать, не праздности, а летаргии, постепенному погружению страстей в сон с наступлением холодов. После того как мы с ним проездили некоторое время, я прошу этого спортсмена доставить меня в аэропорт.

— Будем встречать кого-нибудь?

— Нет, сам полечу.

— Просто так?

Я улыбаюсь и распахиваю свой жилет. Изо всех внутренних карманов выглядывает больше пластиковых карточек и паспортов, чем у человека бывает родственников. Кредитные карточки и членские удостоверения, страховые полисы, бланки, приглашения и рекомендации. Здесь — посланник ООН, там — врач Европейского Парламента. Правда, таксист все равно не знает, с кем он имеет дело, но зато смутно догадывается, что на заднем сиденье у него сидит не совсем обычный тип. Поэтому он отказывается от дальнейших расспросов и отныне довольствуется лишь робкими взглядами, которые бросает в зеркало заднего вида. Я приказываю ему остановиться перед залом вылета, увлекаю его за собой и показываю ему черное, свисающее с потолка табло, на котором светятся названия чужеземных гаваней. КУДА? Таксист раздумчиво сует в рот последнее семечко, выпячивает губы, надувает щеки и с шипением весьма эффектно выталкивает изо рта шелуху, которая попадает в название того города, куда я и собираюсь лететь.

Меня будит произнесенное вслух название города — это объявили заход на посадку. Мы рушимся сквозь облака, и спинка моего кресла становится торчком. Первый взгляд, брошенный на чужую страну: буро-зеленые пространства, геометрически расчерченные, среди них — дороги, по дорогам катятся мелкие, пестрые самоцветы, словно их тянут за веревочку.

— Идите вперед, обгоните меня, у меня это обычно занимает больше времени.

Мне неприятно задерживать людей, особенно когда пограничный контроль осуществляется только в одном окошечке, а у меня за спиной начинает ворчать и шаркать ногами все растущая очередь.

— Вас зовут Бай Дан?

Я жду обычных, по-разному назойливых вопросов: что здесь имя, а что — фамилия? Мои ответы лишь усугубляют смятение. *Бай* — это знак уважения, своего рода отличие. Отличие — но за что? Ну, знаете, это не так-то просто объяснить. Я специалист без специальности и пытаюсь достичь в своем деле наилучших результатов...

— Наверно, это зависит от возраста?

Ага, да он остряк, а может, это вопрос на засыпку?

— Тут, наверно, опечатка?

Пограничник вонзает свой ноготь в цифру, пытающуюся определить мой возраст. У него это заняло немало времени, но рано или поздно они все соображают. Я отвечаю беззаботным взглядом. Может, так оно и есть, а может, и не так.

— Но тогда вам...

— Девяносто девять лет, я понимаю, по мне это не всегда скажешь.

Он оглядывает длинные белые волосы, следы прожитых лет на лице, тут это выглядит правдоподобно, но потом он изучает мое сложение — никаких признаков дряхлости, твердый голос, далее он отмечает, что волосы, конечно, совсем седые, но ведь пышные, да и кожа не смахивает на древний пергамент, который надо бы отреставрировать. Он усердно барабанит по клавиатуре своего компьютера, запрашивает, снимает фотокопии с первых четырех страниц паспорта.

— Одну минуточку.

Он удаляется в заднюю комнату, где обсуждают и анализируют все подозрительное и опасное. В очереди, выстроившейся у меня за спиной, зреет возмущение. По лицам я вижу, что во всем обвиняют меня. Возвратившийся государственный служащий с подозрением глядит на меня, словно я вознамерился утаить от него свой возраст, дабы контрабандой ввезти его к ним в страну. Дорогое подчиненное лицо, хочется мне сказать, ваша богатая страна с законодательным страхованием по болезни и более чем достаточным размером пенсий едва ли испытывает недостаток в стариках.

— Профессия?

— Распространитель.

— И что же вы распространяете?

— Ах, знаете, это зависит исключительно от периода, если можно так выразиться, от сезона. На данный период я распространяю лишь идеи.

Я так близко наклоняюсь к нему, что мог бы пересчитать волоски, растущие у него из носа, и шепчу: «Спецпродукция — идеи с детонатором, мыслительная шрапнель, и всё высшего сорта».

Мне всего-то и надо подвести стражей границы к тому, чтобы, освежив в памяти или закрепив типологию и приметы угрожающих обстоятельств и подозрительные моменты, наконец сопоставить их с тем, что стоит перед ними. Тогда они смогут поставить галочку и облегченно вздохнут. Истинная опасность не бывает такой сумбурной. Дабы преодолеть некоторые препятствия, необходимо допускать недоразумения.

НАПРАВЛЕНИЕ — ЦЕНТР ГОРОДА: все виды и формы современного городского транспорта. Я принимаю решение снова передвигаться пешком, через аккуратные поля, которые начинаются за стоянками, подъездными путями и ангарами.

Я расшнуровываю свои кожаные сапоги, я снимаю их, заодно снимаю и носки и все это сую в мешок, который уже с трудом вмещает мои реквизиты, а тень его под лучами утреннего солнца напоминает волынку. Я шагаю вниз по травяному склону. Цветущий рапс прикрывает меня до пупка, он уже вполне созрел для того, чтобы им восхищаться...

Станционное здание еще спит сладким сном, лишь боковая дверь у него приоткрыта, на киоске еще опущены железные шторы, круглосуточные автоматы еще стоят без клиентов. На фасаде здания висят большие круглые часы, стрелка которых четко прыгает каждую секунду. Единственная связь с внешним миром, думается мне, вскормленное электричеством время и пригородный поезд, который, согласно расписанию, должен каждые десять минут отправляться от конечной станции по направлению к центру города. Вполне упорядоченное местечко. Я иду к рельсам и отдаюсь на волю своих впечатлений.

Осторожно, посадка окончена, двери закрываются. Поезд отправляется точно вовремя и скоро ныряет в туннель. Для начала — номография города. С интервалом в две минуты трясутся, стучат колесами, тормозят, прибывают, огни, перроны, название за названием...

...Добро пожаловать в наш город. С вашей стороны — своего рода диверсия, нам неизвестно, когда они выйдут наверх, а вы не знаете, когда наверх вынесет лично вас...

Я устремляю взгляд за окно и станцию за станцией ловлю впечатления сверху, где человеческие цвета спроецировались на пролетающие мимо платформы. Короткие истории, что вторгаются в купе, в такт шумят, повествуют о себе, чтобы смешаться потом с очередной историей и мчаться к следующей, к истинному, электрическому облику города, а город начинается с выпивохи, для которого ночь не имеет конца, а вас я попросил бы... он взмахнул красной бутылкой и рыгнул в предвкушении... а вас я попросил бы... пятьдесят тысяч... жаркий смех вырвался из его глотки, гонимый винными парами, булькнул вокруг глаз и вдруг опустел — а город продолжает накапливаться в усталых, скучливых лицах пенсионеров и работоспособных, чьи глаза ничего не воспринимают, чья душа переполнена большим, досадливым неудовольствием и гневается на каждую частичку этого мира уже много лет, много десятилетий подряд. И еще начинается с дамы, у которой корзинка, а в корзинке что-то спрятано, тепло укрыто, приподнято длинной, как ключ, мордочкой: остриженная собачья голова выглядывает, чтобы наскоро обнюхать свое окружение.

...уже поздно, напротив меня сидит человек в почти опустевшем вагоне. Из кармана он достает маленький красный ножик, открывает его, два перегона подряд разглядывает лезвие, потом надрезает себе палец. Прижимает окровавленный палец к стеклу и пытается написать FU... но после первых двух букв у него кончаются «чернила».

Полный разочарования, он глядит на свой палец и грустно качает головой, словно давно уже предвидел, что больше крови в нем не окажется. Он выпал из времени.

ОСТАНОВКА: ТЕЛЕБАШНЯ. Вдоль эскалаторов висят плакаты: *Телебашня* — хозяйка дома, и супруг у нее *Интернационал*, а бесчисленные шустрые радиоволны — это их ублюдки. Среди гостей здоровенный дяденька по имени Сателлит и стрекочущие тетки из семейства НОВОСТЕЙ: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА и ПОВСЮДУ. Эскалатор плавно перетекает в мокрый асфальт, безлюдная местность, холмы из бетона и гигантское строение, которое кончается где-то среди звезд. Я еще двигаюсь некоторое время, усталый, готовый остановиться в любом отеле, который мне попадется. Позади небольшого сквера на перекрестке над невзрачным фасадом светятся буквы ОТ ЛЬ ФЕ КС, каждая из неоновых трубочек светит на свой лад, всего ярче — Ф. Я торопливо перехожу через улицу, мне сигналят, меня обрызгивают сзади. Вход расположен сбоку от неисправной надписи, причем это не обычные стеклянные двери, а тяжелое дерево, которое всей силой обратного движения загоняет гостя внутрь. Сперва — вестибюль, в нем вешалка, на вешалке висит единственное пальто. Вторая дверь открывает доступ в длинное узкое помещение, где царит длинный узкий барьер. Противоположная стена бездарно придерживает свои обои, в моих шагах появляется скептицизм. Из предпочтения здесь никто не останавливается, никто не резервирует для себя комнату с красивым видом из окна, никто не отмечает крестиком этот приют в пестром, прекрасно выполненном каталоге. Остекленелый взгляд портье обещает не уговаривать гостя, чтоб тот остановился у них. В затхлом воздухе стоят там и сям несполоснутые пивные кружки.

— У вас найдется свободная комната?

— Да.

— Нельзя ли ее посмотреть?

— У нас все комнаты хорошие.

— Ничуть не сомневаюсь, но, может быть, я недостаточно хорош для вашей комнаты.

Портье поворачивается и выуживает связку ключей на деревянном щитке, где над двадцатью гвоздями выцарапано двадцать номеров. Затем он подходит к концу барьера, откидывает сбоку доску и начинает подниматься по лестнице, которая открывается взгляду лишь за углом. Лысая голова портье слегка покачивается на каждой ступеньке, тусклый свет дает разглядеть шишки и ссадины, словно этой голове слишком часто доводилось ударяться о низкий потолок там, где кончается лестница. Тяжелую голову поддерживают две жировые складки. Между съехавшими носками и слишком короткими штанинами выглядывает бледная кожа, в некоторых местах расцарапанная и помятая, и вот я уже следую за ним по коридору — он притопывает на каждом шагу, словно вознамерился разгладить складки ковра, — вплоть до последней двери, которую он не без труда отворяет, предварительно несколько раз потянув и толкнув ее левой рукой.

— Я вообще-то хозяин этой гостиницы.

— Меня зовут Бай Дан.

— Вы первый раз в этом городе?

— Да.

— Нам неоднократно приходилось иметь дело с зарубежными гостями.

— Рад это слышать.

— Вот душ, а полотенце я вам сейчас принесу.

— А окон у вас нет?

— Нет.

— У вас что, вообще нет комнат с окнами?

— Свободных нет.

— Не рад это слышать.

— Это как понимать? Вы не хотите эту комнату?

— Ага, телевизор здесь все-таки есть.

— Телевизоры есть во всех комнатах, где нет окон.
— А бар у вас внизу есть?
— Нет, но я могу приказать, чтобы вам что-нибудь подали.
— И чай тоже?
— Да, и чай тоже. Ну так берете вы комнату или нет?
— Беру, вместе с черным чаем и хорошим виски.
— «Скотч» или «Бурбон»?
— «Скотч», одинарный, и чтоб не меньше двенадцати лет выдержки.
— Вот вам ключи. Замок слегка заедает.
— Я уже заметил.
— Сколько вы намерены прожить здесь?
— Не могу вам ответить. Я ищу одного человека.
— Это меня не интересует.
— А телефонная книга у вас есть?
— Да, она лежит внизу.
— Вы не могли бы прислать ее мне вместе с напитками?
— Вы можете позвонить снизу.
— Благодарю.
— Комнату полагается освободить до десяти утра, если вы намерены провести здесь только одну ночь.
— Понятно. Благодарю вас.

Я сажусь по-турецки на кровать. Рядом лежит мой серый мешок, я вытряхиваю его содержимое на поверхность колючего одеяла: складная игральная доска из дерева, кости и фишки, свидетельство о крещении и кинжал, запах серы, молчание и боль, сувениры гнева, возмущения и досады... упакованы, распакованы, забыты и вновь обнаружены, изъедены молью на складе, выставлены напоказ в витрине... закрыв глаза, зажав кости в руке, я отдаюсь потоку.

Желтый дом на углу, миновало совсем немного дней, а уже кажется, будто он остался в другой эпохе. Несколько десятилетий назад, когда поврежденный бомбами дом был заново отстроен, наружные стены его в память о предвоенных годах снова покрыли желтой краской. Не слишком придирчивые глаза могут это разглядеть, пусть даже отдельные пятна краски сейчас больше напоминают лишаи. Запущенный дом среди запущенного квартала, но расположенный уж до того в центре, что с балкона пятого этажа вполне можно плюнуть на Министерство внутренних дел.

Похоже, что подъезд и лестничная клетка охраняются государством, как памятники архитектуры, ибо каждый новый изъян тотчас консервируется бездействием жильцов. Сразу за входной дверью висят на стене почтовые ящики, тяжелые железные емкости, в свое время рассчитывавшие приобрести значимость благодаря письмам, но этим расчетам лишь единожды было суждено сбыться. Благодаря одной вполне заурядной пестрой открытке, судя по всему изображавшей берег Черного моря, однако снимок воспевал Адриатику, однако на почтовой марке было написано ИТАЛИЯ, а почерк принадлежал младшей дочери. У Златки прямо в глазах потемнело, она подозревала здесь какое-то недоразумение, она не могла это воспринять. Если родная дочь с мужем и сыном, как и каждый год, поехала отдыхать, поехала на свое родное Черное море, только теперь не на тот переполненный пляж, где все уже привыкли к недостаткам вроде солнечных ожогов, если она на прощанье лишь быстро поцеловала мать, то эта самая мать не должна получить от нее открытку из Италии — из Италии, которая так далеко, — и не должно в результате выясниться, что на сей раз подразумевалось совсем другое море и совсем другой отдых, отдых без возвращения. Но так далеко ее мысли в этот момент не зашли, теперь она не совсем твердо стояла на своих тяжелых, измученных тромбофлебитом ногах. От-

крытка упала на пол, Златка протянула руки к почтовому ящику, ухватилась за него, и ящик, не привыкший к таким нагрузкам, прогнулся.

За похилившиеся перила на лестничном пролете до второго этажа жильцы должны сказать спасибо тому врачу, которого больше нет среди них. Врач отметил сливовицей запуск спутника, давший повод несколько раз подливать из бутылок, что стояли посреди низкого стола в квартире у одного коллеги, из бутылок, которые хозяин выставил с самого начала, как бы желая заранее познакомить собравшихся с программой встречи. Вообще-то так бывало почти каждый вечер у кого-нибудь из коллег, только на сей раз в честь Гагарина получилось особенно весело и разливанно, а это, в свою очередь, объяснялось тем, что вся улица вот уже много лет была разрыта — по слухам, здесь пытались найти школьный дневник генерального секретаря, — что все от мала до велика должны были по жердочкам пробираться в свой подъезд, что космические успехи до такой степени превзошли земные неурядицы, что записные остряки сами выходили на собственную орбиту. Как бы то ни было, нашему врачу ранним утром было куда как трудно с помощью перил втащить свое тело по лестнице на двенадцать ступенек, что и отразилось на перилах.

На пятом этаже рядом с прочими именами буквы образовали красиво выписанное ГРИГОРОВ. И неудобочитаемое, поскольку выцветшее, ЛУКСОВ. Охраняет эту дверь неисправный бойлер.

Не далее как несколько дней назад я стучал в него зонтиком, дожидаясь. Прежде чем Златка откроет, проходит немало времени. Мы обнялись. Из Златки фонтаном брызнули слова, и так всякий раз, словно именно в эту минуту голос ее пробился к водоносному слою. По темному коридору я последовал за Златкой на кухню.

— Я ходила утром за покупками. Опять это заняло несколько часов...

Она села на угловой диванчик, взяла в руки нож и держала его так, словно хотела кого-нибудь заколоть. Вид у нее был довольно дикий, пожелтевшие волосы падали на испещренную пятнами кожу лба, сохранившиеся зубы торчали, словно могильные камни на городском кладбище.

— В моем возрасте, да еще в такую погоду, холодина-то какая, а мне надо бегать по всяким делам, а ноги сразу начинают болеть, ты ведь знаешь, ноги у меня отекают, будто они уже и без того недостаточно толстые, вода опускается книзу, и тут уж ничего не поделаешь, ну можно так жить, Бай Дан?

Она как раз чистила грецкие орехи. По левую руку лежал целлофановый пакет с целыми орехами, по правую стояла тарелка с измельченными кусочками ядра.

— Вот стоим мы, все сплошь старухи, и Черповская, полурусская из дома напротив, не помню, знаком ты с ней или нет, так вот, она вдруг начинает материться. Ты бы только послушал, как она это делает, да ее целый полк сербов не переговорит. Вот матерится она и матерится, и заражает своей бранью остальных, и все подхватывают кто во что горазд, ты не поверишь, но я тоже начала, только я человек безобидный, тебе бы других послушать, вот это мастерицы!

Златка хихикает и тем напоминает мне Златку тридцатилетней давности, которая с жуликоватым злорадством улыбалась в ответ на житейские невзгоды.

— Мы их всех проклинали, они-то свой смальц имеют, я, когда заведусь, меньше чувствую свои ноги, они у меня больше не лезут в туфли, да и не туфли это, вот перед войной была я с отцом в Будапеште, и там он купил мне туфли, две пары, их ощущаешь на ноге как шарф вокруг шеи, вот это были туфли... а все из-за вас, мужиков, поганцы вы эдакие.

Круговые движения ее ножа не дали мне возможности уточнить, кого она подразумевает, то ли парламентариев, то ли каких других преступников.

Когда я представляю себе, Златка, как вы все стоите в очереди перед магазином «Шипка», нервничаете, начинаете ругаться друг с другом, причем каждая кричит изо

всех сил... представь себе, что депутаты смогли бы вас услышать, сперва отдаленный гул, нарастающий рокот, из всех кварталов устремляются пенсионеры, они тоже бранятся, они тоже присоединяются к вам, ваши проклятия становятся все громче, и некоторые депутаты тревожно привстают с мест, а оратор, один из этих самодовольных типов, скажем Лайнаров, отвлечен шумом, теряет нить выступления, глава парламента призывает к порядку, но кого, собственно, он призывает? В зале заседаний и без того все спокойно, все тихо, кто-то рывком распахивает дверь, и в зал врываются ваши проклятия, теперь здесь уже нельзя понять ни слова, так что приходится прервать заседание. Конституция проклята абсолютным большинством голосов, а вслед за вашими проклятиями вы и сами врываетесь в зал...

— Какое там врываться? В таких туфлях можно лишь ковылять...

— ...вы штурмуете здание, изгоняете оттуда этих паразитов, которые разбогатели на ваших пенсиях, вы занимаете места в зале и продолжаете заседание...

— Да, да, и для начала увольняем весь этот клуб трепачей, мы экспроприируем паразитов в пользу пенсионеров... ты только посмотри на эти орехи — они совсем как уличные дети, каждый второй либо сгнил, либо испорчен, это вообще не орехи.

Она начала крошить огурец.

— Есть хочешь?

Я вымыл руки, попытался с помощью проволоки, обмотанной вокруг неисправного крана, остановить капель. Сперва пришлось его снять, ледяная вода брызнула во все стороны, я впихнул кран обратно, перекрыл сток, снова обмотал все проволокой. Потом всей тяжестью навалился на кран и запихнул его еще глубже. Теперь из него хоть и капало, но лишь изредка.

В молчании мы приготовили еду. Накрошенное положить в миску, залить кефиром, посыпать петрушкой. И еще кубики льда, наполовину растаявшие, потому что с полчаса назад вырубили свет. Я раскрошил краюху хлеба и пожелал Златке хорошего аппетита. Надо было распробовать петрушку и чеснок. Златка ела молча, пока тарелка не опустела, а потом она еще протерла ее корочкой. Держа ложку в руке, она глядела на свою пустую тарелку. Мы играли в молчанку, пока сумерки не упали на землю, а Златкина ложка — на тарелку. И тут Златка закричала:

— Перерезать их всех, этих свиней, довольно мы их откармливали!

— Златка, Златка!

Но она продолжала кричать, она не обращалась ни ко мне, ни к соседям или родственникам. Даже к своим покойникам она не обращалась. Она взывала лишь к своим непрерывным разочарованиям и мукам.

— Грязные свиньи глумятся над нами. Перебить, всех до единого перебить.

Мало-помалу гнев ее иссяк. Я взял Златку за руку. Такой я еще ни разу ее не видел. Она сидела, застывшая и оцепенелая, словно памятник неизвестному солдату, и хотя я крепко ее обнимал, напряжение не спадало. Глаза у Златки были пятнистые, как и ее кожа.

— Златка, я здесь, я здесь, у тебя. Может, выйдем с тобой погулять?

Я обнял ее за плечи, провел рукой по ее волосам, я уговаривал ее и ждал. Я поднял ее со стула и, поддерживая отечное тело, довел ее до постели. Я погладил ее по лбу, я рассказал ей про жадного епископа: тот много раз запускал руку в церковную кассу — и однажды, когда он собирался отслужить воскресную литургию, к его ризе кто-то приколол бумажные деньги. Покуда он кадил на все стороны света, риза за ним влачилась, и во всей церкви не нашлось ни единого человека, от которого укрылось бы это щекотливое обстоятельство.

— А ты помнишь, Златка, тогда даже самые набожные кусали сложенные для молитвы пальцы. Остальные просто выбегали из церкви и хохотали, пока снег не начинал таять у них под ногами. А ты еще обозвала меня зачинщиком.

Златка посмотрела на меня строгим взглядом, словно желая сказать: «Я и по сей день так считаю». Потом она ровней задышала, лежала, не отбирая у меня своих рук,

несколько раз сглотнула на ухабистой дороге успокоения. И наконец она позволила сну увести ее. Я тихо затворил за собой дверь.

Я брел по городскому парку, весьма оживленному в начале вечера, по *Свободному рынку*, на котором кто угодно мог продавать что угодно. Распродажа рухнувшего хозяйства, продавцов больше, чем покупателей. Маленькие прилавки, где были выставлены на продажу ордена и словари, иконы и столовые приборы, шапки и виски, драгоценности и плюшевые игрушки, тянулись вдоль дорожек мимо газонов и деревьев. Позднее солнце озаряло лица молодых продавцов, твердо верящих в постулат, что все и всегда начинают с малого, что из двух пачек кофе с истекшим сроком годности, из нескольких помятых тюбиков с кремом для лица может вырасти перспектива: больший ассортимент, больший сбыт, больший барыш. Разумеется, не в парке, а в магазине, со складом, с факсом в деловых помещениях, по которому непрерывной чередой поступают подтверждения и заказы из далекой обетованной. Это здесь и сейчас называли многообещающим выражением «мелкая розница», так сказать первое объяснение в любви, с чеками, выписанными на туалетной бумаге. Мальчик продавал дольки шоколада, несколько долек, недостаточно тяжелых, чтобы надежно придавить картонную коробку, на которой они были выложены. Собственно, все торговые места выглядели здесь точно так же: грязные картонки на высоких ящиках из-под фруктов. Любой порыв ветра — руки торговца тщетно пытались удержать ассортимент — сдувал прочь все дольки, рассыпал их по газону. Мальчик ползал на коленках, снова собирал. Бизнес он и есть бизнес.

Тень скрывала людей постарше и совсем пожилых, тех, кто больше не питал никаких иллюзий. Эти пришли сюда, просто чтобы не скучать дома. А может, какой-нибудь нежданный покупатель принесет небольшую добавку к пенсии. Эти люди предпочитали тень, поскольку, в общем-то, не собирались продавать, потому что многое в их ассортименте было никому не доступно по цене.

Вот это, стало быть, мы. И между делом наша гордость крепнет. Оставшаяся в пренебрежении половина мозга Европы. Близорукий глаз. Тело, которое в совокупности нежизнеспособно, но по частям вполне может пригодиться для трансплантации. И Златка, мельчайшая, уже отмирающая клетка этого организма.

— Arrête[1], Бай Дан, подваливай сюда, здесь правят бал драгоценности. Не желаешь приобрести колье?

Из темнейшей тьмы вынырнул человек, одежда строительного рабочего, лицо — строительная площадка, щеки обрушились, нос наполовину снесен, подбородок — яма. Но глаза сверкают, как газовая горелка, вспыхивают и поглощают все, что ни пересечет их дорогу.

— Ты ли это, король вилл?

Мы радостно обнялись. Король вилл состоял из семидесяти лет, равномерно распределенных по высокому телу.

— Снова на свободе, Йордан?

Я вторично обнял своего тезку.

— Вот уже месяц, дружище, вот уже месяц. Да здравствует амнистия. А то я уже начал опасаться, как бы мне не встретить наступление новой эры со старыми охранниками. Подойди поближе, я снова отпер свой сейф и вытащил оттуда несколько старинных шедевров для обогащения общественности.

— Свой сейф? Уж не хочешь ли ты сказать, что сумел надежно припрятать некоторую часть своей добычи? Ты все время дурачил нас, вспомни все свои заверения... значит, ты нас обманывал?!

Он кивнул.

— И никто тебя не застукал?

— Ну, раз ты сам говоришь... Дело обстоит так, именно так. Они и сами знали, что не

[1] Остановись (*франц.*).

все сумели отыскать, но в конце концов они поверили, что я и впрямь все продул, все прокутил. Тем не менее кое-что у меня сохранилось, и если ты когда-нибудь вздумаешь поднять очередное восстание, дай мне только знать и я его профинансирую.

Король вилл Йордан всегда малость прихвастнет, сопровождая свою речь живописными жестами. Вести незаметную жизнь было для него пыткой. Эта черта проявила себя как в его прежней специальности — взломщик вилл, — так и в способе, которым он с отменным вкусом эти виллы взламывал. С тонким чувством процедуры и церемонии. Для начала он укладывал то, что ему нужно, что казалось ему ценным и что он мог унести. А вот то, чем он занимался далее, резко отличало его от консервативных коллег, которые, едва уложив добычу, спешили смыться. Он же удалялся в кухню и кладовую, осматривал припасы и составлял оптимальное для данных обстоятельств меню. Он накрывал праздничный стол и тщательно отбирал подходящее вино. Если надо, он даже спускался в подвал, дабы выяснить на месте, какой именно сорт способен потрафить его вкусу.

После этого он предавался обильной трапезе, завершал ее коньяком и сигарой. После чего наступала вершина вечера: он спускал штаны, принимал должную позу над ковром салона и выкладывал небольшую кучку. Это была его визитная карточка — она самым унизительным образом сообщала вернувшимся домой владельцам виллы о совершившемся изъятии ценностей.

Слухи о его методе широко распространились. И после ареста для следствия оказалось проще простого уличить его в изрядной части краж со взломом.

— Это кольцо принадлежало супруге генерала Народной армии. Очаровательная особа. Я видел ее портрет на комоде и был уже готов лечь в постель и дождаться ее возвращения. Для ради знакомства я готов был даже подарить ей брошку из ее собственной шкатулки, она наверняка очень ей шла. Кольцо у меня откупит коллега, он шастает по международным отелям и делает свой бизнес с бизнесменами. Обзавелся где-то фальшивым заграничным паспортом и расхаживает с таким видом, словно он директор IBM. Преуспевающий человек.

Ближе к концу войны Йордан как жертва нацизма, борец с монархией и помощник партизан был выпущен из тюрьмы. Йордана назначили главой полиции в его родном городке — карьера в те времена не столь уж и удивительная. Но вскоре он заметил, что виллы обзавелись не только новыми жильцами, но и вечными искушениями. Причем смена прошла без сучка-задоринки как среди владельцев вилл, так и среди тюремных охранников. Его никогда не интересовало, кто именно обитает в этих виллах. Покуда на свете имелись виллы, они подлежали ограблению. И Йордан снова принялся за старое. А поскольку он не мог и не желал изменить свой стиль — ну как может человек изменить свой почерк? — ему лишь недолгое время удавалось, дабы ввести полицию в заблуждение, более или менее правдоподобно доказывать, что кто-то работает под него.

— Вообще здесь мало что удается сбыть. Я не хочу сбывать эти красивые вещи по бросовой цене, а здешние покупатели норовят схватить что-нибудь по дешевке. Побывал я и у антиквара, выдал себя за человека, в свое время подвергшегося репрессиям. Но он не желает неприятностей.

Поскольку Йордан под конец ограбил виллу высокого партийного функционера, его засудили как неисправимого политического преступника и упрятали в тюрьму, отведенную для содержания наиболее злостных врагов народа. Остальные арестанты, как идеалисты, так и представители старой гвардии, поначалу отнеслись к нему скептически. «Не туда они тебя посадили», — после чего их пальцы указывали на другое отделение тюрьмы, где содержались уголовники. Некоторых он наставлял в открывании замков, соблюдении тишины и правильной оценке драгоценных камней. Ибо тюрьма прямо на глазах перепрофилировалась в университет. Названия отдельных лекций звучали примерно так: «Введение в ночную жизнь мегаполисов», «Прогрессивная критика Прудона, Троцкого, Кейнса, или Лексикон венских ругательств». А король вилл вел политехнический семинар в Институте точной механики.

— Мы живем в эпоху прописных истин, Бай Дан. А теперь скажи, чем ты все это время занимался.

После обмена с Бай Даном несколькими фразами он решил закрыть на сегодня торговлю. Мы пошли с ним ко мне, распили бутылку виноградной водки и переговорили о тюрьмах жизни. Почти сразу после того как король вилл со мной распрощался, в мое окно ударил камушек. Я выглянул, и от прохладного воздуха у меня слегка закружилась голова.

— Ты только посмотри, как они мне подмигивают! — Король вилл указал на уличные фонари и скрылся.

Когда на другой день я навестил Златку, гнев ее успел улетучиться. Она до такой степени пришла в себя, что ей уже доставила удовольствие возможность открыть мой гостинец — банку с вишневым вареньем — и в ходе нашего разговора постепенно опустошить ее, причем опустошить с чистой совестью, потому что, из вежливости отведав ложечку, я отвечал отказом на все ее дальнейшие потчевания.

— Знаешь, Бай Дан, когда я сегодня утром проснулась, мысли мои обратились к Яне, к Яне и к Алексу. Мне так грустно, что мы ничего больше про него не знаем. После этой аварии, царствие им небесное, для меня было великим утешением сознавать, что хоть Алекс остался жив. А потом контакты оборвались. Не знаю, как это случилось. И теперь получается так, будто они все умерли. Про Алекса мы ничего больше не слышали, не понимаю, что с ним могло случиться. Он жив, я в этом уверена, но он исчез, ни на одно из моих писем он не ответил. Не понимаю, не понимаю, но вдруг он исчез, мой Сашо, он уже, наверно, взрослый человек, он наверняка учился в университете, а как по-твоему, Бай Дан? Наверняка преуспел, ты ведь помнишь, какой это был способный мальчуган, все хотел знать и все сразу схватывал, а крестины какие были прекрасные, я так тебе благодарна, Бай Дан, ты сделал меня такой счастливой, должно быть, я видела его во сне, я проснулась и больше ни о чем другом не могла думать, я вынула фотографии, вот, ну разве это не прекрасно, а ты помнишь, как после крестин мы все, священник Николай, бедняга, он даже не представляет себе, как прокормить пятерых детей, вот я и подумала, я много думала об этом, Бай Дан и... и у меня возникла идея, ты будешь смеяться, Бай Дан, но я прошу тебя, я очень прошу тебя во имя нашей многолетней дружбы, выполни эту мою просьбу, отнесись к ней серьезно, старые женщины порой бывают не в своем уме, но из любви ко мне, Бай Дан... ты себе представляешь, как было бы прекрасно снова увидеть Алекса...

— Так какая же у тебя идея?

— Грачка! Ты должен побывать у Грачки.

Я вступил в темноту, в подъезд. Можно было предполагать, что слева окажется лифт. Шепот, который подкрался ко мне, взял меня в кольцо, голоса, тихие, лишенные смысла. Было непростительным легкомыслием идти дальше, не замедлить шаги, может, слишком самоуверенно, но, с другой стороны, что мне еще оставалось делать? И это была моя ошибка. Под ногами вдруг исчез пол. Резкая боль в левом плече. Под ладонями — холодно и грязно. На меня стекают голоса.

— Это кто же к нам пришел?

— Это что же мы такое видим?

— Уж не гостя ли?

Гостя, гостя.

— А он предупредил о своем приходе, а он спросил разрешения?

— Ни то ни другое, ах он злодей.

— Эй ты, пробный экземпляр, изволь встать, когда мы с тобой разговариваем.

— Тебе чего, тебе чего надо? Ну так счас и получишь, счас и получишь.

Я выпрямился. Прислонился к стене. Среди голосов вспыхнула спичка. Огонь спич-

ки приблизился к моим глазам, я заморгал и прищурился. Приблизился к моему носу: как долго ты еще сможешь терпеть эту боль?

— Куда, старичок, чему обязаны честью?

— Хочешь кверху, хочешь книзу, хочешь прочь уйти?

— Ах нет, не покидай нас, с тобой та-а-ак хорошо.

— Добавь огоньку.

— А не поджечь ли нам его бороду? Здесь так холодно. Ты почему выключил отопление, дедуля?

— А ну, открой рот, старая перечница, не то мы откроем его консервным ножом.

Я не мог понять, чего хотят от меня эти хулиганы. И ничего не мог придумать, кроме как сказать им, что я держу путь к Грачке.

— Это еще зачем? Да ты у нас никак в ожидании?

— Оказывается, этот ходячий покойник еще чего-то ждет.

— Дайте мне, Великий и Ужасный Пишка будет предсказывать. А ну, тише, не то я не услышу голоса духов, молчите, жалкие создания, у-у-у-у-у-у, я это чувствую, держу в руках, да-да-да-да, все ясно, стоп, сперва платить, сто штук, сто, ясно, как это называется, парни?

— Гонорар.

— Точно, сто раз гонорар, плата вперед, вдруг тебе не понравится, папаша, и ты не пожелаешь платить, знаем мы вас...

Снова спичка, и несколько исполненных ожидания лиц придвигаются ко мне. Не буду я платить.

— Господа, теперь я продолжил бы свой путь, если вы, конечно, не против.

— Против? Да мы за. Сейчас мы отведем тебя еще дальше, если ты не выплатишь гонорар нашему начальнику.

Они схватили меня, толкнули на стену. Голоса накладывались один на другой, становились громче, отражались из подвала и от стен лестничной клетки, обступали меня, как глухое эхо, в то время как чьи-то руки шарили по моим карманам, чьи-то ботинки наступали на мои ноги, а чей-то кулак в барабанном ритме играл на моем носу.

— Га-га-га-го-го-гонорар.

— Это что здесь происходит, это что вы здесь делаете? Влади, это ты, что ли, а ну, сейчас же подойди ко мне.

Женский голос, голос приблизился, а другие голоса, проворные руки, кулаки и ботинки отступили.

— Ладно, ладно, мамо, все о'кей.

— Что еще о'кей? Кто это, кто из вас зажег спичку... ой, здравствуйте, как неприятно, эти бездельники причинили вам боль, ой-ой-ой, бедный, идите сюда, вам кто нужен? А ну, разойдитесь, да как вы только могли?!

рука, которая схватила меня и оттащила в сторону, сразу дала мне понять, отчего мальчишки ее послушались. Слишком много мешков с картошкой перетаскала эта рука на восьмой или девятый этаж, чтобы терпеть непослушание. Женщина ругалась. Потом многословно извинилась передо мной.

— К сожалению, вам придется идти пешком, седьмой этаж, справа, в это время у нас не бывает света, а лифт и вообще сто лет не работает, сами понимаете.

Я поблагодарил ее и начал свое восхождение. Снизу меня еще раз окликнул Пишка Великий и Ужасный:

— Эй ты, старик, могу предсказать тебе будущее задаром, я не какой-нибудь буржуй, ты готов? Ну так слушай: скоро ты у нас *откинешь копыта*, скоро тебя самого откинут, желаю повеселиться, бай-бай.

Поднявшись на седьмой этаж, я должен был сперва перевести дух. Потом постучал

в дверь. Дверь легко отворилась. Меня ждали. Я постоял в прихожей, пока не освоился с темнотой, потом дважды назвал себя.

— Входите, — сказал мне голос, не имеющий ни возраста, ни пола. Я пошел на свет, который пробивался сквозь дверную щель, и попал в большую комнату, до того набитую разными предметами, что я боялся не уместиться в ней.

— Садитесь напротив меня, — сказал голос. В дальнем углу сидела укутанная одеялами фигура. Я приблизился, увидел профиль крестьянки, увидел закрытые глаза в глубокой долине лица. Надо полагать, приветствие по всей форме было бы здесь неуместно. Я сел на софу, как раз напротив. На столе стояла деревянная фигура высотой в локоть, изо рта у нее, из козьей головы, водруженной на человеческий торс, струился дым. Грачка была вся закутана в одеяла, одеяла, не имевшие ни узора, ни расцветки. Кадильные свечи тлели на всех шкафах и столиках, между предметами мебели повисли драпри, вместе с множеством зеркал они полностью закрывали от меня стену.

— У вас такие же белые волосы, как у меня, — сказала она.

Сказала правду, и я испугался, хотя Златка постаралась меня к этому подготовить. Глаза у Грачки были открыты, но ничего, кроме белков, в них не было. Грачка была слепа с детства.

— Если хотите обратиться ко мне, называйте меня «тетя».

— Я пришел к вам по просьбе...

— А уровень сахара у вас какой?

— Спасибо, по-моему, нормальный.

— Вы тоже целиком прожили это столетие?

— Да.

— Я чувствую, когда ко мне приходит человек, наделенный знанием. Я этому радуюсь. Я принимала у себя много знаменитых людей, но все они не обладали знанием. Они хотели услышать предсказание будущего, словно речь идет о кулинарном рецепте. Но будущее нельзя приготовить как кушанье, вы это знаете, вы... это... знаете. У меня побывали два последних царя, премьер-министры, офицеры чужих армий, генеральные секретари, все они приходили ко мне. Не сюда, я тогда жила в домике у подножья Товаша. Моя внучатая племянница устроила там ресторан. Я хочу получать доход и от нового времени, — говорила она, — вот и пришлось мне переехать в эту квартиру. За первый же год у меня перебывало все политбюро. Порой они чуть не натыкались друг на друга. Которые материалисты. Материалисты — они суевернее, чем черные кошки. Этот век вообще вызывает у меня подозрения. Все вдруг захотели узнать свое будущее. С чего бы это? А знаете с чего? Есть у меня одно подозрение, дьявольское подозрение: с того, что они утратили прошлое. Дьявол побуждает деревья сжигать собственные корни. Он любит засохший лист, он любит пустой лист. И тогда они в полном отчаянии хотят утешиться будущим. Но я никого из них не утешила. Ни одного-единственного. Вот почему они и не разрешили мне съездить в Иерусалим... А вам чего надо? — вдруг резко спросила она.

Я все ей объяснил.

— Теперь молчите. Я должна черпать из тишины. Если услышите голоса, не думайте ничего худого, это не духи, это соседи с нижнего этажа.

Тут вдобавок еще и холодно, подумал я, разглядывая струи дыма, непрестанно поднимавшиеся из козьей головы... Запах был ясный и строгий, но определить его я никак не мог. Чем дольше я сидел на софе, тем меньше казалась мне вся комната. Бросилось в глаза, что нигде не видно ни одной книги.

— Алексу нужна помощь,— сказал наконец голос.— Ему срочно нужна помощь. Ему нужны вы. Я не вижу больше никого, кто мог бы с этим справиться. Вы родом из Старых гор?

— Да.

— Там еще встречаются места, где сплетены все корни, там я набираюсь сил, там я уединяюсь.

— А Алекс, он где? — осмелился я ее перебить.

— Хороший игрок никогда не проявляет нетерпения. Никогда. Неужели вы это забыли?

— Не забыл, но сейчас это ко мне не относится. Это ведь не моя игра.

— Вооружитесь терпением. Даже когда играете не за себя.

— Вы правы. Но с чего же мне начать?

— Поезжайте, просто-напросто поезжайте. И запомните одно: мир все еще велик, настолько велик, что сыщется и выход. Где-нибудь да сыщется.

— Как мне все это объяснить Златке?

— Чем вы будете платить? Давеча один пронырливый бизнесмен надумал заплатить кредитной карточкой. Нашел кому.

— Нет, нет, хотя в будущем эти штуки могут мне и понадобиться.

— Ваша правда. Достаньте деньги из правого кармана ваших брюк, этого достаточно, а на дорогу хочу дать вам еще один совет. Совет бесплатный, потому что вы родом из Старых гор. Избегайте American Express. Этих скоро вообще не станет.

Интермеццо посреди истории. Предпоходное настроение. Крысоловы трубят поход в лучшие времена. Сентиментальные месяцы, приторное настроение, которое надолго не задержится. Каждый ищет перемен в сердце своем, и многие натыкаются при этом на желание покинуть страну. Они либо пренебрегут границами, либо изберут официальный путь. Официальный путь означает визу, и вот тут-то начинаются проблемы. Раньше вам не давали паспорта, теперь не дают визы. Те, ну которые находятся в обетованной, сочли, что сближение уж слишком далеко зашло, коль скоро оно означает принимать у себя сотни тысяч, желающих найти много добра и немного удачи. Впрочем, они отнюдь не стали бы гостеприимнее, ищи эти пришельцы много удачи и немного добра. Они желают видеть приглашение, приглашение из той страны, куда люди еще только собираются поехать. Трудная задача. Приглашение от какого-нибудь учреждения или от частного лица. Его ты предъявишь в посольстве, и у тебя возникнет уважительная причина для визита. Принимающая сторона гарантирует тебе крышу над головой и питание, уход за тобой в случае заболевания и оплату услуг врача.

Когда я прогуливаюсь по кварталу, где расположены посольства, я вижу перед некоторыми зданиями — а не все регионы обетованной в равной степени желанны — скопление людей, которые словно стучат кулаками в чужую дверь, упорно, выразительно и, однако же, кротко, не угрожающе.

Так как я не великий любитель стоять в очередях, позволяя толпе сжимать и толкать себя, словно я тесто под руками пекаря, так как мне и того меньше нравится ставить свои планы и решения в зависимость от решений слуг государства, я запер у себя дома все двери, задернул все гардины, открыл шкаф, отвинтил заднюю стенку и достал оттуда свой мешок. Жилетку следовало для начала основательно проветрить, да и покрой у нее был не слишком модный. Но зато внутренние карманы имели неоспоримые преимущества. Я нанес визит лучшему изготовителю фальшивых документов в нашем не столь уж и славном государстве — тоже старое знакомство из времен отсидки — и уговорился с торговцем розами, который регулярно ездит на юг. Он высадил меня где-то среди чужой столицы, на площади, наделенной спасительным свойством: свободное такси, водитель которого как раз подкреплялся в ближайшем кафе. Водитель вскоре появился, держа левую руку в кармане, откуда она явно пыталась что-то достать. Семечки, как выяснилось впоследствии.

Стук в дверь. Я выпрямляюсь, это виски. Эх, к виски бы да те семечки... Кости падают на землю, их хитрое щелканье заглушено вторичным стуком в дверь. Прыщеватый молодой человек с подносом.

— Отец сказал, чтоб вы сразу же заплатили.

— И сколько же я должен заплатить?

— Двадцать шесть пятьдесят.

— Прошу.
— У меня нет сдачи, придется мне еще раз подняться.
— Не надо, благодарю вас. Ах да, телефонная книга, ваш отец, вероятно, позабыл.
— Он мне про книгу вообще не говорил.
— Не будете ли вы так любезны...

Я ищу в телефонной книге, от Любича до Лютцова, между Люксембургом и Луценбергером, обнаруживаю несколько носителей фамилии Лукс, но за ними почему-то не следует Луксов. Итак, легкого решения не будет. Поиски предстоят серьезные.

Что еще остается делать в этой лишенной окон комнате, кроме как под чай и виски смотреть телевизор.

Добрый вечер, дорогие телезрители. Свой сегодняшний вечер, как и каждую первую субботу месяца, мы начнем с нашего шоу «Эмигрантская рулетка». Последние выпуски этого шоу имели ошеломляющий успех, причем во всей Европе. Предлагаем вам снова вместе с принимающим вас радушным хозяином Эмилем Цюльком насладиться конкурсом соискателей убежища в Европейском Сообществе. После «Эмигрантской рулетки» мы покажем вам «Хронику дня»...

Вот и ладно, с нетерпением ожидая этой рулетки, я прихлебываю свой чай.

С помощью большой красной кнопки телевизор при желании можно выключить. Покойной ночи.

Город, в котором приземлился Бай Дан, насчитывает примерно миллион жителей, 351 250 квартир, 303 762 рабочих места, 185 346 несовершеннолетних, 1,3 миллиона транспортных средств, 145 673 иностранца и 2 745 нелегальных обитателей. Одного из жителей зовут Александар Луксов. Он живет один, у него нет постоянной работы, нет машины, и его имя не стоит в телефонной книге. Как же Бай Дану отыскать этого человека? Как даже с помощью жизненного опыта и богатого содержимого внутренних карманов он приступит к поискам? Вот он как раз вылезает из автобуса и оглядывается по сторонам. Непросто сориентироваться на университетской территории. Нигде нет надписи «Главное здание». Он спрашивает девушку с высоко подколотыми волосами и тряпичной сумкой на ремне. Девушка готова помочь и ведет его к секретариату. В этой стране пожилой иностранец не может просто так, безо всякого впереться в секретариат и справиться об адресе некоего Александара Луксова, о котором можно предположить, что в свое время он здесь обучался, а может, и обучается до сих пор, если он никуда не торопится. Это будет очень трудно, Бай Дан, даже если ты самым любезным образом здороваешься, улыбаешься, произносишь вслух свое звучное имя, а немолодая дама встает из-за стола, чтобы узнать, чего ты хочешь. На нее сразу производят приятное впечатление твои пышные седые волосы. Ты сочиняешь в ответ какую-то байку про Красный Крест, где ты ведаешь воссоединением семей.

Святая заповедь человечности. Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы разыскивать по всему свету пропавших без вести членов семей. Мы пытаемся тем самым противостоять трагическим поворотам событий в нашей истории. Надеюсь, вы смогли бы оказать нам посильную помощь.

— Попытаюсь.

— Мои поиски касательно семейства под фамилией Луксов привели меня к вам. Луксов — имя редкое, даже у нас оно не слишком часто встречается, зато оно приметное, и это несколько облегчает наши поиски. Итак, я разыскиваю некоего Александара Луксова, единственного сына Татьяны и Васко Луксовых, внука Златки и Григория Григоровых. Я очень надеюсь, почтеннейшая дама, что вы сумеете помочь отчаявшимся родственникам. Очень надеюсь. Сегодня я преисполнен оптимизма, ибо мы находимся как раз в зоне атмосферного фронта между областью высокого и областью низкого давления. Такие погодные условия приносят счастье.

Ах, эти эксцентричные иностранцы, charmant, charmant, если сравнить с ее шефом — кошмар, уродливый, вдобавок грубый и тупой. И ни малейшего чувства юмора.

— Ну что ж, господин Бай, давайте посмотрим. Прошу прощения, как вы назвали имя? Точно? Итак, если он у нас обучался, мы его найдем, у нас все записаны, не беспокойтесь.

— А я и не беспокоюсь, мадам, я возложил все свои упования на вас.

— Извините, что я так напрямую вас спрашиваю, но вы ведь наверняка скоро выходите на пенсию? Еще раз извините, это, конечно же, не мое дело, но меня это в настоящее время крайне занимает. В вашей стране вас тоже принуждают выходить на пенсию?

— Нет, нет, вам незачем извиняться. Но к сожалению, я вам мало что могу сказать по этому поводу. Люди, подобные мне, знают только один вид пенсии, и он расположен на глубине в два метра. А до тех пор, как я надеюсь, пройдет еще годик-другой.

— А разве у вас нет строгих правил? Нас выпроваживают на пенсию, хотим мы того или нет.

— Правила у нас, конечно, есть, мадам, но мы их не придерживаемся, тем более в таких серьезных вопросах. Но вас-то это почему тревожит? Вам-то еще далеко до пенсионного возраста.

— Ах вы льстец! Конечно, несколько годков у меня еще в запасе есть, но гнетущая мысль о досрочном выходе на пенсию, она так тягостна... и этого я могу опасаться в ближайшее время... Луксов Александер... здесь он написан через «е», но раз вы говорите, что это и вообще редкое имя, то это, верно, он и есть. Я сделаю копию, чтобы справка была у вас в письменном виде, но, к сожалению, я не могу вам гарантировать, что адрес остался прежний, в конце концов, прошло уже известное время с тех пор, как он вычеркнут из списков, а студенты, у которых есть работа, где они прилично зарабатывают, по большей части меняют место жительства, а то и вовсе женятся, что вполне естественно, не так ли?

— Это первый след, мадам, и я преисполнен надежд. Многолетний профессиональный опыт развил у меня седьмое чувство в смысле поисков, я бы даже сказал — почти безошибочное чувство. Едва проснувшись сегодня утром, я знал, что это будет для меня счастливый день, о чем я уже говорил вам. Вы даже не можете себе представить, как много людей вы сегодня осчастливили.

— Ах, полно, это же само собой разумеется, ведь надо же помогать иностранным коллегам.

— Я благодарю вас также от имени родственников этого молодого человека. Большое вам спасибо.

Бай Дан целует ей руку. Она остается в полной растерянности.

Адрес выглядит так: Вальдштрассе, 5. Очутившись на улице, я сажусь возле круглого, симпатичного фонтана, где выставились напоказ три нимфы, а может, три русалки, прижавшись плечом к плечу и каждая воздев к небу правую руку. Вокруг их бедер плещется грязная вода. Я разворачиваю план города. Вальдштрассе расположена на юге, а университет на севере, их связывает прямая автобусная линия. Как удачно. Маршрут двадцать третий.

Остановка называется Гогенцоллернплац, но уже в нескольких шагах от нее начинается Вальдштрассе — Лесная улица. Никакого леса поблизости, естественно, нет. Улица короткая. Мне нужен номер пять. Я поднимаюсь ко входу в дом, устремив глаза на россыпь металлических табличек с именами, и несколько волнуюсь. Пробегаю глазами таблички снизу доверху. И впрямь, вот он стоит, Луксов, теми же печатными буквами, что и остальные фамилии. Я нажимаю звонок, нажимаю коротко, выпрямляюсь, жду. Ничего не происходит. Может, я неправильно нажал? Я нажимаю кнопку продолжительнее и сильней. Должно быть, квартира находится где-то неподалеку, потому что я слышу звонок. А может, какое-нибудь из окон открыто? И снова никакого результата. Я немножко

жду, а сам раздумываю. Конечно, я мог бы опустить записку с номером отеля в почтовый ящик. Но я не записал этот номер. Неужели и Красный Крест допускает такие ошибки? Я мог бы назвать свой отель: «Отель «Феникс». А что, если его нет в телефонной книге? Бай Дан возвращается на Гогенцоллернплац, отыскивает телефон-автомат. Открывает лежащую в будке истрепанную телефонную книгу. Отеля «Феникс» там нет. Ни на «Отель», ни на «Феникс». Разумеется, существует здесь и справочная служба. Он ищет ее на первых страницах. «Точное время», «Футбольное лото», «Справочная служба». Четыре цифры, легко запомнить. Он ищет монетки у себя в портмоне. Монеток куча. Но аппарат их не принимает. Над щелью он видит изображение телефонной карты. Идет в ближайший ресторанчик. Заказывает суп и спрашивает, можно ли от них позвонить. Рука указывает в сторону надписи «Туалеты». Вниз по лестнице. Возле автомата с сигаретами висит телефон, который принимает монеты. Но справочная служба не может ему помочь: отель «Феникс» отсутствует в ее банке данных. Бай Дан снова поднимается наверх. Ест свой суп. Когда он собирается платить, кельнер требует деньги также и за пол-ломтя черствого хлеба, который он макал в суп. А он-то, он-то еще принял великодушное решение не жаловаться на качество хлеба. Бай Дан возвращается в свой отель.

Солнечные лучи больше не бьют в спину дома номер пять по Вальдштрассе, когда Бай Дан снова стоит у его входа и снова звонит Луксову. Никто ему не отворяет. На сей раз у него есть при себе адрес отеля «Феникс» и телефон. Он позвонит кому-нибудь из соседей, чтобы его впустили, напишет записку, где потребует, чтобы крестник пришел к нему в отель. Звонить туда не стоит, поскольку нельзя быть уверенным, что ему расскажут о звонке. Он слышит шаги, бросает взгляд через плечо. Там человек достает из кармана связку ключей. Бай Дан заговаривает с ним. Человек внимательно слушает. Я как раз сосед господина Луксова, говорит он. Но вам не повезло — он уже несколько недель как куда-то исчез. Исчез? Да, так это, пожалуй, можно назвать. Почтальон передал бандероль для него моей жене, а извещение сунул в его почтовый ящик. Но извещение так никто и не вынул. И спустя неделю мы ему позвонили, да входите же, и там был только автоответчик. А что этот автоответчик сказал? Ну, все обычное, что его нет дома и что мы можем оставить сообщение. Мы, разумеется, так и сделали, но он до сих пор не откликнулся. Да зайдите же к нам хоть на минуточку. Я спрошу у жены. А вдруг он именно сегодня подавал какие-то признаки жизни. Иногда ведь может и повезти.

Но и жена ничего не знала сверх уже сказанного. Она и сама спрашивала у коменданта, но и тот понятия не имеет.

— Очень сочувствуем.

— А может, стоит обратиться в полицию?

— Пока еще рано, радость моя. Он не ходит на службу, он работает на дому, поэтому он и подвижнее других, может, он просто взял и уехал, надолго, я бы, к примеру, так не мог.

— Но он еще ни разу этого не делал. Он так редко выходит из дому.

— Он же не обязан нам докладываться.

— Очень глупо, что вам пришлось проделать такой долгий путь, а ваш внук куда-то исчез.

— Мне очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь.

— Что вы, что вы! Вы мне так помогли, право слово. Скажите, пожалуйста, это там — его квартира?

— Нет, следующая.

— Спасибо вам большое. До свиданья.

— До свиданья.

Свет быстро гаснет. Где тут выключатель? Интересно, а король вилл мог бы открыть такую массивную дверь? Меня ловкость рук уже давно покинула. Надо глянуть, не открыто ли там какое-нибудь окно. Это был бы простейший способ проникнуть в кварти-

ру. Сопоставляю степень риска и шансы на успех. Несмелые игроки этого не понимают. Даже когда не за горами поражение, они все равно не желают рисковать. Окно открыто, створка заведена назад. Я могу забраться на подоконник, оттолкнуться, вот так... вышло, окно поддается, и створка отлетает внутрь комнаты. Теперь только влезть.

Бай Дан ощупывает, что там есть за окном. Бутылка падает на пол со стуком и дребезжанием, которое, пожалуй, слышно по всему дому. Под руки ему попадается край стола, он с трудом затягивает себя в квартиру Александара Луксова, лежит на столе, чувствует под собой какие-то предметы, которые сдвигает, снова грохот и снова дребезжание, он осторожно слезает со стола и наступает на осколки.

Счастье еще, что я в сапогах, а где тут свет, должен же где-нибудь на стене быть выключатель, ага, это у нас кухня, оттуда пахнет затхлым. Маленькая кухня, помещение рядом, дверь снята с петель, гостиная, унылая, скудно обставленная комната, телевизор есть, еще несколько книжных полок, тахта, два стула, несколько картин и гора пыли. Я возвращаюсь на кухню, ногами загоняю осколки в угол, открываю холодильник. Пусто, почти пусто. Плоский тюбик майонеза, наполовину опустошенная баночка горчицы, пучок салата, так густо обсаженный плесенью, как моя голова — волосами. Мой крестник — изрядный неряха, а кроме того, он уже давно не появлялся в этой квартире.

Обстановку второй комнаты составляют кровать, стенной шкаф и письменный стол. Бай Дан включает настольную лампу и садится к письменному столу. Стол завален грудой бумаг — пакеты, реклама, счета, квитанции, письма. Бай Дан просматривает их и натыкается на множество счетов из какой-то клиники. Он читает их и понимает только, что мальчика положили в эту клинику и сделали ему операцию. Может, он и по сей день лежит в этой клинике. Бай Дан берет один из счетов и отправляется в клинику.

Я проснулся, как после долгого сна. У меня было неприятное чувство. Другими словами, никакого желания просыпаться. Над лесом уже смеркалось. И еще у меня было такое чувство, будто в комнате, кроме меня, кто-то есть. Что невозможно. Кому здесь быть? Уже несколько недель я лежу в этой комнате один. Господина Хофнанга перевели в другую клинику, к специалисту. Трудно поверить. Нельзя же быть специалистом по болезни Хофнанга. Хофнанг уже ничего от этого перевода и не ждал. Я снова закрыл глаза. В комнате больше никого нет и быть не может. Вздумай они подложить ко мне в палату кого-нибудь, меня бы наверняка предупредили. Но, закрыв глаза, я еще отчетливей почувствовал, что в комнате кто-то есть. Невероятно. Я повернулся на бок и включил прикроватную лампу. Так оно и есть: на единственном стуле сидел он. Как это прикажете понимать? Какой-то старик, который ко всему еще и улыбался мне.

— Надеюсь, я не ошибусь, если выскажу предположение, что передо мной лежит господин Александар Луксов.

Человек говорил с заметным акцентом. Я его не знал. И не представлял, что ему ответить. Я просто глядел на него.

— Вы, вероятно, не догадываетесь, кто я такой и откуда я вас знаю. Итак, мой мальчик, я Бай Дан, твой крестный отец, и я очень рад, что наконец-то отыскал тебя.

Он встал, подошел ко мне и расцеловал меня в обе щеки. Рукавом пижамы я отер щеки. Бай Дан? Знаю я такого или нет? Имя я, без сомнения, когда-то слышал. Наверно, от родителей. Мой крестный отец? Я как-то забыл, что в свое время был крещен.

— Халло.

Ничего лучше мне в голову не пришло. И ни малейшего желания разговаривать со стариком, который выдает себя за моего крестного, я не испытывал. До сих пор я прекрасно без него обходился.

— А как вы сюда попали?

— Я уже вполне освоился с транспортными средствами вашего города.

— Нет, я спрашиваю, как вы узнали, что я здесь?

— Я проник в твою квартиру. Боюсь, что я сделал это не совсем легально, но в твоем

согласии я не сомневался. Поскольку ты был так любезен, что не закрыл окно. Очень-очень предусмотрительно с твоей стороны. А что случилось с твоими волосами? Для лысины ты, пожалуй, слишком молод.

— Их сбрили перед операцией.

— У тебя была операция на голове?

— Нет.

— А чем ты, собственно, болен?

— Ну, это долгая история. Разное. Вам это вряд ли будет интересно.

— Да еще как интересно, мой мальчик. И времени у меня навалом.

Это дурацкое «мой мальчик» ему бы лучше всего оставить при себе. Но немножко я ему все-таки рассказал. Может, он тогда уйдет.

— Все ясно, — сказал он. — Далеко зашедшая стадия обломовщины. Не могу только понять: почему ты до сих пор лежишь здесь, когда со дня операции прошло три недели. Разве тебя уже не следовало выписать?

— Ну, тогда вы и в самом деле не можете понять. Да и не обязательно все понимать.

Ну как я мог ему объяснить, что в клинике удобно. А здоровым я себя до сих пор не чувствовал. Каждое утро мне приходилось рассказывать врачам про новые боли. Вот они и держали меня здесь для наблюдения, да и что им еще оставалось делать? Неадекватный процесс реабилитации.

— Ладно, теперь я дам тебе поспать, мой мальчик. Завтра я снова приду, и мы продолжим наш разговор.

Я вздохнул. Этого мне только не хватало.

У дверей он еще раз обернулся ко мне.

— Ты вообще-то верующий? В церковь ходишь?

— Нет, вообще не хожу. С чего это вы вдруг?

Он оглядел меня, словно что-то во мне активно ему не понравилось, и пожелал мне спокойной ночи.

Что мне делать с мальчиком? Скверное состояние, промежуточное. Грустно, грустно. Этого я не ожидал, этого я не мог предвидеть. Какие-то неизвестные мне демоны, новые правила игры, мрачное положение. И мальчик оцепенел. Совершенно оцепенел. Голос его пропитан жалостью к самому себе. Со своей лысиной и лишенными блеска глазами он лежит так, словно изготовился к последнему помазанию. И что того хуже: он способен еще десятилетиями жить именно так. Да, работка предстоит нелегкая. Не могу я его в таком виде отвезти к Златке. Надо что-то придумать, надо что-то придумать.

Само собой, он заявился ко мне и на следующий день. И принес с собой какое-то подобие рюкзака. Попробовал меня расспросить. Сперва про родителей. А я сказал ему, что уж об этом-то говорить не желаю, особенно с посторонними. Про наше бегство. А откуда мне знать про бегство, я ведь тогда был ребенком, и меня это не слишком интересовало. Про годы юношества. Я сказал ему, что здесь, в общем-то, и рассказывать нечего. Про учебу в университете. Скукотища. Он хотел знать обо всем. И еще: вспоминаю ли я свою бабу Златку? Почти нет, солгал я. Постепенно мной овладело пугающее чувство, что этот человек от меня так и не отвяжется. Я даже не мог вышвырнуть его из палаты. Конечно, он был довольно старый, но выглядел весьма сильным. Во всяком случае, более сильным, чем я. А в моем расхлябанном состоянии я бы и со столетним не справился.

— Мне больше не хочется разговаривать, — в какой-то момент сказал ему я.

— Тогда сыграем.

И прежде чем я успел знаками выразить свое нежелание, он вынул из своего мешка деревянный ларец и раскрыл его у меня в ногах. Это оказалась игральная доска.

— Игру ты наверняка знаешь. Не сомневаюсь, что отец тебя научил.

И тут я допустил роковую ошибку: я признал его правоту. В последующие дни я не

раз и не два проклинал свою глупость. Он выложил кости. Началось хреново. Даже больной человек — и тот хочет выигрывать.

— Ничего это не даст. Мне не везет. Не хочу я играть.

— Мальчик, да мы же только начали, — сказал он и выбросил дубль.

— Это не доставляет никакой радости, я выбрасываю всякую дрянь, а ты — именно то, что тебе надо.

— Тогда измени тактику. Используй мое везение. Не надо так уж сразу сдаваться.

Я опрокинул доску и включил маленький телевизор, который висел в углу. Бай Дан не пришел от этого в восторг. Он явно не обожал телевидение. Вскоре начались новости, занявшие пятнадцать минут, после новостей — фильм с красивой американской певицей. Очень неплохое начало. Бай Дан смотрел на меня неодобрительно. И когда он так на меня смотрел, я сразу забывал о том, что хотел перечить ему и лгать.

— А что, если бы ты выключил эту штуку? — спросил он.

— Ладно, о'кей, выключу.

— И это называется новости? Нынче люди открыли глаза — ежедневник-календарь-список покупок и прочли там: «Пора тебе снова начать борьбу, стряхнуть пыль с идеалов, забрать из чистки силу духа. Как ты можешь сдаваться, когда еще ничего не решено? С чего это ты вдруг во всем разочаровался? Не спорю, позади у тебя скверное столетие, а ближе к концу человек неизбежно устает, и если он при этом выходит из игры, сезон завершается гадко. Не спорю, зимняя спячка тоже нужна, но разве ты не видишь, что уже заявляет о своем приходе новое? Да, да, в конце сезона человек устает, живет по законам собственной логики и забывает при этом самое естественное — что нет на свете ничего более постоянного, чем перемены.

Вот это, мой мальчик, и были настоящие новости.

На другой день я чуть не упал с кровати, когда он довел до моего сведения, что намерен извлечь меня из больницы, после чего мы с ним предпримем небольшое путешествие. Моя бабушка Златка очень хочет меня повидать, а прежде чем мы отправимся к ней, у него есть и еще некоторые планы, касающиеся меня. Я же без обиняков сообщил ему, что об этом не может быть и речи. С таким стариком, к сожалению, нельзя говорить прямо и откровенно, как хотелось бы. Не то я выложил бы ему все, что я думаю лично о нем и о его затеях: свалился как снег на голову, действует мне на нервы да еще вдобавок делает дурацкие предложения. Не способен понять, что я не могу покинуть клинику. А кроме того, не вижу оснований уйти вместе с ним. Последнее, по совести говоря, не до конца соответствовало действительности. Повидать Златку — это где-то как-то не такая уж и плохая мысль.

Вдобавок этот старый козел исхитрился свести дружбу с больничным персоналом. Просто невероятно. Он их всех полностью приручил. А мне приходилось выслушивать дурацкое сюсюкание на тему, что вот, мол, как я должен радоваться, раз меня регулярно навещает мой крестный, когда вообще-то ко мне мало кто ходит. И потом он такой симпатичный. К обеду они приносили поднос с едой и на его долю. Просто с ума сойти. Он уговорил меня еще раз сыграть с ним. На сей раз получилось несколько лучше.

В ходе нашего маленького, миленького путешествия вокруг великой и необъятной земли нам предстояло, помимо всего прочего, пересечь океан, такая блажь накануне взбрела ему в голову, мы непременно должны побывать за морем, это была бы самая подходящая затравка для моего возвращения на родину. Ах, море, море! И он размечтался. Просто диву даешься, до какой степени он способен вдохновляться затеями, к которым, казалось бы, должен попривыкнуть за почти сто лет жизни. Море, которое так сверкает, которое так богато, которое притягивает к себе людей. Но разумеется, только людей с морским характером. И снова я получил от него ценные сведения: оказывается, бывают люди морские и люди горные, но только морские способны уловить зов моря.

— Приведу тебе один пример из истории городка, в котором я довольно долго жил, городка, расположенного вдали от всех и всяческих морей этой земли. Там я держал банк, а по вечерам встречался в кафе с остальными игроками. Фамилия одного из записных игроков была Умеев; у него был смышленый маленький сынишка, которым отец очень гордился. До тех пор, пока мальчик в один прекрасный день не начал рисовать море. На уроках рисования. Удивленный учитель спросил мальчика, был ли тот хоть раз на море. Нет, отвечал мальчик. А твои родители? Нет, господин учитель, мои родители никогда не бывали на море. Может, тебе рассказывала про него твоя бабушка? Мальчик энергично замотал головой. Бабушка ничего про море не знает. Может, ты видел его в каких-нибудь книжках? Нет, господин учитель, кроме Библии, у нас других книжек дома нет. Тогда почему же ты рисуешь море? Потому что оно мне нравится. И тут учитель сдался. И что бы он в последующие месяцы ни задавал своим ученикам, маленький Умеев рисовал только море. Учитель велел классу изобразить лучшее летнее впечатление, и тогда маленький Умеев изобразил вихрастую голову на широком песчаном берегу, а дальше на фоне самой густой синевы, какой только можно было достичь с помощью карандаша, огромное море. Ничего, это пройдет, подумал учитель. Но он ошибался. Мальчик и дальше продолжал рисовать море, упорно и неизменно, а по прочим предметам его успеваемость стала много хуже, потому что он начал рисовать море и на других уроках. Поля своей тетради по математике он разрисовывал волнами, волнами, которые разбегались по страницам, независимо от того, что было задано, деление или умножение, независимо от того, правильно он решил задачу или нет. Он изводил столько синей краски, что единственная лавка канцелярских принадлежностей в том городке теперь заказывала у поставщиков вдвое больше синих карандашей и синей акварели против обычного. Отца вызвали в школу. После серьезного разговора с классным руководителем и директором он в ярости вернулся домой, твердо решив положить конец этому безобразию. Он запретил мальчику рисовать синим, а жене строго-настрого запретил покупать синюю краску. Но и это не помогло. Учитель велел ученикам нарисовать Старые горы, маленький Умеев нарисовал море. Красного цвета. Учитель пришел в отчаяние. Мальчик никак не желал понять, что ему запрещено рисовать море, когда учитель велит рисовать горы. Умеев-старший пришел в отчаяние. Чем больше он старался выбить море у мальчика из головы, тем упорнее мальчик думал о море. До конца учебного года Умеев успел нарисовать море всеми мыслимыми красками и остался на второй год. Печальный Умеев-отец плелся за нами вечером этого дня, а придя в кафе, и вообще забился в угол. После нескольких конов он попросил у нас совета. Мы этого ожидали, ибо уже и в предшествующие вечера он играл как новичок. Мы размышляли и размышляли, и часами можно было слышать лишь перестук костей. И вдруг один из нас сказал: мы должны показать мальчику море. Игроки сразу оценили хорошую идею — и, прихватив других детей из того класса, мы повезли маленького Умеева к морю.

Спустя день моя дверь распахнулась от удара, и в палату, приплясывая, вступил дорожный посох, крепкий узловатый посох. Причем, как выяснилось, этот посох преследовал одну-единственную цель: раскачать тормозное устройство на моей подвижной кровати, занять место у перекладины в ногах и протащить кровать через всю палату. Бай Дан, завопил я, сейчас же перестань! Мальчик, тебе необходимо движение, а раз ты слишком ленив или труслив, приходится мне выводить тебя на прогулку вместе с кроватью. Мой крестный явно рехнулся, он протащил мою кровать по всей комнате, да еще при этом грозил мне. Я даже начал за него тревожиться, у него стало такое красное лицо... Не хватало еще, чтобы с ним прямо в моей палате случился инфаркт. Господи, какие сложности! Его идиотское поведение принудило меня встать с постели. Невероятно, но из-за этой дурацкой возни я встал. Иначе он не уймется. Ясное дело, не уймется. Такой, как он, — да ни в жисть. Едва моя кровать ударилась о стену, я встал. И как всякий раз, голова у меня при этом слегка закружилась. А Бай Дан тем временем вознамерился протащить мою

кровать в другую сторону. Увидел меня. Окинул мрачным взглядом. И ринулся на меня, занеся над головой свою палку. Тут мне вдруг стало страшно. Он уже подошел ко мне вплотную и ударил меня рукояткой по заду, не изо всех сил, но все же чувствительно, очень даже чувствительно, и при каждом ударе он что-то приговаривал — и избавиться от этого не было никакой возможности. Тебе разве настолько обрыдла жизнь, что не желаешь хоть самую малость рискнуть? И очередной удар обрушивается на мой зад. Как ты можешь бояться неизвестного, если известное для тебя невыносимо? И опять удар. Обещаю тебе — и он угрожающе воздел свою палку — я буду бить тебя до тех пор, пока ты не возьмешь себя в руки, ой, пока не соберешься с духом, ай, пока не пойдешь со мной, ой-ой-ой.

Что тут еще оставалось делать — пришлось повиноваться. В конце концов, лежать можно и дома. Значит, можно и пойти с ним. Перестань, Бай Дан, я сейчас оденусь, ладно? Очередной удар, словно он не расслышал. Я надеваю джинсы, видишь? А потом рубашку, теперь ты доволен? Он явно не был доволен. Я спасся от его ударов в ванной комнате. Вот видишь, это мой несессер. Ой. Да иду же я, иду, только перестань. Когда я открыл дверцу шкафа, чтобы достать оттуда чемодан, более чем чувствительный удар снова обрушился на мой зад. Я бросил чемодан на пол, покидал туда свои вещи, покидал все, что подвернулось под руку. Он распахнул передо мной дверь, и мы покинули больничную палату.

— Но господин Луксов! — ужаснулись сестры, припустив за нами, — так же нельзя, ведь не можете вы просто так...

— Очень даже можем, дорогие дамы, вы и сами видите, что можем и что все прекрасно получается. Я — новый доктор, и я распорядился немедленно выписать пациента из больницы, и это не последнее мое распоряжение, еще ему показано движение, свежий ветер и волнующие беседы.

— Но ведь еще вчера главный врач...

Мы миновали стеклянную дверь и покинули больницу, сперва такси доставило нас к отелю, где проживал мой крестный, — весьма занюханное заведение. Крестный пробыл там очень недолго.

— Из-за тебя, мой мальчик, я совсем забыл посмотреть, как хозяин этого отеля использует свой подвал. Пожалуйста, Вальдштрассе, 5. Надеюсь, у тебя найдется свежее белье?

— Сюрприз,— изрек Бай Дан несколько дней спустя.

Я по большей части лежал в постели, читал, так, самую малость, Бай Дана привели в восторг некоторые книги на моих книжных полках. Я же позволял для себя готовить. Оказалось, что мой крестный умеет готовить потрясающие похлебки. Для начала он занялся самой кухней. Выкинул все бутылки, навел чистоту и отправился за покупками. Вернулся до того нагруженный, что ему пришлось крутиться и вертеться, чтобы хоть как-то пролезть в дверь. Он под завязку набил холодильник и стенные шкафчики тоже, а потом извлек из картонки гигантскую красную кастрюлю. Он принципиально пользовался для стряпни только большими кастрюлями. Он долго стоял на кухне, крошил, припускал и помешивал. И при этом слушал музыку. Престранные вещи, которые накупил для себя.

Я уже начал себя чувствовать несколько лучше, когда он выманил меня из дому обещанным сюрпризом и целеустремленно зашагал вперед. Мы поехали на метро в центр. Он уже хорошо знал город, а потому задал немыслимый темп. Должно быть, накануне, когда меня вызвали в клинику на заключительное обследование, он побывал здесь и все хорошенько осмотрел. А в каком-то переулочке мы — я просто не поверил своим глазам — остановились перед магазином велосипедов.

— Тебе чего здесь надо?

— Ты на велосипеде ездить умеешь?

— Почему ты спрашиваешь?

— Я спросил только, умеешь ли ты ездить на велосипеде.

— Конечно, умею. В свое время я довольно много на нем ездил.

— Замечательно, замечательно. Час от часу все лучше и лучше. Следуй за мной.

И он ринулся в магазин. Продавец его уже знал и приветливо с ним поздоровался, как с постоянным покупателем. Интересно, что Бай Дан успел у него купить.

— Ах, это и есть некоторым образом ваш партнер?

— Золотые ваши слова. Это и есть мотор. Как видите, вы зря тревожились.

— День добрый.

— Халло.

— Ты не поверишь, Алекс, но этот господин хотел отговорить меня от покупки. Представь себе продавца, который не желает продавать. Он считал, что я слишком стар для этого. Потом уже он мне признался, что опасался, как бы я не вздумал кататься на пару с престарелой мадам Дан. Пришлось его успокаивать, доказывать, что никакой мадам Дан в природе не существует и что напарником моим будет сильный молодой человек с железным здоровьем.

— Но...

— Чрезвычайно скромный молодой человек. А велосипедист отменный. Всю свою юность он провел в седле велосипеда.

— Бай Дан, эй, Бай Дан, я тебя спрашиваю. Куда это мы собираемся ехать?

— Не спеши, не спеши, я должен передать тебе устную рекомендацию самой Грачки с наилучшими пожеланиями. А теперь займемся новым участником нашего путешествия.

— Ну конечно же. У меня для этого все готово. Не будет ли вам угодно пройти за мной в заднее помещение? Чтобы сразу правильно установить седла и педали.

Бай Дан подмигнул мне.

— Пожалуйста, вот этот роскошный снаряд. Ваш дедушка непременно хотел купить самый лучший, а это и есть лучший велосипед из всего нашего ассортимента. Последний писк. 16 передач, передача от Шимано «dura ace», тормоза тоже от Шимано, педали дорожные. Я вам покажу, как надо управляться с тормозами.

Может ли тандем наскочить на вас, как бульдозер, или показаться не менее грозным, чем боевой корабль? В ответ на вопрос вам объяснят: тандем — это механизм, который служит для передвижения двух человек, состоит из двух сидений и двух пар педалей, из системы привода и руля, которым управляет человек, сидящий на переднем седле.

Не понимаете? Значит, вы спрашивали не у того, у кого надо. Спросите лучше у меня! И тогда я вам отвечу: тандем — это маленькое чудо, которое провезет по всему миру меня и Алекса. Это две пары ног, причем очень даже несхожие пары. Сзади — черная ткань шорт, ниже — поросшие волосом голые коленки и ляжки, впереди — вельветовые брюки и кожаные сапоги на шнуровке. Я довольно скоро пришел к выводу, что могу задирать ноги, ставить их посредине на перекладину и тем самым более или менее длительное время экономить силы. Пусть вкалывает тот парень, что сидит у меня за спиной. Как вы, вероятно, догадываетесь, он не устает браниться по этому поводу. Он не желает брать на себя всю работу. От меня только и проку, что всякие лихие присказки, упрекает меня он. Но ведь я сижу на руле. Это весьма ответственная задача, поскольку сам ты не имеешь ни малейшего представления о том, куда тебе надо. Наши головы тоже трудно спутать. Позади сидит лысый и защищает свою голову пестрой вязаной шапочкой, я же позволяю своим волосам свободно развеваться на ветру. Вот он уже опять чем-то недоволен. «Ты что хочешь сказать, мой мальчик?» — спрашиваю я и слышу яростное: «Не оглядывайся, повернись, не оглядывайся!»

Так мы и продвигаемся вперед на своем тандеме.

— Сперва на юг, — провозгласил он. Я спросил его, куда именно мы едем и как собираемся туда попасть. Он ответил: мне проще ответить на твой вопрос в уме, нежели

вслух, а ты наберись терпения. Пришлось мне привыкать к его зашифрованным ответам.

— Фантазия, — наставлял он меня, пока мы ехали по проселочной дороге, которая не донимала нас подъемами и спусками, — фантазия — это эликсир любой игры. Что ты видишь и как ты используешь увиденное. По обеим сторонам дороги тянутся поля пшеницы. Возьми первую попавшуюся машину, которая нас обгонит, и скажи мне тогда, что ты увидишь. Чего ты там опять выдумал? Не порть игру, Алекс. Пшеница под конец надоедает, давай лучше разглядывать машины. Итак, что ты видишь? Белый лимузин. Еще что? Состоятельный бизнесмен, который очень торопится, чтобы прибыть к назначенному сроку. Впрочем, это ты наверняка знаешь лучше, чем я, ты только чуть постарайся. Отец семейства с ребенком. Толстоват, как ты находишь? Итак, жирного потомка, жену, домостроительный кредит и роскошную машину он получил по лизингу, вдобавок он может по доверенности распоряжаться банковскими счетами своей матери. Возьмем теперь мать — что с ней, нездорова она, что ли, может, между ними нет ладу? Мать от старости выжила из ума, и он боится, как бы она не пустила все свои деньги на ветер или не отказала на нужды какой-нибудь секты, короче, он сделал так, чтоб ее признали неде-
еспособной, — тебе достаточно этих сведений? Разозлился? Ну и прекрасно, когда человек злится, у него обостряется зрение.

Мы едем, едем, едем по небольшому городку, позади — сельскохозяйственные угодья, впереди — горы. Мы проезжаем через средневековые ворота с заостренной аркой. Оставь надежду всяк сюда входящий, восклицаю я и сразу притягиваю удивленные взгляды тяжело нагруженных субботними покупками жителей города. «Помедленней, Бай Дан, — слышу я голос сзади, — притормози, пешеходная зона». И мы спешиваемся. Ратушное кафе, много столиков, стульев и зонтов. Здесь нам предстоит подкрепиться. Мы заказываем рогалики, чашку кофе с молоком и чашку шоколада. Крохотные ячейки теней ползут по скатерти.

— Мы соблазним на игру жителей этого городка. Алекс, подай, пожалуйста, мой мешок. Для этой простой игры довольно одной-единственной кости. Благодарю вас, фройляйн. А теперь помоги мне чуть передвинуть стол вперед. Три чашки и одна кость. Проще простого. Итак, где эта кость? Пробная игра. Видишь, кость здесь. Теперь следи. Где она теперь? Хорошо. А теперь? Еще лучше. Теперь я расстегну верхнюю пуговицу своей жилетки. Кость в это время тоже передвигается, исчезает, но, думается мне, ты знаешь, где она есть. Здесь? Ты уверен? А может, здесь? Ты уверен? Ну хорошо, будь по-твоему. Ошибочка вышла. Ты проиграл свой кошелек. Пожалуйста, передай его мне. А сам возьми в руки свою шапочку и собирай в нее наш выигрыш.

Любезнейшие дамы и господа, уделите мне минуточку вашего внимания, чтобы позабавиться игрой перед обедом. Я прибыл к вам издалека, чтобы помериться с вами силой. Вы — люди молодые и здоровые, у вас зоркие глаза и быстрые рефлексы, а я старый человек с Востока. Вот я открываю этот бумажник, достаю из него банкноту и призываю вас сделать то же самое. Игру вы знаете. Игральная кость, три чашки, тридцать процентов за то, что вы выиграете, еще прежде чем мы приступим к игре. Желаете, молодой человек? Тогда положите свою банкноту рядом с моей. Ваша храбрость не останется без награды. Начнем? На пробу? Вы видите: у меня медленные руки, а у вас быстрые глаза. Где у нас кость? Точно. А теперь, может, попробуем всерьез? Пока это еще несложно. Хотите быстрей? Вы еще успеваете следить за мной? Она лежит здесь, и лежит плохо, значит, надо бы ее переместить, туда, потом сюда, потом еще раз. Готово. Почтенные дамы и господа, этот зоркий молодой человек покажет нам, под какой чашкой лежит игральная кость. О-о-ох. Вы могли бы поклясться, что кость лежит здесь, более того, я бы и сам с вами согласился. Но лежит она под другой чашкой. А ну-ка, давайте посмотрим, вуаля. Знаете, что я сделаю? Я просто сохраню наши прежние ставки, чтобы вы могли взять реванш. Наверно, вы недостаточно сосредоточились, отвлеклись на какой-то момент. Это бывает. Теперь вы будете более внимательны. Начали! При этой игре, высоко-

чтимые дамы и господа, всегда существуют две возможности. Или вы, положившись на судьбу, выбираете одну из трех чашек, не считаясь с тем, что видят ваши глаза. Тогда ваши шансы можно оценить как один к трем. Или же вы попытаетесь следить глазами за костью, но тогда с каждым новым движением растет вероятность, что ваши глаза введут вас в заблуждение, и если я пять раз по-новому расставлю чашки, от вашего зрения требуется точность три к пяти. Можно подумать, что в этом случае ваши шансы на выигрыш заметно упали. Но и это было бы ошибкой, ибо вполне вероятно, что ваш зоркий глаз исключает любую случайность. Сложновато, не правда ли? Стойте, где ж это у нас кость? Нет, к сожалению, не здесь. Не горюйте, молодой человек, я благодарю вас за участие в игре и желаю вам хорошо провести выходной. Неужели в этом тихом, красивом городке не найдется более способных игроков? Рискуйте, против такого старого человека, чья ловкость уже знавала лучшие дни.

— Вы что это здесь делаете?

— Странный вопрос, господин вахмистр. Все собравшиеся здесь горожане знают и понимают: мы играем.

— Азартные игры запрещены.

— Разумное предписание, в высшей степени разумное предписание. Азартные игры — это дьявольская затея. Их необходимо держать под контролем. Но, знаете, там, откуда я приехал, азартные игры вообще вымерли. Это еще лучше. А знаете, почему они вымерли? Потому что у нас там все умеют играть в кости. Простой ответ. Не желаете сделать ставку?

— Немедленно прекратите игру, пока я не начал по-другому с вами разговаривать.

— Вы меня разочаровываете, господин капитан, эта игра не имеет ничего общего с азартом. Вот попробуйте сами. Вы видите эту кость? Я кладу ее под эту чашку и меняю местами несколько чашек. А теперь я спрошу вас: где кость? Вот видите, вы знали, потому что внимательно следили. Повторим. А теперь? Вы опять угадали. Что ж, вы станете утверждать, будто причиной всему азарт? Это не имеет смысла. Нет, объяснение проще: люди вашей профессии наделены незаурядной наблюдательностью. Вы согласны со мной? Если б вы поставили на кон что-нибудь из своей наличности, вы б уже были богатым человеком.

— А разрешение у вас есть?

— Но, господин вахмистр, вы меня ужасаете. Только что вы упрекали меня в том, что я занимаюсь запрещенными здесь азартными играми, а теперь вы требуете с меня разрешение. Как это прикажете понимать? Знаете ли, мы играем уже минут пятнадцать, и ни один из жителей вашего городка ни разу не выиграл. Как вы могли бы это объяснить? Ужасное невезение, не так ли? Но там, где есть невезение, должно быть и везение, не так ли? Представить себе не могу, чтобы в этом достойном городке можно было получить разрешение на занятие азартными играми. А теперь нам пора, дорогой господин полицмейстер, горы зовут. Мои высокочтимые дамы и господа, мы благодарим вас и отправляемся дальше, сохранив в душе самые прекрасные воспоминания о вас...

Не устраивай анданте, мой мальчик, сейчас у нас пойдет престо. Ну, двигайся, двигайся же, доходы ты подсчитаешь позже, надо ехать дальше, галоп, гоп-гоп, в седло, марш-марш, первый раз нажать педали, за ним второй, мы катимся дальше, все катимся и катимся...

Несколько дней спустя он предоставил в мое распоряжение горный перевал — подъем на Санкт-Неизвестнокто, двадцать один километр непрерывного подъема.

Наконец-то мы достигли перевала. Потрясающее чувство! Группу домов мы видели уже несколько минут назад, взглядом окинули последние повороты. Тут и самого Бай Дана охватила эйфория велосипедиста, и он начал так рьяно нажимать на педали, как, верно, не нажимал ни разу за все столетие. Задав высокий темп, мы миновали последний поворот и вышли на финишную прямую. Слева отстаивались автобусы. Туристы сновали взад

и вперед. Все уставились на нас с таким видом, словно им еще в автобусе сообщили по радио, что наша разновидность человекообразных давным-давно вымерла.

Мы отъехали, еще не решив толком, где нам остановиться, увидели за стоянкой статую святого, того самого Санкт-Неизвестнокого. Бай Дан и направил нас туда. Мы объехали статую. «Ты много с нас потребовал, — вскричал Бай Дан, — но мы охотно предоставили тебе требуемое!» — и он звучно высморкался. После этого мы высадились перед ресторанчиком.

С наружной стороны все стены дома были расписаны изречениями: «Хвала прилежанию, вера в Господа». Внутри все выглядело еще весомее. Полно народу. Нам встретилась ядреная кельнерша; в одной руке, которая сделала бы честь толкательнице ядра, она несла целую батарею пивных кружек, а на другой у нее был поднос с бело-коричнево-красноватыми кушаньями. «Сзади есть места»,— и она пробежала мимо нас. Сзади означало совсем сзади, самые плохие места во всем заведении, возле дверей на кухню. Чад и шум вдавили нас в скамьи. После двух бутылок минералки мы заказали себе поесть, тот самый красно-бело-коричневый вариант.

— Поздравляю, Алекс, ты выдержал первый серьезный экзамен. Порой меня охватывали сомнения, но теперь я вижу, что ты у нас еще хоть куда. Замечательно, замечательно. — Первый раз я оглядел своего крестного подробно и внимательно, словно лицо его могло мне что-то сказать; у него был внушительный лоб, широко и высоко изогнутый, словно большой экран, пригодный для кинескопа.

Кухонная дверь ни на минуту не оставалась в покое, позади Бай-Дановой головы она раскачивалась взад и вперед, словно работала на сдельной оплате.

— Ты слышал?— причавкнул Бай Дан.

— Что слышал?

— Ты только послушай, родные звуки. Кто-то за дверью чертыхается так, словно дважды просадил по три игры кряду.

Бай Дан встал и немного спустя вернулся, приведя с собой какого-то человека, у которого на груди виднелись остатки кушаний, а на лице синяки. Иво. Так представился этот человек.

— Вы к нам не присядете на минуточку?

— Почему ж и нет. Я ведь им сказал, что ухожу. Я это больше не намерен терпеть.

— Пить что будете?

— Двойной шнапс и пиво.

Мы продолжали есть, он пил. Когда все мы наелись, и отдохнули, и успокоились, Бай Дан спросил этого самого Иво, играет ли тот.

— Играю ли я? А вы вообще знаете, кто сидит с вами за одним столом? Если допустить, что я вообще хоть что-нибудь умею, то это именно играть. Тут меня никто не одолеет.

— Прекрасно, прекрасно. Нет ли тогда у вас желания разыграть пятерку с этим молодым человеком? Думается, вы бы могли кое-чему его научить.

— У меня уже зачесались руки. Надо поддаваться или как? Игра двух равных партнеров. Значит, это ясно, мне не хотелось бы, чтобы вы потом на меня рассердились, если вам придется несколько дней подряд утешать этого молодого человека. А принадлежности где взять?

— По части принадлежностей мы совершенно независимы.

И Бай Дан нагнулся к своему мешку.

Перед отъездом мне — впервые за много лет — хотелось петь. Я обыграл того хвастуна. В ходе игры положение иногда становилось угрожающим. Он начал с двух побед, да и потом не переставал похваляться. Я очень скис, пока Бай Дан не пнул меня под столом ногой. Тогда я собрался с духом. И выиграл. Теперь мы шли вровень, а я трижды выбросил дубль. Вот попробуйте проделать то же самое. Этот тип был разбит наголову. Ну как после этого не запеть!

Через несколько дней пути мы достигли Монако.

Остров миллионеров, как назвал его Бай Дан. Мальчик, нам надо снова пополнить нашу казну. Конечно, вчера вечером мы пили изумительное вино, но его качество слишком отразилось на счете, который нам подали нынче утром. Мимо пристани для яхт мы подъехали к Монте-Карло, свернули на стоянку перед «Grand Casino» и остановились возле двух спортивных автомобилей. Я просто не поверил своим глазам.

— Бай Дан, ты только посмотри!

— Какой-то автомобиль, что ли?

— Это не какой-то автомобиль, это «изо грифо». Самая прекрасная машина на свете.

— Странное название.

— Я отдал бы свою правую руку за возможность хоть один раз на нем проехаться.

— Пожалуй, это можно устроить и подешевле.

Бай Дан приковал наш тандем старой цепью, которую мы откопали в подвале моего дома. Размахивая руками, примчался донельзя взволнованный портье. Бай Дан сунул ему в руки маленький, перемазанный машинным маслом ключ от замка.

— Только, пожалуйста, не разъезжайте на нем, он, понимаете ли, не застрахован. И вдобавок взбрыкивает, когда на него садятся посторонние люди.

Оказавшись внутри, Бай Дан сделал выбор в пользу баккары. Рулетка, на его взгляд, отнимает слишком много времени. Карты ему, впрочем, тоже не по нраву. Хреновые инструменты, пробормотал он.

— Месье, сюда вам садиться нельзя.

— Pardon?

— Этот стол предназначен для высоких ставок.

— Уж не произвел ли я на вас ложное впечатление?

— Я уверен, что и в других залах есть свободные столы. Вам будет там очень удобно. Так что уж будьте так любезны...

— Какая ставка открывает доступ к этому столу? ...Ну, коли так, я попросил бы вас придержать для меня это место. Я вернусь ровно через десять минут.

— Как это ты вернешься через десять минут? Откуда ты возьмешь деньги?

— Тебе когда-нибудь доводилось ночевать под открытым небом, у костра? Просыпаешься среди ночи, тебе холодно, костер весь прогорел, кроме последней искорки. Ты принимаешь решение снова раздуть огонь. А у нас жетонов на несколько сот франков. Это больше, чем последняя искорка.

Нет нужды сообщать, что Бай Дан выиграл. Меньше чем за десять минут он набрал сумму ставки, необходимой, чтобы играть за высоким столом. Он приветствовал банкомета и взглянул на свои часы.

— Надеюсь, я не опоздал. А вот и моя ставка. Прошу вас.

Первые признаки беспокойства со стороны дирекции казино стали заметны, когда к столу подошел небольшого росточка господин с проседью и шепнул на ухо банкомету несколько слов. Затем господин снова исчез. А Бай Дан успел за это время выиграть сумму, с помощью которой мы могли сделать вполне серьезное предложение владельцу «изо грифо».

Человек, сидевший рядом с нами, проиграл огромные деньги, которые, соответственно, выиграл Бай Дан. Судя по всему, это был нувориш, лицо как пещера — все в сталактитах и сталагмитах, массивное тело упрятано в шелковый костюм цвета «chamois»[1]. Вид несколько помятый — в соответствии с потерями, понесенными за игральным столом. Время от времени он засовывал в брючный карман левую руку, проводил большим пальцем по шву, наполовину вытаскивал руку из кармана, а пальцами правой руки он в то же самое время заказывал карту и сообщал ставку. Когда разнообразия ради он один раз

[1] Бежевый (*франц.*).

выиграл, левая рука вылетела из кармана рывком, и на пол упала связка ключей. Я поглядел на брелок — «мазерати лого» — и тотчас толкнул в бок Бай Дана.

— Тот, что сидит рядом... «изо грифо» принадлежит ему.

— Да ну! Счастья это ему не прибавило. Принеси мне, пожалуйста, чего-нибудь попить...

Пока Алекс вернулся со стаканом и бутылочкой, я уже вел продиктованный случаем разговор с держателем «мазерати».

— Мне неизвестно ваше финансовое положение,— говорил ему я,— но вы проиграли сумму, огромную по всем масштабам. Вероятно, вы вполне можете это себе позволить. А если нет? Возможно, этот день будет иметь для вас самые неприятные последствия. Угрызения совести, гнев вашей жены, упреки вашей семьи. Возможно, у вас когда-то кончатся деньги или кто-то завернет кран, из которого они поступают. Короче, когда человек так лихо проигрывает, с ним может произойти множество неприятных вещей. Стоит ли доводить до этого? Не следует ли нам этому воспрепятствовать?

— А как?

— Заключив некую сделку, выгодную для обеих сторон. Я дальше буду играть за вас, вместо вас, на свой страх и риск, но в вашу пользу. Если я выиграю много, сколько вы, к примеру, проиграли сегодня вечером, я взамен попрошу у вас, чтобы вы на полчаса предоставили вашу машину в распоряжение моего внука.

— Мою машину?!

— На время его отсутствия я сам останусь возле вас, а перед тем как уехать, он оставит вам свой паспорт.

— Вот уж не знаю...

— У него есть права...

— А если вы не выиграете?

— Тогда все обязательства с вас снимаются.

— То есть я ничем не рискую? Согласен, но не больше чем на полчаса.

— Замечательно, замечательно. Можете не сомневаться, что машина не будет отсутствовать ни минуты дольше.

— И это все?

— Да, почти все. Остается только одна мелочь, один пустяк, одна ерундовинка, о которой и говорить-то не стоит. Мы оба, мой внук и я, находимся здесь проездом, а вообще-то разъезжаем на тандеме для собственного удовольствия. Надеюсь, вам это понятно. И я предполагаю, что мой внук захочет на вашей быстрой и маневренной машине подняться на главную гору этого городка. Это вполне вероятно, не так ли? Да, чем больше я об этом думаю, тем больше прихожу к выводу, что он именно так и поступит.

— Если это вообще состоится.

— Ну разумеется, лишь в том случае, если мы выиграем. Он поедет как раз по этому серпантину, ему не надо при этом выкладываться, он может насладиться видом города сверху. Я слышал, что он, вид сверху, просто потрясающий. Но в таком случае будет ли справедливо, если сам я окажусь лишен этого удовольствия? Я тоже был бы куда как рад полюбоваться видом на залив, и город, и побережье. Но как? Как мне туда подняться?

— Да просто поехать вместе со своим внуком.

— Ах, я совсем забыл рассказать, что такого рода машина совершенно неприемлема для человека, который страдает клаустрофобией. Теперь вы понимаете мою дилемму? Мой шофер поехал передо мной на — как она называется, ваша модель? — на «изо грифо», а что будет со мной, это уж моя печаль. Вы меня поняли?

— Нет. Не пойму, к чему вы ведете.

— Мне нужен партнер, который закатит меня на гору. Который займет на тандеме заднее место и будет усердно крутить педали. И я даже знаю человека, который вполне подходит для этой роли.

— Нет.

— Не нет, а да.

— Исключено.

— Никоим образом.

— И речи быть не может. Вы знаете, какой длины здесь подъем. Без машины это чистое самоубийство.

— Ну, не так уж и страшно.

— Нет, нет, только не со мной. Я не могу.

Человек встал из-за стола и сделал несколько шагов в сторону. Он хромал.

— Не того вы попутчика выбрали. У меня нога деревянная.

— Очень жаль. Тогда мне не придется полюбоваться этим видом.

Взяв у меня из рук стакан и сделав большой глоток, Бай Дан принялся играть за двоих. Хозяин «мазерати» с кислым и недоверчивым выражением глядел, как растет перед ним стопка жетонов и фишек, которые Бай Дан выигрывает слева от него. Он глубоко ушел в свое кресло и непрерывно курил.

Спустя полчаса на стоянке он сунул мне в руку ключи от машины. Когда же я приехал обратно, сверхсчастливый, в полной эйфории оттого, что мне довелось посидеть за рулем этого сказочного автомобиля, вернул «изо грифо» по принадлежности и снова плюхнулся на жесткое заднее седло, когда я нажал на педали и попрощался взмахом руки — причем ни владелец «мазерати», ни портье, судя по всему, не обратили никакого внимания на мою любезность, — Бай Дан сообщил мне следующее: этот некрасивый человек в измятом костюме оказался нашим соотечественником по имени Стоян Стоянов, а машину он взял напрокат, чтобы произвести впечатление.

— На кого?

— Об этом я спрашивать не стал, — отвечал Бай Дан, — чтобы не услышать в ответ какую-нибудь ложь.

Через несколько дней мы попали в Лондон.

Тандем мы привязали на цепочку перед Британским музеем. Бай Дан одернул свой жилет.

— В этом музее хранится самая драгоценная игральная доска. И еще здесь работает мой старый друг Константин. Вот он нам ее и покажет.

Друга Константина мы обнаружили в Королевской библиотеке. Старики обнялись, под ними затрещал деревянный пол. Несколько посетителей взглядами дали понять, что им мешают эти звуки.

— Константин, а это мой крестник Александар.

Он пожал мою руку и внимательно оглядел меня.

— Много лет назад я был знаком с маленьким и очень бойким Александаром. В лагере. Как твоя фамилия?

— Луксов.

— Ну значит, мы встретились снова.

И он вторично потряс мою руку.

— А как поживают твои родители?

— Они умерли.

— Очень жаль. Это были хорошие люди. Как же это случилось?

И тут произошло нечто удивительное. Несколько недель назад я пропускал мимо ушей все вопросы Бай Дана, испытывая сильнейшую неохоту говорить на эту тему. Но теперь, когда на меня были устремлены две пары сдержанно любопытствующих глаз, в мудрой и вневременной атмосфере музея, я был готов ответить на его вопрос во всех подробностях.

— Это была первая настоящая машина, которую они смогли себе позволить. Пер-

вый лимузин, он и в самом деле кое-что собой представлял, до тех пор были все сплошь маленькие, проржавленные «фольксвагены» и «фиаты». Мать сумела настоять на своем: сперва квартира, потом настоящая машина. А не наоборот. Я уж и не помню, какой марки была машина. Я всего лишь раз на ней прокатился. Когда при мне произносят слово *гордый*, я вижу своего отца за рулем в тот день, он насвистывал, что делал, лишь пребывая в исключительно хорошем настроении. И когда машина поменьше, одна из тех, на которых он и сам ездил до этого дня, ему мешала, он начинал ругаться, что вот, мол, люди не знают, в каком ряду им положено ехать. Думаю, и мать тоже была под впечатлением. Ехали мы в ресторан, где подавали форелей, здесь же выращенных. Отец меня подзадоривал, и я тоже съел целых две рыбины. А на обратном пути я заснул прямо в машине. Было так удобно... Какой-то болван мне потом показывал снимки. Я даже не признал в этой груде железа нашу машину. Что бы тогда ни произошло, оно произошло очень быстро. А я очнулся только на больничной койке.

— Константин, прежде чем мы увязнем в воспоминаниях, я хотел бы, чтоб ты показал нам ту самую доску, о которой уже писал. Я сгораю от любопытства. А потом растолкуй мне, как бы ее похитить.

Доска оказалась редкостной красоты. Маленькая, гораздо меньше, чем предполагал Бай Дан, но каждый миллиметр ее был выложен ромбовидными драгоценными камнями, если не считать массивного дерева краев и ребер. Накладные зубцы были из листового золота, а сами игральные кости — из кости слоновой.

— Невозможно поверить, что это произведение искусства когда-то находилось в нашем городке. Константин, можно я хоть раз брошу одну косточку?

Убедившись, что никто за нами не следит, Константин утвердительно кивнул. Бай Дан потер две маленькие игральные кости между пальцами одна о другую, помешкал.

— А чья она была с самого начала?

— Одного перса.

— Ну что ж, тогда посмотрим, чем мы можем потешить этого перса.

Кости вылетели из его руки, ударились одна о другую и дружно остались лежать рядышком, как дубль-шесть.

— Недурно, Бай Дан, недурно, но человек, который привез эту доску из вашего городка в Англию, тот бросал еще лучше.

— Ты меня что, оскорбить хочешь?

— Да никоим образом. Просто тот человек желал выиграть любой ценой. А это дает порой изрядное преимущество.

— Кто ж это был?

— Один британский офицер по имени Ричард Бартон, он служил в Индии и только что подавил восстание в Афганистане. Человек он был любопытный, любил путешествовать, а потому и добирался домой без всякой спешки. И вот однажды он нашел городок в горах, ему показали тамошнее кафе, он сел там перекусить и мог видеть, как туда стекаются игроки. Достал свою записную книжку, сделал наброски некоторых лиц, зарисовал внутреннее убранство кафе и попросил хозяина представить его игрокам.

— А как доска этого перса попала в городок?

— Тогдашний глава игроков был хаджи. По дороге в Иерусалим он познакомился с этим персом, перс был из королевской семьи, родственник Мухаммеда Шаха. Времена в Персии были тогда беспокойные, и знатный англофил решил под предлогом выполнения дипломатической миссии на некоторое время осесть в Англии. И тут оба обнаружили общую страсть — игру. По-персидски она называется «такхданард» или как-то похоже, здесь я не специалист. Персиянин держался надменно и был уверен в победе. Он пообещал, если проиграет, подарить своему противнику доску. И он проиграл. А хаджи вернулся домой вдвойне обогащенный — во-первых, с бутылочкой освященной воды, а во-вторых, с этой доской в поклаже.

— Где ж она хранилась, эта доска?

— В кафе. После того как остальные игроки увидели эту доску, никто из них, разумеется, больше не желал довольствоваться простыми местными досками — они каждый вечер требовали эту драгоценность.

— До тех пор пока не появился Ричард Бартон?

— И не оказался страстным и способным игроком. Его, конечно, пригласили в игру. Поначалу они играли для безобидного времяпрепровождения. Бартон решил несколько дней отдохнуть в этом городке. В течение дня он обычно бродил по окрестностям и даже совратил одну крестьянку (по каковой причине после смерти Бартона жена сожгла его балканский дневник, где он по свойственной ему привычке наиподробнейшим образом все записал). По вечерам он тешил игроков в кафе всякими восточными историями — он говорил по-арабски и по-турецки, а те, кто знал эти языки, переводили. А вот игра — особенно когда играли хаджи и Бартон — с течением времени становилась все более ожесточенной. И ни один из них не мог похвастаться явным превосходством. Но тщеславие пожирало их время и разум. И чем меньше была разница в счете, тем более яростным становилось желание утвердить за собой славу лучшего игрока. Тогда они заключили пари: поставили доску перса против свободы англичанина. В случае победы Ричард Бартон получал право забрать с собой доску, а в случае поражения он обязывался остаться в городке и помочь в организации сопротивления против османского ига. Играли они, играли, а победителя все не было и не было. Кто выигрывал одну партию, тот проигрывал другую, потом опять выигрывал, с тем чтобы проиграть следующую. Они играли, делали перерыв лишь затем, чтобы наскоро перекусить и поспать несколько часов. Соотношение сил не менялось — ни один из них не мог выиграть два раза кряду. Во время одного из таких перерывов хаджи откинулся назад в своем кресле, скрестил пальцы и промолвил:

— Нет, эффенди Бартон, нельзя же, чтоб решение вопроса, кто играет лучше, зависело от того, четное мы сыграли количество партий или нечетное.

— Совершенно справедливо.

— Надо добиться ясного решения.

— Целиком и полностью с вами согласен.

— Какие у вас будут предложения?

— Пусть все решит один-единственный бросок. Кто выбросит больше очков, тот и есть победитель.

— Эффенди Бартон, правильно ли я вас понял, вы хотите доверить нашу судьбу прихоти случая?

— Если угодно, можете называть это именно так.

— Итак, один бросок, один-единственный бросок. Желаете начинать?

— Только после вас.

Хаджи смолк, перестал двигаться. Все, кто уже был в кафе, поспешили к ним. Воцарилась полнейшая тишина. Быстрым движением хаджи выхватил кости и бросил. Рука его застыла в заклинающем жесте. Кости легли на один из золотых зубцов, как немногим ранее твои единодушно легли рядом. И обе показывали шестерку.

— Шесть и шесть, dju schesch, на Востоке, как и на Западе, это максимальный результат, эффенди Бартон. Помощь человека, наделенного такой страстью и образованием, доставит нам большую радость.

— Не спешите, мой друг. Ведь и в моих костях имеются две шестерки, надеюсь, вы позволите, чтобы им мы тоже дали шанс.

— Ну разумеется.

Бартон стиснул кости руками и с большой силой выбросил их. Одна кость ударилась об угол, да так и осталась там лежать. Шестерка. Зато другая крутилась, вертелась, металась по доске, ударилась о противоположную сторону и раскололась. Семерка. Итак, Бартон набрал шесть и семь.

— Семь?

— Да, семь.

— Ну конечно, ты прав. Две противоположные стороны всегда дают семерку.

— И по сей день мнения расходятся. То ли это был Божий промысел, невероятное стечение обстоятельств, то ли Бартон использовал должным образом подготовленные кости. Можно было предположить и то и другое, ибо Бартон был человек рисковый и вдобавок великий плут.

— И еще он переводил сказки «Тысячи и одной ночи».

— Бай Дан всегда выступал в роли скептика. Вот почему они провозгласили твоего крестного директором банка. Ты знал об этом? Сие отнюдь не означало, что банк начал функционировать. Наш дорогой господин директор использовал свой теплый кабинет лишь для того, чтобы наверстать упущенное и прочесть несколько оставшихся там романов. Если директор банка в течение всего рабочего дня читает Свифта и Стерна, добром это не кончится. Поскольку никакие платежные операции не совершались, а срочные письма возвращались с пометкой «Адресат выбыл в неизвестном направлении», Центр наслал на банк ревизора. И ревизор этот поднялся по нелегкому пути в горы. Но когда он достиг городка, ему пришлось самолично открывать двери банка — и дверь при этом кряхтела от недовольства. Он вошел, ничего не понимая, он бродил по пустому залу и в конце его постучал в дверь директорского кабинета. Войдите, откликнулся голос, судя по тону явно недовольный помехой. Ревизор испытал чувство глубокого облегчения, когда отыскал по меньшей мере директора, хотя сей последний не склонялся ни над принесенными на подпись документами, ни над вызывающими подозрение счетами, а вместо того, возложив ноги на стол — в домашних туфлях, разумеется, он всегда знал толк в хороших манерах, — углубился в чтение книги. На мгновение подняв глаза, он жестами пригласил посетителя входить. Едва тот сел, директор начал вслух зачитывать страницу из «Тристрама Шенди»[1], которая ему особенно понравилась. Час спустя — ревизору как раз удалось сообщить свое имя — директор вдруг встал и объявил, что рабочий день окончен. Затем он любезно открыл перед ревизором дверь своего кабинета и двери банка. У подножья лестницы уже дожидались игроки, которые были немало удивлены, когда увидели, как из банка выходит и еще один человек. Все вместе направились к кафе. Свой шок ревизор успел преодолеть лишь по дороге домой. В кратком отчете он порекомендовал безотлагательно закрыть этот филиал, а само здание продать. И пришлось твоему крестному отцу читать романы в другом месте.

— Константин, следи за тем, что ты рассказываешь. Не то ты отнимешь у мальчика веру в правдоподобие происходящего. Лучше расскажи нам, чем ты в настоящее время занимаешься.

Мы ездили на своем велосипеде с севера на юг, с востока на запад и снова с юга на север, мы проезжали мимо живописных ландшафтов, через города и деревни, где Бай Дан обнаруживал такое, чего я там никак не ожидал увидеть. Мы ночевали в амбарах, на двуспальных кроватях, в мансардах, у новых знакомых, у старых друзей Бай Дана либо в пансионатах. Мы посещали ярмарки и лавки старьевщиков, мы снова и снова встречали своих земляков — можно было подумать, что теперь их вообще за границей больше, чем на родине. В музеях Бай Дан показывал мне знамена, под которыми — ах, как давно это было — собирались народные массы; он сводил меня к одному клоуну, который раньше был террористом, и в трехзвездочный ресторан, который прежде был тюрьмой. Порой я задавал себе вопрос, кому все это нужно, иногда я спрашивал у него, но ответа не получал. В лучшем случае он мог мне сказать, что я вполне обоснованно сбился с пути. Каждый вечер он пытливо меня оглядывал, словно желая посчитать мой пульс, а однажды

[1] Имеется в виду роман английского писателя Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», написанный в 1760—1767 гг.

вечером, когда мы заночевали в шотландском замке, в котором много столетий назад был злодейски вырезан целый клан английских солдат и который прекрасно подходил для рекламы шотландского виски — камин, рога, соответствующий узор, — он вдруг кивнул и сказал, что я вполне созрел для моря. Словно море — это последняя стадия спасения.

И мы погрузились на корабль и отплыли в Америку.

Тандем был для этой цели упакован в деревянный ящик. Бай Дан потребовал, чтобы в ящике просверлили несколько дырок. Корабль отвалил от причала. Все пассажиры стояли вдоль релинга и махали друзьям и знакомым, тогда мы тоже стали махать. Проснувшись на другое утро, мы обнаружили себя в открытом море.

В первые дни поездка не представляла особого интереса, если не считать морской болезни да разговоров, которые с тем же успехом вполне можно бы вести и на суше. Но потом мы познакомились с одной парой. Возле бассейна, под аркадами, где мы предпочитали проводить время, стояли два стола для пинг-понга. Бай Дан был страстный и начисто лишенный способностей новичок, который при каждом мяче с неимоверным апломбом воздевал вверх обе руки, что у дирижера привело бы к грандиозному вивачиссимо, а в пинг-понге лишь к удару мимо цели. Я не мог удержаться от смеха, когда Бай Дан хмуро отправлялся за улетевшим шариком. А позади, за вторым столом, раздавался непрерывный перестук, словно там был включен метроном. После множества терпеливых подач Бай Дан изловчился наконец четко и метко отбить — я даже не успел увидеть шарик, он прошипел мимо моего уха. Пришлось теперь мне за ним бежать. Я обернулся, готовый отыскивать его и заодно принести извинения, если мы своей игрой помешали более сильным, судя по звуку, игрокам. Девушка, молодая женщина неземной красоты стояла передо мной, протягивая мне наш шарик. Я пробормотал слова благодарности и возобновил игру с Бай Даном, которая вдруг утратила для меня всякую прелесть. Он сам предложил окончить игру и перебраться в бар при бассейне. Я был непомерно удивлен, когда увидел, что Бай Дан прямиком вырулил к тому столику, из-за которого было всего сподручнее глядеть на второй теннисный стол. После того как я сел и предварительно обвел взглядом все стороны света, — а оттуда доносилось все то же неутомимое щелканье, — я решил наконец бросить взгляд и на доску стола. И тогда я уразумел, чем объясняется интерес Бай Дана: против этого юного и красивого существа играла немолодая дама, работая закрытой ракеткой почти вплотную к столу, она стояла чуть наклонясь и коротким движением посылала вперед верхнюю часть тела. Возможно, эта талантливая теннисистка была бабушка, которая наносила очень точные удары, даже когда ей приходилось доставать мяч от левого или правого края стола.

— Впечатляет, — промолвил Бай Дан.

— Тебе с ними не тягаться.

— Ничего, я люблю женщин, которые могут меня чему-то научить.

Весь остаток дня я ломал голову над проблемой, как бы мне познакомиться с этой девушкой. После того как я успел смоделировать до сотни разных ситуаций и сочинить до тысячи изысканных обращений, Бай Дан вечером покинул меня перед входом в ресторан и проследовал к группе кресел, где обе дамы пили аперитив. Подошел просто так, безо всякого, что-то сказал, они о чем-то поговорили, потом он вернулся ко мне и сказал:

— Идем, я тебя представлю.

Немного спустя мы все четверо уже сидели за общим столиком и изучали меню. Крестный и бабуля — это и в самом деле оказались бабушка и внучка — принимали оживленное участие в беседе. Она заплела в косу свои седые волосы. Лицо ее напоминало берег, по которому, словно прибой, уже прокатилось много разных историй, оставив по себе всевозможные дары моря. В течение всего ужина старики наслаждались жизнью, тогда как мы с девушкой только нагоняли друг на друга робость. Время от времени один из старших пытался втянуть нас в разговор, но наши односложные ответы словно уходили в песок. Когда подали основное блюдо, Бай Дан рассказал про Умеева-младше-

го. Добравшись до истории с красками, которыми мальчик должен был расцвечивать свое море, он стал многословнее.

Итак, у мальчика больше не было синей краски, вот он и начал пускать в ход другие, как бы догадавшись, что море не всегда сияет лазурной синевой. Что оно может быть и зеленым ближе к берегу или в месте впадения рек, коричневатым возле рифов и даже черным, а там, где дно илистое, — серым. Меловые берега осветляют его, скопление кораллов на дне делает его светло-зеленым, а множество мелких морских животных и растений — оливковым, красноватым или желтоватым. Ночью море может приобрести молочную белизну и даже светиться. Морские животные светятся, одни — бесцветно, другие — красновато, третьи — синевато, желтовато, зеленовато. Одни светятся постоянно, другие — лишь тогда, когда двигаются их мускулы. А когда совсем тепло, море вообще может стать прозрачным, и это прекраснее всего, свет, будто грабли, тысячей зубцов проникает в него и заливает таким сиянием первые пятьдесят метров, что можно сверху разглядеть стаи и слои живой жизни.

Бабушка зачарованно внимала. Бай Дан говорил о море, как о своем лучшем друге. После кофе он пригласил бабушку прогуляться по палубе. А вы чем займетесь? Оба уже встали с мест, их взгляды — строго и нетерпеливо — призывали нас наконец-то хоть что-нибудь предпринять. Я предложил партию в бильярд. Бай Дан помог бабушке надеть жилет, она вцепилась в предложенную им руку.

О бильярде мы имели некоторое представление, а именно — мы знали, каким концом кия следует толкать шар. Если нам и удавалось попасть в лузу, то лишь случайно, и ни одного раза — в намеченную. Это мы так расслаблялись. На ней было платье до колен и без рукавов. Мы улыбнулись друг другу. Раз. И еще раз. И соприкоснулись, случайно, бегло. Посмеялись над промахами и над шарами, которые все падали на пол. Еще на ней были сандалии, напомнившие мне фильмы из римской жизни, ремни над подъемом и щиколоткой, а выше — путы, обмотанные вокруг голени. Еще мы разговаривали. В какой-то момент она задорно глянула мне в глаза и сказала: «А ты, оказывается, философ». Я поцеловал ее в щеку. Еле коснувшись. Она сказала, что могла бы выйти замуж только на морском берегу, а другого места себе просто не представляет. И мы пошли на палубу, мы разговаривали, сверху вниз смотрели на море, на гребни и долины волн при едва заметном прибое. Мы были одни-одинешеньки на всей палубе. Море отличалось от неба лишь в оттенке серого цвета. Я обнаружил родинку у нее на мочке уха. Мы сели в шезлонги. Я так развернул свой шезлонг, чтобы можно было положить голову к ней на колени. Она взъерошила мои волосы. Мы разговаривали. Разговаривали и разговаривали. Мне пришел на ум Бай Дан. Бабушка в разговоре упоминала, что у нее отдельная каюта, так как она сильно храпит. «Я тоже храплю, — ответил на это Бай Дан, — но мальчик спит очень крепко».

— Я думаю, что после прогулки они по всей форме попрощались друг с другом и пошли спать.

— Я тоже так думаю.

Мы помолчали. Я закрыл глаза. Ее пальцы бегали по моим вискам. Подняв руки, чтобы обнять шею девушки, я слегка задел ее грудь. Она воспротивилась со смехом и пригрозила мне. Отлучением и ссылкой. Я открыл глаза. Ночь успела измениться. Под легким дыханием рассвета. Мы приветствовали зарождение дня, устало вытянувшись. Чело неба просветлело и сбросило темное покрывало с моря, которое вздымалось и опадало, как грудь спящего. Задул ветер. Море проснулось, растеклось по небу и напоило воздух, морская пена уплывала с облаками. Первые лучи — и мы решили принять холодный душ. «Пойдем ко мне, — сказала она, — чтоб не будить твоего крестного». Под душ я встал первым, а когда вышел, она спала поперек своей кровати. Я накрыл ее одеялом и вышел.

Затем я бесшумно отворил дверь нашей каюты. Занавески пропускали в нее лишь слабый свет, но и этого было достаточно, чтобы понять: на койке Бай Дана никого не

было. Постельное белье не смято. Симметрично сложено, как это делала наша горничная. Нет, Бай Дан этой ночью здесь не появлялся.

Палуба оставалась такой же пустынной. Я провел рукой по релингу, а голова моя была полна свежих воспоминаний, как спелая дыня — семечек. И вдруг меня пронзило ощущение счастья, реальное, как укус пчелы. Мне захотелось двигаться, прыгать зигзагом, используя распростертые руки — как несущие крылья. Я подпрыгнул. И чуть не сбил с ног уборщицу.

Понятно, что после событий минувшей ночи Бай Дан принялся разглагольствовать на тему, какая существует разница между любовью у молодых людей и у старых. Я проплыл несколько дорожек, а он все лежал в шезлонге и потягивал некий напиток, который весьма пришелся ему по вкусу, хоть и был это какой-то сомнительный коктейль под названием «Клаб спешл».

— Заказать на твою долю?

— Нет, спасибо.— Я положил руки на рифленый край бассейна.

— Мне неоднократно доводилось наблюдать любовь молодых людей.

Он покачал головой, словно в крайнем изумлении.

— Ну и что?

— Когда влюбляется молодой человек, проходит совсем немного времени, и вот уже эта любовь становится вполне самостоятельной, живет своей, особой жизнью, выходящей далеко за пределы его страстей и желаний. И напротив, мы, старики, целеустремленно и четко принимаем решение в пользу страсти, которая нам нужна, и этим довольствуемся. Не знаю, правда, можно ли это назвать страстью. Один высоко мною чтимый господин где-то когда-то писал, что мы ложимся в постель, приняв предварительно лишь одну-единственную меру предосторожности: не простудиться бы. Он прав, мы ни о чем не тревожимся и не строим никаких иллюзий. Ибо было бы вредно для здоровья воображать, будто к тебе вернулась юность, прямо за ночь, при обмене касаниями и соками тела, и сам ты обернулся молодым любовником, и тебе принадлежит весь мир. Большая стрелка часов нашей жизни указывает на такое обилие немощей, что мы не знаем толком, как долго мы еще сможем тешиться любовью. Мы не должны даром терять время, мы приемлем любое выпавшее на нашу долю сокращение пути, вместо того, чтобы шнырять по кустам.

Спустя несколько дней мы прибыли в Невйорк, как это произносит Бай Дан. В одно слово. Как ни странно, Бай Дан здесь никого не знал, хотя город должен бы кишеть игроками и бывшими арестантами. Но по чистой случайности никто из них не был знаком с Бай Даном. По нашей просьбе пароходная компания забронировала для нас номер в отеле. Организовав размещение тандема, мы сели в одно из этих желтых такси.

Поскольку Бай Дан уложил наш багаж на заднее сиденье, я хотел сесть спереди, но движением указательного пальца таксист этому воспротивился. «Назад, — закричал он, — впереди лежат мои макалки». И он говорил чистую правду: впереди действительно лежали его макалки. На переднем сиденье, пять круглых пластиковых коробочек со всевозможными соусами.

— Лично я предпочитаю макалки. Куда поедем-то? Со всякими хрустиками, ну там чипсы и тому подобное, ко мне можете даже и не соваться, но вот макалки — это да. — Вдруг в руках у него оказалась морковка, которую он не мешкая макнул в одну из коробочек.

— Я все всегда беру с собой из дому. Паприку, огурцы, сыр, нарезаю их полосками, чтобы макать сподручней.

— Паприка? Огурцы? А сыр вы какой берете?

— Овечий, но чтобы очень свежий, молодой, не то он крошится.

— Овечий сыр? А откуда вы сами-то приехали?

Бай Дан услышал название страны, и это было первое слово, которое он понял в Нью-Йорке.

— А про нас он что говорит?

— Вы разговариваете на...

— Земляк!

Звали его Топко, Топко, the Taxidriver, бывший член Национальной сборной, который слинял в Мексике во время мирового первенства. В решающем матче его ввели на семьдесят седьмой минуте. Они меня всегда пускали в ход все равно как джокера. Это ж надо! Едва я вышел на поле, как нам сразу же представился неслыханный шанс. Топко вполне мог завоевать бессмертную славу. Счет один—один, длинный пас по проходу, прорвать защиту, которая, конечно же, возлагает надежды на офсайд, бросается под ноги Топко, вовремя набравшего скорость. Топко бежит без всяких препятствий на вратаря. Осталось пятнадцать метров, десять. Надо бить! У меня было так много разных возможностей, я мог пробить верхний мяч, над головой у вратаря, дать крутой мяч понизу, в угол, обвести вокруг вратаря или выманить его из ворот и преспокойно вкатить мяч в ворота. Все эти мысли промелькнули у меня в голове, пока я вообще не перестал соображать, на каком я свете, и так бездарно ударил, что мяч откатился за угловой флажок. А это был наш последний шанс.

Я рассуждал слишком много, вот! Тренер мне дал такого леща! Перебор в мозгах, вот! Это и есть самая проклятая проблема человека, у него слишком много мозгов. Чуть бы поменьше — и мы бы вышли в четвертьфинал!

— Престранные у них дома. — Бай Дан больше глядел в окно, чем слушал.— Вот этот, например, выглядит как мозаичный набор, который только и ждет подходящего облачка, чтоб насадить его на макушку, а вон тот... Господи, почему у него шпиль кривой, словно заказчик разорился перед самым завершением работ?

— Косые крыши — это у них очень модно, они вроде бы накапливают солнечную энергию. Вот сидел я, значит, у себя в номере и думал, как дома меня все будут обзывать дураком из-за этого прекрасного шанса, а мне и без них уже было очень стыдно, такое из головы не выбьешь, а эти жирные гады, эти футбольные эксперты по партийной линии, они еще много лет подряд будут тыкать мне в морду... вот я и вышел тихонечко на улицу, среди ночи, это было проще простого, потому что с вечера мы все здорово набрались, мой сосед по комнате, правый полусредний, деревенский пентюх по фамилии Иванов, впадал почти каждую ночь в зимнюю спячку. А потом я очутился здесь. Ну, это длинная story, здесь на футбол всем наплевать, nobody cares a damn.

Мы уговорились с ним на другой день, он был готов возить нас все время, которое мы намерены здесь провести. Бай Дан уплатил ему задаток.

Завтра есть рейс, и осталось два свободных места. Алекс и Бай Дан вылетали из аэропорта Кеннеди. Им предстояла одна пересадка, с одной линии на другую. Они позвонили Златке, которая уже так долго их ждала, что успела за это время сварить на пробу все мыслимые и немыслимые десерты.

— Но я ведь предупреждал тебя, что на это уйдет не меньше нескольких недель. Все оказалось трудней, чем я предполагал, но теперь задержек не будет. Прибываем завтра вечером.

— Я вас встречу.

— Не надо, Златка, у нас есть собственный транспорт.

— Я вас встречу.

— Как это ты нас встретишь?

— Я попрошу соседа снизу, во-первых, у него есть «москвич», а во-вторых, ему целый день нечего делать.

— Мы очень рады, Златка, что скоро тебя увидим. — И он назвал ей время прибытия.

Сосед с готовностью вызвался помочь. Хотя нельзя сказать, что Златка предоставила ему возможность выбора. Вот она и сидит в зале ожидания на скамейке, в лучшем из своих костюмов, дважды перешитом, в туфлях, которые совсем недавно получила из Парижа, причем в левую туфлю был вложен привет от Бай Дана, в правую — записочка от Алекса, прескверный почерк и несколько ошибок. Сидя она занимает сразу два места и радуется, что не опоздала. Прибытие рейса ожидается через час. Весь день Златка боялась опоздать. Через стеклянную загородку она видит пассажиров, которые ждут свой багаж.

Она спрашивает соседа, прилетит ли самолет по расписанию, спрашивает, совершил он уже посадку или нет, она просит его навести справки. Сосед уходит в туалет, а воротясь, успокаивает ее: самолет только что совершил посадку. Но пройдет еще некоторое время, прежде чем они смогут выйти.

Ей ничего не видно, потому что некоторые из ожидающих встали перед ней и загораживают обзор. Она выпрямляется. Это должны быть пассажиры с ее рейса. Первые уже миновали пограничный контроль.

Сперва она видит Бай Дана, загорелого и лет на десять помолодевшего, а рядом с ним — красивый молодой человек, Сашко, она делает несколько неуверенных шажков вперед, Сашко, она отталкивает остальных, ей надо к Сашко, сосед спешит за ней, подожди, Златка, сейчас они сами выйдут. Златка протискивается сквозь толпу. Она никого не замечает, она топает и топает и доходит до барьера как раз в ту минуту, когда из-за него появляются Бай Дан и Алекс.

Ты был прав, Алекс, в этих объятиях можно потерять сознание от счастья, но ты еще не подумал о поцелуях. Ты не знаешь, что сказать, впрочем, тебе и не нужно ничего говорить, потому что Златка плачет, плачет, как можно плакать только от счастья, и до того громко, что все взгляды обращаются к ней. Она перекрывает выход, за ней уже образовалась очередь из других пассажиров. Они покашливают, они уже начинают ворчать, а ты видишь, как подмигивает Бай Дан, и знаешь: это путешествие подошло к концу.

— Садись, Сашко, рядом со мной, дай мне поглядеть на тебя, ах ты мой родной. Вот мне и довелось еще раз тебя увидеть. Вы хорошо долетели?

— Да еще как хорошо. Самый удачный полет в жизни этого молодого человека, — ухмыляется Бай Дан.

— Почему самый удачный?

— Да так, ничего особенного. Я выиграл у Бай Дана пятерку.

— И правильно сделал. Молодость должна выигрывать.

— Бабо, это был первый раз, но я уверен, что не последний.

— Нам надо в багажное отделение, — напоминает Бай Дан.

В соответствующем окошечке он предъявляет свой билет и багажный талон. Проходит некоторое время, прежде чем двое грузчиков выносят деревянный ящик.

— А как мы доставим это в город? На моем «москвиче» не получится.

— Проще простого. У вас кусачек случайно нет?

Бай Дан перекусывает проволочную оплетку, и они вместе с Алексом извлекают свой тандем.

— Это еще что такое? — И Златка осеняет себя крестом.

— Это лошадь сатаны. — Грузчики смеются.

— Встретимся дома.

— Нет и нет, я вас из виду не выпущу. — И Златка снова целует Алекса.

— Тогда мы поедем следом, мы народ лихой, а дорога все больше идет под гору.

«Это я народ лихой», — думает про себя Алекс и предоставляет Бай Дану возможность перегнать тандем на стоянку.

Златка схватила своего внука под руку и осыпает его вопросами. Про их побег, про лагерь, про родителей, про школьные годы, про университет, про его теперешнюю жизнь. И Алекс наконец может начать свой рассказ.

Конец игры

ШЛЕПАНЬЕ ТРИКАНЬЕ ШЛЕПАНЬЕ БАРАБАННАЯ ДРОБЬ ТРАКАНЬЕ И ТРИКАНЬЕ ШЛЕПАНЬЕ И ДРОБЬ. Благодарю тебя, мастер. Димчо встает, чтобы уступить место следующему, усатому Элину. Пейо, хозяин, принимает и выполняет заказы. Кто заказывал «Мальборо»? Элин, это не ты просил двойное виски? Да, Элину перед игрой необходимо что-нибудь экстравагантное. А твой шнапс в этом случае не помогает. Спа-спа-спасииибо. Ннне слу-ушай их, о-о-они пппросто та-ак го-говорят. У Элина даже кости заикаются — крылатое слово за этим столом. Они долго-долго перекатываются с боку на бок, все с нетерпением ждут, что выпадет, а кости по большей части приносят разочарование. В дверях появляется молодой паренек, за ним второй. И только после их появления дверь захлопывается.

— А-а, тут снова собрался клуб старичков.

— Они входят в обстановку.

— Ладно, давай лучше играть, не то, как погляжу на них, всякая охота пропадает.

— Эй, Пейо, ты нам не разобьешь? Нам нужна куча полтинников.

— Минуточку, вот я вам могу разбить пятерку. Только обращайтесь с аппаратом не так грубо, как прошлый раз. Вы так бушевали, мне даже пришлось потом вызывать техника. Если опять такое произойдет, они просто заберут автомат.

— Ну ладно, ладно. Эта хреновина слишком скоро вырубается, я ее чуточку потряс, и она уже сломалась, пусть впредь делают эти штуки повыносливее.

— Но ведь нельзя же нарушать правила игры, — это донеслось от стола, где сидели игроки в кости.

— Чего-чего?

— Раз уж ты однажды на них согласился.

— А ты не мог бы разводить свои слюни в другом месте?

— Спасибочки за умный совет, но если мне нужны дурацкие разговоры, я могу обратиться к собственному папаше.

— Молодой человек, занимайтесь лучше играми, которые могут окрылить вашу фантазию.

— Он что, всегда несет такую чушь? Эти дурацкие кости вышибли из них последние мозги.

— Ну ладно, ладно, пошли играть.

— Тогда начинай...

...и тут к триканью и траканью, шлепанью и хлопанью присоединилось невежливое хрюканье, звяканье и бряканье, шарики с подвывом метались по галактике, а ну, покажи ему, а ну, спикируй на него сверху, у тебя льготный ход...

Три злобного вида коренастых типа с бычьими лбами и изуродованными мочками ушей вошли в кафе, зорко огляделись по сторонам и двинулись к стойке. Они явно не спешат.

И вот Пейо оказывается лицом к лицу с тремя омерзительными типами и пытается жестами их урезонить. Один из вошедших перегибается через прилавок и тянет указательным пальцем за цепочку, которую Вейка подарила Пейо на серебряную свадьбу. Старики прерывают игру. Человек выпускает цепочку, медленно разворачивается и устремляет взгляд на игроков. Затем, оттолкнувшись от стойки локтями, он к ним приближается.

— Ваш друг не может нам заплатить. Мы его охраняем, вот за ним и остался должок. От этого у него могут возникнуть проблемы, баа-альшие проблемы. Ведь не хотите же вы, чтобы у вашего друга возникли проблемы? Вот я и предлагаю вам скинуться и оплатить его долги. Не то вам скоро придется играть где-нибудь в другом месте.

— Не желают ли господа присесть и разыграть с нами один кон? Если выиграете, мы, разумеется, все заплатим.

— Закрой пасть, старик.

— Нам было бы очень приятно помериться силами с молодым поколением.

— Ты что, вообще ничего не петришь, совсем из ума выжил? Мы желаем видеть капусту, и немедленно. А со своими словечками можешь катиться в другое место.

— Неужели наша громкая слава настолько опередила нас, что молодежь просто не рискует разок сыграть с нами?

— Ты, у этого не все дома, прочисть ему мозги, а то меня уже тошнит от его кваканья.

Самый рослый из троицы воздвигается перед сидящим Бай Даном.

— Без спешки, без спешки, оставьте себе хоть немножко времени на раздумья.

Бай Дан встает.

— Прежде чем вы вступите на пагубный для вас путь, мне хотелось бы вас предостеречь. Видите того господина в самом углу? Он и ростом не вышел, и вдобавок у него есть небольшой горб. Звать его Пенчо, и у него самая острая трость во всем городе. Совсем недавно он наколол на эту трость бешеную собаку.

Пенчо тоже встает.

— Почтенного вида господин, что сидит рядом, — это Умеев. И дело не только в том, что у него больше ума, чем у вас троих, вместе взятых, он вдобавок страстный коллекционер старинного оружия. А оружие хоть и старое, но все еще стреляет. Только дырки от него остаются большие и неаккуратные. К слову сказать, он всегда таскает за собой свой любимый револьвер.

Умеев тоже встает и запускает правую руку во внутренний карман своей куртки.

— А великан, что сидит напротив меня, это Йордан — король вилл, обладатель самых искусных и сильных пальцев во всей стране. Он провел долгие годы в наших самых страшных тюрьмах, причем мне и по сей день становится больно, когда я припоминаю, что он вытворял с арестантами, которые любили скандалить. С провокаторами и подсадными утками. После этого они становились кротки как овечки.

Йордан тоже встает.

— Может, этого хватит, чтобы доказать вам, насколько неразумны ваши замыслы. Итак, либо вы принимаете наши правила игры, либо выметаетесь.

— Ты, они все чокнутые. Мне прямо не по себе становится.

— В психушку им всем пора. Каши с ними не сваришь.

— Тогда идем. Мы еще вернемся, хозяин, так и знай: мы вернемся.

И все трое уходят. Пейо налил всем «Гроздевой», старики смеются с видимым облегчением и продолжают игру, они по очереди мерятся силами с Бай Даном, каждый — питая честолюбивый замысел на сей раз добиться успеха, на сей раз одолеть его.

Скоро придет время. Последние игроки распрощаются с Бай Даном, с Пейо и Вейкой. И выйдут на скупо освещенный холод. А Бай Дан выпьет стаканчик красного вина и поблагодарит Пейо, когда тот подсядет к нему на несколько словечек. Вот и еще один день канул в вечность, еще один день, который они совместно завершают. «Красивые были истории, Бай Дан, красивые истории про Алекса и Златку, про Васко и Яну», — скажет ему Пейо. «Да, игра была неплоха», — промолвит в ответ Бай Дан. Потом и он уйдет. Пейо вытрет стол, повесит на гвоздь свой передник, поцелует пальцы своей Вейки. А уж после всего погаснет огонь, один выключат, другой задуют.

■

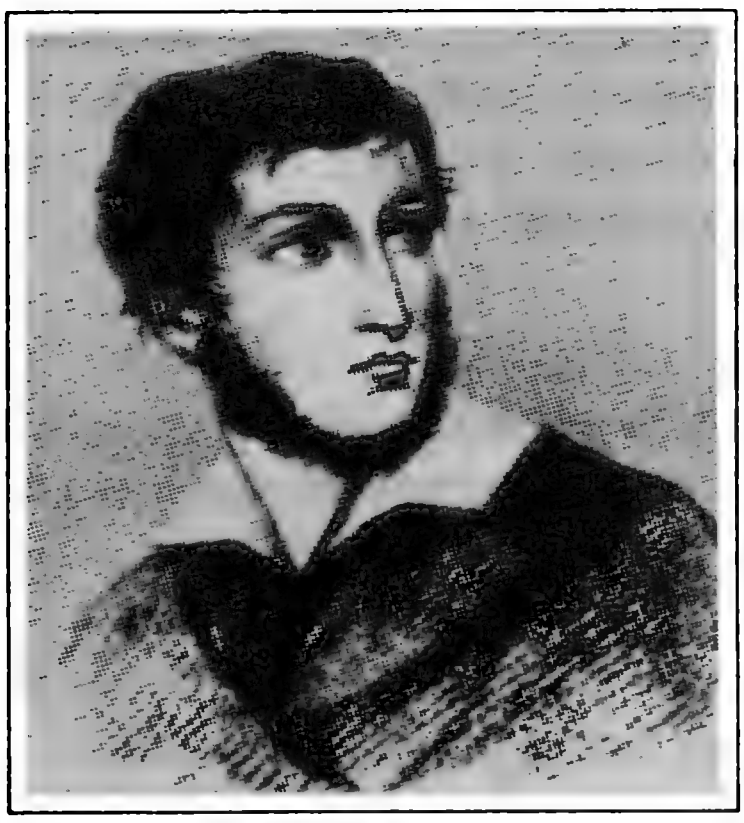


Рисунок неизвестного художника
в альбом Марии Шимановской

АДАМ МИЦКЕВИЧ

Разговор. Аккерманские степи. Сомнение

К 200-летию со дня рождения

С польского

Все в Мицкевиче привлекало
и возбуждало сочувствие к нему...
П. Вяземский

Имя великого Мицкевича вот уже более полутора столетий известно в России каждому читающему человеку. Хотя бы по первой для нас «привязке» его к Пушкину.

Это ведь о его «Крымских сонетах» вспомнил Пушкин, отправляя Онегина в путешествие по Крыму: «Там пел Мицкевич вдохновенный / И посреди прибрежных скал / Свою Литву воспоминал». И о Мицкевиче было им сказано позже: «Он вдохновлен был свыше». И Мицкевич потряс его своими импровизациями: «Какой гений! Какой священный огонь! Что я в сравнении с ним?»

Вечный изгнанник с растворенными в крови поэзией и любовью к родине, Мицкевич сразу стал в России зна́ком не определимой словами, но безошибочно угадываемой по напряжению чувств особой «польскости».

«Мы все исходим от него», — говорят о нем сегодня поляки, как примерно то же мы говорим о Пушкине. Потому что сложными зигзагами притяжений и отталкиваний из Мицкевича действительно «исходит» вся польская литература после него. Как из Пушкина — русская. И потому еще, что Мицкевич всегда был для Польши той духовной отметкой, которая на многие десятилетия обозначила порог ее свободолюбия. Но ведь и «польский миф», что сложился уже в наши 60-е и как сильная общественная эмоция продержался в определенных кругах до 90-х, подпитывая энергией бунтарства и жертвенности нашу духовную жизнь, тоже в каком-то смысле «исходит» из Мицкевича. Или — в обратной перспективе — восходит к нему.

Близость языков и в то же время всегда остро ощущавшаяся «европейскость» польской литературы и жизни вообще («окно в Европу»), жгучее чувство вины перед Польшей у лучшей части русского общества и восхищение стойкостью польского духа — из этих импульсов родилось когда-то российское полонофильство. И как и его противоположность — полонофобия — стало не только обозначением гражданской позиции, но и очень сильной культурной эмоцией, сводившей и разводившей людей.

В разное время фактом своей поэзии Мицкевич «присутствовал» в общественном и культурном самосознании России — в уточнении и формировании ее собственных представлений об идеалах, реальности, свободе. Чуть ли не до конца XIX в. фигура польского поэта оставалась своего рода «разменной монетой» в баталиях российских либералов и консерва-

© И. Адельгейм. Вступление, 1998

Валентий Ванькович. Портрет Адама Мицкевича (1823)

торов. Когда в столетний юбилей поэта в 1898 г. прогрессивный журнал «Русская мысль» предложил начать сбор средств на памятник Мицкевичу в России, шовинистическое «Новое время» использовало это как повод для сведения идеологических счетов.

С России началась мировая слава Мицкевича. Но с нее же началось и «вечное пилигримство» поэта. Высланный в конце 1824 г. графом Новосильцевым из Литвы (бывшей тогда частью «русской» Польши), он был принят в России сразу, «как равный» — «в среду великих, венчаемый и чествуемый ими» (Т. Бой-Желеньский). Среди тех, кто составил российский круг знакомых Мицкевича, — Пушкин, Жуковский, Грибоедов, Вяземский, Баратынский, Веневитинов, Рылеев, Бестужев, братья Киреевские, Погодин и многие другие. По словам Ив. Киреевского, пять иностранных поэтов приобрели тогда особую любовь русских литераторов. Это Гёте, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич. Имена говорят сами за себя. Но в том же «Обозрении русской словесности за 1829 год» Киреевский отметил, что через Мицкевича польская поэзия получила возможность «действовать на нашу поэзию». Такая степень осознанности присутствия Мицкевича в культурной жизни России тоже была задана сразу.

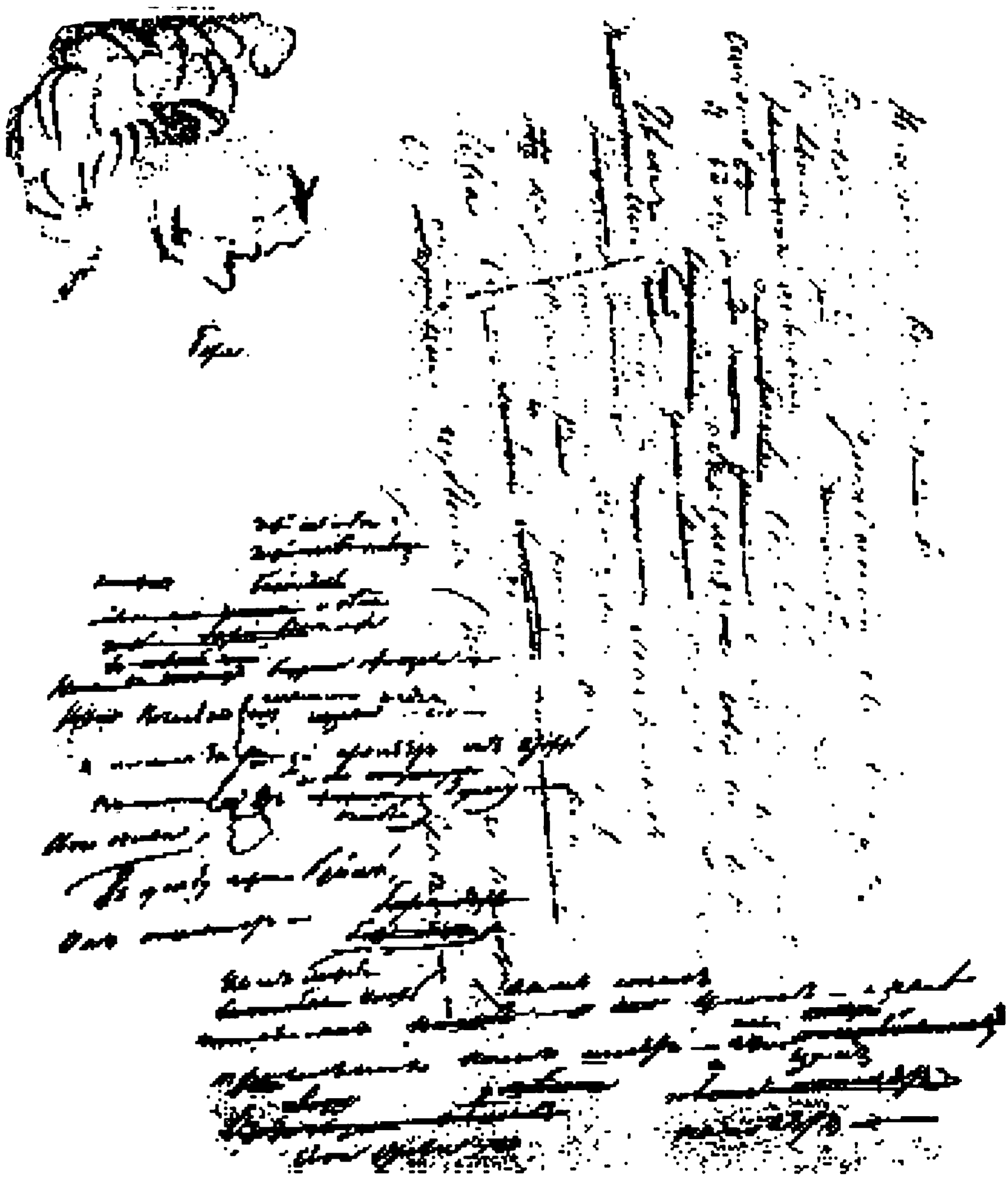
На протяжении полутора столетий стихи Мицкевича так или иначе присутствовали и в частной жизни российских читателей. «Пан Тадеуш» упоминается в романе Лескова «Некуда», немало цитат из Мицкевича и в его письмах. Герой рассказа Достоевского «Вечный муж» исполняет романс на слова Мицкевича «К ней». В «Кларе Милич» Тургенева приводится строка из «Разговора», а в переписке его с Золя не раз встречается имя польского поэта. Подобные штрихи, осевшие теперь в комментариях к изданиям русских классиков или изучаемые филологами как интертекстуальные связи, составляли некогда не требовавшую объяснений повседневность.

Польский язык не был тогда в России столь распространен, как, скажем, французский. И тем не менее знали его многие — и знали хорошо. Именно ради того, чтобы прочесть Мицкевича, выучил польский Аксаков. В оригинале читали его Рылеев, Вяземский, Баратынский. Рылеев оказался к тому же первым переводчиком Мицкевича на русский язык (еще до приезда поэта в Россию), а свое знаменитое «Воспоминание» написал в подражание одноименному сонету польского поэта. Вяземский, первым переведший «Крымские сонеты», сказал тогда же, что «Мицкевич принадлежит к малому числу избранных, коим представлено счастливое право быть представителями литературной славы своих народов». Баратынский посвятил ему стихотворение, в котором назвал его «богом».

Мицкевичу не было и 26 лет, когда осенью 1824 г. он оказался в только что пережившем страшное наводнение Санкт-Петербурге. Почти весь следующий год он провел в Одессе, где незадолго до этого жил ссыльный Пушкин. Ему повезло — стараниями новых друзей многоязыкая, пестрая, хотя и абсолютно чуждая Одесса была назначена местом его изгнания. В этом продуваемом насквозь морскими ветрами городе, где улицы, как он шутил, были вымощены грецкими орехами, Мицкевич жил внешне легко и, казалось, даже беззаботно — театры, балы, новые знакомства, новые впечатления.

Правда, именно летом 1825 г. беззаботная торговая и портовая Одесса с ее равно притягательными морскими купаниями и итальянской оперой стала «гнездом декабристов» на юге России. А на путях опаль-

А.Мицкевич. Рисунок А.Пушкина (конец 1829 — начало 1830)



А. Пушкин. Черновик стихотворения «Он между нами жил...» от 6 октября 1833 г. (1-я страница)

ного поляка рядом с бескорыстием дружбы и высокими понятиями чести постоянно оказывались шпионство и провокации. Любой неосторожный шаг, необдуманная доверчивость или излишняя открытость могли обернуться катастрофой. Во всяком случае, последние месяцы его жизни на юге были отравлены постоянной угрозой новых преследований.

Он поторопился уехать в Москву, но прибыл туда за два дня до восстания на Сенатской площади. В Москве сразу же начались аресты — «хватали», по словам современника, по ночам и вывозили в Петербург на допросы. Мицкевич же многими нитями приятельств и дружб был тогда связан с декабристами.

Весь глухой 1926 г. он готовил в Москве издание написанных в России стихов — среди них был цикл «Крымских сонетов», вместивший поэтический итог двухмесячного его путешествия из Одессы по Тавриде. Готовил на фоне продолжавшихся арестов, следствия по делу мятежников, ожидания, а затем исполнения приговора — среди казненных был Рылеев... Осенью 1826 г. на углу Собачьей площадки и Борисоглебского в доме Сергея Соболевского Мицкевич впервые увидел и услышал Пушкина, читавшего «Бориса Годунова».

А. Мицкевич. Рисунок А. Пушкина (1829)

Потом был Петербург, где, как позже писал Мицкевич, однажды они с Пушкиным стояли «под одним пла-

Орест Кипренский. Портрет Адама Мицкевича (1824—1825)

щом» возле памятника Петру Великому, не ведая еще своей судьбы.

Впереди было польское восстание, закончившееся кровавой расправой над его участниками. И антипольские политические стихи Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». И ответ Мицкевича «друзьям москалям», кто «славит торжество царя и радуется мукам своих друзей», возможно, принятый Пушкиным на свой счет. Во всяком случае, в наброске 1834 г. «Он между нами жил», размышляя о том, что некогда «мирный гость» России, Мицкевич «в угоду черни буйной» «напояет» стихи ядом, Пушкин обращался к Богу: «Боже! освяти / В нем сердце правдою твоей и миром».

Нет и никогда не будет однозначного ответа на вопрос, кто из них был тогда прав в разведшем их историческом — или, точнее, политическом — поединке. Но то огромное притяжение поэтической гениальности, которую они ощутили друг в друге, оказалось сильнее. Когда меньше чем через три года после этих стихов Мицкевич узнал о гибели Пушкина, потрясенный, он написал некролог и поставил под ним подпись, на которую имел право: «Друг Пушкина».

Но все это было впереди.

Тогда же, в России, в пространстве чужой жизни с ее крайностями и контрастами, сложно резонируя своим душевным напряжением на внешние импульсы, существовал и жил своей отдельной жизнью внутренний, сокровенный мир польского поэта-изгнанника. «Крымские сонеты» — они вошли в отпечатанный наконец на исходе 1826 г. в типографии Московского университета сборник «Сонеты» — отразили именно это спрятанное в «подводную» их часть состояние души. Вероятно, потому они переводились в России так много и так по-разному. Казалось заманчивым — а оказывалось всякий раз необычайно трудным — передать эти скрытые в ритмах и звуках, в игре цвета и света, в памяти чувств смыслы. А один из наиболее любимых в России сонетов — «Аккерманские степи» — оказался особенно притягательным, возможно, потому, что был самым «незакрытым» в спонтанности выраженных в нем переживаний.

В свой первый в России год на фоне влюбленностей, в которых эхом все еще отражалась первая, конечно же страстная и несчастливая, любовь («Ах, брошу всех людей — скажи мне только: где ты! / Ах, будь ты здесь со мной — я отрекусь от света!»), Мицкевич написал несколько любовных сонетов, подражая Петрарке, которым был сильно увлечен, и несколько элегий, не подражая никому, — в них сильнее всего отразились пережитые им «житейские химеры» и превратности испытанных чувств.

Мы не знаем, кому из женщин посвящены написанные в Одессе «Разговор» и «Сомнение». Да это, наверное, и не столь существенно. Как писал современный биограф Мицкевича, польский поэт М. Яструн, «истины, высказанные здесь, обладают свойством великой поэзии — всеобщностью».

Смысловую, эмоциональную наполненность стихов, как мы хорошо знаем, почти всегда неизбежно меняет историко-психологический контекст, в котором стихи продолжают жить в другом времени. Вряд ли сегодня кто-нибудь всерьез верит, что из Пушкина мы «вычитываем» то же самое, что и его современники. Но некий неуловимый общий импульс, притягивающий к этим стихам и того читателя, и нас, сегодняшних, очевидно, остается неизменным. Именно потребность в языке чувств, меняющемся и неизменном одновременно, заставляет новых переводчиков снова обращаться к уже переведенным когда-то другими стихам.

Мицкевич прежде других стал для образованной России символом независимости. Но еще и синонимом особого строя души, в котором бунтарство и жертвенность, близкие по силе своего напряжения едва ли не к экзальтации, соединялись с горьким лиризмом и особой тонкостью, точностью и даже трепетностью самой способности к переживанию.

И в зеркале многочисленных русских переводов эти смещения в восприятии стихов Мицкевича то в одну, то в другую сторону, связанные как с личностью переводчика, так и с его временем, видны достаточно отчетливо. В этом смысле история переводов Мицкевича

— как и вся история прочтения его поэзии — это еще и иллюстрация к смене форм поэтического языка.

Переводы из Мицкевича появились в России раньше, чем где бы то ни было. И по количеству их Россия, обрекшая польского поэта на изгнание, превзошла все другие страны. В четырехтомной библиографии «Польская художественная литература в русской и советской печати» в трехсотстраничном томе, целиком посвященном Мицкевичу, сто страниц занимает перечисление изданий, переводов.

Так что если попытаться хотя бы только упомянуть здесь русских переводчиков Мицкевича, список получился бы внушительным. Начинают его имена Рылеева, Пушкина, Вяземского, Лермонтова, Бестужева... Но история русских переводов Мицкевича — сюжет со своей достаточно драматической фабулой. Как мы знаем, Мицкевич уехал из России практически накануне польского восстания, и почти сразу после его отъезда начались гонения на его произведения. «Конрад Валленрод», которого начал переводить Пушкин, которым безмерно восхищался Жуковский, вызвал донос Новосильцева, справедливо и тонко разглядевшего сквозь «заманчивую красоту поэзии» опасность вызываемого ею у читателей самоощущения свободы (недаром тогда возникло слово «валленродизм», а в среде русской интеллигенции, с легкой руки Полевого, поляков стали называть «народом Валленродов»). Запрет на сочинения Мицкевича, а потом и на само его имя длился почти четверть века. И если переводы время от времени в печати все же продолжали появляться, то лишь потому, что автор стихов в публикации не указывался. Так были напечатаны первые переводы Ап. Григорьева, Н. Огарева, Л. Мея, посмертно опубликованный лермонтовский перевод крымского сонета «Вид гор из степей Козлова» и переведенные Фетом «Дозор» и «Свидание в лесу». И только с окончанием эпохи Николая I Мицкевич снова появился в русской печати открыто. Но самого его уже не было в живых — в 1856 г. он умер от холеры в Константинополе, куда только что приехал из Парижа. Количество переводов из Мицкевича после 1857 г. резко возросло, к старым именам и переводам добавились новые — А. Н. Майков, В. Бенедиктов и др. А в начале XX века — И. Бунин, К. Бальмонт, В. Брюсов, В. Ходасевич...

В списке переводчиков Мицкевича огромное количество имен, мало или, может быть, даже ничего не говорящих сегодняшнему читателю, — поэтов так называемого второго, третьего ряда. Это и В. Туманский, чьим единственным, кажется, незабытым стихотворением оказалась «Птичка», и Ив. Козлов, с чьим именем для нас связан сегодня, пожалуй, только романс «Вечерний звон», — он первым перевел в стихах все «Крымские сонеты» (чуть раньше появившийся перевод Вяземского был прозаическим). Это А. Илличевский, царскосельский однокашник Пушкина, и В. Щастный, который обратился к переводам из Мицкевича по подсказке Пушкина, и соученик Гоголя по Нежинскому лицею В. Любич-Романович, и кн. С. Голицын, чьи переводы из Мицкевича обессмертил Глинка, написавший на них ставшие популярными романсы «Разговор» и «К ней». Это искровцы Д. Минаев и М. Михайлов. И крестьянские поэты И. Суриков и С. Дрожжин, которые остались в активном чтении как авторы стихов из детских антологий. Это печатавшийся в юмористических журналах 80-х гг. Л. Пальмин. И поэты рубежа веков В. Крачковский и А. Коринфский. И десятки других имен.

В советское время Мицкевича переводили Н. Асеев, П. Антокольский, Д. Кедрин, А. Тарковский, Н. Ушаков, М. Светлов, Л. Мартынов, В. Звягинцева, С. Кирсанов, Д. Самойлов, М. Зенкевич, Е. Благинина, Г. Оболдуев, М. Живов, В. Левик, О. Румер, А. Рубин, С. Мар, А. Ревич, А. Эппель, А. Гелескул.

Есть множество русских версий «Крымских сонетов» и других лирических стихов Мицкевича, несколько русских «Гражин», «Конрадов Валленродов», «Дзядов», несколько вариантов «Пана Тадеуша»... Стихи Мицкевича переводили прозой — считалось, что так точнее. Стихотворные же переводы назывались то подражанием, то переложением. Есть среди переводов конгениальные «отклонения» от оригинала и есть максимально возможное ему следование, столь же блестящее по результату (таковы переводы баллады Мицкевича «Дозор», сделанные Пушкиным и Фетом). Поэты произвольно меняли форму и размер оригинала. В переводах по-своему отражались принципы постепенно складывавшейся русской переводческой школы.

И как бы ни устаревали отдельные переводы, множественные усилия переводчиков Мицкевича способствовали тому, что имя великого польского поэта оставалось в России внятным и значимым, а его стихи, превращаясь в факт русской поэтической речи, сложно, но неизменно воздействовали на саму нашу поэзию.

ИРИНА АДЕЛЬГЕЙМ

Rozmowa

Kochanko moja! na co nam rozmowa?
Czemu, chcąc z tobą uczucia podzielać,
Nie mogę duszy prosto w duszę przelać?
Które nim słuch twój i serce dościgną,
Za co ją trzeba rozdrabiać na słowa,
W ustach wietrzeją, na powietrzu stygną?

Kocham, ach! kocham, po sto razy wołam,
A ty się smucisz i zaczynasz gniewać,
Że ja kochania mojego nie zdołam
Dosyć wymówić, wyrazić, wyśpiewać;
I jąk w letargu, nie widzę sposobu
Wydać znak życia, bym uniknął grobu.

Strudziłem usta daremnym użyciem,
Teraz ję z twymi chcę stopić ustami,
I chcę rozmawiać tylko serca biciem,
I westchnieniami, i całowaniami,
I tak rozmawiać godziny, dni, lata,
Do końca świata i po końcu świata.

Разговор

Мой друг, для нас что могут разговоры значить?
Что я так чувствую — к чему мне говорить?
Когда нельзя всю душу в душу перелить —
К чему в словах ее дробить и тратить?
Еще до слуха и до сердца не касаясь,
Слова уже остынут, с уст моих срываясь.

Люблю, люблю тебя! сто раз я повторяю,
Ты сердишься, и хочешь ты бранить
Меня, что я любви моей совсем не знаю
Ни высказать, ни выразить, ни в песнь излить,
И, будто в летаргии, не имею силы
Иной дать признак жизни, как сойти в могилу.

Мой друг, уста скучают тщетным излияньем,
Хочу с тобой биеньем сердца говорить,
Да вздохом только, да лобзаньем,
И так проговорю часы и дни, и лета,
И до скончания и по скончаньи света.

Перевод Н. Огарева
(*В кн.*: Поэзия славян. СПб, 1871)

Разговор

О милый друг, зачем с тобою говорю я,
Когда себя хочу я высказать вполне?
Зачем души моей в твою не перелью я,
Зачем дробить ее на звуки должно мне?
Ведь прежде, чем они твоей души достигнут,
Растают на устах, на воздухе остынут.

«Люблю тебя, люблю»... твержу я при свиданье,
И вижу, как тебя смущает эта речь,
Как недовольна ты, что я не в состоянье
Ни высказать любви, ни в стих ее облечь...
Как в летаргии, я решительно не в силах
Дать знак, что кровь еще струится в этих жилах.

Устами мертвыми я шевелил напрасно...
О нет! теперь хочу я их с твоими слить.
Отныне вздохами, биеньем сердца страстным
Да поцелуями я стану говорить:
И так проговорю часы, и дни, и лета.
И до конца, и по скончанье света.

Перевод М. Петровского
(В кн.: Отголоски славянской поэзии. Казань, 1913)

Разговор

Красавица моя! на что нам разговоры?
Зачем, когда хотим мы чувством поделиться,
Зачем не можем мы душою прямо слиться
И не дробить ее на этот звук, который —
До слуха и сердец достигнуть не успеет —
Уж гаснет на устах и в воздухе хладеет?

«Люблю тебя, люблю!» — твержу я повсечасно.
А ты — ты смущена и сердишься на друга
За то, что своего любовного недуга
Не может высказать и выразить он ясно,
За то, что обмер он, за то, что нет в нем силы —
Жизнь знаком проявить и избежать могилы.

Сызмала утрудил я праздными речами
Свои уста: теперь хочу их слить с твоими
И говорить хочу с тобою не словами,
А сердцем, вздохами, лобзаньями живыми
И так проговорить часы, и дни, и лета,
И до скончания, и по скончаньи света.

Перевод Л. Мея
(В кн.: А. Мицкевич. Избранное. М., 1946)

Разговор

Любимая! к чему нам разговоры?
Зачем, желая чувства разделить,
Не можем душу в душу перелить?
К чему дробить их на слова, коль скоро,
Еще до сердца не дойдя и слуха,
Уж холодеют и звучат так глухо?

Люблю тебя! — стократ кричу, пою,
А ты грустнеешь и глядишь сердито,
Что не могу понятно и открыто
Я выразить тебе любовь свою.
И, как во сне, бессильный, я немею
И жизни признака подать не смею.

Напрасно утруждал уста словами,
Хочу биеньем сердца говорить,
Свои уста с твоими слив устами,
В лобзаниях свою любовь излить,
Так говорить часы, и дни, и лета,
Всегда — и до, и по скончаньи света.

Перевод М. Живова
(В кн.: А. Мицкевич. Собрание сочинений. Т.1. М., 1946)

* * *

О милая дева, к чему нам, к чему говорить?
Зачем, при желании чувством с тобой поделиться,
Не в силах я прямо душой в твою душу пролиться?
Зачем это чувство я должен на звуки дробить?
Пока они в слух твой и в сердце твое проникают —
На воздухе вянут, в устах у меня застывают.

Люблю, ах, люблю! — я взываю сто раз день и ночь,
А ты же смеешься и гневна бываешь порою,
Зачем я не в силах горячей любви превозмочь
Иль выразить, высказать, в песни излить пред тобою.
Но, как в летаргии, не вижу возможности я
Подняться из гроба и признак подать бытия.

Давно утрудил я уста бесполезным стараньем,
Теперь я с твоими устами хочу их спаять
И лишь объясниться с тобою сердец трепетаньем
Да лишь в поцелуях и вздохах любовь выражать.
И так говорил бы с тобою часы, дни и годы
До смерти природы и после кончины природы.

Перевод А. Фета
(В кн.: А. Фет. Полное собрание стихотворений. М., 1959)

Разговор

К чему слова! Зачем, моя отрада,
С тобою чувства разделить желая,
Души я прямо в душу не вливаю,
А на слова ей раздробиться надо?
Остынет слово, выветриться может,
Покуда к слуху, к сердцу путь проложит!

Влюблен я, ах, влюблен! — твержу тебе я,
А ты грустишь, ты начала сердиться,
Что выразить я толком не умею
Своей любви, что не могу излиться,
Я — в летаргии, не хватает силы
Пошевелиться, избежать могилы.

Уста мои от слов пустых устали,
С твоими слить их я хочу. Хочу я,
Чтоб вместо слов звучать отныне стали
Биенье сердца, вздохи, поцелуи...
И так бы длилось до скончанья света,
И вслед за тем продолжилось бы это!

Перевод Л. Мартынова
(В кн.: А. Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1979)

Stepy akermańskie

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok — tam jutrzenka wschodzi;
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! — jak cicho! — słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kedy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy — tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. — Jedźmy, nikt nie woła!

Аккерманские степи

В простор зеленого вплываю океана:
Телега, как ладья, в разливе светлых вод,
В волнах шумящих трав, среди цветов плывет,
Минуя острова колючего бурьяна.

Темнеет; впереди ни знака, ни кургана,
Вверяясь лишь звездам, я двигаюсь вперед...
Но что там? Облако ль? Денницы ли восход?
Там Днестр; блеснул маяк, лампада Аккермана.

Стой!.. Боже, журавлей на небе слышен лет,
А их — и сокола не уловило б око!
Былинку мотылек колеблет; вот ползет

Украдкой скользкий уж, шурша в траве высокой, —
Такая тишина, что зов с Литвы б далекой
Был слышен... Только нет, никто не позовет!

Перевод А. Н. Майкова
(В кн.: Поэзия славян. СПб, 1871)

Аккерманские степи

Я выплыл на простор сухого океана:
Ныряя в зелени, возок летит, как челн;
Цветами залитой, долиной шумных волн
Плыву меж островов коралловых бурьяна.

Уж мрак упал: нет ни дороги, ни кургана.
Ищу на небе звезд — проводников ладьи.
Денница всходит — блещет облако вдали...
То Днестр блестит, зажглась лампада Аккермана.

Как степь тиха! Чу... слышу журавлей полет,
Но не увидеть их сокольими очами.
Вот слышно, как в траве там мотылек снует.

Как скользкий уж ползет между стеблями.
В такой тиши так жадно напрягал я слух,
Что внял бы зов с Литвы... Но тихо все вокруг...

Перевод И. Куклина
(«Вестник славянства», Киев, 1892)

Аккерманские степи

Выходим на простор степного океана.
Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна.

Темнеет. Впереди — ни шляха, ни кургана.
Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод...
Вон блещет облако, а в нем звезда встает:
То за стальным Днестром маяк у Аккермана.

Как тихо! Постоим. Далеко в стороне
Я слышу журавлей в незримой вышине,
Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет.

А где-то скользкий уж, шурша, в бурьян ползет.
Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать
И зов с Литвы... Но в путь! Никто не позовет.

Перевод И. Бунина
(«Журнал для всех», 1901, № 12)

Аккерманские степи

Я выплыл на простор степного океана;
Ныряя в зелени, среди густых лугов,
Как челн, возок скользит средь паводка цветов
И мимо островов коралловых бурьяна.

Спустился мрак; нигде ни шляха, ни кургана;
Я в небе звезд ищу — челну проводников;
Там облако блестит? Там луч сверкнуть готов?
Нет, это Днестр блестит — маяк у Аккермана.

Постой! Какая тишь! Чу! Слышу — журавли,
Которых соколы б увидеть не смогли;
Я слышу — мотылек в траве шуршит и вьется,

И скользкой грудью уж касается земли.
Так напрягаю слух, что даже донесется
И зов с Литвы. Но нет, никто не отзовется!

Перевод С. Советова
(«Звезда», 1941, № 2)

Аккерманские степи

Я выплыл на простор сухого океана;
Возок мой, как ладья, ныряет по волнам
Шумящих буйных трав, минуя там и сям
Уступы островов коралловых бурьяна.

Темнеет... Ни тропы не видно, ни кургана.
Ищу на небе звезд, небесных вех ладьям;
Сверкает облако вдали, светает там?..
То блещет Днестр, зажглась лампада Аккермана.

Как тихо!.. Постоим... Я слышу журавлей,
Незримых соколу, и то, как меж стеблей
Порхает мотылек, их тонкий стан колыша,

Как скользкая змея среди травы ползет...
Я в этой тишине, быть может, зов услышу
С Литвы... Но дальше в путь — никто не позовет.

Перевод О. Румера
(В кн.: А. Мицкевич. Крымские сонеты. М., 1948)

Аккерманские степи

Я выплыл на простор сухого океана.
Безбрежен зелени — цветов и трав — разлив.
Качаясь, как ладья, возок плывет средь нив,
Скользит меж островов коралловых бурьяна.

Смеркается... Кругом ни тропки, ни кургана.
Жду путеводных звезд. Весь горизонт закрыв,
Алеют облака — заря глядит в разрыв:
Зажегся на Днестре маяк близ Аккермана.

И все утихло. Стой! Я слышу, как скользнул
И притаился уж, как мотылек вспорхнул,
Как, недоступные глазам орла степного,

Курлычут журавли в померкшей вышине.
Так слух мой напряжен, что в этой тишине
Уловит зов Литвы... Но в путь! Не слышно зова.

Перевод В. Левика
(В кн.: Адам Мицкевич. Избранные произведения. М., 1955)

Аккерманские степи

Вплываем на волнах степного Океана
В просторы диких трав, где лодка — мой возок.
И пенится, в цветах, и зыблется поток,
Минуя острова багряного бурьяна.

Смеркается. Ни тропки, ни кургана.
Жду путеводных звезд — шатер небес высок.
Что там горит? Заря? Зарницы ли цветок?
Мерцает млечно Днестр, маяк у Аккермана.

Как тихо! Постоим. Мне слышится вдали,
Как, скрытые от глаз, курлычут журавли,
Как выползает уж из логова ночного,

Как замер мотылек... Так сон глубок травы,
Что, кажется, смогу почуять зов с Литвы...
Молчание. Ни отзвука. Ни слова.

Перевод В. Коробова
(«Всемирная литература», Минск, 1997, № 9)

Валентий Ванькович. Мицкевич в Крыму

Niepewność

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu;
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Cierpiałem nieraz, nie myslałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie:
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?

Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?

Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?

Kiedym dla ciebe tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;
Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?

Сомнение

Нет тебя со мною — горя не заметят;
Вместе мы — восторга не прочтут, не встретят.
Впрочем, если долго не был я с тобою —
Мысль, что нет чего-то, не дает покою,
И вопрос забавный тотчас задаю я:
Дружба только это?.. Или уж люблю я?

Нет тебя со мною — как ни бьюсь, напрасно
Думаю представить образ твой прекрасный!
Впрочем, хоть невольно, я уж убедился,
Что за мной он всюду носится, носился...
И вопрос забавный снова задаю я:
Дружба, что ли, это? или уж люблю я?

Или замечал я сколько раз невольно,
Как, собой и светом часто недовольный,
Вышедши без цели прямо на дорогу,
Вечно приходил я к милому порогу...
И вопрос, бывало, странный задаю я:
Дружба, что ли, это?.. Или уж люблю я?

Ты покоя жаждешь? Ты желаешь счастья?
Я за них рад — в битву, рад за них хоть пасть я.
Верь: какой-то голос шепчет, что не лживы
Эти уверенья, гордые порывы.
И вопрос известный снова задаю я:
Что же это — дружба?.. Или уж люблю я?

Если ты даешь мне молча позволенье
Взять тебя за ручку — верь мне: в то мгновенье
Будто сон приятный мне смежает веки;
Кажется, засну я с этим сном навеки...
Но проснусь тотчас же, в сердце жизнь почуя.
Что же это — дружба? Или уж люблю я?

И когда взялся я за посланье это,
В ту минуту чужд был мне восторг поэта;
А ведь есть и мысли, есть и рифмы — чудо!
И, не понимая, что́ взялось откуда,
Свой вопрос всегдашний снова задаю я:
Дружба вдохновила?!. Или уж люблю я?!

Перевод М. Петровского
(В кн.: Отголоски славянской поэзии. Казань, 1913)

Сомнение

Если не вижу тебя — я не плачу,
Разума, встретив тебя, не утрачу;
Все ж, если долго тебя не встречаю,
Жажду чего-то, о чем-то скучаю
И вопрошаю себя без ответа:
Дружба ли это? любовь ли это?

Если исчезнешь — твой образ прекрасный
Восстановить я пытаюсь напрасно;
Но ощущаю я неуловимо —
В памяти сердца живешь ты незримо;
И вопрошаю себя без ответа:
Дружба ли это? любовь ли это?

Горе знавал я, но плакать, страдая,
Перед тобой не хотел никогда я;
Шел я, не глядя порой на дорогу,

А приходил к дорогому порогу;
В двери входя, вопрошал без ответа;
Дружба ли это? любовь ли это?

Жизнь за твое бы здоровье я отдал,
Дьяволу душу за мир твой бы продал;
Только ни сердце, ни я — мы не стоим
Стать твой жизнью, здоровьем, покоем.
Вновь вопрошаю себя без ответа:
Дружба ли это? любовь ли это?

Рук моих тихо касалась, бывало, —
Сладостным миром меня овевало;
Мнилось — навеки усну я, в забвеньи,
И пробуждался от сердцебиенья.
Сердце стучало, просило ответа;
Дружба ли это? любовь ли это?

Песенку эту простую слагая,
Я не пророчествовал, дорогая;
Сам не заметил, как в нежности жгучей
Вдруг я набрел на дорогу созвучий;
Что ж, повторю, вдохновило поэта:
Дружба ли это? любовь ли это?

Перевод В. Звягинцевой
(В кн.: А. Мицкевич. Избранное. М., 1946)

Сомненье

Не плачу я, с тобою разлучаясь,
Чувств не лишаюсь, вновь с тобой встречаясь,
Но все ж, когда разлука дольше срока,
Мне кто-то нужен, жить мне одиноко,
И я томлюсь вопросом без ответа:
Любовь ли это или дружба это?

Ты с глаз скрывалась, и не мог мой разум
Твой милый облик воссоздать ни разу,
Но и не раз душой я чуял всею:
Всегда он рядом с памятью моею.
И не могу добиться я ответа:
Любовь ли это или дружба это?

Страдал я часто, все же никогда я
К тебе не рвался с жалобой, страдая;
Бродя без цели, потеряв дорогу,
Как — сам не знаю — к твоему порогу
Вновь приходил и снова ждал ответа:
Любовь ли это или дружба это?

Ради тебя жизнь отдал бы легко я,
Вошел бы в ад для твоего покоя,
Хотя о том и думать я не смею,
Что стать твоим спокойствием сумею,
И снова я не нахожу ответа:
Любовь ли это или дружба это?

Когда положишь руку мне на руку,
Спокойно мне — блаженство гонит муку,
И мнится, смерть, как легкий сон, примчится,
Но сердце в грудь настойчиво стучится,
Тревожит, будит, требует ответа:
Любовь ли это или дружба это?

Когда тебе слагал я эту песню,
Мной не владел дух вещий, дух чудесный,
Я сам дивлюсь, откуда мысли взялись,
Не понимаю — рифмы как сбежались
И — вдохновило что меня на это —
Любовь ли, дружба — не найду ответа.

Перевод С. Кирсанова
(В кн.: А. Мицкевич. Лирика. М., 1963)

Сомнение

Тебя не видя — в муках не терзаюсь,
При встрече — не краснею, не теряюсь,
Но если друг от друга мы далеко —
И грустно мне, и очень одиноко.
И не могу я разрешить секрета:
Любовь ли это? Дружество ли это?

Вдали от глаз и от улыбок милых
Я облик твой восстановить не в силах,
И пусть усилья памяти напрасны,
Он все же рядом, зыбкий, но прекрасный.
И не могу решить я до рассвета:
Любовь ли это? Дружество ли это?

Я много пережил, но тем не мене
Не мнил тебе открыться в горькой пени,
Без цели идучи и не держась дороги,
Как отыскал я милые пороги?
И что вело меня? Не нахожу ответа:
Любовь ли это? Дружество ли это?

Тебе отдам здоровье, если надо,
За твой покой стерплю мученья ада,
И не пустым я движим суесловьем,
Себя сочтя покоем и здоровьем.
Но что причина дерзкого обета:
Любовь ли это? Дружество ли это?

Коснусь ли я руки твоей украдкой,
Забудусь ли в мечтательности сладкой,
Едва решу, что так навеки будет. —
А сердце вновь сомнения разбудит
И у рассудка требует совета:
Любовь ли это? Дружество ли это?

Не диктовал мне этих шестистрочий
Друг стихотворца — вещий дух пророчий,
В толк не возьму: откуда на листочке

Возникли рифмы, появились строчки?
Что вдохновило твоего поэта?
Любовь ли это? Дружество ли это?

Перевод А. Эппеля
(В кн.: А. Мицкевич. Стихотворения. Поэмы. М., 1979)

Раздумье

Я не терзаюсь, если ты далече,
И не теряю голову при встрече,
Но долго не встречая, замечаю —
Кого-то нет, о ком-то я скучаю,
И вновь томлюсь, и спрашиваю вновь я:
Звать это дружбой? или звать любовью?

Пока не повстречаемся мы, каюсь,
Твой образ я представить не пытаюсь,
Но чувствую, что неотлучной тенью
Всегда при мне он вопреки забвенью,
И мимо воли спрашиваю вновь я:
Звать это дружбой? или звать любовью?

Какие бы ни выпали лишенья,
Я от тебя не жаждал утешенья,
Но просто шел, куда вела дорога,
А доходил до твоего порога.
И спрашивал себя — под эту кровлю
Я дружбой приведен? или любовью?

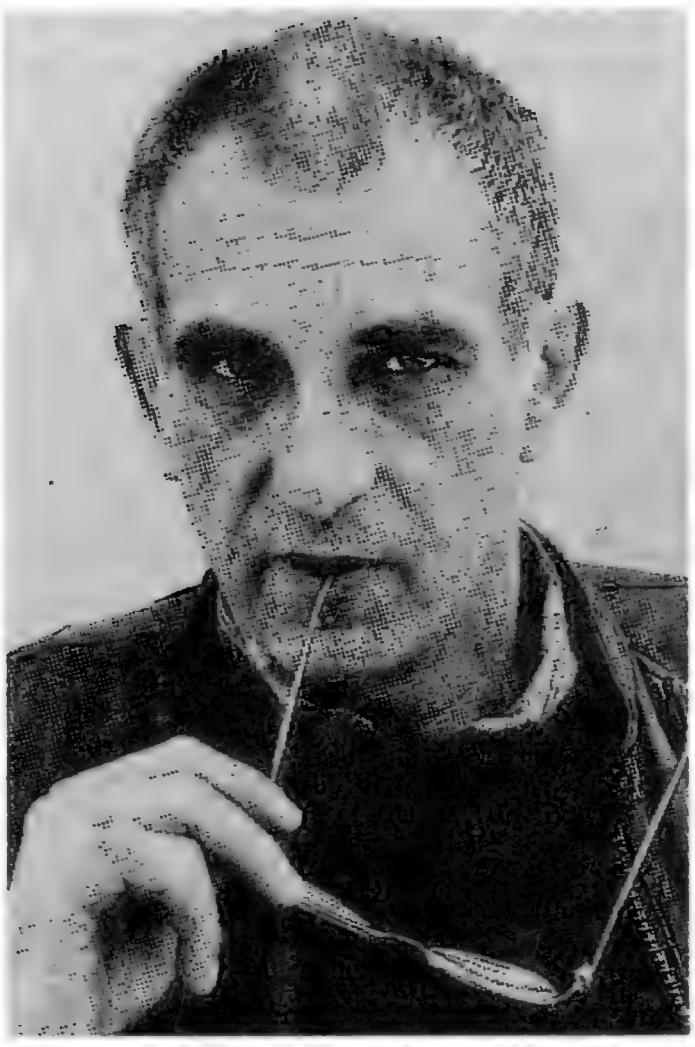
За твой покой не жаль тепла и крова,
Пойду в огонь — была бы ты здорова,
И большего, признаться, не хочу я,
Чем жить, тебя покоя и врачуя,
И быть подобным миру и здоровью.
Звать это дружбой? или звать любовью?

Коснешься моих рук — и понемногу
Я забываю смуту и тревогу,
И легким сном мне кажется кончина,
Но изнывает сердце беспричинно,
И сердцу вторя, спрашиваю с болью:
Я дружбой осенен? или любовью?

Когда строка ложилась за строкою,
Не вещий дух водил моей рукою,
Но для меня загадкой оставалось,
Откуда что бралось и рифмовалось,
И не отвечу, чуждый суесловью, —
Я дружбой вдохновлен? или любовью?

Перевод А. Гелескула (1998)

© А. Гелескул. Перевод, 1998



КШИШТОФ КЕСЛЁВСКИЙ

О себе

Литературная запись ДАНУТЫ СТОК
Перевод с польского и вступление ИРИНЫ АДЕЛЬГЕЙМ

«Моя вера несколько старомодна — это вера в человека...»

Сегодня имя великого польского кинорежиссера Кшиштофа Кеслёвского (1941—1996) уже никак не связывается в нашем сознании с «польским мифом» 60—80-х, во многом определявшим восприятие фильмов Вайды, Кавалеровича, Мунка, Занусси. Прошли времена «романтических» поездок в дома культуры где-нибудь на окраине города: там всего на одном сеансе шел непрокатный польский фильм, в котором прочитывались все возможные и невозможные — и не только политические, но и этические, и психологические — ассоциации. Первые картины Кеслёвского в нашей стране практически не были известны (знакомство с польским режиссером началось с «Кинолюбителя» и «Случая», а по-настоящему — с «Декалога»), а последние фильмы, принесшие ему мировую славу, — «Двойная жизнь Вероники» и «Три цвета» («Синий», «Белый», «Красный») — были сняты и шли уже совсем в другую эпоху.

Но именно к их поэтике — поэтике *универсального, открытого* кинематографа, понимание которого не требует знания никаких специфических реалий, зато предполагает готовность к душевному напряжению, Кеслёвский шел всю свою жизнь. Вот этот сложный путь — во многом и по-новому для нас — раскрывается в книге «О себе».

Она не написана, а рассказана. И для правильного ее восприятия это очень важно. Составившие ее монологи Кеслёвского были записаны Данутой Сток — англичанкой, соприкоснувшейся с Польшей благодаря мужу, польскому оператору. В процессе перевода многочисленных интервью, данных Кеслёвским английскому телевидению, у нее и возникла эта идея: на основании серии бесед с режиссером сделать книгу.

В кажущейся ее спонтанности, в неизбежной при такой форме случайности и неполноте вспомнившегося видится какой-то возможный фильм самого Кеслёвского. Только на этот раз — о себе. Здесь есть и фрагменты «традиционных» воспоминаний — о детстве и родителях, о лицее, о знаменитой Лодзинской киношколе и самой атмосфере этого города, о съемках и связанных с ними происшествиях, забавных или драматических. Есть и порождаемые

© Krzysztof Kieślowski, 1993
© Danuta Stok, 1993
© И. Адельгейм. Вступление, перевод, 1998

Печатается с незначительными сокращениями.

внутренним «сюжетом» повествования, своего рода микроэссе — о взаимосвязи художественного и документального кино, кинематографа и телевидения, об отношениях режиссера, съемочной группы и зрителя, о Польше и «польскости», о случайности и ее своеобразной логике, о человеческой коммуникации, о праве человека на тайну своего мира и о многом другом. Отзвуки, отголоски этих размышлений можно найти в любом фильме Кеслёвского. Поэтика его книги «о себе» вообще удивительно соответствует поэтике его фильмов «о других», поскольку исходит из тех же «необратимых точек» его личности. Как говорил другой великий наш современник Мераб Мамардашвили, только от числа этих точек в конкретных людях зависит жизнь.

Началось же все с документалистики, с фильмов о том, «чем люди жили». «Меня интересовала действительность, и я хотел сказать о ней правду. Я всегда был и остаюсь *наблюдателем*... Я присматривался к людям в той или иной ситуации, наблюдал и старался понять», — сказал как-то Кеслёвский. Об этом его свойстве — *смотреть и видеть* — вспоминает сегодня практически каждый, кто знал режиссера. Но это же интуитивно знает и каждый внимательный зритель его фильмов. А теперь вот и читатель книги. Ибо размышлять «о себе» важно только для того, чтобы приблизиться к себе. А это возможно лишь тогда, когда человек *смотрит*, *видит* и *старается понять* других. И не отсюда ли вызываемое его фильмами ощущение чуда — чуда, которое в какой-то момент становится твоим, к которому потом постоянно возвращаешься, и вдруг оказывается, что оно уже и твоя собственная экологическая ниша?

«Существует истина, передать которую документ не в силах... Самое для меня важное слишком лично, чтобы это можно было снять», — так объяснял Кеслёвский свой уход из документалистики. В своих размышлениях он постоянно возвращался к волновавшей его проблеме бесконечной символичности и одновременно однозначности кино — и связанных с этим возможностей и ограничений. Таков один из главных психологических «сюжетов» книги.

«Мы поставили перед собой задачу: заставить зрителя безоговорочно поверить в показанную нами действительность, как в реальную жизнь», — сказал Кеслёвский в одном из интервью. После широко распространенного высокомерного снисхождения к этому «как в реальной жизни», ставшего чуть ли не знаком элитарности, «рассказывать просто истории» мог позволить себе только очень большой, очень независимый, очень честный, свободный и бесконечно ответственный перед жизнью художник. Ибо эти вопросы — о смысле существования, любви, страдания, одиночества, смерти — возникают только в жизни живых людей. В их *личных историях*. И только в их контексте имеет смысл спрашивать себя о том, *что* есть любовь, *в чем* заключается счастье и *ради чего и кого* в конечном счете каждый из нас живет.

Переживание — самое сложное испытание, которому подвергается человек. Все начинается и кончается главным его двигателем — самоощущением человека, его сопряженностью с другими самоощущениями. И каждая такая история у Кеслёвского высвечивается своего рода иллюминацией, создавая некое новое психологическое знание: не это ли «результат», смысл, итог любой реальной жизни, разве что не всегда замечаемый нами?.. Подобный опыт, как и история, «не знает сослагательного наклонения». Если бы не произошло так, произошло бы иначе. Поэтому «интерес конца», который, как утверждал Бахтин, есть главное, что привлекает в рассказываемой истории, у Кеслёвского имеет еще и другую окраску — он скорее психологического рода. Это интерес к рождению нового психологического опыта.

В его фильмах открывается — не только для героев, но и для зрителя — огромное личное пространство, в котором человек проходит свой собственный, бесконечно интимный, уникальный — но, оказывается, и универсальный — путь рефлексии. Именно на этом пути человек имеет шанс приблизиться к другим людям.

Кинематографу Кеслёвского свойственна некая ощутимая эстетика (не эстетизация!) повседневности, связанная с эстетикой эмоции. Она привлекает тем, что окрашена рефлексией, остранена ею и — очеловечена. Герой Кеслёвского — человек наблюдающий, чувствующий, рефлексирующий, осознающий. А значит — находящийся в поисках «слова» о себе самом, о другом человеке, о мире. И это очень важно. Вслед за удивленным взглядом героя зритель заново открывает для себя каждое движение, каждый «внутренний шаг» или даже лишь его предчувствие.

«Важно не то, где стоит камера, а то, зачем ее туда поставили», — не раз повторял режиссер. Ритм повествования, приближение или отдаление значимых для человека реалий, смена планов, ракурсов, цвета и света — все сосредоточено на том, чтобы зритель успел начать поиск *своего слова*, без которого он никогда не сможет вступить в диалог с миром и с собой.

Вне зависимости от политической конъюнктуры в центре внимания всегда остается человек — с той душевной ношей, какую он взвалил на себя. Спокойный голос Кеслёвского, честно и без морализаторства говоря «о себе», повествует о самых важных человеческих проблемах. И хотя на вопрос «Как жить?» в своих фильмах он отвечает «Не знаю», в них каким-то непостижимым образом содержится надежда когда-нибудь понять, что же происходит с нами на самом деле.

И в заключение случай, как будто взятый из фильма самого Кеслёвского. Купив после завершения работы над «Красным» томик стихов Вислявы Шимборской, он обнаружил там стихотворение «Любовь с первого взгляда», рассказывавшее *точь-в-точь* о том, чему был посвящен только что снятый фильм:

Им кажется, что раз они не были знакомы,
то ничего их и не связывало.
А как же улицы, лестницы, коридоры,
где они могли встречаться?

Вспомним один из главных мотивов Кеслёвского: нечто, объединяющее незнакомых людей — в том числе и благодаря *случайности и повторению*...

Много раз и по разным поводам цитировались сказанные Кеслёвским после окончания трилогии слова — они есть и в этой книге — о том, что больше он ничего снимать не будет. Слова трагически сбылись. Случайное ли это совпадение или высшее знание пути, предчувствие, которым наделены только большие художники, — этого мы никогда не узнаем.

Финал последнего фильма «Красный» (уцелевшие после катастрофы герои только теперь обращают друг на друга внимание) несет, может быть, не предусмотренную режиссером надежду. Она ощущается почти на биологическом уровне — будто человек делает спасительный вдох.

Последнее, что после смерти Кеслёвского приходит к нам, — его книга, его голос, его слова «о себе». И это становится для нас подобием такого вот вдоха. Мы должны сделать его, чтобы «необратимых точек» в наших душах, а значит, и поступках стало больше и жизнь, в которой люди научатся смотреть, видеть и стремиться к пониманию, продолжалась.

«Работы Кшиштофа, подобно огромной комете, светят точно так же, как тогда, когда впервые появились на небосклоне. Воспользуемся тем, что они еще с нами, тем, что память еще свежа, потому что нескоро появятся Человек и Творчество такого масштаба» (Кшиштоф Занусси).

Эпиграф

Кино — это не публика, фестивали, рецензии, интервью. Это — вставать каждый день в шесть утра. Это холод, дождь, грязь и тяжелые юпитеры. Это нервотрепка, которой иногда приходится подчинять все — семью, чувства, личную жизнь. Конечно, то же самое о своем деле скажет машинист, торговец, банкир. И, наверное, будет прав — но я занимаюсь своим и пишу о своем.

Возможно, я должен отказаться от этой профессии. Нужно быть очень терпеливым, чтобы работать с актерами, с оператором, мириться с погодой и вынужденными простоями, не злиться, когда не получается так, как хотелось бы. Причем я не имею права проявлять недовольство. Именно я — не имею. Огромных сил стоит скрывать от группы, что терпение на исходе. Люди неравнодушные наверняка поймут, как это тяжело.

Кино во всем мире снимают одинаково: в небольшом съемочном павильоне я получаю уголок, где стоят случайный диванчик, какой-нибудь стол, стулья. В этом искусственном интерьере гротескно звучат мои грозные команды: «Тишина! Мотор! Начали!»

В который уже раз меня тревожит мысль, что я занимаюсь несерьезным делом. Несколько лет назад французская «Либерасьон» провела опрос среди режиссеров. На вопрос, зачем я снимаю фильмы, я тогда ответил: «Потому что ничего другого делать не умею». Это был самый короткий ответ на вопрос анкеты, и, возможно, поэтому его заметили. А может быть, потому, что мы, кинематографисты, при всех тех масках, которые мы надеваем, при деньгах, которые тратим на съемки и которые зарабатываем, при этой иллюзии величия, так часто испытываем ощущение абсурдности нашей работы. Я понимаю Феллини и многих других, которые строят улицы, дома и даже создают искусственное море прямо в студии: тогда меньше людей становятся свидетелями работы режиссера — занятия несерьезного и вызывающего чувство стыда.

Но нередко бывает, что в минуты сомнения вдруг видишь нечто, благодаря чему ощущение идиотизма происходящего на мгновение исчезает. Вот хотя бы такой случай: четыре молодые французские актрисы на убогих подмостках, нелепо одетые, со стан-

дартным реквизитом и посредственными партнерами, играют настолько великолепно, что все на глазах становится правдой. Они произносят свои реплики, улыбаются, грустят — и я вдруг понимаю, зачем все это.

Глава 1

Возвращение домой

На аэродроме в Варшаве, как всегда, полчаса ждем багаж. Лента транспортера движется по кругу, и вместе с ней кружатся: окурок, зонтик, наклейка отеля «Мариотт», пряжка от чемоданного ремня и белоснежный платок. Несмотря на запрет, я закуриваю. Рядом, на четырех имеющихся стульях, все это время сидят четыре носильщика.

— Здесь нельзя курить, шеф, — говорит один из них.

— А сидеть и ничего не делать можно? — спрашиваю я.

— Ничего не делать в Польше всегда можно, — отзывается другой.

Они гогочут. У одного не хватает двух верхних зубов, у другого — клыков и второго справа. У третьего зубов нет вообще. Но он постарше, лет пятидесяти, не меньше. У четвертого, лет тридцати, все зубы целы. Багажа я жду еще двадцать минут, всего — около часа. Поскольку мы уже почти знакомы, носильщики ничего не говорят, когда я закуриваю вторую сигарету.

В центре Варшавы тысячи торговцев с машин продают мясо, полотенца, обувь, хлеб и сахар. Легче что-нибудь купить, чем просто пройти. На тротуарах разложены товары из Западного Берлина, из самых дешевых магазинов — из «Билки», «Квелле» или от кройцбергских турок. Шоколад, телевизоры, фрукты — все что угодно. Я вижу парня с банкой из-под пива.

— Пустая? — спрашиваю я. Он отвечает утвердительно.

— Сколько?

— 500 злотых (старых).

Я на мгновение задумываюсь над этим феноменом, а парень, видно, полагает, что я собираюсь купить банку.

— За 400 отдам, — уговаривает он.

— Да зачем мне пустая жестянка? — говорю я.

— А это уж ваше дело. Если купите — можете делать с ней что хотите.

Моя любовь к Польше напоминает любовь в многолетнем браке — муж и жена все друг о друге знают, немного друг другу надоели, но когда один из них умирает, через месяц умирает и другой. Честно говоря, я не могу представить себе жизнь без Польши. Мне трудно на Западе, несмотря на прекрасные условия; здесь, когда ведешь машину, тебя любезно пропускают, а в магазине говорят «здравствуйте». И все же, думая о своем будущем, я связываю его только с Польшей.

Я не чувствую себя гражданином мира; я продолжаю ощущать себя поляком. В сущности, польские проблемы касаются меня непосредственно; я не настолько далеко от них ушел, чтобы они перестали меня волновать. Интересуют меня при этом не политические игры, а сама страна. Это мой мир. В этом мире я возник, в нем, наверное, и умру.

Когда я вне дома, это всегда значит — ненадолго, проездом. Даже если это продолжается год или два, меня не покидает ощущение временности. Иначе говоря, всегда понимаешь, что ты вернешься. У человека должно быть место, куда он возвращается. Для меня это Польша — дом в Варшаве, дом на Мазурах. Когда я приезжаю в Париж, у меня нет чувства возвращения. В Париж я приезжаю. А возвращаюсь всегда в Польшу.

Отец в моей жизни был важнее всех остальных — возможно, потому, что он слишком рано умер. Мама тоже играла большую роль; во многом из-за нее я и решил пойти учиться в Лодзинскую киношколу.

Помню, как я второй раз туда поступал. Мы с мамой договорились после экзамена встретиться в Варшаве, на Замковой площади, у эскалатора. Мама, наверное, рассчитывала, что я поступлю, но я уже знал, что из этого ничего не получится. Я поднялся по эскалатору и вышел на улицу. Шел проливной дождь. Мама стояла насквозь промокшая. Я сказал, что опять провалился; она страшно расстроилась. «Слушай, — сказала она, — а может, это просто не для тебя?» Не знаю, плакала она или это был дождь, но мне стало ее ужасно жалко. Именно тогда я решил поступить непременно, чего бы мне это ни стоило. Я докажу им, что могу. Хотя бы из-за того, что мама стояла такая грустная.

Мы жили довольно бедно. Отец был инженером-строителем, а мама — служащей. Отец болел туберкулезом и двенадцать послевоенных лет от этого туберкулеза умирал. Он ездил по всяким санаториям, а мы — мама, моя сестра и я — ездили за ним; нам хотелось быть вместе. Отец в санатории, мама находила поблизости работу в какой-нибудь конторе. Он ехал в другой санаторий, и мы отправлялись туда же.

В жизни очень многое зависит от того, кто в детстве давал нам за столом по рукам. То есть кем был отец, кем — бабушка, кем — прадед. Откуда мы вообще взялись. Это очень важно. И тот, кто давал тебе по рукам за столом, когда тебе было четыре, и тот, кто потом положил тебе возле кровати или под елку твою первую книжку. Книги, которые я получал, во многом меня сформировали. Они чему-то меня научили, и, пожалуй, я даже знаю чему: благодаря им я обрел обостренную способность чувствовать. И я, кажется, знаю что́.

В отрочестве у меня были больные легкие: опасались туберкулеза. Конечно, я часто играл в футбол, как все мальчишки, катался на велосипеде, но из-за болезни много времени проводил под пледом на балконе или веранде — дышал свежим воздухом. У меня была масса времени для чтения. Вначале мне читала мама. Потом довольно быстро я научился читать сам. Читал ночью, при свете маленькой лампы или свечки, иногда под одеялом, часто до утра.

Конечно, настоящим был мир, в котором я жил, мир моих приятелей, велосипедов, беготни, катания на самодельных лыжах. В этом мире я жил. Но таким же настоящим был и мир книг, мир приключений. Этот мир существовал не благодаря Достоевскому и Камю, хотя, безусловно, они в нем присутствовали; это был мир индейцев, ковбоев и Томов Сойеров. Плохая литература вперемешку с хорошей. Я читал и то и другое с одинаковым интересом и не могу сказать, что тогда Достоевский дал мне больше, чем третьеразрядный американский автор книжек о ковбоях. Я бы вообще не разделял эти книги.

Благодаря чтению я рано узнал о существовании чего-то большего, чем то, что можно потрогать или купить в магазине.

Я не из тех, кто долго помнит свои сны. Честно говоря, я забываю их, когда просыпаюсь, — если они вообще были. Но в детстве, конечно же, сны снились мне, как и всем. Страшные сны, в которых я не могу откуда-то выбраться или кто-то меня преследует. Конечно, как и всем, мне снилось, что я летаю. Эти детские сны, цветные и черно-белые, я хорошо помню, хотя и как-то по-особому. Я не смог бы их пересказать, но если какой-нибудь из них снится мне теперь, я сразу понимаю, что это тот, из детства. И сейчас они иногда мне снятся — и хорошие, и плохие.

В моей памяти много событий, о которых я не могу сказать, произошли они на самом деле или я помню их так четко скорее потому, что о них кто-то рассказывал. Иными словами, я как бы присваиваю чужие события и часто не помню даже, у кого я их позаимствовал. Я краду их и начинаю верить, что они случились со мной.

С детства я помню несколько случаев, которые просто не могли произойти, — а я абсолютно уверен, что так было. Никто в моей семье не может объяснить, в чем здесь дело, — сон ли это, превратившийся для меня в конкретное событие, или чей-то рассказ, который я неосознанно украл.

Например, есть в моей памяти случай, который вновь вспомнился мне, когда я недавно поехал кататься на лыжах с сестрой и дочкой. Мы проехали Горчице, маленький

городок, где мы жили в 1946-м, а может быть, в 1947 году, когда мне было пять или шесть лет. Я ходил тогда в детский сад и помню совершенно точно, что шел по улице с мамой. Навстречу нам вышел слон. Он прошел мимо нас и отправился дальше. Мама говорит, что ничего такого она не помнит. Откуда после войны, в 1946 году, в Польше, где трудно было достать даже картошку, мог взяться слон? Тем не менее я прекрасно помню эту сцену и помню выражение глаз этого слона. Он свернул налево и исчез. Мы пошли прямо. Никто не обращал на слона внимания. Я уверен, что это правда, хотя мама утверждала, что ничего подобного никогда не было.

Есть случаи, которые я краду и начинаю рассказывать, как будто они произошли со мной. Через какое-то время я начисто забываю, что это случилось с кем-то другим. Похоже, тот же механизм действовал и в истории со слоном. Наверное, мне кто-то ее рассказал.

Недавно я еще раз в этом убедился. Было так: я отправился в Америку, где солидная компания «Мирамакс» готовила прокат фильма «Двойная жизнь Вероники». Во время нью-йоркского фестиваля мне вдруг стало ясно, что американцам непонятен финал. Там есть сцена, когда Вероника возвращается в родной дом, где живет ее отец. Но это скорее лишь намек: напрямую не говорится, что это родительский дом. Я знаю, что здесь, в Европе, сомнений ни у кого не возникает. В отличие от Америки. Американцы не уверены, что героиня возвращается в свой старый дом. Не уверены, что человек в этом доме — ее отец. И в любом случае им не вполне понятно, зачем вообще возвращаться в родной дом.

Для нас, европейцев, возвращение в родительский дом — событие знаковое, принадлежащее нашей традиции, истории, культуре. Об этом повествует, например, «Одиссея» — если вспомнить древнейшие времена. Литература, театр, культура очень часто обращались к родному дому как к месту, символизирующему определенный ряд ценностей. Особенно для нас, поляков, людей довольно романтичных, это необычайно важное место, значимый пункт нашей жизни. Поэтому я так и закончил фильм. Но в Америке я обнаружил, что никто этого не понимает, и пришлось предложить им другой финал, из которого ясно, что́ это за дом. Переделав конец, я задумался: почему американцы так мыслят? Я не знаю Америки. Не понимаю ее. Но все же я попытался разобраться, в чем тут дело. И вспомнил одну историю.

Я стал рассказывать ее разным людям — журналистам, прокатчикам, коллегам. Вскоре я сообразил, что ничего подобного со мной никогда не происходило, это история моего знакомого, а я начал ее рассказывать как свою собственную. Мало того что я ее присвоил, я еще и сам поверил, что она случилась со мной. И далеко не сразу понял, что просто ее украл.

Обычно рассказ выглядел так: я летел в Америку, рядом сидел какой-то человек. Мне хотелось не болтать, а поспать или почитать книжку. К сожалению, сосед оказался словоохотлив и завел разговор. Ну, что поделаешь...

— Чем ты занимаешься? — спрашивает он.

— Снимаю фильмы, — говорю.

— Это очень интересно.

— Да, — отвечаю.

— Знаешь, а я делаю окна, — отзывается он. — Это очень интересно.

— Да, да, необычайно интересно.

Конечно, я произнес это иронически, но он иронии не уловил и начал рассказывать. Оказалось, что он делает окна в Германии — там и живет. Понять друг друга нам было легко, потому что английским мы владели одинаково.

Так вот, он владелец самых лучших и самых крупных фабрик окон в Германии. Продает свои окна довольно дорого, с гарантией на пятьдесят лет. Конечно, немцы охотно их покупают, так как они люди практичные и считают, что если есть гарантия на пятьдесят лет, то пятьдесят лет окно не разобьется. Став лучшим производителем окон в Германии, он захотел повторить успех и в Америке. И открыл там фабрику.

— Слушай, — говорит он мне. — Я действительно делаю великолепные окна. Я даю пятьдесят лет гарантии. Я установил неплохую цену. Но никто не захотел их покупать. Никто. Я вложил уйму денег в рекламу: в прессе, на телевидении, где угодно. Рассылал журналы, каталоги. Без толку. Я снизил гарантию до двадцати лет, не меняя цены. Потихоньку окна стали расходиться. Снизил гарантию до десяти лет, цена та же. Продали в четыре раза больше. Теперь я лечу в Америку — хочу открыть вторую фабрику, снизив гарантию до пяти лет. Цена останется той же. Почему американцы предпочитают окна с пяти-, а не с пятидесятилетней гарантией? Потому что они не представляют себе, что можно пятьдесят лет просидеть на одном месте.

Так что тема родного дома как места, в котором сменяются поколения, американцам непонятна. Они непрерывно переезжают.

Эту историю я начал рассказывать как свою собственную, объясняя отношение американцев к родительскому дому. Через какое-то время я обнаружил, что это не моя история, но не отказался от нее, потому что она была мне просто необходима. Если меня спросят, как выглядел немец, сидевший рядом со мной в самолете, я опишу его во всех деталях, хотя никакой немец возле меня не сидел. Но это уже мой немец. Я его присвоил.

Думаю, мы помним очень многое, не отдавая себе в этом отчета. Если долго и настойчиво копаться в своей памяти, то какие-то образы и ситуации возвращаются. Нужно только по-настоящему сильно стремиться их вызвать. Это тяжелая работа над собой.

У меня есть такие «восстановленные» образы. Например, никто не мог рассказать мне о немце, набиравшем воду из колодца. Я вижу эту картину: он шевелит губами, пьет воду, откидывает голову назад, каска сползает, он придерживает ее рукой. Не произошло ничего такого, чтобы стоило об этом рассказывать. У этой сценки нет ни начала, ни продолжения. Картинка всплыла в памяти, когда я думал о самом раннем детстве.

Потом немцы стали всех выгонять. Мы уехали. После войны мы жили на Возвращенных Землях[1]. В разных местах. Для нашей семьи это было хорошее время. Отец еще чувствовал себя прилично и работал. Это были последние годы его работы. У нас был дом. Настоящий, нормальный, большой. Я ходил в детский сад. Жизнь складывалась неплохо. Раньше в нашем доме жили немцы. До сих пор у меня хранятся их ножик и набор циркулей. Отец пользовался циркулями при черчении, а потом они достались мне. Я помню немецкие книги. Одна из них, «Горы под солнцем», стоит сейчас где-то на полке в моей библиотеке.

Где мы были во время войны, не знаю — и уже не узнаю. Сохранились письма, какие-то документы. Но ни один из них не объясняет, где мы жили. Моя сестра тоже этого не знает. Она родилась через три года после меня, в конце войны, в 1944 году. Известно, что родилась она в Стшемешице, на границе той части Силезии, которая до войны принадлежала Польше. Во время войны это уже не имело значения — немцы были повсюду. В Стшемешице жила моя бабушка по отцу. У нее мы и поселились, в какой-то маленькой комнатушке. Она прекрасно знала немецкий и русский и, поскольку сразу после войны спроса на учителей немецкого в Польше не было, стала преподавать русский. Я даже ходил в ту школу, где она работала.

Я сменил столько школ, что часто их путаю. Не помню, где в каком классе учился. Школы менял два-три раза в год. В Стшемешице я ходил, кажется, во второй или в третий класс, мне было лет восемь-девять. Потом еще какое-то время в четвертый или в пятый. Учился я хорошо, но не был ни подлизой, ни зубрилой. Получал четверки и пятерки, и, честно говоря, без особого труда. Думаю, одноклассники меня любили, потому что я им помогал, давал списывать, подсказывал. Уровень провинциальных школ был тогда очень низким. Мне все давалось легко. Я не тратил много времени на учебу. Но в памяти от нее осталось немного. Разве что несколько исторических дат. Даже таблицу умножения я знаю нетвердо. Делаю орфографические ошибки.

Мы еще несколько раз жили в Стшемешице. Уезжали куда-то, потом возвращались

---

[1] Западные польские земли, возвращенные Польше по итогам второй мировой войны. *(Здесь и далее — прим перев.)*.

— здесь всегда можно было перекантоваться. Недавно я туда съездил. Нашел наш дом и двор. Конечно, все оказалось меньше, мрачнее, грязнее, чем в детстве.

Не помню, чтобы кто-то особенно плохо ко мне относился. Изредка меня били или скорее пытались побить. Обычно мне удавалось убежать. А вот в Стшемешице, особенно зимой, когда я возвращался домой вечером, мне иногда доставалось. Была там компания мальчишек, которым их учительница — моя бабушка — случалось, ставила колы, и они норовили меня поколотить. С бабушкой я об этом никогда не говорил и не знаю, прав ли я. Возможно, меня били за то, что я не был силезцем. Верхняя Силезия — регион довольно специфический. Там трудно было адаптироваться — силезцы говорили по-силезски и легко отличали «чужака».

Мы часто ездили в санатории для детей, которым угрожал туберкулез, то есть просто ослабленных. Нужны были соответствующий климат и более или менее приличное питание. Кормили нас по тем временам действительно неплохо. А утром всегда было несколько уроков.

Наверное, в санатории мы ездили потому, что родители едва сводили концы с концами. Отец все время болел. Мама зарабатывала слишком мало. Профилактории, скорее всего, были бесплатными. Отправлять нас туда родителям не хотелось, но, очевидно, другого выхода не было. При малейшей возможности они нас навещали. Мы с сестрой очень этого ждали. Обычно приезжала мама — отец подолгу не вставал с постели. Я любил родителей, и, думаю, они меня тоже очень любили, поэтому нам тяжело было расставаться. Но приходилось. Так уж все складывалось.

Мы жили то в одной дыре, то в другой — в такой глухомани, где коммунистической власти, по сути, не было. Я и милиционера-то там не видел. Население — несколько сот человек. Учитель. Водитель автобуса, ходившего в городок побольше один или два раза в день. И все. Был, конечно, директор санатория — может, и член партии, — но даже не помню, чтобы я когда-нибудь его видел. Понятия не имею, где я был, когда умер Сталин. Меня это не интересовало. Не уверен, что я знал о его смерти. Скорее всего, нет.

Первый западный фильм я посмотрел в Стшемешице. Кажется, «Фанфан-Тюльпан» с Жераром Филипом. Это была сенсация, потому что обычно показывали чешские, русские или польские фильмы. Я был маленький — лет семь, может, восемь, — а на этот фильм пускали, наверное, с шестнадцати. Что делать? Родители хотели, чтобы я пошел. Они считали, что фильм хороший и меня это развлечет. Мой двоюродный дедушка (которого я называл «дядя»), известный в городке врач, специально пошел на «Фанфана». Он решил, что посмотреть его мне можно, и, воспользовавшись своим авторитетом врача, договорился с директрисой кинотеатра, что она меня пустит. Я пошел. Но фильма совершенно не помню. А ведь я так готовился, переживал — боялся, что меня не пустят.

Еще раза три мы жили в Соколовско, возле Елени-Гуры, в Нижней Силезии. Этот уголок моего детства я помню лучше всего. Там тоже был санаторий, где лежал отец. Вообще в Соколовско было много домов отдыха санаторного типа. Все население составляло около тысячи человек: те, кто приезжал лечиться, и человек двести персонала с семьями.

Там был зал, где проходили гастроли театров и киносеансы. Приличный зал в доме культуры, с хорошими проекторами и большим экраном. Показывали и фильмы для детей. Проблема заключалась в том, что у меня — как и у многих моих приятелей — не было денег на билет. Родителям неоткуда было их взять. Иногда, конечно, давали, но редко. Мы забирались на крышу. Там было что-то вроде большого вентилятора. Такая труба с отверстиями по бокам. Через эти отверстия было очень удобно плевать на зрителей. Скорее всего, мы делали это из зависти. Злились, что они могут попасть в зал, а мы нет.

Нам был виден только кусочек экрана. Я видел обычно нижний левый край — полметра, в лучшем случае метр. Иногда ногу актера, если он стоял, или, если лежал, руку либо голову. Кое-что было слышно, и поэтому мы могли как-то сориентироваться в про-

исходящем на экране. Так мы и смотрели фильмы. Плевали вниз и смотрели. Нас выгоняли с этой крыши, на которую было очень легко забраться, потому что местность была гористая. Крыша дома культуры прилегала к горе, и мы без труда поднимались на эту гору, залезали на дерево, а с дерева — на крышу. Там и проходили все наши детские игры.

Я всегда любил лазить по крышам. У меня был друг, мальчик из Варшавы, который с крыши практически не слезал. Если появлялись вино или водка, они с приятелями пили обязательно на крыше. Забирались как можно выше — я тоже, впрочем, от них не отставал — и попивали винцо высоко над городом.

Позже я много раз бывал в тех местах. Собирался встретиться со старыми друзьями, но когда приезжал, оказывалось, что уже не хочется. Я осматривал знакомые места и возвращался. Мне казалось, что это должно быть очень любопытно — увидеть человека после тридцати-, сорокалетнего перерыва. Посмотреть, как он выглядит, узнать, кем стал. Окунуться в совершенно другой мир — именно это и интересно. Люди рассказывают о том, как они живут, что у них произошло. Но после нескольких таких встреч всякое желание у меня пропало. Честно говоря, мне было немного стыдно. У меня неплохо идут дела, хорошая машина. А приезжал я туда, где было полно трущоб, видел бедных людей, заброшенных детей. Наверное, мне немного повезло. Пусть только раз или два в жизни. А им — нет. Поэтому мне и стыдно. Думаю, им тоже было неловко. А поскольку инициатива таких встреч исходила от меня, это превратилось в серьезную проблему.

У родителей не было денег, чтобы отправить меня в школу в другой город и платить за квартиру и содержание. Да я и не хотел учиться. Считал, что уже знаю все, что мне нужно, как, наверное, любой в этом возрасте. Когда я окончил среднюю школу, мне исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет. Год я бездельничал. Мой отец, человек умный, сказал: «Ладно, иди в пожарное училище. По крайней мере, получишь профессию и будешь работать».

Работать я хотел. Училище предоставляло бесплатный интернат с питанием, и поступить туда было очень легко. Отец прекрасно понимал, что когда я его закончу, то захочу учиться по-настоящему. Конечно, он оказался прав. Прошло три месяца, а может, полгода. Я вернулся с желанием учиться во что бы то ни стало.

В варшавскую художественную школу я попал случайно. Родители то ли написали, то ли съездили к какому-то дальнему родственнику, которого я раньше не знал, — директору Государственного лицея театральной техники в Варшаве. Это была необыкновенная школа, самая лучшая из тех, в которых мне довелось учиться. Сейчас таких, к сожалению, больше нет. Как все хорошее, ее быстро закрыли. Там были прекрасные учителя. Тогда в Польше — думаю, что и в Европе тоже — не было такого, чтобы учителя относились к ученикам как к коллегам, просто более молодым. А у нас учителя были хорошие и умные. Благодаря им мы узнали о существовании настоящей культуры. Они советовали нам читать книги, ходить в театр и кино. Это не было модно, во всяком случае в кругу моих приятелей. Впрочем, я до тех пор жил только в провинции. А тут я вдруг обнаружил, что свою жизнь можно строить совсем иначе. Раньше я этого не знал. Вот вам и роль случая. Окажись мой родственник директором какой-нибудь другой школы, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Отец умер от туберкулеза в сорок семь лет — он был моложе, чем я теперь. Он болел двадцать лет и, думаю, уже не хотел жить. Он не мог работать, не мог обеспечить семью. Наверное, это его мучило. Мы с ним на эту тему не разговаривали, но я уверен, что прав. Отец был человеком ответственным. Я могу это понять.

Мама перебралась в Варшаву. Был конец 60-х — начало 70-х. В Варшаве было страшно сложно удержаться, прописки не давали. Но постепенно мама как-то устроилась. Жизнь была очень трудной, денег не хватало. Мне, впрочем, тоже. Когда стало полегче, я смог немножко ей помогать.

Мама умерла в 1981 году; ей было тогда шестьдесят семь лет. Это произошло в машине, которую вел мой друг. Так что родителей я потерял уже очень давно. Впрочем, мне пятьдесят лет. Мало у кого в таком возрасте есть родители. Я о стольких вещах с ними

не поговорил. И никогда уже ничего не узнаю. У меня есть сестра. Но у нас не слишком близкие отношения, на это просто нет времени. В последнее время я ни с кем близко не связан. Слишком много работы.

Думаю, что с сестрой у меня много общего. В детстве мы не расставались. В той нашей жизни, при постоянных переездах, смене школ, болезни отца, огромное значение имели такие прочные отношения, как наши. Как мои отношения с матерью и сестрой. Очень часто мы возвращаемся мысленно в прошлое, но большей части событий уже не помним. Мы не в состоянии их оценить. Не можем восстановить их ход и никогда не восстановим. Потому что главные их герои умерли и уже не скажут нам, как все было. Нам всегда кажется, что у нас еще полно времени. Что когда-нибудь потом, при случае...

Отношения с родителями всегда складываются неправильно. Когда наши родители в лучшей своей форме, энергичны, полны жизни, привлекательны, мы их не знаем, потому что нас еще нет на свете. Или такие маленькие, что не замечаем этого. А потом, когда мы вырастаем и начинаем что-то понимать, они стареют. В них уже нет прежней энергии. Уже нет того желания жить, которое было в юности. Они пережили всевозможные разочарования, неудачи. В них уже много горечи. У меня были необыкновенные родители. Необыкновенные. Просто я не мог их оценить тогда, когда должен был. Не мог, так как был слишком глуп, слишком молод.

Позже нам не хватает времени на любовь к родителям, потому что у нас свои заботы. Свои семьи, свои дети. Конечно, мы стараемся почаще звонить и говорить: «Я люблю тебя, мама». Но ведь дело не в этом. Мы уже вне дома. А по-настоящему мы нужны родителям рядом. Они все еще считают нас детьми, нуждающимися в их постоянной опеке. Мы из-под этой опеки вырываемся и имеем на это право. Поэтому я и считаю, что отношения между детьми и родителями всегда «неправильные». Но тут ничего не поделаешь. Ни одно поколение не избежало этой «неправильности». Может быть, важно это в какой-то момент хотя бы понять.

Мои родители были чересчур справедливыми. Отец был очень умным человеком, но я почти ничему от него не научился. Только сейчас я начинаю понимать, что на самом деле означали некоторые его поступки или слова. Раньше я их не понимал, потому что был слишком глуп, слишком молод, слишком легкомыслен или слишком наивен. Со своей дочкой я о самых важных вещах не говорю или делаю это очень редко. Конечно, мы много разговариваем о жизни, но о проблемах действительно важных — нет. Зато я пишу ей письма — мне кажется, что именно это останется. В тот момент, когда она получает письмо, оно, возможно, не производит большого впечатления, но когда-нибудь потом...

Хорошо, если отец для детей — авторитет, если он человек, которому можно верить. Это главное. Возможно, вообще одна из причин, по которой мы поступаем в жизни так, а не иначе, — стремление к тому, чтобы наши дети нам верили. Хотя бы немного. Отчасти именно поэтому мы не скатываемся на дно, не совершаем совсем уж гнусных поступков. По крайней мере, я в большинстве случаев поступаю так именно поэтому.

Киношкола

В Лицее театральной техники нам показали, что существует некий достойный мир. Мир, в котором не столь важны привычные, признанные в обществе ценности — удобно устроиться в жизни, иметь определенный набор вещей, приличные деньги или положение. Нам показали мир совершенно иных ценностей, в котором человек тоже может себя реализовать.

Именно поэтому я страшно полюбил театр. В 1958—1962 годах театр в Польше переживал эпоху расцвета. Для нашего театра это было золотое время. Время великих режиссеров, великих спектаклей, великих авторов (в 1956 году в Польше начали ставить западных драматургов), великих ролей, великих сценографов. Польский театр находился

тогда на мировом уровне — хотя, конечно, существовал железный занавес и о таком культурном диалоге, как сейчас, не было и речи. В кино он еще иногда допускался, хотя и редко, но в театре это было исключено. Теперь театры гастролируют по всему свету. Тогда же никаких гастролей не было. Играли у себя дома, и все.

Сегодня я не вижу в мире такого театра. Я бываю в театрах в Нью-Йорке, в Париже или в Берлине, но уровень там совсем иной. Тот польский театр связан с моей юностью, и тогда я открывал для себя нечто абсолютно новое и прекрасное. В теперешних спектаклях я не ощущаю прежнего уровня режиссерского, актерского, сценографического мастерства. А тогда я смотрел и поражался, что такое вообще возможно.

Я решил стать театральным режиссером. Тогда — как и сегодня — для этого требовалось высшее образование. Возможностей было много, но я подумал: почему бы не выбрать кинорежиссуру как путь к режиссуре театральной. В конце концов, это профессии очень близкие.

Конечно, одновременно приходилось как-то зарабатывать на жизнь. Не просить же денег у мамы, едва сводившей концы с концами. Около года я работал в секторе культуры районного совета на Жолибоже. При этом я еще писал стихи. Потом год работал в театре костюмером. Это было более интересно. Чтобы не попасть в армию, надо было где-нибудь учиться. Я поступил на преподавательские курсы и год занимался там рисованием. Пришлось сделать вид, что я хочу стать учителем рисования.

Рисовал я очень плохо. Впрочем, на этих курсах все и всем — рисованием, историей, польским, биологией, географией — занимались кое-как. Парни спасались от армии, а девушки — как правило, из провинции — рассчитывали выйти замуж или, поработав в варшавской школе, получить прописку. Каждому нужно было что-то свое. В школе на самом деле никто работать не собирался. А жаль — это очень хорошая профессия. Не помню, чтобы я встретил на курсах хоть одного энтузиаста педагогики.

Я все время увиливал от службы в армии. В конце концов мне это удалось: я был признан не годным к военной службе даже во время войны — это уж действительно редкий случай. В соответствии с диагнозом, у меня schizophrenia duplex — опасная форма шизофрении, при которой я, получив оружие, могу сразу же застрелить офицера. Вся эта история с армией еще раз показала мне, насколько сложно устроен человек. На комиссии я что-то преувеличивал, чего-то недоговаривал. И выглядело это вполне правдоподобно.

Сначала я худел. На первой военной комиссии оказалось, что у меня недостаток веса в шестнадцать килограммов. Недостатком веса называется разница между ростом и весом минус сто. То есть при росте сто восемьдесят один сантиметр — как у меня — человек должен весить восемьдесят один килограмм. Так считается в армии. Я тогда весил шестьдесят пять, так что шестнадцати килограммов мне не хватало. Поэтому я получил категорию «В» — освобождение от военной службы на год по причине плохих физических данных.

Я был просто тощий. И, не зная никаких правил, решил, что если при недостатке веса в шестнадцать килограммов меня освободили на год, то при недостатке веса, например, в двадцать пять килограммов могут освободить от армии навсегда. И я принялся усиленно худеть. Месяца два ел все меньше и меньше. Бегал. И так далее. А последние десять дней вообще ничего не ел и не пил. Оказывается, и так можно. Я не выпил ни капли жидкости и не съел ни кусочка в течение целых десяти дней. И вдобавок ходил в общественную баню — ванной у меня не было, я снимал какую-то кошмарную комнату под Варшавой. Мне было девятнадцать лет. Об инфарктах я ничего не знал, да меня это и не интересовало. Лучше уж инфаркт, чем армия, — в этом я был уверен. После пожарного училища мне стало совершенно ясно, что форму носить я не хочу.

В училище меня особенно не донимали, но я понял одно — что не в состоянии подчиняться жесткой дисциплине, горну, свистку. Я должен завтракать когда хочу или когда голоден, а не тогда, когда это положено по распорядку дня. Это индивидуализм. Я не хочу, чтобы кто-то все организовывал за меня, хотя это, может быть, и очень удобно. Так что

тюрьму, наверное, я выдержал бы с трудом, хотя, похоже, там этой свободы куда больше, чем в армии.

Десять дней я не ел, не пил и ходил в баню. Там были и сауна и парилка. Мужчины ходили, конечно, голышом. Ко мне вдруг стал приставать один мужик. Я ходил туда каждый день или через день и заметил, что он все время норовит ко мне придвинуться. Я подумал — может, педик. Так он придвигался, придвигался, а в один прекрасный день подошел, стал рядом, пихнул локтем, посмотрел на меня и говорит: «Худой петух — хороший петух». Оказалось — никакой не педик, просто такой же худой; считает, что мы оба неподражаемы и, конечно, должны подружиться. Мужик лет пятидесяти, и действительно — худой как щепка.

В последний день я уже едва держался на ногах. Приехала мама. Приготовила мне бифштекс — после этой десятидневной голодовки. Я поел, встал и поплелся на комиссию. Разделся. Подошел к столу. Недостаток веса у меня тогда был двадцать три или двадцать четыре килограмма. Это уже серьезно. Конечно, не обошлось безо всех этих армейских окриков: «Эй ты, подойди! Встань туда! Да не сюда!» Поскольку я был здесь не первый раз, то машинально направился к весам. И слышу: «Куда это ты?! Весы сломаны! Иди сюда!» Так плачевно завершилась моя авантюра со сбрасыванием веса.

И дело кончилось шизофренией. Никакой специальной литературы я не читал — ни строчки. Понял, что если начну притворяться, врать, то меня на этом поймают. Комиссии — дело нешуточное. Десять дней меня продержали в закрытом военном госпитале и ежедневно по нескольку часов допрашивали — не знаю, как это еще назвать. Восемь или девять военных врачей.

За полгода до этого я уже начал ходить в психдиспансер. Сам записался к врачу, сказал, что плохо себя чувствую, что ко всему потерял интерес. Это был мой главный аргумент — что меня ничего не интересует, что мне ничего не хочется.

Отчасти это, пожалуй, было правдой. Я во второй раз провалил экзамены в киношколу. У меня началась депрессия. В то время для меня важнее было разделаться с армией, чем сдать экзамены.

Зимой я стал ходить в диспансер раз в месяц. Потом меня вызвали на комиссию. Спросили, нет ли у меня противопоказаний для службы в армии. Я сказал, что нет. Встал на весы. К тому времени вес я уже набрал. Снова не хватало пятнадцати килограммов, но уже не двадцати пяти. А под конец спрашивают, где я хочу служить? Я отвечаю, что лучше где-нибудь, где поспокойнее. Они говорят:

— Как это? В армии «поспокойнее» не бывает. Что ты имеешь в виду? Почему поспокойнее?

— Потому что я лечусь в психдиспансере.

— Как это — лечишься? И давно?

Я говорю, что уже полгода.

— А почему лечишься?

— Ну, не знаю, — отвечаю я. — Неважно себя чувствую, вот и лечусь. Поэтому мне бы хотелось, чтобы меня направили в какую-нибудь спокойную часть.

Они пошептались и говорят:

— С этим направлением поедешь в такую-то больницу для обследования.

Там я проторчал в пижаме десять дней, толком даже не зная, кто находится со мной в палате.

На многочасовых допросах я повторял одно и то же — что меня ничего не интересует. Разумеется, они были страшно въедливы. Пытались разобраться. Например:

— А что ты вообще делаешь, если тебя ничего не интересует?

Я говорю, что недавно кое-что интересное все-таки сделал.

— Ну, и что же ты сделал?

— Смастерил маме розетку.

— Какую розетку?

— Ну, электрическую.

— А что, дома нет розеток?

— Есть, — говорю я. — Но только одна, а у мамы две плитки. Как их включить, если хочешь одновременно приготовить суп и чай? Пришлось сделать вторую розетку.

— Ну хорошо, — говорят они. — И как же ты ее сделал?

После чего я четыре часа рассказывал, как соединить проволочки, как их обрезать, чем и как перерезать кабель, как снять с кабеля обмотку. Я объяснял:

— Там ведь два кабеля. Один положительный, а второй отрицательный, понимаете? Два, в такой резиновой оболочке. Нужно их обрезать. Поэтому сперва надо поточить нож, да, а потом уже обреза́ть. Но когда перерезаешь оболочки, которые закрывают кабели, может произойти замыкание. Нужно обрезать так, чтобы не перерезать эти тоненькие оболочки. Потом, когда ты снимешь ту́ главную оболочку, да, остаются еще два кабеля, каждый в своей оболочке. Теперь нужно каждый перерезать, чтобы достать проволочки, потому что ток через эту пластмассу не идет. Он должен идти по проволочке. Но этих проволочек в каждом месте семьдесят две.

И вдруг они спрашивают:

— Как семьдесят две? Откуда ты знаешь?

— Я посчитал — семьдесят две.

Они старательно записали, что я эти проволочки посчитал.

— Их нельзя перереза́ть. Поэтому нож не должен быть слишком острым. И надавливать сильно нельзя. Проволочки нужно скрутить, потому что, когда эту оболочку снимешь, они страшно растопыриваются. Кабель состоит из семидесяти двух проволочек, и все это нужно как следует скрутить. Потом открутить винтик и подключить. Все собрать, закрыть оболочкой, связать и так далее.

Этот рассказ занимал у меня три-четыре часа, потому что я рассказывал очень подробно. Я понял, что им просто интересно. Они записывали все детали. Я чувствовал, что для них это важно, хотя и не знал почему.

Потом я два дня описывал, как наводил порядок в подвале. Рассказывал, что́ лежит на полке, объяснял, что она оказалась пыльной, что ее нужно было подвинуть, что пол был мокрый, что пришлось вытирать лужу. Тряпку я ходил выжимать во двор — ведь если бы я выжал ее на пол, опять натекла бы лужа. Они в ответ: а ты не догадался взять ведро? Я говорю: да, потом я понял, что так удобнее. Хорошо, что сообразил, — теперь не нужно было каждый раз бегать во двор.

Так прошло два дня. Еще два я расшифровывал какие-то кляксы. Меня заставляли говорить, что они мне напоминают. В общем, классические для психиатрии тесты.

Проведя там десять дней, я получил заклеенный конверт. Дома я его вскрыл и прочитал диагноз: schizophrenia duplex. Я снова заклеил конверт, поехал в свой военкомат и отдал конверт. В военном билете мне поставили печать «Категория Г» — не годен к военной службе даже во время войны.

Ровно через четыре дня начались экзамены в киношколу — и на этот раз я их сдал. Это было непросто: как сдавать экзамены, если тебе ничего не хочется?

Поступить в Лодзинскую киношколу было трудно. Два раза я уже проваливался — и все равно продолжал сдавать. Честно говоря, мной руководило уже исключительно самолюбие — хотелось доказать, что я все-таки поступлю. Других стимулов не было, потому что театр за это время мне разонравился. Где-то к 1962 году расцвет театра закончился — таких великолепных спектаклей, как прежде, больше не ставили. Не знаю, что произошло. Похоже, всплеск свободы, ожививший театр после 1956 года, к 1961—1962 годам стал затухать. Быть режиссером я уже не хотел. Классический случай честолюбия: пусть меня не хотят принимать — а я всем назло поступлю.

Самолюбие я удовлетворил и был счастлив. Вообще-то меня, конечно, приняли зря. Я был полным идиотом. До сих пор не понимаю, как мне удалось поступить, — может, из-за того, что я сдавал уже в третий раз.

Вначале был отборочный тур — нужно было представить фильм, сценарий, фотографии, роман. Можно картины, если ты рисуешь. Что угодно. Я принес какие-то дурац-

кие рассказы. Кошмарные. На одном из экзаменов показал фильм на восьмимиллиметровой пленке. Жуткий — какую-то претенциозную чепуху. Принеси мне кто-нибудь такое сегодня, я бы в жизни его не принял. Впрочем, меня и не приняли. Может, я поступил тогда, когда явился с рассказами? Уже не помню.

Экзамены в киношколу тянутся страшно долго — две недели. Я все три раза проходил на последний тур. Это было довольно трудно, потому что на пять или шесть мест всегда оказывалось около ста претендентов. До этого этапа я доходил легко. А дальше — никак.

Я был начитан. Хорошо знал историю искусств — благодаря лицею театральной техники. Неплохо разбирался в истории кино. И так далее. Но, честно говоря, несмотря на двадцать с лишним лет, я был весьма наивен. Наивен и страшно несообразителен. Во всяком случае, я прекрасно помню, как на одном из последних собеседований, от которого, кажется, зависел окончательный результат, меня спросили, какие средства человеческой коммуникации я знаю. Я сказал: троллейбус, автобус. Глубоко убежденный, что так оно и есть. А они, очевидно, решили, что на глупый вопрос я ответил саркастически или иронически. Вероятно, поэтому меня и приняли. А я действительно считал, что средство человеческой коммуникации — это троллейбус.

На экзаменах спрашивали самые разные вещи. Например, как работает сливной бачок? Или: как действует электричество. Или: помню ли я первый кадр такого-то фильма Орсона Уэллса? А как кончается «Преступление и наказание» — какими именно словами? Зачем поливают цветы? И так далее. Их интересовал уровень абитуриента, характер его мышления. Нужно было просто уметь говорить. Хоть о сливном бачке. Кажется — что может быть проще, а попробуй объясни. Можно показать на пальцах, но надо

Кшиштоф Кеслёвский — студент Лодзинской киношколы.

ведь рассказать словами, как набирается вода, как работает спуск и так далее... С помощью таких — среди прочего — вопросов и оцениваются способность рассказывать, умение сосредоточиться, богатство ассоциаций и умственные способности.

Занятия во всех киношколах построены примерно одинаково. Студенты изучают историю кино, общую историю, эстетику, фотографию, работу с актером и многое дру-

гое. На самом деле научиться можно далеко не всему — разве что истории. Путь к нашей профессии один — практика.

Школа должна дать студенту возможность смотреть и обсуждать фильмы. Это, в сущности, единственная ее задача. Не важно, говорят ли о кино на занятиях по истории кинематографа, по эстетике или по английскому языку. Важно, что эта тема висит в воздухе, что о ней постоянно идет речь, что фильмы анализируют, обсуждают, сравнивают и так далее.

Программа нашей школы была хорошо продумана. Нам предоставлялась возможность снимать фильмы — как минимум один на каждом курсе. А при определенной ловкости или удаче — даже два. Проникнуть в мир кино — это лишь первый шаг. Второй же — воспользоваться возможностью делать фильмы. То есть реализовать на практике результаты всех этих разговоров, дискуссий и всего прочего.

Полагалось снимать и художественные, и документальные фильмы. Я занимался и тем и другим. Кажется, на третьем курсе я снял двадцатиминутный художественный фильм. Чаще всего мы инсценировали короткие рассказы. О романах не было и речи. Большинство из нас писали собственные сценарии.

Никакой особой цензуры в школе не было. Нам показывали картины, которые не шли в обычном прокате. Их привозили вовсе не ради необычных деталей или запрещенных элементов политики, а просто в учебных целях. Конечно, Бонда, сражающегося с КГБ, мы не видели. Некоторые фильмы мы смотрели гораздо раньше, чем их выпускали на широкий экран. Не думаю, чтобы при отборе действовала политическая цензура. Хотя, конечно, я мог об этом и не знать. Нам показывали «Потемкина» Эйзенштейна, другие хорошие российские фильмы, интересные по тем или иным причинам. Но специальной коммунистической пропаганды в школе не было.

Многие фильмы остались у меня в памяти просто благодаря своей красоте. Но самое большое впечатление производили картины, которые мне самому, казалось, никогда не сделать. Не из-за отсутствия денег или техники, а потому, что не хватит воображения, сообразительности, таланта. Я всегда говорил, что не хочу быть ассистентом. Но вот, например, Кену Лоучу я был готов подавать кофе. Я понял это еще в киношколе, когда увидел его «Кес». То же я могу сказать об Орсоне Уэллсе, Феллини или Бергмане. Все что угодно — лишь бы понять, как им удается такое.

Время великих индивидуальностей в кино прошло. Я им не завидовал — завидовать можно чему-то, доступному хотя бы теоретически. А тому, что находится за пределами твоих возможностей, завидовать нельзя. В тогдашних моих чувствах не было ничего плохого. Было восхищение и убежденность, что мне это мастерство недоступно.

Много позже — кажется, в Голландии — меня попросили составить программу из фильмов, которые я больше всего люблю. Сейчас я уже не помню, на чем остановился. Но на два показа я даже сходил. И обнаружил, что ждал совсем другого, — мое восприятие этих фильмов полностью изменилось.

Хотя помню, что, посмотрев «Дорогу», я вовсе не был разочарован. Она понравилась мне так же, как когда-то, — или даже больше. С другой стороны, у меня сохранились прекрасные воспоминания о фильме Бергмана «Вечер шутов». И вдруг оказывается: то, что я вижу теперь на экране, мне абсолютно чуждо и совершенно неинтересно. За исключением трех или четырех сцен, напряжение, с которым я смотрел этот фильм раньше, исчезло. Но позже, благодаря новым фильмам Бергмана, я ощутил его вновь. В силе переживания, среди прочего, и заключается магия экрана. Ты переносишься в мир, изображенный в фильме, и такое перемещение возможно, если мир этот — самодостаточный и целостный.

Оба фильма двух великих режиссеров — Феллини и Бергмана — относятся примерно к одному периоду. Но «Дорога» в отличие от «Вечера шутов» не стареет. Кто знает, почему так происходит. Конечно, можно это анализировать. И, наверное, даже понять это. Но не знаю, стоит ли. Такое мудрствование скорее дело критиков.

Самая крупная фигура в кино последних лет — Тарковский. Его, как и многих дру-

гих, нет в живых. Одни великие режиссеры умерли, другие перестали снимать, третьи безвозвратно утратили что-то главное: воображение, оригинальность мышления, особый стиль повествования. Тарковский, несомненно, был одним из тех, кто не потерял ничего. Видимо, он просто уже не мог жить дальше. Именно поэтому люди обычно и умирают.

Мне всегда задают вопрос, кто из режиссеров оказал на меня наибольшее влияние. А я просто не знаю, что ответить. Слишком многие и по слишком разным причинам. Журналистам я всегда называю имена Шекспира, Достоевского, Кафки. Те удивляются — разве это режиссеры? Они, конечно, писатели — но это для меня важнее, чем кино.

Разумеется, я пересмотрел массу фильмов — особенно в киношколе — и очень многие из них полюбил. Не знаю, можно ли назвать это влиянием. Думаю, что до сих пор, за редкими исключениями, я смотрю фильмы скорее как зритель, чем как режиссер. А это совершенно другой взгляд. Конечно, если просят моего совета или мнения, я стараюсь смотреть глазами профессионала, аналитически. Но коли уж я иду в кино — что, впрочем, случается крайне редко, — то стремлюсь смотреть фильм именно как зритель. Я хочу, чтобы картина меня взволновала, хочу поддаться ее магии — если она есть, — хочу поверить в рассказанную историю. В этом случае уже трудно говорить о влия-

нии.

Хороший фильм я по ходу действия анализирую гораздо меньше, чем тот, который мне не нравится. Из этого, конечно, не стоит делать вывод, что на мое творчество оказали влияние плохие фильмы. Но я стараюсь не разбирать аналитически те фильмы, которые люблю. В школе я сотню раз смотрел «Гражданина Кейна». При желании я могу сесть и нарисовать отдельные его кадры, но не это для меня главное. Думаю, главное — что я как бы участвовал в этом фильме. То есть пережил его.

Я вовсе не считаю плохим то, что называют словом «украл». Если «украденное» из хороших фильмов становится потом элементом моего собственного мира, я не вижу в этом ничего дурного. Часто это происходит помимо моей воли — что не означает, будто ничего подобного не было. Было — но это не сознательный прием, не прямое подражание. Иначе говоря, фильмы — часть нашего мира. Мы встаем утром, отправляемся на работу или остаемся дома. Ложимся спать. Любим. Ненавидим. Смотрим фильмы. Разговариваем с друзьями, с родными. Переживаем проблемы наших детей и их товарищей. И фильмы — такая же часть нашей жизни. Откладываясь в нас, они становятся элементом нашего собственного мира, нашей внутренней жизни — точно так же, как все события, случившиеся в реальности. Думаю, фильмы ничем от них не отличаются — кроме того, что они придуманы. Но это не имеет значения. Вероятно, с кадрами, эпизодами, какими-то приемами происходит то же самое, что и с историями, — я даже не помню, у кого их «украл».

Я всегда призываю молодых режиссеров и сценаристов внимательно приглядываться к собственной жизни. Не для того, чтобы написать сценарий, а ради самих себя. Я советую им попробовать задуматься над тем, что в их жизни произошло важного, почему сегодня они оказались здесь, на этом месте, среди этих людей. Что на самом деле привело их сюда? Надо осознать, что это необходимо. Это основа всего.

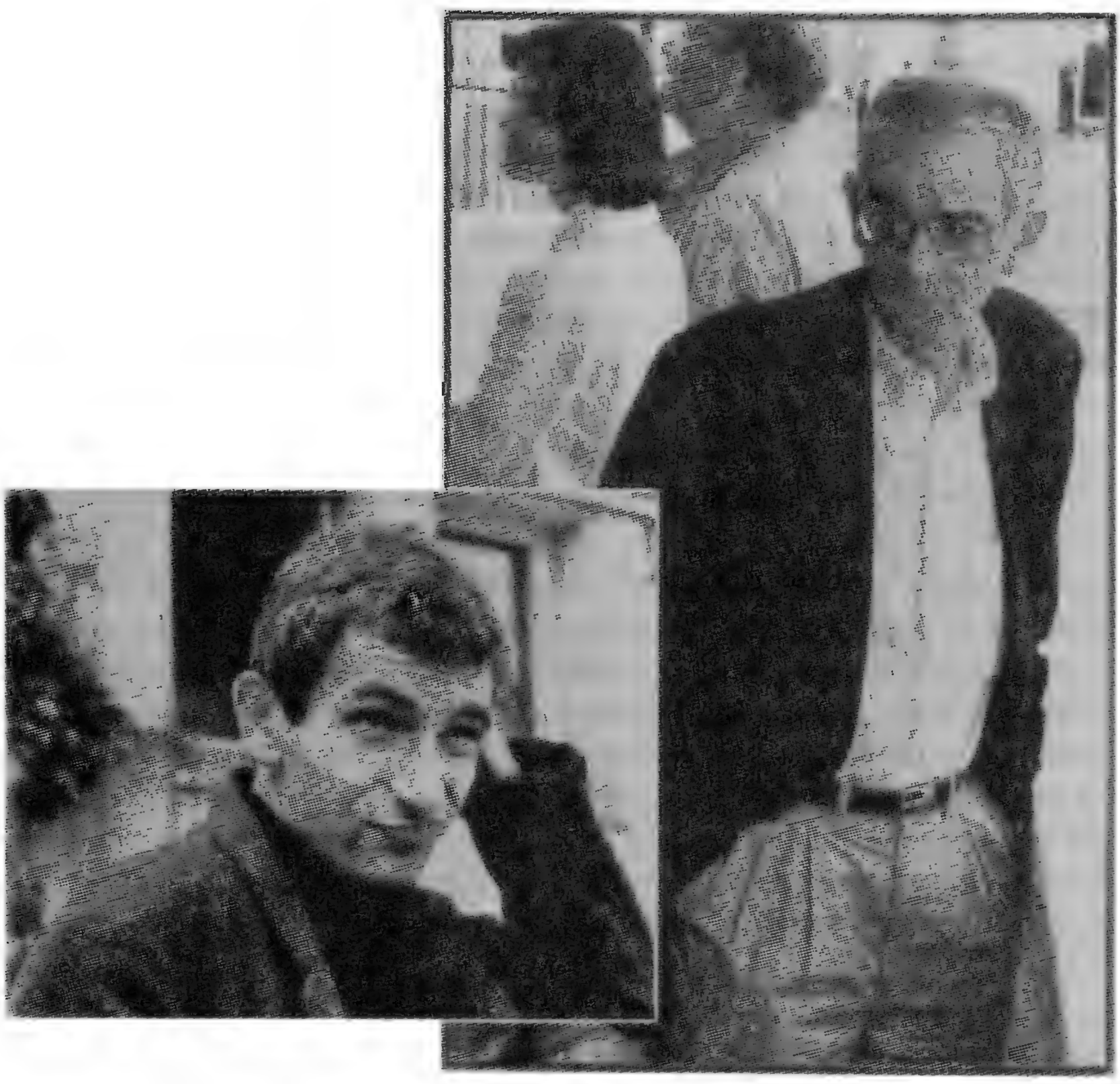
Годы работы без такой рефлексии, в сущности, потрачены зря. Можно что-то интуитивно чувствовать и понимать, но эффекты, основанные на интуиции, будут случайными. Мастерство начинаешь приобретать лишь в процессе выполнения этой душевной работы.

Без такого анализа — настоящего, глубокого, безжалостного, — в сущности, вообще невозможно рассказывать истории. Потому что, не разобравшись в собственной жизни, нельзя понять жизнь героя, о котором ты хочешь рассказать, нельзя понять жизнь других людей. Философам это известно. Но об этом должны знать и художники. Может быть, музыканты могут обойтись без такого анализа, хотя, думаю, композиторам он нужен. Живописцам, возможно, меньше. Людям, рассказывающим истории о жизни, не обойтись без настоящего понимания собственной жизни — самого глубинного, которым не делятся с другими. Оно не для продажи — и мои фильмы зрителю никогда его не откроют.

Хотя некоторые вещи проследить, конечно, несложно. Но понять, насколько мои фильмы или истории мне близки и почему — невозможно. Это знание мое — и только мое.

Я остерегаюсь людей, жаждущих учить или вести к цели. Я не верю, что цель можно указать, каждый должен найти ее для себя сам. Таких людей я боюсь панически. И потому опасаюсь психоаналитиков и психотерапевтов. Они, правда, утверждают, что только помогают найти путь. Их аргументы мне хорошо известны. Но это, к сожалению, лишь теория, а практика такова, что они именно указывают. Многим это помогает. Но я знаю людей, которые чувствуют себя после таких сеансов чудовищно. Думаю, впрочем, что даже если польза от этого и есть, то лишь временная.

Я ужасно старомоден в этих вопросах. Знаю, что существует мода на сеансы групповой и индивидуальной терапии, но я страшно боюсь подобных вещей. Точно так же, как опасаюсь политиков, священников, преподавателей — всех, кто дает указания, кто якобы *знает*. Я глубоко убежден, что на самом деле *не знает* никто. Но всегда находятся люди, которые *знают*. К сожалению, иногда это оборачивается такими трагедиями, как вторая мировая война, сталинизм и многое другое. Я убежден, что Сталин и Гитлер как раз *знали*. И *знали* очень хорошо. Иллюзия своего абсолютного знания порождает фанатизм. А кончается тем, что солдаты начинают чистить оружие. Я, конечно, несколько упрощаю. Бывают и чудесные исключения.



В шестьдесят восьмом я окончил киношколу. В ней была определенная свобода. Умные учителя. Но школу уничтожили коммунисты. Сначала выгнали преподавателей еврейского происхождения. А потом теми или иными способами отобрали у школы то пространство свободы, которым она обладала. И школа погибла.

Цензуру, конечно, пытались замаскировать красивыми словами. Например, одно время в школу принимали молодых приверженцев экспериментального кино — они вырезали в пленке отверстия, ставили камеру в углу и снимали часами все подряд, царапали на пленке рисунки и т. д., и т. п. Тогдашняя власть к ним благоволила. Тоталитарная

власть всегда поддерживает то движение, которое способно уничтожить другое движение. Движение, которое представляли мы — выпускники школы, — руководствовалось стремлением понять, что происходит в мире. Как живут люди и почему они живут совсем не так хорошо, как должны бы. И не так, как об этом пишут в газетах. Вот о чем были наши фильмы.

В 1981 году мы с Агнешкой Холланд поехали в школу. Там собралась группа единомышленников во главе с бывшим моим коллегой. Он как раз увлекался вырезанием дырок в пленке. Черный экран — и время от времени то с одной, то с другой стороны экрана мелькает белое пятно. В сопровождении какой-то музыки. Я не сторонник такого кино. И не скрываю, что меня оно раздражает. Но дело не в этом. Раз есть люди, которым оно нравится, то для них, наверное, стоит вырезать в пленке дырки. Я не имею ничего против при условии, что эти дырки не используются как инструмент для уничтожения чего-то иного.

Тогда я как раз был заместителем председателя Союза кинематографистов. Наш визит в школу был одним из многочисленных мероприятий Союза. Закончился он, конечно, провалом. Мы с Агнешкой пытались что-то объяснить студентам. Например, что киношкола существует для того, чтобы дать возможность снять несколько фильмов, научиться работать с камерой и актерами, познакомиться с историей кино. Короче — чтобы понять, что такое драматургия сценария, чем отличается сцена от кадра, чем отличается короткий объектив от длинного. Но студенты нас выгнали. Они кричали, что не желают, чтобы здесь открывали школу профессионального обучения. Они хотят изучать философию йоги и Дальнего Востока и вообще искусство медитации. Это необходимо, чтобы правильно вырезать в пленке дырки.

Нас просто вышвырнули из школы. Тогда я понял, как мало человек может добиться. Впрочем, возможно, я был не прав. Но мне кажется, что школа существует именно затем, чтобы научить всему тому, о чем я говорил. Они видели ее задачи в ином. Может быть, именно поэтому в Польше сегодня такое кино.

В 68-м интеллигенция устроила крошечную, ничем не поддержанную революцию. Мы считали, что газеты врут, говорили, что нельзя выдворять евреев из страны и что к власти должны прийти люди с более открытым и демократическим мышлением, чем команда Гомулки. Оказалось, что нами манипулировали политиканы, стремившиеся к власти. Гораздо более жестокие и циничные, чем Гомулка. Нас (молодежь, студентов) использовали Мочар[1] и его группа.

Дважды я пробовал заняться политикой, и оба раза это кончилось для меня плохо. Первый раз — в 1968 году. Какое-то время я входил в студенческий забастовочный комитет в Лодзи. Думаю, что особой роли он не играл. Я швырял в кого-то камни, убегал от милиции. И все. А потом меня раз пять или десять допрашивали. Я ничего не рассказал и не подписал. Никто меня не бил, о запугивании не было и речи. Ареста я не опасался. Хуже было то, что людей выталкивали из Польши.

Только теперь я понял, как хорошо, если страна не является этнически чистой. Но и тогда я видел, что совершается какая-то колоссальная несправедливость, а я ничего не могу поделать. Чем больше я буду кричать и швырять камни, тем больше людей покинет страну.

Какое-то время мне удавалось держаться в стороне от политики. Позже, будучи заместителем Вайды, я вновь с ней соприкоснулся. Фактически я стал председателем Союза польских кинематографистов, имевшего определенный вес. Это было в конце 70-х. И снова я очень быстро понял, какая неприятная и болезненная ловушка — «высокое кресло». Это была, конечно, маленькая, но все же политика. Мы пытались добиться для кинематографистов творческой свободы — ликвидации или ограничения цензуры. Из этого практически ничего не вышло. У нас была иллюзия, что мы играем важную роль. Оказалось — вообще никакой.

---

[1] Мечислав Мочар (1913—1986) — в 1964—1968 гг. министр внутренних дел Польши, в начале 70-х — член Политбюро и секретарь ЦК ПОРП. В борьбе за власть в партии и государстве использовал националистические и антисемитские лозунги.

Меня не покидало мучительное ощущение, что я просто занимаюсь не своим делом. Решаться на компромиссы было страшно трудно — ведь я совершал их от имени других людей. Это глубоко безнравственная деятельность. Даже если ты можешь сделать что-то хорошее, необходимое людям, за это всегда приходится платить. И собственным стрессом, и благом других людей. Так уж устроено. И я понял, что это просто не для меня.

На компромиссы приходится идти постоянно — и в частной, и в профессиональной жизни. Но я поступаю так на свой страх и риск. Проще говоря, я не хочу нести ответственность за других.

Возвращаясь к киношколе... Когда я поступил туда, ее как раз закончил Ежи Сколимовский. Когда я был на втором курсе — Кшиштоф Занусси, Эдек Жебровский, Антек Краузе. На моем курсе все жили очень дружно. Нам было хорошо вместе. Особенно мы дружили с Анджеем Титковым. Среди нас, как и полагалось, было несколько иностранцев. И вообще это был прекрасный курс — мы очень друг друга любили.

Анджей когда-то написал пьесу «Атаракс» (это название транквилизатора). Я поставил ее на телевидении — как курсовую работу второго или третьего курса. У школы было одно большое достоинство: она давала возможность потренироваться. Причем в хороших по тем временам условиях — с профессиональными операторами, звукорежиссерами и осветителями.

После окончания школы оказалось, что вкусы и интересы у нас у всех разные. Я много лет снимал документальные фильмы. Ребята разбрелись кто куда. Некоторые потом тоже пришли в документалистику — а в конце 60-х это было непросто. Собственно говоря, не знаю, почему я так быстро начал делать документальные фильмы. Мне помог Карабаш — один из лучших моих учителей, человек, оказавший на меня в начале пути большое влияние.

Потом я стал снимать художественные фильмы. Я попал в группу режиссеров, о которых позже стали говорить как о представителях «кино морального беспокойства». Это название придумал Януш Кийовский, наш коллега. Очевидно, оно должно было означать, что мы обеспокоены положением людей в стране. Мне трудно сказать, что он на самом деле имел в виду. Я это название терпеть не мог, но оно стало общеупотребительным.

Со временем, конечно, появились новые друзья. Я дружил с Занусси, с Лозинским. Потом с Эдеком Жебровским, с Агнешкой Холланд, какое-то время с Анджеем Вайдой. У нас было ощущение, что вместе можно что-то сделать, что вместе мы — сила. Так и было. Мы оказались нужны. «Кино морального беспокойства» просуществовало четыре-пять, может, шесть лет — примерно до 80-го года.

Вскоре после окончания школы, где-то в начале 70-х, мы задумали создать небольшую «группу давления». Мы хотели объединить молодых людей в студию, которая стала бы связующим звеном между школой и профессиональным кинематографом. Местом, дававшим возможность войти в профессиональное кино. Главной бедой мы считали то, что очень трудно было после школы заняться настоящим делом. Потом, в середине 70-х, стало легче.

В Венгрии такая студия существовала — студия Белы Балаша. Бела Балаш — венгерский теоретик кино, человек очень умный, работавший до войны и, кажется, после войны тоже. Мы решили назвать нашу студию именем Ижиковского. Ижиковский как теоретик кино до войны был очень близок Беле Балашу; это серьезный, глубокий исследователь. Еще мы намеревались снимать недорогие фильмы. Тогда был такой лозунг: «дебют за миллион». Средняя смета фильма обычно составляла шесть миллионов злотых. Мы же брались сделать первый фильм за миллион.

Больше всего внимания, считали мы, надо уделять сюжету. Мы хотели, чтобы наша студия работала в самых разных жанрах для самого разного зрителя. Тогда еще выпускали так называемые «довески» — короткие фильмы, шедшие в кинотеатрах вместе с полнометражными. Мы мечтали и о документальных телефильмах. Встал вопрос о финансировании такой студии. Деньги всегда давало только государство. Поэтому нужно было

воздействовать на тех, кто занимался культурной политикой. Однако убедить их мы так и не смогли. Но несколько лет на это ушло.

Мы писали разные манифесты. Нам удалось заручиться поддержкой важных в кинематографе фигур: Якуба Моргенштерна, Анджея Вайды, Занусси и даже Кавалеровича — в то время председателя Союза польских кинематографистов. Получить такую поддержку выпускникам школы было тогда очень сложно. Мы собирали подписи всех этих людей под обращениями, в которых говорилось, что такая студия необходима, что это было бы полезно для кинематографа. Но все в конце концов разбивалось о чье-то нежелание, не знаю чье — может быть, министерства культуры? Да нет, оно такие вопросы не решало. Наверняка этим занимался отдел культуры ЦК. Думаю, нам просто не особенно доверяли. Мы были слишком молоды, никому не известны. К тому же никто из нас не состоял в партии.

Чтобы придать себе вес, мы попросили назначить художественным руководителем студии Богдана Косинского, хорошего документалиста. Потом он стал известным и очень серьезным диссидентом. Но в то время он еще был секретарем партийной организации СДФ (Студии документальных фильмов). Мы полагали, что такая поддержка со стороны партии нам поможет. Оказалось, однако, что Богдан Косинский, даже будучи партийным секретарем, не обладал достаточной, по мнению властей, лояльностью. Такая репутация сложилась после 68 года, то есть, во-первых, после антисемитского скандала в Польше, а во-вторых — после введения в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Думаю, в то время тщательно просвечивали и проверяли всех. И мы все были так или иначе «не без греха». Видимо, Богдан уже тогда высказывал свое мнение по поводу, например, введения войск в Чехословакию. Даже если он не выступил открыто, то, скорее всего, на партийном съезде проявил себя настолько выразительно, что ему перестали доверять.

В результате через несколько лет вся эта инициатива завершилась полным фиаско, и студия возникла только в 1980 году, в период «Солидарности». Ее создали уже другие молодые люди во главе с Янушем Кийовским. И она существует до сих пор. Хорошо ли она работает — не знаю. Я хотел организовать ее для нашего поколения. Позже мне стало казаться, что нам она не нужна — мы уже вошли в кинематограф. Но для нового поколения такая студия необходима.

Человеческие устремления всегда определяются неким идеалом. Люди хотят что-то сделать вместе, как-то самореализоваться. Когда приходят деньги и власть, идеал начинает забываться. Его вытесняют собственные цели, собственные фильмы. Так все кончилось и на этот раз.

Глава 2

Особая роль документа

«ИЗ ГОРОДА ЛОДЗЬ» (1969)

Мой дебют в «большом кино» прошел очень гладко. Дипломный фильм был уже вполне профессиональным. Я сделал его на студии документальных фильмов в Варшаве. Фильм оплатила частично киношкола, частично студия. Условий финансирования я сейчас не помню. Во всяком случае, хотя денег и было мало, мне хватило.

Фильм назывался «Из города Лодзь». Коротенький документальный фильм — десяти- или двенадцатиминутный. Мы все тогда снимали короткие одночастные документальные фильмы-«довески». Фильм был о Лодзи — городе, который я, прожив там несколько лет, хорошо узнал и очень полюбил. Город жуткий, но необычный, по-своему живописный — с рассыпающимися домами, разваливающимися лестничными клетками и колоритными людьми. Более цельный, чем Варшава. Во время войны Лодзь почти не пострадала, так что, по сути, я учился в старой, довоенной Лодзи. Денег на ремонт никогда не хватало, стены домов покрывал лишай, а штукатурка постоянно отваливалась. Выглядело все это крайне живописно. Впрочем, это вообще необыкновенный город.

Студентами мы часто играли в одну очень простую игру, требовавшую честности.

Увидел человека без руки — получаешь одно очко, без двух рук — два очка, без ноги — тоже два, без обеих ног — три, без ног и рук (мы называли их «обрубками») — десять, встретил слепого — пять. И так далее. Около десяти утра мы встречались в школе за завтраком. Обычно каждый набирал около десяти-двенадцати очков. Пятнадцать — уже почти верная победа. Людей без рук, без ног, «обрубков» в Лодзи было много. Машинный парк на ткацких фабриках давно устарел и представлял настоящую опасность: во время работы людям постоянно что-то отрывало — руки, ноги. Кроме того, трамваи по узеньким лодзинским улочкам ездили вплотную к домам. Один неосторожный шаг — и ты попадаешь под трамвай. Ужасный и в то же время завораживающий город.

Много лет мы играли в эту игру и вообще с огромным интересом наблюдали за жизнью. Я начал снимать — в школе было отличное отделение фотографии. Нам давали аппараты и негативы. Можно было снимать сколько угодно, снимки потом проявляли в темном подвале. Десятки, сотни разнообразнейших фотографий. Меня это очень увлекало. Например, старики — скрюченные, вглядывающиеся в какую-то даль, мечтающие или думающие о том, что все могло быть иначе, и примирившиеся с тем, что все сложилось так, как сложилось.

Несколько удачных снимков сохранилось у меня до сих пор. Недавно я показывал их своей дочке. Ей — не знаю почему — вдруг пришло в голову заняться фотографией.

Фильм «Из города Лодзь» — портрет города, где одни работают, а другие бесцельно шатаются по улицам. В фильме прежде всего показан тяжелый труд женщин — у мужчин работа легче или они не работают вовсе. В городе масса абсурдных памятников, трамваев, старых фур, на которых по-прежнему развозят уголь. Жутких ресторанов и молочных кафе. Вонючих, отвратительных уборных. Каких-то руин, каморок.

В лодзинских трамваях существовал специальный тариф, позволявший за два талончика провезти какие-то вещи, например шинковку для капусты. Больше никогда в жизни я не слышал о специальном тарифе за провоз шинковки. Венок на могилу — тоже два талончика. Столько же — за провоз лыж. Но «лыжи» — это ведь пара лыж? Поэтому мы делали так: я брал одну лыжу, а приятель — другую. Приходил контролер — и начинался спор: ведь никто из нас лыж не вез. У каждого — только одна лыжа, а правило касалось двух, потому что было написано «лыжи»: за провоз «лыж» — два билетика. А сколько нужно заплатить за провоз одной лыжи — написано не было. Так что препираться с контролером можно было бесконечно:

— Да у меня же только одна лыжа.

— А у вашего друга — вторая.

— Так у него свой билет, а у меня — свой.

Цена трамвайного талончика была тогда для нас довольно существенной. Вроде бы дешево, но мы едва сводили концы с концами. У меня была небольшая стипендия, и еще немного помогала мама. На четвертом курсе я женился. Денег не хватало — приходилось считать каждую копейку.

Сейчас город изменился. Появилось много современных зданий. Старые снесли. Но мне кажется, что новые дома вовсе не лучше прежних, а честно говоря — даже хуже. Из-за того, что здания ломали, а не реставрировали, Лодзь теряла свой стиль, утрачивала ту особую притягательную силу, которой некогда обладала. Фильм «Из города Лодзь» делался с огромной симпатией к этому необыкновенному городу и его жителям. Что было на экране, я уже точно не помню. Работающие женщины. Какой-то парень в парке. Другой — с хитрой электрической машинкой: в одну руку берешь провод с отрицательным полюсом, в другую — с положительным, появляется ток, и нужно выдержать как можно дольше. Доказательством мужественности служили, например, 380 вольт, а не какие-нибудь 120. Ребенок выдерживал 60—80. Крепкие же мужчины выдерживали до 380 и говорили: «Нормально, добавь еще». А больше не было. Максимум 380 вольт. Я, кажется, выдержал до конца. Пришлось вытерпеть, потому что вся группа стояла и смотрела. Такие были в Лодзи развлечения. Этот парень так зарабатывал — один злотый за подключение к своей машинке.

Мы все снимали комнаты. Потом, после женитьбы, мы с Марысей поселились на чердаке. Хозяйка сдала нам просторный чердак, где она сушила белье, и там мы устроили себе комнату с кухней. С нами довольно долго жил Анджей Титков. Помню, у нас никогда не хватало денег, чтобы протопить печку. Впрочем, все равно неизвестно было, где покупать уголь. Поэтому каждый день или через день мы крали в школе большую сумку угля. Этого хватало на два дня, а потом мы приходили за следующей порцией. Так и прожили зиму — на краденом угле.

Помню старую женщину, жившую недалеко от школы. В этом месте — возле парка — улица расширялась. По одну сторону был дом, где жила старушка, по другую — парк, а в его начале — общественный туалет, в который нужно было спускаться по лестнице. Мы придумали себе развлечение. Разметили улицу мелом. Примерно в десять утра, когда мы встречались в школе за завтраком, старушка выходила из своей квартиры. Видимо, уборной у нее не было, и она ходила в этот туалет. Двигалась она с трудом. Каждый час, во время перерыва, мы выскакивали из школы и проверяли, на каком метре находится женщина. Она еле шла и брела до этого туалета часов семь или восемь. А потом ей приходилось еще спускаться по ступенькам. Потом она выходила и вечером возвращалась домой. Ложилась спать. А утром вставала и снова отправлялась в туалет. Мы держали пари — конечно, не на деньги, а просто так, — где бабушка находится, например, в полдень. Я говорил, что на четвертом метре, кто-то — что на третьем, кто-то — на шестом. Мы выходили и проверяли.

Такие были игры. Сегодня они выглядят жестоко, но вообще-то мы играли потому, что нас интересовала жизнь других людей, жизнь мира, так не похожего на тот, в котором выросли мы. Я приехал из Варшавы, окончив лицей театральной техники. Все остальные тоже были из Варшавы. А Лодзь оказалась совершенно другим городом, другим миром.

Позже в фильме «Муходав» его прекрасно изобразил Марек Пивовский. Это великолепный фильм — как раз о таких лодзинских монстрах. Что-то подобное нередко встречается у Феллини. Но мне кажется, что монстры, жившие тогда в Лодзи, были несравнимо более выразительны, чем феллиниевские. Пивовскому удалось это уловить.

Так мы жили. Больше я в Лодзь не возвращался. Только иногда приезжал по делам на киностудию.

В фильме «Из города Лодзь» мне хотелось снять то, что я в городе любил. Конечно, всего показать не удалось. Но особую атмосферу фильм отчасти передает. Этот фильм был моей дипломной работой.

Сразу после выпуска — должно быть, где-то в 1969-м — я снимал короткие фильмы для кооператива, изготовлявшего рекламу — совершенно идиотскую. Кооператив труда или кооператив киноуслуг — что-то в этом роде. Мы называли его «Мешочек» (то есть — мошна). На это я прожил полгода. Снял там, кажется, два рекламных фильма. Один — о кооперативе часовщиков в Люблине. А второй о каких-то ремесленниках, кажется дубильщиках.

Потом я еще снимал так называемые заказные фильмы. Один из них призывал молодежь ехать на медные рудники — «хорошие условия», «прекрасные заработки» и так далее. Фильм, наверное, был заказан заводом цветных металлов. Снимал я на СДФ, а деньги давали разные богатые заводы-спонсоры. Тогда эта студия выпускала массу подобной «продукции».

Не могу сказать, что специально искал такую работу, но стыда я не испытываю. У меня нормальное ремесло: иногда приходится делать что-то на заказ. Занятие страшно скучное, но платили неплохо. А против своей воли я не снял ни одного фильма.

<...>

«РАБОЧИЕ-71» (1971)

В то время меня интересовало все, что можно зафиксировать камерой документалиста. Вообще нас очень увлекала назревшая необходимость описания окружающего мира. Коммунистический мир фактически описан не был. Вернее — был, но так, как

выглядеть должен, а не так, как выглядел на самом деле. Мы — и было нас не так уж мало — попытались это сделать. Ощущения оказались захватывающими — словно с нашей помощью рождалась новая жизнь. Ведь то, что не описано, будто и не существует. Мы как бы создавали это заново.

«Рабочие-71» — самый политический из всех моих фильмов; гуманистическая перспектива там отсутствует. По замыслу фильм должен был отразить состояние умов рабочих, которых тогда называли «передовым классом». Мы хотели показать, что рабочий класс способен мыслить, причем мыслить — с моей точки зрения — верно: он стремится к всеобщей демократизации — на предприятии, в районе, в городе, в стране. Мы попытались создать детальный портрет тех представителей «передового класса», чья точка зрения не вполне соответствует содержанию передовиц «Трибуны люду».

Фильм мы снимали уже после забастовок 1970 года. Нам хотелось показать жителей провинции, работников маленьких фабрик. Показать организаторов забастовок, пытавшихся распространить это движение на Варшаву и объяснить Гереку, что люди на местах ждут более глубоких реформ. Все это происходило через год после того, как Герек стал первым секретарем. Гораздо более открыто высказывались герои фильма «Говорящие головы», который я снял в конце 70-х. Возникшая затем «Солидарность» уже со всей решительностью заявила, что люди хотят жить иначе.

Мы ездили по всей Польше, стремясь запечатлеть это довольно-таки горячее время. Чувствовалось, что оно подходит к концу и медлить нельзя. Мы — это я и Томек Зыгадло (режиссер), две съемочные группы — Витека Стока и еще одна — и, наконец, маленькая бригада, с которой работал Штайбус — Войтек Вишневский.

Похоже, кто-то хотел использовать наш фильм в своих целях. Из этого ничего не вышло. Но если бы благодаря этому фильму к власти пришел, например, Ольшовский, казавшийся тогда либералом, — и выяснилось бы, что он гораздо более ожесточенный и непримиримый противник либерализации, чем предыдущий секретарь, — я бы себя винил. Однако этого не случилось. Да и вообще фильм показан не был — ни наш вариант, ни тот, который устраивал власти.

Придя однажды утром в монтажную, мы обнаружили, что пропала звуковая дорожка с огромным количеством интервью, не вошедших в фильм. Мы не использовали их намеренно, просто не желая подставлять людей. Через два дня все нашлось. Потом меня вызвали в милицию и обвинили в том, что я продал звуковую дорожку станции «Свободная Европа». Организовано все было халтурно — ведь по «Свободной Европе» эти интервью не передавали. Думаю, это была очередная неудачная провокация, не имевшая ко мне никакого отношения. Я не знаю, кто, с кем и во что играл. Возможно, это и оказалось одной из причин, почему мне все опротивело. Именно тогда я понял, как вообще ничтожна моя роль.

«БИОГРАФИЯ» (1975)

Думаю, что уже в 70-е годы немало людей в партии понимало, что она идет в ложном направлении, что ее необходимо реформировать, приводить ее деятельность в соответствие с реальными человеческими нуждами. Существует такая точка зрения: коммунисты — плохие, а все остальные, то есть мы, замечательные. Но ведь это не так. Коммунисты, как и все люди, делятся на более умных и более глупых. Партийные реформаторы середины 70-х согласились и даже выразили особое желание, чтобы такой фильм, как «Биография», появился. Они считали, что с его помощью, возможно, удастся хоть как-то расшевелить инертную партийную массу, показать, что не все действия партии разумны, что она нуждается в демократизации.

Если явление не описано, не важно каким образом — с помощью кино, социологии, литературы, пусть даже устно, — осмыслить свое к нему отношение невозможно. Поэтому, чтобы бороться с аномалиями, следует сначала их описать. Чтобы реформировать партию, нужно сказать: «Это необходимо, поскольку плохо то-то и то-то». Но как это доказать? Только через описания. Самые разнообразные. Это могут быть и партий-

ные отчеты, и протоколы собраний, и дискуссии в прессе. Главное — чтобы факт был констатирован, другими словами — описан. Как раз эту задачу и выполняла «Биография». Идея принадлежала мне — фильм не был заказным. Речь шла о том, что деятельность партии плохо соответствует реальным потребностям и возможностям людей.

Этот фильм показывали на партсобраниях, так что я тоже побывал на нескольких. Было сделано около семидесяти копий фильма, что не так мало. Но я не знаю, сколько специальных сеансов было организовано для членов партии или для партийной номенклатуры.

Интереснее всего было бы снять документальный фильм о заседании Политбюро, где на самом деле решались судьбы страны. Но мне это не удалось. Поэтому я снял фильм о Комиссии партийного контроля. В те времена это была мощная организация, исключавшая, принимавшая, устранявшая — и нередко уничтожавшая — людей.

К таким вещам можно относиться по-разному. Можно сказать: «Ненавижу их и буду бороться до конца». Моя позиция иная: нужно пытаться понять человека, даже если он поступает плохо. Каким бы он ни был, необходимо разобраться, почему он такой. Мне кажется, что этот подход имеет такое же право на существование, как и борьба.

Я всегда стремился понять другого человека. Конечно, члены Комиссии партийного контроля не вызывают у меня симпатии, и, вероятно, в фильме это ощущается. Но, несмотря ни на что, я пытаюсь понять их логику. К людям, руководствующимся внутренними убеждениями, а не соображениями карьеры, я в любом случае испытываю своего рода уважение. Конечно, не стоит преувеличивать. Человека, считающего, что лучший способ избавиться от противника — выколоть ему глаза или перерезать горло, я не буду ни уважать, ни даже пытаться понять. Я достаточно точно чувствую, где проходит граница. Разумеется, гораздо проще было бы показать тупого бюрократа, чем человека, который по-своему прав. Но я выбрал второй подход — для меня как для кинорежиссера это единственно возможный путь.

Я вовсе не стремился кого-то оправдать. Я всегда держался своей точки зрения, — иначе зритель немедленно почувствовал бы фальшь, — но это вовсе не исключало попытки понять противоположную сторону.

«Биография» — классический случай синтеза вымысла и документа. Тогда меня это очень интересовало. В «Персонале», снятом в том же 1975 году, я также объединил несложную фабулу с документальной фиксацией определенного состояния людей — их образа мыслей и поведения. В «Биографии» изображена реальная Комиссия партийного контроля. Я искал наиболее порядочную, наиболее либеральную, наиболее здравомыслящую комиссию в Варшаве. Мне хотелось показать, каким образом она определяет, что человеку можно, а что нельзя. Ведь комиссия была уполномочена рассматривать любые, даже самые нелепые вопросы — чуть ли не сколько минут следует варить яйцо всмятку. Комиссии вмешивались в личные, самые интимные сферы жизни. Все, что в фильме имеет отношение к Комиссии партийного контроля, представляет собой документальную запись реальных человеческих реакций, реального поведения. А то, что касается героя — человека, представшего перед этой комиссией, — вымысел. Его биография, вобравшая в себя многие другие, придумана мной самим. Герой фильма — бывший инженер, занимавшийся разработкой телефонных линий. У его прототипа были похожие проблемы с партией — исключение, выговоры, травля. Звали моего героя Антоний Граляк.

Позже я часто использовал это имя — например, героя «Покоя» звали так же. Хотя имя Антек не очень распространено в Польше, оно до сих пор встречается в моих фильмах. Например, Антеком зовут друга польской Вероники. Не знаю, почему я все время возвращаюсь к этому имени. Может быть, потому, что я очень любил Антека Краузе[1]. Потом я назвал героя «Кинолюбителя» в честь Филипа Байона[2]. И так далее.

---

[1] Польский кинорежиссер, сценарист.
[2] Польский кинорежиссер, сценарист, писатель.

На основе фильма я написал пьесу — впрочем, скорее это просто запись заседания Комиссии партийного контроля. Сегодня мне не хочется даже вспоминать, что из этого вышло. Это была не моя инициатива — поставить пьесу меня уговаривал директор театра. Я и поддался на уговоры. Но спектакль оказался неудачным от начала до конца.

У меня были прекрасные условия: «Старый театр» в Кракове, замечательные актеры, которых я сам выбрал, — Юрек Штур, Юрек Треля. Главную роль играл Треля — герой знаменитых спектаклей Вайды и Свинарского. В общем, плохо было только одно — написанная мною пьеса.

Мне дали маленькую сцену. Впрочем, большая мне и не была нужна — такой спектакль можно ставить только в маленьком зале. Там и было мест восемьдесят или сто. К счастью, спектакль шел недолго — месяц-полтора. После чего его сняли — и правильно сделали.

Этого опыта мне вполне хватило. Я понял, что мой темперамент не для театра. Сидеть два месяца в одном месте и день за днем повторять одно и то же — это не по мне. У меня и так ни на что не хватает терпения, а с возрастом его становится все меньше. Но для работы в театре его не хватало уже тогда, хотя было мне всего тридцать с небольшим. Вайда все уговаривал: «Возьми хорошую классическую пьесу — Шекспира или Чехова, — и ты поймешь, что такое театр, как это удивительно — открывать заново то, что было написано давным-давно». Наверное, он прав — но только в отношении самого себя. Ему нравится отыскивать в тексте скрытые возможности. А я больше никогда не работал в театре — и не собираюсь.

Фильмы я снимаю, возможно, из честолюбия. Впрочем, все режиссеры работают так или иначе для себя. Фильм — инструмент куда более примитивный, чем литература, но вполне подходящий, чтобы с его помощью рассказать какую-нибудь историю. У меня часто возникает именно такое желание. Для этого нужна камера. Нужны и деньги, но и эта проблема не настолько серьезна, чтобы мое желание побороть. Я действительно снимаю фильмы потому, что больше ничего не умею. Сегодня я знаю, что сделал неудачный выбор, хотя он и не мог быть иным. Это очень тяжелая профессия. Стрессы, усталость, и за все самоотверженные усилия — слишком мало удовлетворения.

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (1974)

Перед окончанием киношколы я написал работу «Действительность и документальное кино». Я выдвинул тезис: жизнь каждого человека — готовый сюжет. Зачем придумывать события, если они и так происходят в реальной жизни? Их нужно просто зафиксировать. В соответствии с этим тезисом я попытался снять несколько фильмов. Идей было много, но реализовать удалось только одну — в «Первой любви». Думаю, впрочем, что это неплохой фильм.

Одна из моих нереализованных идей — сделать фильм о человеке, выигравшем в лотерею миллион. В Польше в те времена это была уйма денег. Большая вилла стоила около ста тысяч злотых, автомобиль — тридцать или даже двадцать. Во всяком случае, деньги огромные — мало кто в Польше обладал такой суммой. Можно было бы снять фильм о парне, выигравшем миллион, — понаблюдать за ним до того момента, пока он свой миллион либо потратит, либо приумножит. Это — драматургия «масла на горячей сковородке»: оно шипит, тает и наконец исчезает.

Фильм «Первая любовь» построен, напротив, по принципу драматургии «поднимающегося теста». Молодой парой — героями фильма — мы занимались почти год: когда познакомились, Ядя была, кажется, на четвертом месяце беременности, а когда расстались, ребенку исполнилось месяца полтора или два.

В этом фильме мы как раз использовали немало манипуляций и даже провокаций. Иначе было просто невозможно — нельзя же держать группу в полной готовности двадцать четыре часа в сутки. Я делал фильм около восьми месяцев, а съемочных дней набралось не больше тридцати-сорока. И мне приходилось провоцировать или создавать ситуации, в которые герои все равно бы попали, но в другой день или в другое время. Не

думаю, чтобы хоть одна из таких ситуаций была надуманной. Например, сцена в жилищном кооперативе — разумеется, я заранее отправился туда с камерой, но квартиры они добивались на самом деле.

И диалогов никто специально не писал. Скажем, я принес Яде и Ромеку книги «Молодая мать» и «Как развивается плод», дождался, когда они начнут обсуждать прочитанное, — и снял эту сцену. Они решили выкрасить свою комнатку в фиолетовый цвет — я пришел и снял, как они ее красили. Напустил на них милиционера, заявившего, что они в квартире не прописаны и, следовательно, живут нелегально. Это была, конечно, явная провокация. Я как раз знал одного относительно безвредного милиционера. Хотя, честно говоря, этот риск был довольно велик — Ядя была тогда, кажется, на восьмом месяце, и из-за этого неприятного визита с ней могло что-нибудь случиться. Ведь тогда все боялись милиции — особенно те, кто не имел прописки. Все это было куда сложнее, чем сейчас.

Но немало ситуаций просто складывались сами собой. Свадьба — снимаем. Роды — снимаем.

Следующих родов, как известно, нужно ждать как минимум год. Поэтому мы подготовились очень тщательно. Было известно, что Ядя должна рожать в больнице на улице Мадалинского. Примерно в то же время и у меня там же родилась дочка. Не могу уже вспомнить, чья была первой и было ли у меня ощущение déjà vu, когда я ходил под то же окно смотреть на жену. Мне кажется, что моя Марта старше и что сначала ходил я, а потом уже Ромек.

Ситуация с родами служит примером того, как организуются съемки документального фильма и как — несмотря на все старания — можно провалить дело. Конечно, нам было известно, в какой палате Ядя будет рожать. За неделю до родов мы уже установили освещение и микрофоны. Вместо Мися Жарнецкого звукорежиссером в этой сцене была Малгося Яворская — чтобы мужчин в палате оставалось как можно меньше. Осветители ушли, вручив Яцеку Петрицкому, оператору, «шпаргалку», по которой он сам мог бы поставить свет.

Телефона у Яди и Ромека не было. Мы договорились, что, когда начнутся схватки, Ромек позвонит Дзюбу, моему ассистенту. Все, кто должен был присутствовать в родильной палате, тоже ждали у телефонов. У нас было часа два, а может, даже всего минут тридцать. Мы просто не имели права опоздать. Мы работали над фильмом уже пять или шесть месяцев — нельзя же было теперь все испортить. Дзюб позвонит мне, Яцеку, Малгосе Яворской и, конечно, директору фильма. Больше там никто не был нужен.

Ждем. Проходит неделя — никаких известий. Каждый день я посылаю Дзюба проверять, не забыл ли случайно Ромек позвонить. Однажды ночью Дзюб не выдержал — он совершенно измучился, ожидая звонка сутки напролет. У телефона осталась дежурить его семья. А он сорвался — пошел и напился. В четыре утра, пьяный, он оказался в ночном автобусе, который ехал с Охоты в центр. Ночные автобусы ходили в Варшаве с интервалом в два часа. Дзюб уселся на заднее сиденье и, разумеется, заснул. Четыре утра. Темень. Это была зима, а может быть, уже весна. Во всяком случае, в ту ночь было очень холодно. Вдруг Дзюб чувствует, что кто-то его трясет. Просыпается — его тормошит Ромек, который с Ядькой сел в тот же автобус. У нее в ту ночь начались схватки, но Ромек так разволновался, что никому не позвонил. Такси они не нашли и сели в автобус, единственным пассажиром которого оказался пьяный Дзюб, мгновенно, впрочем, протрезвевший. Он выскочил из автобуса, влетел в автомат, позвонил мне, Яцеку, Малгосе. Через полчаса мы все были на месте. Роды, кстати, длились восемь часов, так что можно было и не спешить. Но кто знал, что так получится? Бывает, что успех съемок зависит от чистого случая.

С Ядей и Ромеком я до сих пор поддерживаю отношения. Они живут в Канаде, у них трое детей. Перед этим они несколько лет прожили в Германии. Недавно я с ними встретился. Когда в Германии проходила ретроспектива моих фильмов, я настоял на включении в нее «Первой любви». Узнав, что Ядя с Ромеком живут в Германии, я уговорил

организаторов пригласить всю семью. Они приехали. Девочке, родившейся тогда, было уже восемнадцать. Все, конечно, всплакнули. Ядя потолстела, но осталась такой же энергичной и в целом ничуть не изменилась. А восемнадцатилетняя девушка, только что увидевшая на экране собственное появление на свет, говорила по-немецки гораздо лучше, чем по-польски.

Я немного боялся, что они зазнаются, почувствуют себя кинозвездами. Но в какой-то момент понял, что все будет в порядке. Кстати, я в свое время и выбрал их потому, что Ядя, которой было тогда всего семнадцать лет, твердо знала, чего хочет. Выйти замуж, родить ребенка, быть хорошей женой, порядочной женщиной, иметь достаточно денег — и ничего больше. Она поставила себе цель и добилась ее. Я знал, что ее взгляды на жизнь вряд ли изменятся. Ей наверняка не придет в голову вдруг сделаться актрисой. Она просто знала, что это не ее мир, он ее вообще не интересовал.

Фильм не изменил их. После того как «Первую любовь» показали по телевидению, люди начали узнавать Ядю и Ромека на улицах. На какое-то время они стали популярны, но нисколько не возгордились — просто им было приятно почувствовать человеческую симпатию. В магазине или трамвае кто-нибудь мог вдруг улыбнуться им и сказать: «О, я вас узнал. Вас показывали по телевизору». Потом на улицах стали узнавать героев других телефильмов. Уже не им, а другим людям улыбались или показывали на них пальцем. Но некий момент ощущения человеческой доброжелательности они пережили.

Благодаря этому фильму нам удалось сделать кое-что полезное. Тогда — как, впрочем, и теперь — получения квартиры приходилось ждать годами. Ромек стоял в очереди на кооператив уже два или три года. В фильме есть сцена, когда в правлении кооператива супругам объясняют, что, возможно, лет через пять появится шанс попасть в список, который, может быть, когда-нибудь будет реализован. Перспектива весьма отдаленная. В комнатушке, выкрашенной в фиолетовый цвет, жить с ребенком было невозможно. Ни к его, ни к ее родителям они переехать не могли — у тех были очень маленькие квартиры, да и отношения складывались слишком сложно, чтобы жить вместе, тем более с малышом.

Тогда мне в голову пришла одна нехитрая идея. Я написал коротенький рассказик под названием «Эва-Эвуня». Это было уже после рождения Ядиной дочки, когда стало известно, что ее назовут Эва. Я предложил начать следующий фильм в день ее рождения и снимать до того момента, когда у нее появится собственный ребенок.

Поскольку «Первая любовь» была телевизионным фильмом, снятым на шестнадцатимиллиметровую пленку, сценарий я представил на телевидение. Телевидение в Польше и сегодня организация весьма солидная. Мне сказали: прекрасно. И в самом деле, проект был долгосрочный и весьма эффектный — двадцать лет снимать фильм об одном человеке. Мне очень хотелось этим заняться. Я даже начал. До сих пор где-то в архиве у меня хранятся снимки пяти-, шестилетней Эвы.

На телевидении я спросил:

— Вы ведь хотите, чтобы это был оптимистичный фильм?

— Конечно.

— Тогда нужно создать благоприятные условия. А условия, к сожалению, неблагоприятные, — сказал я.

— Что за условия?

— У них нет квартиры. Если снять фильм о ребенке, родившемся и растущем в какой-то норе — в кошмарном дворе, среди других грязных, бедных, запущенных детей, — оптимистичный фильм не получится. Надо создать условия для оптимизма, — отвечаю я.

— Например?

— Дать им квартиру.

И телевидение, благодаря своим связям, добилось для них квартиры. Через жилотдел, партком, райсовет — не важно каким образом. Во всяком случае, когда Эве исполнилось полгода, квартиру они получили — хорошую, большую.

Там они и жили еще какое-то время. Я несколько раз снимал в этой квартире что-то

для фильма «Эва-Эвуня». Потом перестал. Не потому что надоело — терпения мне бы хватило. Но я заметил, что слишком глубоко вторгаюсь в чужую жизнь — так же, как это едва не произошло при съемках «Вокзала» (1981).

Я считаю, что документалисту нельзя влиять на чью-либо жизнь — ни в хорошем, ни в плохом направлении. Ни во что не нужно вмешиваться — особенно в то, что касается психики, мировоззрения, системы взглядов. Нужно быть очень осторожным, чтобы не попасться в ловушку. Мне это более или менее удалось — иными словами, я никого не утопил и никого не вытащил.

«БОЛЬНИЦА» (1976)

Работа над фильмом «Больница», в свою очередь, складывалась из сплошных случайностей. Режиссер редко испытывает удовлетворение от своей работы, но на этот раз я по крайней мере дважды был счастлив, что у меня есть камера и я могу снять то, что происходит на моих глазах.

«Больница» подтверждала классический тезис из учебника по документалистике: нужно стараться хорошо освоить тематику и узнать людей, чтобы снять потом самое важное.

Мы не собирались снимать фильм именно о врачах. Мы хотели рассказать о том, что при всем беспорядке и грязи вокруг, при всем осознании бессилия что-либо изменить есть люди, добросовестно делающие свое дело. Я долго выбирал героев фильма среди людей разных профессий. Прекрасная волейбольная команда, получившая на Олимпиаде в Монреале золотую медаль? Спасатели в шахтах, с немыслимыми усилиями, после многодневных поисков вытаскивающие едва живого человека из-под земли?

В конце концов мне пришло в голову, что речь должна идти о врачах. Мы стали искать и нашли эту больницу. Атмосфера там и в самом деле была на редкость доброжелательная и очень человечная. Подготовка к фильму продолжалась почти год. Это не значит, что каждый день я трудился по восемь часов, но время от времени мы в эту больницу ездили.

Как снять то, что там делается? Прежде всего я решил не показывать на экране пациентов. Потом у меня возникла идея, как организовать материал во времени, — нужно снимать ровно в полдень, а потом на экране сделать надпись «двенадцать часов дня». Но вскоре я понял, что это глупо и как-то топорно — зачем лишать зрителя возможности увидеть то интересное, что происходит в пять минут первого, и подсовывать ему какую-то ерунду, происходящую в двенадцать ноль-ноль? Теоретически идея красивая, но на практике это становится идиотизмом, полным абсурдом.

В те времена от нас требовали — и правильно, впрочем, делали — заранее представить сценарий. Никогда не известно, каким получится фильм, но благодаря тому, что нас заставляли писать сценарий, идею приходилось как-то организовывать. Я расспрашивал врачей о запомнившихся им драматических моментах их работы, о том, как они «собирают» пациентов «по частям». Каких-то деталей я прежде не знал. Например, в костной хирургии используется молоток. Конечно, в нормальных условиях это должен быть хирургический молоток. Но в 1954 году они пользовались обыкновенным, каким забивают в стену гвозди, и во время серьезной операции этот молоток треснул. Я тут же вписал в сценарий: идет операция и ломается молоток.

Не помню, которую уже ночь мы там сидели. Раз в неделю у бригады было круглосуточное дежурство: врачи работали без перерыва двадцать четыре плюс семь — всего тридцать один час. Месяца два или три мы приходили раз в неделю на эти сутки. Когда сил не хватало, мы сбегали пораньше. А они должны были сидеть до конца. Мы едва держались на ногах.

Камера была большая и тяжелая. Чтобы перенести ее с места на место, нужны были два-три человека. Мы снимали в нескольких местах — в приемном покое, коридорах, палате, двух операционных и маленькой послеоперационной. В фильме видно, что врачи ходят из корпуса в корпус. Но мы не могли перетаскивать камеру за ними по три раза за

ночь. Нужно было установить ее, например, в операционной на всю ночь, а под утро перенести в комнату врачей, где они час-полтора спали и приводили себя в порядок.

Случилось так, что на «скорой» привезли родную тетку директора фильма. Получилось забавно — не то, что она сломала бедро, конечно, а само совпадение. Ее положили — тоже случайно — в «нашу» операционную. По ходу операции в область колена нужно было вбить стержень. Все это продолжалось около трех часов, и мы время от времени включали камеру. И вдруг... В операционной как раз был такой молоток, о каком мне рассказывали. Мы, конечно, его снимаем. И только настоящим везением, подкрепленным еще и интуицией, можно объяснить, что в нужном месте оказывается заряженная камера и необходимое освещение, а оператор начинает съемку за двадцать-тридцать секунд до того, как происходит самое главное. Представьте себе, молоток треснул — и как раз во время съемки! То есть возникла ситуация из сценария, которой вообще-то не должно было быть. В последний раз такой молоток треснул в 1954 году. А в сценарии я это описал только потому, что мне про такой случай рассказали. Все решили, что это какой-то трюк. Ничего подобного! Просто молоток взял и треснул. Это и есть везение документалиста. Мгновение, когда ты чувствуешь, что снял что-то действительно важное.

Мы стремились показать и кошмарные условия в больнице — все рассыпается, ваты нет, электричество отключают, проводка плохая, лифт не работает. Такой была жизнь.

Врачи оказались настолько открыты и мы так подружились, что они практически не замечали нашего присутствия. Чтобы создать такие условия, документальный фильм нужно снимать долго. Сегодняшние телерепортеры об этом как будто и не подозревают — подсовывают под нос микрофон и просят ответить на вопрос. Кто-то отвечает умнее, кто-то глупее, но разве это правда о человеке?

<...>

«ВОКЗАЛ» (1981)

Один спит, другой кого-то или что-то ждет... В «Вокзале» несколько таких кадров. Это фильм о людях «потерянных», пусть их судьбы и не конкретизированы. На вокзале, снимая их, мы провели около десяти ночей.

Идея подглядывания, кажется, возникла у нас позже. Не помню уже, как было в первоначальном сценарии. Мы только подумали, что драматургического материала у нас страшно мало — фильму некуда было развиваться. И мы добавили парня-наблюдателя, которому кажется, что он знает об этих людях все. Фильм, впрочем, не о нем.

Во время съемок я понял, что могу случайно оказаться там, где мне находиться совершенно не хочется. Мы работали ночью. Полускрытой камерой (немножко заслоняя ее спиной или снимая издалека длинным объективом) мы пытались запечатлеть забавные реакции людей на новую автоматическую камеру хранения. Никто не умел ею пользоваться. Там была длиннющая инструкция — опустите монетку... поверните... наберите шифр... и так далее. Люди, особенно из провинции, не очень понимали, как к этой камере подступиться. Несколько смешных портретов у нас получилось. Однажды под утро мы, как обычно, вернулись в студию. А там нас уже ждала милиция, арестовавшая весь ночной материал, все негативы. Я ничего не мог понять. Некоторый опыт у меня уже был — кража пленки на съемках «Рабочих», другие мелкие неприятности вроде вызовов в милицию и допросов по поводу моих фильмов. Та пленка из «Рабочих» значила для меня очень много: тогда мне казалось, что я злоупотребил чужим доверием. Хотя я тут был совершенно не виноват, но ведь я отвечал за эти записи. Если я гарантировал людям конфиденциальность, а пленки пропали — значит, ответственность за это несу я. Вообще в студии никто никогда не воровал пленки — во всяком случае, я об этом не слышал. Что же касается вокзальных пленок — никаких объяснений на этот счет мы не получили. Я подумал: может, мы сняли что-то политически неприемлемое? А через два-три дня нам вернули полностью весь материал, причем пленки были вполне прилично проявлены.

И только потом мы узнали, что в ту ночь какая-то девица убила свою мать, расчленила тело, распихала его по двум чемоданам и спрятала на Центральном вокзале. Имен-

но тогда — а может, это милиция так считала. Во всяком случае, пленку у нас взяли в надежде, что она поможет поймать убийцу. На пленке ее не оказалось. Потом женщину все-таки арестовали — через несколько недель или несколько месяцев. Но тогда я понял, что невольно — вне зависимости от своего желания — могу стать доносчиком.

Мы эту девицу не сняли — а если бы вдруг? Повернули бы камеру в другую сторону — и она бы попала в кадр. И получилось бы, что я сотрудничаю с милицией. Хотя никаких последствий — ни отрицательных, ни положительных — эта история не имела, я понял, что больше не хочу снимать документальные фильмы. Вообще благодаря этой истории мне стало ясно, каким маленьким винтиком я являюсь в машине, управляемой кем-то другим в своих — неизвестных и не слишком мне интересных — целях.

Думаю, что раз есть люди, которые ловят убийц, то они и должны этим заниматься. А у меня своя работа.

Не все можно показывать. Это одна из главных проблем документального кино. Ты попадаешь в естественную ловушку — чем больше хочешь приблизиться к человеку, тем больше он замыкается. Если я делаю фильм о любви, то не могу войти в настоящую спальню. Если делаю фильм о смерти, то не могу снять человека, действительно умирающего — это слишком интимный процесс.

Вероятно, потому я и стал снимать художественные фильмы. Там с этим проще. Нужно, чтобы герои занимались любовью — пожалуйста. Конечно, иногда трудно найти актрису, которая согласится снять лифчик, но всегда можно найти другую, готовую это сделать. Кто-то должен умереть? Пожалуйста. Через мгновение он поднимется живой и невредимый. И так далее. Капнуть в глаза чуть-чуть глицерина — вот вам и слезы. Впрочем, несколько раз мне удалось снять настоящие слезы — и это совсем другое дело. Но лучше уж глицерин — настоящих слез я боюсь. У меня появляется ощущение, что я вхожу туда, куда лезть не следует. Это главная причина моего бегства из документалистики.

Глава 3

Художественные фильмы

Чтобы научиться

«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (1973)

После своего первого получасового художественного телефильма я пошел стандартным, почти неизбежным в Польше путем. Хотя некоторые мои коллеги этого пути избежали, я хотел пройти его полностью, считая, что снимать художественные фильмы мне еще нужно научиться. Практика была такова: сначала снимаешь получасовой телефильм, потом часовой и только после этого полнометражный. В документальных съемках я немного разбирался, но с актерами работать не умел и в постановочном деле ничего не смыслил. Поэтому — просто чтобы набить руку — я охотно сделал несколько коротких вещей.

Начал я с получасового телефильма «Подземный переход». Мы снимали его со Славеком Идзяком. Действие фильма происходит в течение одной ночи в новом подземном переходе — на перекрестке Иерусалимских Аллей и Маршалковской. Сегодня там одна гигантская торговая точка, но в начале 70-х место было вполне приличное.

Сценарий я написал с Иреком Иредыньским — и это единственный сценарий, написанный мною вместе с профессиональным писателем (в «Коротком рабочем дне» репортаж Хани Кралль служил лишь исходным материалом). Я придумал место действия, героев — мужчину и женщину — и с этой концепцией отправился к Иредыньскому, писателю и сценаристу. Работать с ним было нелегко. Приходилось договариваться на шесть, а то и на пять утра — единственное время суток, когда он бывал трезвым. Он вытаскивал из морозилки заиндевевшую бутылку водки, и мы принимались за дело. Прежде чем вдвоем надраться, мы успевали написать две-три, а то и пять страниц. В сценарии

было их всего около тридцати — так что мы встречались, наверное, раз десять. И каждый раз это выглядело одинаково. Раннее утро, бутылка водки из морозилки — и за работу. Пока мы не напивались в стельку — во всяком случае, я. После чего я забирал то, что нам удалось нацарапать, и возвращался домой.

В моем распоряжении было десять съемочных ночей. Я снял весь фильм за девять и понял, что получилась полнейшая ерунда. Мне не понравились ни фабула, ни форма, в которую я ее воплотил. Актеры произносили свои реплики перед камерой — а меня не покидало ощущение фальши. И в последнюю ночь я решил все переделать. Количество съемочных дней было точно определено, так что времени у меня почти не оставалось. Для съемок художественного фильма дают пятьдесят дней, и ими можно распоряжаться как угодно. А на такой телефильм — дней десять-двенадцать и ни одним больше. Это, кстати, тоже требует профессионализма. Так что у нас оставалась одна ночь, и я решил, что мы переснимем все заново. Одной маленькой документальной камерой мы все и сняли. Ее приходилось без конца перезаряжать — стодвадцатиметровые кассеты нужно было менять каждые четыре минуты. Тогда еще не существовало «Arriflex-2» и «Arriflex-3» — работали с немой камерой, а потом записывали диалог. После девяти дней съемок актеры уже прекрасно знали все ситуации и реплики. Пленка у нас оставалась, а я еще немножко докупил за свои деньги у одного ассистента. Смонтировал. Думаю, из той «документальной» ночи в фильме осталось процентов двадцать или даже больше.

Я сказал: «Вот ситуация. Ты — дизайнер (Тереска Будзиш-Кшижановская). Ты (Анджей Северин) — ее муж». Она бросила его в провинции, где оба работали учителями, приехала в Варшаву, стала дизайнером. Он все еще любит ее и через несколько лет приезжает в Варшаву, чтобы уговорить вернуться. Дальше я не помню — какие-то разговоры, происшествия, ночные посетители магазина, который она оформляла. Кто-то чего-то требует, за окном что-то происходит. Я сказал актерам: «Сыграйте все так, как вы это чувствуете. А я буду снимать».

Мне кажется, что благодаря такому — довольно-таки рискованному — приему фильм стал более живым и достоверным, а это было для меня необычайно важно. Впрочем, и сегодня я слежу за тем, чтобы все человеческие реакции и мельчайшие детали были в фильме правдивыми.

Так я приобрел первый после окончания киношколы опыт работы с профессиональными актерами. Телевизионный театр не в счет — это был первый настоящий художественный фильм, не считая тех, что я снял еще студентом.

Метафора жизни

«ПЕРСОНАЛ» (1975)

«Персонал» — первый мой полнометражный фильм — шел почти полтора часа. Он был предназначен для телевидения. Мы начали снимать, и вдруг я понял, что получается фальшь. Я позвонил Стасю Ружевичу, который тогда был руководителем объединения, и сказал ему, что зашел в тупик. Он попросил прислать материалы. Съемки прервали. Через несколько дней я позвонил Ружевичу снова и предложил, пока не поздно, остановиться — тогда мы потеряем не так много денег. Он ответил: «Ну и прекращайте, если вам не нравится». Конечно, он поступил очень мудро — так, как когда-то мой отец: «Хочешь работать — пожалуйста. Окончи пожарное училище — будешь работать пожарным». Стась Ружевич сказал: «Хотите прервать съемки? Ну так прерывайте, если вам не нравится. В объединении посмотрели ваши материалы. Мне не кажется, что они так уж безнадежны, но если вы хотите прекратить съемки — можете это сделать хоть завтра. Возвращайтесь в Варшаву». (Мы снимали во Вроцлаве.) Поскольку он не стал меня утешать, самолюбие не позволило мне отступить — я решил довести дело до конца.

Это было не в первый и не в последний раз. Кстати, потом я часто снимал одновременно два фильма, чтобы иметь пространство для разных комбинаций.

«Персонал» примерно соответствовал первоначальному сценарию, хотя кое-что возникло уже в ходе съемок. Сюжет был очень прост: молодой человек начинает работать портным в оперном театре и вдруг обнаруживает всю наивность своих представлений об искусстве. В кругу актеров, певцов, танцоров, для которых искусство — повседневная жизнь, его иллюзии оказываются абсолютно несостоятельными. Мира, казавшегося ему прекрасным и возвышенным, на самом деле просто не существует. Актеры отрабатывают свои номера. Постоянно какие-то свары, интриги, амбиции, скандалы. А искусство где-то растворяется. Приди вечером в театр — и ты его ощутишь: зал затихает, поднимается занавес, ты начинаешь переживать. Но если твое место по другую сторону кулис, ты слишком хорошо знаешь, что там за люди, какие ничтожные у них проблемы, как бездарно все организовано.

Театр — всегда метафора жизни. Фильм, естественно, должен был показать, как трудно в Польше найти свое место. Наши мечты и идеалы в реальной жизни всегда сталкиваются с чем-то мелким и незначительным. Думаю, что так «Персонал» и воспринимается. Сценарий же представлял собой лишь набросок действия, зарисовки сцен, где нужно было импровизировать.

Этот фильм я снял по нескольким причинам (их всегда бывает несколько). Во-первых, у меня была потребность каким-то образом оплатить долг лицею театральной техники — ведь благодаря ему я около года проработал в театре. Я был костюмером в театре «Вспулчесны» — в те времена лучшем в Варшаве. Там я познакомился с великолепными актерами, которые сегодня снимаются в моих фильмах. Теперь мы относимся друг к другу совсем иначе — как партнеры. Збышек Запасевич, Тадеуш Ломницкий, Бардини, Дзевонский... Когда-то я подавал им тапочки, стирал носки и прочее. Обслуживал их за сценой и смотрел спектакли из-за кулис. Костюмер работает до и после представления и во время антракта. А когда идет спектакль, он свободен. Можно, конечно, раскладывать салфетки и наводить порядок, но можно идти за кулисы и смотреть спектакль. Я шел за кулисы.

В «Персонале» снялась моя любимая преподавательница театрального лицея Ирена Лорентович, дочь крупного польского литературного и театрального критика Яна Лорентовича. Она преподавала у нас сценографию — а до войны сама была известным сценографом. В фильме она, по сути, играла саму себя. Уехав в Америку во время войны, она прожила там где-то до 1956—1957 года и вернулась в Польшу. Стала оформлять спектакли в варшавской Опере и преподавать в нашем лицее. Я считал необходимым отдавать долги людям за те чувства и открытия, которыми я им обязан.

Была еще и другая причина. При съемках коротких документальных фильмов у меня всегда оставалась масса любопытного неиспользованного материала. Наблюдать за поведением людей интересно на протяжении долгого времени, а при работе над документальным фильмом некоторые забавные и трогательные сценки приходится прерывать, потому что дальше нет развития мысли. Такого рода материал я и хотел использовать в «Персонале» в качестве драматургической основы. Поэтому в фильме много сцен — не меньше десяти, — просто передающих общую атмосферу и демонстрирующих смешные в хорошем смысле человеческие черты.

Играли Юлек Махульский, сегодня режиссер, а тогда еще студент киношколы, режиссеры Томек Ленгрен, Томек Зыгадло и Котек, получивший роль заведующего мастерской. Все же остальные были настоящими портными вроцлавского оперного театра. Они шили, как обычно, костюмы, а мы снимали фильм. Когда дело доходило до импровизаций, я просто подсказывал тему разговора. О чем обычно болтают люди, работающие вместе? Всякие сплетни, что с кем случилось, что кому снилось. Именно такую атмосферу мне хотелось показать.

Поэтому у моих актеров в этих сценах работы было немного — ведь я стремился прежде всего зафиксировать реакции реальных людей, настоящих театральных портных. Все они просто оставались на своих местах. И на этом фоне я рассказывал историю того разочарования, которое постигло нашего героя, пришедшего в театр с большими надеж-

дами. Коллег-режиссеров я знал гораздо лучше, чем актеров. Я подумал, что если уж объединять в одном фильме настоящих портных, настоящего директора театра или настоящего сценографа с кем бы то ни было, то лучше, чтобы это были не актеры, — ведь актеры всегда будут что-то изображать, играть. Режиссеры же старались перевоплотиться в своих персонажей.

Нашему мышлению свойствен определенный схематизм. Например, нам кажется, что у портного на шее обязательно должен болтаться портновский метр. В фильме действительно есть люди с метром на шее — но все это мои актеры: настоящие портные так не работают. Можно заметить, кто шьет на самом деле, а кто только играет портного. Однако в любом случае непрофессиональный актер плюс режиссер, играющий роль, — это лучше, чем непрофессиональный актер плюс настоящий актер. Я считал, что режиссеру проще будет стать похожим на окружающих его людей и вписаться в сложившуюся атмосферу. Так и получилось.

В фильме есть и актер — он играет певца. Но если бы я взял на роли портных актеров его типа, я получил бы не только метры на шее, но и фальшивые интонации, потому что актер — такова уж его природа — всегда старается выйти на первый план. А режиссеры к этому не стремились — они прекрасно понимали, что нужны мне только как фон.

Ошибка в сценарии

«ШРАМ» (1976)

Мой первый художественный кинофильм — «Шрам» — получился неудачным, как бы «соцреалистическим наоборот». Соцреалистические фильмы рассказывали о том, как быть должно, а вовсе не о том, как есть на самом деле. А как должно было быть с точки зрения людей, финансировавших кино в России тридцатых годов и послевоенной Польше? Конечно, хорошо, прекрасно и замечательно — люди должны трудиться, радоваться своему труду, быть счастливы, любить коммунизм, верить в светлое будущее, в то, что вместе мы изменим мир к лучшему. Это были страшно примитивные фильмы, построенные на конфликте положительного и отрицательного героя. Положительный — наш, отрицательный, которого нужно победить, — чужой (как правило, связанный с американской разведкой или хотя бы обладающий буржуазными привычками). Поскольку «наши» верят в свою миссию и верят в будущее — они, разумеется, всегда одерживают победу над плохим героем. И «Шрам» в какой-то мере тоже такой, хоть и вывернутый «наизнанку», соцреалистический фильм, даже с некоторыми характерными реалиями, поскольку действие происходит большей частью на производстве и на разных собраниях — в любимых местах соцреалистического кинематографа, не питавшего доверия к частной жизни.

«Шрам» не только не показывает победителя — его герой раздавлен ситуацией, в которой оказался. Ему кажется, что, поступая правильно, он одновременно делает и нечто плохое. Он не в силах увидеть и взвесить, чего больше — плохого или хорошего. И в результате понимает, что скорее навредил, чем помог.

Фильм по ряду причин вышел неудачным. Как это всегда бывает, все началось со сценария, сделанного по репортажу одного журналиста по фамилии Карась. Я, впрочем, очень далеко отошел от первоначального материала, поскольку нужно было придумать действие, фабулу, героев. А это получилось плохо.

Документальные фильмы складываются по-всякому. А вот художественный всегда начинается с какой-то мысли. Исключениями были как раз «Шрам» и «Короткий рабочий день», в основе которых лежал литературный или псевдолитературный материал. Но, как правило, сначала появляется мысль, и только затем делается попытка рассказать историю. Простая мысль или тезис. Потом постепенно начинает вырисовываться необходимая форма.

«Мотор» документального фильма — мысль автора. «Мотор» художественного — действие. Мои же художественные фильмы развиваются скорее за счет мысли, чем за счет действия, — думаю, это следствие работы в документальном кино. В этом, видимо,

главный их недостаток, но если уж что-то делаешь, нужно быть последовательным. Ведь я не мастер острого сюжета.

Я часто анализирую со студентами соотношение исходной идеи фильма и окончательного результата. Всегда есть некая первоначальная мысль, первоначальное ощущение смысла — толчок к созданию фильма. Именно с ней и нужно сопоставлять конечный результат. В процессе съемок создаются характеры, герои, персонажи, действие, появляются актеры, реквизит, освещение, камера, тысячи других вещей, ты идешь на тысячи уступок и компромиссов. Никогда не получается в точности то, что ты видишь, когда пишешь сценарий. Но важно, чтобы первая мысль — или какой-то ее осколок, след — присутствовала и в итоговом результате. Очень важно уметь рассказать фильм в одной фразе.

Как я пишу сценарий? Сажусь на стул, вытаскиваю пишущую машинку (теперь ее заменяет компьютер) — и просто ударяю по клавишам. Весь фокус в том, чтобы ударять по ним в правильной последовательности.

Я выработал для себя одно правило. Не утверждаю, что оно универсально, но у меня срабатывает, — это «правило доски». Прыгун-легкоатлет бежит по мягкому грунту, но в какой-то момент, чтобы оттолкнуться, ему нужна твердая доска. Я всегда все пишу целиком — пусть это лишь страничка или полторы. Никогда не обдумываю заранее отдельные сцены, решения, персонажей. Целое для меня и есть та доска, та твердая основа, от которой я смогу оттолкнуться, чтобы перейти к следующему этапу.

В сущности, эта система, которой я придерживаюсь до сих пор, сложилась вынужденно — из-за действовавших в Польше правил. Когда я начинал снимать фильмы, полагалось утверждать поочередно все стадии сценария. За каждый этап, впрочем, платили отдельно. А поскольку все мы зарабатывали мало и с трудом сводили концы с концами, я охотно использовал все возможности получить деньги.

Литературная работа над фильмом включала четыре этапа. Сначала — тематическая заявка. За эту страничку давали тысячу злотых. Потом — киноновелла, страниц на двадцать—двадцать пять. Такие новеллы я пишу до сих пор, только называю их treatment[1], потому что сейчас работаю за границей. Дальше следовал сценарий. Потом — режиссерский сценарий.

Наверное, когда-то давно все это задумывалось ради того, чтобы подвергать цензуре каждый этап производства. Но поскольку в нашем коллективе о цензуре вообще речи не было — все и так прекрасно понимали, что можно и чего нельзя, я относился к этому как к способу заработать. А вскоре я понял, что такой вариант мне подходит: я предпочитаю выстраивать сразу законченное целое.

Теперь я работаю иначе. Пишу разные варианты. А вместо тематической заявки делаю для продюсера некий эскиз основной идеи. Хотя масштаб производства на этом этапе представить себе еще невозможно, но продюсер должен знать, что именно ему предлагают. Затем я готовлю treatment, чтобы продюсер имел возможность прикинуть смету. Да и для меня это чрезвычайно важно: здесь уже есть действие или его основа, зарисовки героев. Диалогов еще нет — только их отрывки или описания. Во всяком случае, на каждом этапе я создаю нечто целое. Обычно, прежде чем представить treatment, я делаю два-три варианта. Потом пишу сценарий — страниц девяносто или сто, то есть около страницы на минуту действия. Тоже два-три варианта. Режиссерский сценарий мне уже не нужен — за него мне никто не платит.

Необходимость написать диалог возникает сама собой. Например, кто-то входит в комнату, видит другого человека, подходит к нему и что-то говорит. Я пишу с абзаца имя и ставлю двоеточие... Задумываюсь, что он должен сказать в этой сцене, зачем и как. Просто стараюсь поставить себя на место героя.

Когда-то мы устраивали друг другу своего рода «сдачу объекта». Это вообще был

---

[1] Адаптация произведения для театра или кино *(англ.)*.

чудесный период — время «кино морального беспокойства». Мы дружили — Агнешка Холланд, Войтек Марчевский, Кшись Занусси, Эдек Жебровский, Фелек Фальк, Януш Кийовский, Марцелий Лозинский, Анджей Вайда. Люди разного возраста, с разным опытом и разными достижениями — и у всех нас было чувство, что мы что-то друг другу даем. Мы рассказывали о своих идеях, читали сценарии, обдумывали актерский состав, отдельные решения. Так что мой сценарий, будучи, конечно, написан мной, обычно имел нескольких «соавторов». Идеями я обязан многим людям — хотя они, просто появившись однажды в моей жизни, даже не знают о своем вкладе.

До сегодняшнего дня мы показываем друг другу еще не смонтированные или смонтированные вчерне фильмы. Правда, прежнее ощущение единства и близости исчезло. Тем более что все мы разъехались кто куда. И времени не хватает. Но до сих пор каждый сценарий я обсуждаю с Эдеком Жебровским или с Агнешкой Холланд. В «Трех цветах» они согласились быть консультантами, и мы просидели по нескольку дней над каждым сценарием. Думаю, что еще не раз обращусь к ним за помощью.

Сценарий готов. Теперь появляются актеры, оператор — и это снова многое меняет. Возникает очередная версия сценария. Масса вещей меняется и во время съемок. Актеры часто корректируют диалоги и даже ситуации. Заявляют, что должны появиться в какой-то сцене, что-то сделать или сказать. Если я считаю, что они правы, то ввожу их туда. Когда они отказываются что-то делать, полагая, что это не в характере героя, я, если признаю их правоту, тоже с ними соглашаюсь.

Когда-то мы получали на фильм деньги по полной смете и могли их тратить. Другое дело, что готовый фильм совсем не обязательно выходил на экран. Но снять его в любом случае я мог — часто обманывая, комбинируя и что-то недоговаривая в сценарии, вставляя в текст «проходимые» сцены и позже их заменяя, внося изменения в диалоги и так далее. Такой маленький обман был допустим. Многие сцены мы писали только для того, чтобы цензура, вычеркнув их, не обратила внимания на другие. Западные коллеги завидовали мне — я не должен был беспокоиться о деньгах и публике. Конечно, мне приходилось думать о политической цензуре и цензуре Костела. Я беспокоился и о том, как воспримет фильм зритель, но вовсе не о том, чтобы найти деньги — а это основная проблема кино на Западе. В коммунистической Польше у меня никогда не было нужды об этом думать.

Не могу ответить, как появляется замысел, и даже не пытаюсь это анализировать. Он просто возникает. Как? Из всего, с чем мы до этого момента в жизни соприкоснулись. Сюжет я не придумываю. Я придумываю историю — но сначала приходит чистое ощущение, которое лишь позже должно быть вербализовано, превращено в фабулу.

В определенный момент у меня появляется желание рассказать какую-то историю. Выразить мысль, которая, как мне кажется, важна именно сейчас, так как лет через десять она станет неактуальной. Особенно если хочешь снимать фильмы, затрагивающие реальные проблемы. У меня есть блокнот — так называемый режиссерский, — одна из вещей, в мое время придуманных Лодзинской киношколой. Я до сих пор им пользуюсь. И на занятиях всегда советую своим молодым коллегам завести такой блокнот. Я записываю туда разные вещи — адреса, время вылета самолета, на котором должен лететь я или которым прилетает кто-то другой. Иногда — увиденную на улице сценку, пришедшую в голову мысль. Хотя, честно говоря, я не так уж и часто возвращаюсь к своим записям. А если бы вернулся, то, скорее всего, просто обнаружил бы, что о многих темах уже когда-то думал.

Так обстоит дело с темами, то есть с мыслями. Если они забываются, значит, тому есть причины — их вытеснили другие мысли и проблемы, которые нужно решать другими художественными средствами. Чтобы не забыть, многое я записываю — особенно ночью, когда приходят какие-то новые решения. Мне всегда казалось, что надо бы что-нибудь изобрести, чтобы человек мог, не просыпаясь, записать пришедшую в голову важную мысль. Утром все забывается. И потом целый день думаешь: «Боже, как же там было?» И никогда не можешь вспомнить. В конце концов человек умирает, убежденный, что все лучшее из придуманного им пропало, потому что исчезло из памяти.

Впрочем, я глубоко убежден: если человек придумал что-то действительно хорошее, оно как раз в памяти останется. И, в сущности, все эти блокноты ни к чему. Ведь то, что по-настоящему ценно, не исчезает и рано или поздно — под воздействием какого-то внешнего импульса — вспоминается.

«ПОКОЙ» (1976)

«Покой» был телефильмом, снятым по чьему-то рассказу, герой которого только что вышел из тюрьмы. Сценарий, впрочем, от рассказа сильно отличался.

Рассказ этот я выбрал из-за одного персонажа. Я решил, что его характер можно изменить так, чтобы эту роль сыграл Юрек Штур, с которым я познакомился на съемках «Шрама». Уже тогда мне хотелось снять фильм специально для этого великолепного актера. Так я и сделал — это был фильм, сделанный под Юрека Штура.

«Покой» не имеет ничего общего с политикой. Это просто история человека, который хочет совсем немного, но даже эту малость не может получить. Там, правда, есть забастовка, из-за чего фильм не показывали шесть или семь лет. Но сама история вовсе не о забастовке.

Герой фильма — парень, который, выйдя на свободу, работает на маленькой стройке. В качестве рабочей силы туда привозят заключенных. Именно к этой сцене телевидение предъявило претензии. Заместитель председателя был очень умным и ловким человеком. Он пригласил меня к себе, и я понимал зачем. Подходя к зданию телевидения, я заметил, что на трамвайных путях работают заключенные, одетые в обычную тюремную одежду, а вокруг стоят охранники с автоматами. Я вошел в кабинет. Зампредседателя заявил, что «Покой» ему очень понравился, и высказал весьма продуманное мнение об этом фильме. Похоже, фильм и вправду ему понравился. Мне польстили, и я ждал продолжения — ясно, что вызвали меня не ради комплиментов. И в самом деле. Зампред сообщил мне, что он, к сожалению, вынужден потребовать убрать некоторые сцены. Фильму это не повредит, наоборот — он станет более динамичным. Среди прочего он назвал и сцену с заключенными на стройке. Я спросил, в чем дело. «В Польше, — сказал зампред, — заключенные не работают за пределами тюрьмы. Это запрещено конвенцией...» — и назвал какую-то международную конвенцию. Я попросил его подойти к окну — он подошел. Я спросил, что он видит. Он сказал: трамвайные пути.

— А на путях? Кто там работает?

Он пригляделся.

— Заключенные, — произнес он спокойно. — Они работают здесь каждый день.

— Значит, в Польше заключенные работают за пределами тюрьмы, — заметил я.

— Конечно, — ответил он. — И именно поэтому сцену вы уберете.

Примерно так выглядели подобные беседы. Эта была еще сравнительно пристойной. Я вырезал сцену с заключенными и несколько других, но фильм все равно много лет пролежал на полке. А когда вышел на экраны, стал историческим — Польша менялась слишком быстро.

После этого разговора прошло уже четырнадцать лет. Вчера, проезжая через маленький городок, я притормозил — ремонтировалась дорога. И, как в плохом сценарии, ремонтировали ее люди в тюремной одежде. Рядом стояли охранники с автоматами. Сегодня я уже могу снять об этом фильм.

Ловушка

«КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (1979)

«Кинолюбителя» я написал, пожалуй, тоже для Юрека. «Покой» — совершенно точно для него, тогда я его только открыл. А «Кинолюбитель» появился, когда Юрек стал уже известным актером, после «Покоя» он сыграл в «Распорядителе танцев».

В «Кинолюбителе» вместе с профессиональными актерами снимались люди, вы-

ступающие в фильме под своими фамилиями. Они играли самих себя. Например, Занусси играет режиссера, приезжающего на встречу со зрителями в провинцию. В свое время такие встречи устраивались очень часто. Случаются они и теперь. Недавно мы с Кшиштофом Песевичем[1] встречались с молодежью после показа «Декалога» в одном краковском монастыре. Пришло около тысячи человек. Люди стояли даже на улице — для них включили трансляцию.

Герой «Кинолюбителя» оказывается захваченным магией кино неожиданно, снимая на восьмимиллиметровую пленку свою новорожденную дочку. Это чисто дилетантское увлечение — сам я никогда не испытывал ничего подобного и учиться в киношколу пошел из самолюбия, а вовсе не потому, что считал создание фильмов чем-то важным. Потом я продолжал их снимать потому, что такова уж была моя профессия — чтобы в нужный момент ее поменять, я оказался слишком ленив, или слишком глуп, или и то и другое вместе. Кроме того, вначале я считал, что это хорошая специальность. Только сейчас я понимаю, какая она безумно трудная.

Не думаю, чтобы семейная ситуация героя фильма была типичной. Совместить работу в кино с семейной жизнью можно. Во всяком случае, можно попытаться. Конечно, это трудно. А что легко? Работа на текстильной фабрике? Постоянное пребывание вместе для семьи может быть не лучше, чем частые расставания. Дело ведь не в количестве времени. Работая на фабрике, можно, наверное, уделять семье больше внимания, чем работая в кино. Но с другой стороны, благодаря работе в кино ты становишься по отношению к близким более внимательным и чутким — потому что чувствуешь себя виноватым (я, во всяком случае, так себя чувствую). Так что если уж у меня появляется время, которое я могу посвятить семейным делам, то я отдаю себя этому полностью, стремясь компенсировать свое отсутствие, недостаток внимания. Не знаю, что лучше, думаю, универсальной модели просто нет. В каждой есть место и для любви, и для равнодушия, и для ненависти.

Почему герой «Кинолюбителя» уничтожает пленку, уничтожает созданное им самим? Это не капитуляция — ведь в конце фильма он снова направляет на себя камеру. Но Филип понимает, что как режиссер оказался в ловушке — его благие намерения могут быть использованы другими в дурных целях. Сам я никогда не уничтожал свою работу. Впрочем, в том случае с «Вокзалом» я предпочел бы заранее открыть кассету и засветить пленку. На всякий случай — чтобы милиция не обнаружила на ней ту девушку, которая убила свою мать.

Судьба или случай

«СЛУЧАЙ» (1981)

Не знаю, почему в литературе нет добросовестного описания Польши 70-х — ведь она могла бы это сделать лучше, чем кино. Мне кажется, что самое полное описание этого времени дал именно кинематограф. Но в конце 70-х я понял, что этот процесс имеет свои границы, которых мы с коллегами уже достигли, — дальше идти некуда и незачем.

В результате подобных размышлений возник «Случай» — фильм уже не о внешнем, а скорее о внутреннем мире — о силах, управляющих человеческой судьбой, толкающих человека в ту или иную сторону.

Основные недостатки фильма были, как обычно, следствием недостатков сценария. Но сам замысел нравится мне до сих пор, он кажется мне продуктивным и интересным. Хотя в «Случае» идея нескольких возможностей осталась использованной не до конца. Все мы ежедневно оказываемся перед каким-то выбором, который может определить всю нашу дальнейшую жизнь. Обычно мы даже не отдаем себе в этом отчета — по сути, мы никогда не знаем, от какой случайности зависит наша судьба: место в социальной группе, профессиональная карьера, работа. В эмоциональной сфере мы обладаем го-

[1] Адвокат, соавтор многих сценариев, по которым сняты фильмы Кеслёвского.

раздо большей свободой, а в общественной зависим скорее от случайности. Есть вещи, которые происходят с нами потому, что мы родились именно такими, какие есть, с такими генами. Об этом я думал, работая над «Случаем».

Герой фильма Витек остается порядочным в любой ситуации — даже вступая в партию. Поняв, что против воли совершил подлость, он находит в себе силы взбунтоваться и не изменить себе.

Самому мне ближе всего третий вариант судьбы героя — с авиакатастрофой. Ведь смерть ждет нас в любом случае — и не важно, случится это в самолете или в постели.

Работа над этим фильмом не ладилась. Сняв, по-моему, процентов восемьдесят, я понял, что иду в ложном направлении, что идея просто механически введена в фильм — она не работает. Я прервал съемки и сделал двух- или трехмесячный перерыв, а потом переделал половину снятого ранее материала и доснял недостающие двадцать процентов. Стало значительно лучше.

Я очень часто так делал и до сих пор это люблю — в какой-то момент, прервав съемки, посмотреть в монтажной и на экране, как работают разные элементы. Здесь, на Западе, это очень трудно — за каждым таким шагом стоят чьи-то деньги. В коммунистической Польше было легко, потому что деньги были «ничьи». Хотя все равно следили, чтобы фильмы не получались слишком дорогими. Я всегда об этом помнил.

Вирус коммунизма

«КОРОТКИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ» (1981)

В свое время мы с Ханей Кралль, с которой я очень дружил, написали по ее репортажу сценарий к фильму «Короткий рабочий день». Фильм, впрочем, получился очень неважный, но работалось нам прекрасно. Это чистой воды политическое кино на злобу дня. Будь картина показана сразу, она могла бы сыграть определенную роль. Но жизнь меняется быстро, и люди забывают и плохое, и его причины. Лучше запоминается хорошее — поэтому, наверное, сейчас в большинстве посткоммунистических стран есть скрытая ностальгия по старым временам, которые на самом деле были ужасны. В Польше, в Болгарии, в России люди нередко шутят в духе: «Вернись, коммунизм». Тогда сделать выбор было несложно. Известно, кто свой, а кто противник, кто друг, а кто враг. Было на кого свалить вину. Тот строй и тогдашние руководители несомненно были в чем-то виноваты. Причем их легко можно было опознать — по удостоверениям, по значкам, даже по цвету галстука. А теперь все усложнилось. Плюс еще ностальгия по временам, когда мы были моложе и энергичнее. Так уж оно обстоит в жизни.

«Короткий рабочий день» — художественный телефильм, снятый на 35-миллиметровую пленку. Он должен был идти в прокате, но, слава богу, до сих пор так и не вышел на экран. Его задерживала цензура. «Случай» и «Короткий рабочий день» я снимал одновременно. Закончили мы в декабре 1981 года. Уже было введено военное положение.

Почему фильм не получился? Кто знает... Думаю, что еще в сценарии мы не слишком пытались разобраться в характере героя. Это фильм об одном партийном секретаре. В 1976 году в Польше начались волнения и забастовки из-за повышения цен. В Радоме, довольно крупном городе в ста километрах от Варшавы, прошла большая демонстрация, закончившаяся поджогом здания воеводского комитета партии. Секретарь оставался там до конца. Он ушел последним — уже когда загорелась мебель, милиция вывела его оттуда.

Репортаж назывался «Вид из окна второго этажа» — там находился кабинет секретаря. Фильм же я назвал «Короткий рабочий день» — в тот день ему пришлось уйти с работы около двух часов дня.

Тогда — сегодня, впрочем, тем более — и речи не было о том, чтобы попытаться понять партийного секретаря. Партсекретаря всегда считали человеком власти. Причем, как правило, идиотом. Но этот как раз идиотом не был. Снимая фильм, я находился под

давлением общественного мнения — мнения очень жестокого. Я не хотел, а может быть, и не сумел по-настоящему проникнуть в душу героя. Постеснялся. Душа секретаря? Ладно бы ксендза или молодой женщины, но партсекретаря? Это как-то даже не вполне прилично. Поэтому и фигура получилась несколько схематичной. Думаю, что сегодня сделать глубокий фильм о партийном лидере будет уже вообще невозможно.

Сейчас все без конца пишут воспоминания и дают интервью. Политики, артисты, герои телевизионных скандалов и т. п. Все говорят, какими они были замечательными. Интересно — кто же тогда был плохим? Ни в одном интервью, ни в одной книжке никто не признался в своей вине. Во всяком случае, в публичных заявлениях все всегда без греха. Другое дело, может ли человек сесть перед зеркалом и признаться в совершенных им ошибках хотя бы перед самим собой. Редко кто-то публично говорит о проявленной им глупости или некомпетентности. Кто осмелится сказать: «Да, это из-за меня допущена несправедливость, пострадали люди, случилась беда»? Никто. Впрочем, люди пишут книги специально, чтобы оправдаться. Интересно — в глазах других людей или только перед собой? Этого мы никогда не узнаем. Но с этим связан и самый главный вопрос — где же находится зло? Откуда оно — если отсутствует в нас? Зло мы всегда приписываем другим.

Не знаю, лгут ли эти люди. Может быть, с их точки зрения, факты выглядели иначе? Может, их память сохранила лишь те ситуации, в которых они каким-то образом старались быть лучше? Многое зависит от того, с чем сравнивать. Существуют ли объективные критерии поведения? Сегодня мы чувствуем, что все становится относительным.

В глазах общественного мнения в Польше все партийные деятели — банда преступников и обманщиков. Но ведь это верно в отношении лишь какой-то их части. Коммунисты, как и все остальные, делятся на людей доброй и злой воли. Неправда, что все до единого хотели зла.

Короче говоря, этот фильм невозможно было снять как тогда, так и теперь. Очевидно, моя ошибка в том, что я не предусмотрел такой ловушки. Фильм получился скучный, он плохо сделан и плохо сыгран.

В 1981 году его задержала цензура. Нечего было и надеяться, что картину покажут хотя бы по телевидению.

Я монтировал «Короткий рабочий день» и «Случай» как раз в 1981 году. Суровая зима началась еще в ноябре — примерно за месяц-полтора до введения военного положения стало ужасно холодно. В монтажной тоже был адский холод. Я попросил человека, отвечавшего в нашей студии за профсоюз «Солидарность», заняться отоплением — мне казалось, что это одна из обязанностей профсоюзов. Если в комнате холодно из-за того, что не греют батареи, профсоюз должен позаботиться о ремонте отопления или о покупке электрообогревателей, чтобы люди не мерзли по двенадцать часов в сутки. Человек, к которому я обратился, заявил, что у «Солидарности» есть дела поважнее.

Я вообще сомневаюсь, нужен ли творческим коллективам профсоюз. Думаю, нет. Мне кажется, что профсоюзы приносят мало пользы искусству и культуре. Кончается всегда тем, что библиотекой управляют не библиотекарши, а уборщицы, потому что их больше, а кинематографом распоряжаются не режиссеры, продюсеры или операторы, а техники, электрики, шоферы и прочие.

Мне кажется, что профсоюз для творческих работников — нечто противоестественное. Такая организация не соответствует идее создания чего-то оригинального — что, по сути, и должно иметь своей целью искусство. Не соответствует потому, что у руководителей профсоюза всегда другие цели. Это очень хорошие люди, и я ничего против них не имею. Напротив, я их очень уважаю и люблю. Но почему они должны мной руководить? С этим я не могу согласиться.

Я закончил монтаж перед самым военным положением. А потом спал — месяцев пять или шесть. Попробовал стать таксистом, потому что единственное, что я умею еще, — это водить машину. Оказалось, что у меня слишком плохое зрение, да и водительский стаж нужно иметь, кажется, не меньше двадцати лет — точно уже не помню. Снимать

фильмы во время военного положения было вообще невозможно. На это никто и не рассчитывал. Лишь спустя некоторое время мы начали предпринимать кое-какие попытки.

Период военного положения был сущим кошмаром. Мне казалось, что такого народ власти никогда не простит, что люди должны наконец взбунтоваться. Я сразу начал подписывать какие-то обращения, письма. Жена протестовала — она считала, что я отвечаю за нее и за ребенка. И была права. Но я знал, что отвечаю и за нечто большее. Это как раз тот случай, когда сделать правильный выбор невозможно. Если выбор правильный с точки зрения общественной, то он плох с точки зрения семьи. Всегда приходится искать «меньшее зло». В итоге я попросту впал в спячку — как медведь.

«Короткий рабочий день» не выпускали многие годы. Теперь же, когда это хотят сделать, я как бы взял на себя функции цензуры, исходя, впрочем, из своих соображений. Сегодня, когда коммунизм формально уже не существует, мне кажется глубоко пошлым критиковать его приверженцев. Я считаю это безнравственным. Чего вполне достаточно, чтобы я был против выхода фильма на экран. Но люди все еще ищут доказательств того, что коммунисты были плохими, и мой фильм должен служить тому подтверждением.

Теперь в Польше возникла проблема папок с делами МВД — кто был агентом УБ или СБ[1], а кто не был. Как все просто: агентов заклеймить — они плохие, а остальные хорошие. А что делать с людьми, оказавшимися в западне, потому что обстоятельства их туда загнали? Вот, например, — обыкновенный человек, который не значится и никогда не будет значиться ни в каких списках, может, парикмахер, а может, мелкий чиновник или рабочий, разгружающий товарные вагоны. Он написал в газету, что его принудили к сотрудничеству, что у него не было выхода. Никакой полезной для УБ информации он никогда не передавал. Наоборот, утверждает этот человек, он давал ложную информацию, заставляя милицию тратить время на выявление несуществующих организаций. «Как быть со мной? — спрашивает он. — Кто я? Тоже подлец? Но я ведь не сделал ничего плохого. Ни на кого не донес. Никого не выдал. Да, я дал подписку в УБ. И что теперь? Кто же я для вас?» Совершил ли этот человек, дав подписку, грех, если он фактически не сделал ничего плохого? А люди, которые никаких подписок не давали, но доносили? Они не сотрудничали, не получали денег, но выдавали коллег. Что хуже? Какова мера этого греха? Я бы сильно задумался, прежде чем выносить приговор в подобном случае. С помощью наших ограниченных критериев, неполного знания и несовершенного ума определить наличие вины и ее масштаб невозможно.

Но поляки обожают оценивать — и знакомых, и незнакомых. Я обычно спрашиваю: «Простите, а кому дано право выставлять нравственные оценки? Кто судит? И почему его авторитет должен считаться большим, чем мой? Он что, знает, как было на самом деле?» Я очень не люблю эту типично польскую черту, часто объясняющуюся просто завистью к другому — тому, кому больше в чем-то повезло.

Я достаточно осторожен в оценках людей. Высказываюсь только в случае необходимости, причем частным образом, а не публично. И всегда с изумлением смотрю на людей, с легкостью навешивающих ярлыки. Конечно, каждого можно оценить — это естественно. Но у поляков это сопровождается какой-то исключительной неприязнью к ближнему. Такое видишь на улице, в магазине — везде. Начисто отсутствует предупредительность. Никто тебе не скажет «пожалуйста» или «спасибо». Это очень заметно, когда ведешь машину. Сплошь и рядом — индивидуалисты, люди, которые не могут жить в согласии друг с другом. Я, правда, тоже индивидуалист — может быть, в силу воспитания, а может, вследствие сложившейся системы ценностей. Но считаю, что враждебность или агрессию по отношению к другим нужно в себе по мере сил сдерживать.

В Польше часто слышишь, что один — агент госбезопасности, другой — коммунист, а третий — вообще негодяй и сукин сын. Мне кажется, в нас сидит какая-то вечная обида — слишком много было разочарований, а появлявшийся время от времени свет слишком часто бывал кем-то или чем-то — порой самой историей — погашен. Не ду-

[1] Органы службы безопасности.

маю, что это проблема последних лет. В нашей литературе на протяжении веков встречается один и тот же мотив: поляк поляка охотно утопит в ложке воды.

Меня поражает еще и та наглость, с которой люди меняют свои взгляды. Сегодня это касается прежде всего политиков. Чиновники, занимающие высокие должности, легко открещиваются от предшествующей власти — а ведь они брали от нее все, что удавалось.

Я знал одного парня, который во время военного положения стал секретарем по делам культуры. Молодой, способный политик, в общении весьма приятный, хотя и достаточно жесткий. Мы встречались с ним пару раз. Мне тогда предложили руководство кинообъединением. В 70—80-е — очень высокий пост. Объединений было всего восемь или девять. И с точки зрения финансов, и с точки зрения престижа место было очень привлекательное. Разумеется, я не согласился. Я не испытывал ни малейшего желания принимать что бы то ни было от этого человека. Но два или три раза он меня вызывал по разным вопросам, и всегда оказывалось, что на самом деле речь идет о том же самом предложении. В конце концов кто-то это место занял.

Открой любую газету — и увидишь текст, в котором кто-нибудь упрекает других в том, что когда-то они писали иначе. К этим людям у меня как раз нет претензий — я знаю, что можно сделать ошибку, а потом исправиться. Можно даже искупить вину. Проблема в том, что одни люди начинают упрекать других в том, что делали они сами.

Многие сегодняшние активные оппозиционеры, многие умные и благородные писатели были в свое время фанатическими приверженцами коммунизма. Особенно после войны, в 40—50-е. И нетрудно понять почему. Никакая это не магия зла. Скорее магия добра — ведь никто не мог предположить, каким злом все обернется. Теория коммунизма — или социализма — по Марксу и Энгельсу выглядит действительно привлекательно, и нужна была очень большая проницательность, чтобы предвидеть, во что она превратится на практике. Люди до сих пор копаются в своих биографиях. Оправдываются перед самими собой, пытаются объясниться, как, например, Конвицкий или Анджеевский. Многие были проєто-таки фанатиками коммунизма, чего сейчас вовсе не скрывают. Это была огромная ошибка, результат непонимания того, что теорию Маркса воплотить в реальность невозможно, что такие попытки неизбежно влекут за собой зло.

Коммунизм заразен не для всех. Однако в определенные моменты жизни и истории им заражалось множество людей. Была иллюзия, что этой болезни противостояли многие, но это неправда. Мне повезло — я не заразился, хотя совсем «чистым» остаться не смог.

Коммунизм подобен СПИДу — он смертелен, неизлечим. Не важно, по какую сторону баррикады ты стоял — был ли коммунистом, антикоммунистом или не присоединялся ни к тем, ни к другим. Это касается всех без исключения. Если человек живет при одном строе сорок с лишним лет, как это было в Польше, определенный образ мышления, поведение, иерархия ценностей складываются уже на биологическом уровне. Можно выбросить все из головы. Можно утверждать, что ты уже здоров. Но это неправда. Внутри это продолжает сидеть. Я особенно не терзаюсь — просто я знаю, что с этим живу и с этим умру. Не от этого — но с этим.

У всех нас опустились руки

«БЕЗ КОНЦА» (1984)

В сентябре или октябре 1982 года я наконец предложил несколько документальных тем. После «Вокзала» я вроде бы и не собирался больше снимать документальные фильмы, но о художественных тогда нечего было и мечтать.

Я решил сделать фильм о тех, кому было поручено замазывать надписи на стенах. Надписи эти были самого разного содержания: против военного положения, против Ярузельского, против коммунистов и т. д. и т. п. Главным образом — «WRON won za

Don» (WRON — Военный совет национального спасения). Для борьбы с лозунгами были специально созданы то ли армейские, то ли милицейские бригады. Я хотел снять фильм под названием «Художник» — о молодом парне, который служит в армии и закрашивает эти надписи. Их замазывали, стирали, меняли на другие. Иногда, например, заменяли буквы в словах, чтобы получился другой смысл. Порой выходило довольно занятно. Еще мне казалось интересным сделать фильм, действие которого происходило бы в суде. В то время выносились суровые приговоры — два-три года тюрьмы за надпись на стене, за подпольную газету, за участие в забастовке. Наказание полагалось за любую ерунду — появление на улице после комендантского часа, любого рода сопротивление. В этом фильме были бы лица только двух людей — «виновного» (который на самом деле ничего плохого не совершил) — и того, кто выносит приговор.

В среде юристов я никого не знал. Телевидение все ненавидели. Проблемы в связи с этим возникали у меня уже в 1971 году, во время съемок «Рабочих», а теперь стало еще труднее. Нужно было завоевать доверие людей, связанных с аппаратом юстиции, с судом.

Но сначала я хотел заручиться поддержкой властей. На это ушло чуть ли не целых два месяца. Тем временем я попытался познакомиться с людьми, пользовавшимися в этой среде авторитетом, — прежде всего с адвокатами. Ханя Кралль порекомендовала мне двух молодых адвокатов, которые постоянно выступали в качестве защитников на процессах, связанных с военным положением. Впрочем, они этим занимались и раньше — защищали членов КОР, КПН[1] и других организаций. Ханя сказала: «Попробуй встретиться с одним из них» — и договорилась с Кшиштофом Песевичем. Я рассказал о фильме, который хочу снять. Особым доверием он ко мне не проникся, но благодаря Ханиной рекомендации, а отчасти и моей собственной репутации мне удалось преодолеть его первоначальную неприязнь. Адвокаты тогда не стремились к тому, чтобы на судебных заседаниях велись съемки. Я объяснил, что хочу встать на сторону обвиняемых и показать тех, кто выносит приговор, — чтобы оставить хоть какое-то свидетельство этого абсурда.

К сожалению, разрешение я получил не скоро. Работать мы начали, кажется, только в ноябре. Нам позволили снимать в городских и военных судах. Кшиштоф Песевич уже примерно знал, чего я хочу, и от имени нескольких своих клиентов согласился на съемку. Но во время съемок я заметил странную закономерность — судьи давали сроки только условные, что было не так уж и страшно.

Это происходило по двум причинам. Во-первых, суды были уже не так суровы. Военное положение продолжалось к тому моменту почти год. Во-вторых — и это было для меня особенно интересно, — срабатывала обыкновенная человеческая реакция — страх перед камерой. Я довольно быстро понял: судьи не хотят, чтобы их снимали в момент вынесения несправедливого приговора. Через пять, десять, двадцать лет такая пленка обязательно всплывет. И на пленке этой будут их лица. Одно дело — документы, подписанные ими приговоры, и совсем другое — физическое присутствие на экране.

Ситуация сложилась весьма странная: если вначале и адвокаты, и обвиняемые протестовали против нашего присутствия на процессах, то теперь нас просто вырывали друг у друга из рук. Одной камеры уже не хватало. Оказалось, что, когда в зале стоит камера, судьи выносят более мягкие приговоры. Вторую камеру я уже просто не заряжал. Не было смысла — ее функция состояла в том, чтобы судьи, движимые вполне человеческими опасениями, не выносили слишком суровых приговоров.

Я провел в судах месяц или полтора, побывав то ли на пятидесяти, то ли даже на восьмидесяти процессах. В итоге мы не сняли ни метра: я включал камеру при словах «От имени Польской Народной Республики приговариваю гражданина...», но каждый раз оказывалось, что гражданина ни к чему не приговаривали, и я останавливал камеру.

---

[1] КОР — Комитет защиты рабочих — общественная организация, созданная в 1976 г. представителями творческой интеллигенции в защиту рабочих, выступавших против социальной политики правительства и подвергшихся репрессиям. КПН — Конфедерация независимой Польши — политическая партия националистической ориентации, созданная Л. Мочульским в 1978 г.

Я не снял ни одного законченного эпизода. В сумме получилось около семи минут: камера начинает работать и тут же останавливается, что было заметно на экране.

Так мы познакомились с Песевичем. Именно он первым заметил эту закономерность. А потом произошла очень неприятная история — до сих пор не понимаю, как мне удалось из нее выпутаться.

Дело было вот в чем. Поскольку электрики, ассистенты и другие технические работники потратили свое время, я написал письмо на студию: съемки шли месяц, участвовали такие-то (я перечислил фамилии, включая директора производства), прошу студию выплатить этим людям причитающиеся им деньги. Фильм, правда, не был снят, поскольку получить необходимый материал не удалось, но люди работали, и я прошу им заплатить. Разумеется, сам я от зарплаты отказался. Но мне хотелось, чтобы коллегам, работавшим со мной, выплатили гонорар. Необходимо было указать, какой именно материал не удалось получить. Я изложил концепцию сценария, написал, что хотел снять лица судей и подсудимых в момент вынесения приговора. Оказалось, однако, что ни на одном из тех процессов, на которых я присутствовал, обвинительный приговор вынесен не был, — так и пришлось написать.

Письмо я передал в редакцию студии документальных фильмов, где все фильмы утверждались и отправлялись в производство. На следующий день или дня через два меня вызвал шеф телевидения. Он хотел, чтобы я заявил по телевидению, что польские суды во время военного положения не выносят суровых приговоров. Конечно, я отказался. Письмо было написано только ради того, чтобы люди получили заработанные ими деньги. Вскоре оно оказалось уже у Кищака — министра внутренних дел. Тот прочитал его нескольким польским интеллигентам, пришедшим к нему с каким-то ходатайством: «Да что вы мне рассказываете? Вот, пожалуйста, — даже ваш человек, Кеслёвский, пишет, что суды не выносят суровых приговоров». Зачитал он им, разумеется, только часть письма.

Общественное мнение в ситуации, когда не выходили газеты и не работали телефоны, имело в Варшаве огромную силу. Так что вскоре я обнаружил вокруг себя подозрительную пустоту: в глазах своего окружения я стал человеком, продавшимся власти.

Конечно, я сразу отправился к тем, кому Кищак прочитал мое письмо. Среди них были Клеменс Шанявский и Анджей Вайда — тогда наиболее значительные фигуры среди польской интеллигенции. Я показал им все письмо целиком, и они поняли, что их обманули. Мне удалось объяснить, как все произошло. Удалось восстановить свою репутацию. Но такие эпизоды грозили обернуться настоящим проклятием близких людей.

Потом меня вызвал секретарь ЦК по делам культуры. Он сообщил, что охотно предоставит мне пост руководителя кинообъединения. А может быть, я хочу чего-то еще? Они рассчитывали: получив что-нибудь, я взамен публично заявлю, что военное положение — это замечательно, никто никого не приговаривает, все друг друга ужасно любят и исключительно любезны.

Властям крайне важно было создать — особенно в глазах Запада — мнение, будто военное положение — режим очень мягкий, ничьих личных прав не нарушающий. Хотя при этом режиме поплатились жизнью несколько десятков человек — и ведь это еще ничто по сравнению с тем, что могло случиться. Пострадали многие — тюрьмы, интернирование, разлука с близкими.... Ужасное было время. В какой-то момент я думал, что меня тоже посадят. К счастью, обошлось. Сегодня многие считают арест хорошей рекомендацией. А я рад, что меня это не коснулось. Меня явно собирались арестовать — об этом предупредил мою жену консьерж. Два-три дня я не возвращался домой, а потом все затихло. Это было в начале военного положения, где-то около 15 декабря.

Позже меня вызвали в милицию и снова принялись шантажировать письмом и теми пленками, которые я якобы послал на радио «Свободная Европа». Они хотели, чтобы я как-то прокомментировал письмо или дал разрешение на его публикацию. Конечно, они могли напечатать все что угодно, но теперь заявления чиновников, стремившихся меня скомпрометировать, потеряли актуальность — уже была известна правда.

Так все это было. Именно тогда я и встретился с Песевичем.

Возвращаясь к фильму... Как я хотел его назвать? Может быть, «Лица»? Нет, чересчур претенциозно. Не помню.

Месяц или полтора я провел в коридорах и залах суда. Познакомился со многими адвокатами и судьями; некоторые из них оказались очень порядочными людьми. Интересной темой могла бы стать сама атмосфера в зале заседаний — атмосфера враждебности. Не могу сказать, что это была конфронтация обвиняемых с обвинителями — нет, границы ненависти проходили как-то иначе. Мне хотелось это зафиксировать.

Я и теперь считаю, что в военном положении победителей не было. У всех нас тогда опустились руки. Думаю, что мы до сих пор пожинаем плоды того состояния — сегодня мы снова потеряли надежду. Мое поколение так и не оправилось от потрясения, хотя, придя в 1989 году к власти, и попыталось продемонстрировать энергию и силу. Но я уже больше не мог верить.

Однако зафиксировать все это я тем не менее хотел. Я придумал тему — отчасти метафизическую. Повествование должно было начинаться с момента смерти адвоката. Взявшись за сценарий, я быстро понял, что, хотя мне знакомы настроения в залах суда и вокруг них, этого недостаточно. О кулисах, об истинных причинах человеческого поведения, о подлинном противостоянии я знал слишком мало. В судебных залах я наблюдал лишь осколки конфликтов, их следствия — но никак не их суть. Поэтому я отправился к Песевичу и предложил писать сценарий вместе. Фильм назывался «Без конца».

Это история об умершем адвокате и его вдове, которая вдруг понимает, что любила мужа гораздо больше, чем ей казалось, пока он был жив. Так выглядел первоначальный замысел. Мы сняли как бы три фильма в одном. К сожалению, швы между ними остались видны. Первая часть — публицистическая — повествует о молодом рабочем. Вторая — о жизни вдовы адвоката (ее сыграла Гражина Шаполовская). Третья — метафизическая — о мире, как бы излучаемом умершим и воспринимаемом его близкими. Конечно, разные мотивы и сюжетные линии переплетаются, но создать из этого единое целое нам, пожалуй, не вполне удалось. И все же — несмотря на недостатки — я люблю этот фильм.

Основным для меня всегда был план метафизический — к сожалению, в этом фильме он получился не очень выразительным. С другой стороны, для человека, стремящегося с помощью какой-то истории выразить определенную общественную или даже политическую идею (в данном случае — об общем поражении), все было одинаково важно.

Впрочем, любой фильм в этом смысле — ловушка. Хочется и рассказать что-то конкретное, и одновременно передать нечто большее. Теперь я стараюсь выделять в фильме одну главную линию. Хорошей тренировкой оказался «Декалог»: в каждом из серии коротких фильмов сделать это было нетрудно.

Мы очень много поработали с Юреком Радзивиловичем — хотя в фильме он появляется всего четыре раза. Роль адвоката была написана не для него. Но в какой-то момент я понял, что ее должен сыграть именно Юрек — «человек из мрамора», «человек из железа», символ честности и нравственной чистоты. Зрителю должно быть с самого начала ясно, что это человек внутренне очень светлый. Юрек Радзивилович и в жизни такой, но для меня в первую очередь были важны ассоциации с его предыдущими ролями в кино. Классический случай — когда творческий багаж актера определяет его следующую роль.

Мы хотели показать, что у человека с чистыми руками, чистой совестью и доброй волей в Польше 1984 года (когда мы снимали фильм) нет шансов на активную легальную деятельность. Как выразить эту мысль наиболее четко? Через смерть — такие люди должны умереть, они не годятся для этого времени. Их чистота и свет не выдерживают столкновения с реальностью.

Вначале фильм назывался «Счастливый конец — Happy end»: в финале героиня уходит вместе со своим умершим мужем, и зритель понимает, что они обрели лучший мир. Но это название показалось мне слишком прямолинейным.

Сам я никогда не участвовал в спиритических сеансах и отношусь к ним негативно.

Но, думаю, каждый из нас так или иначе ощущает, что те, кого уже нет на свете, но кого мы очень любили, продолжают оставаться где-то рядом. Конечно, я не имею в виду духов. Тот, кто был нам близок, постоянно нас оценивает, с его мнением мы продолжаем считаться. Мне часто кажется, что мой отец — где-то поблизости. Не важно, так ли это. Раз я задумываюсь, что бы он сказал о моих желаниях и поступках, значит, он со мной. Очень часто я думаю: «Как бы отец к этому отнесся?» Если я прихожу к выводу, что отрицательно, то и поступаю соответственно. Я могу примерно себе представить его точку зрения. Что это — авторитет отца? Думаю, скорее то хорошее и порядочное, что заключено в нас. Некий внутренний этический компас: «Не ходи туда», «Не делай этого», «Так не надо», «Попробуй иначе». А сознаем ли мы, что идентифицируем эти «подсказки» с любимыми людьми, или нет, — не так уж важно.

Мне кажется, что изначально, по своей природе люди — хорошие. Однако моя точка зрения не слишком популярна. Мне возражают: откуда же тогда берется зло? Разумного и логичного ответа на этот вопрос у меня нет. Просто я думаю, зло возникает потому, что в какой-то момент люди оказываются не в силах реализовать добро. Другими словами, зло — порождение своего рода стресса.

Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Это отчасти верно в отношении общественной и политической жизни, но не в масштабе отдельной человеческой судьбы. Лично у меня разочарование, горечь и жизненный пессимизм являются следствием того, что собственные благие намерения на практике оборачиваются своей противоположностью. Впрочем, я всегда был пессимистом. Таким был и мой отец. А может, и дед с прадедом, которых я никогда не видел. Отец тяжело болел, не мог содержать семью — так что у него были все основания для пессимизма. В моей жизни тоже иногда происходят события, усугубляющие мой пессимизм, — хотя случалось и много хорошего. Мне нечего жаловаться, да я и не жалуюсь.

«Без конца» выпустили на экраны только через полгода. В Польше реакция оказалась ужасной. Ни с одним фильмом я столько не хлебнул. И власть, и оппозиция, и Костел — все три силы, действовавшие в Польше, — высказались против него. И только зрители отнеслись к нам более благосклонно.

Прокат фильма организовали безобразно. Если в газете сообщали, что где-то идет «Без конца», чаще всего это была неправда. Зато если было написано, что идет другой фильм, могло случиться так, что шел как раз «Без конца». В общем, разыскать его было непросто. Да и шел он всего в нескольких кинотеатрах, причем в основном там, где я старался свои фильмы не показывать. Есть на окраинах такие кинотеатры, где бывает весьма специфическая публика — люди, привыкшие ходить в кино с детьми, молодежь, признающая исключительно американские развлекательные фильмы.

Эти приемы известны со времен «Рабочих-80» А. Зайончковского и А. Ходаковского (перекличка с нашими «Рабочими-71»). Этот фильм всегда рекламировали под особым названием: «Все сеансы забронированы». Кинотеатр такой-то, двоеточие и — «Все сеансы забронированы». Зрители, впрочем, довольно быстро разобрались, в чем дело, и устремлялись туда, где «все сеансы» были «забронированы».

В начале июля, то есть в разгар летних каникул, «Без конца» пустили в одном из кинотеатров. Два месяца этот фильм шел только там — правда, при полном зале. В последний день августа фильм сняли с экрана и больше не показывали.

Но зрители меня поддержали. Во-первых — тем, что пошли на фильм. Во-вторых, я никогда не получал столько хороших писем и звонков от незнакомых мне людей. Практически все увидели в фильме правду о военном положении, хотя там не было ни танков, ни демонстраций, ни стрельбы — вообще ничего подобного. Картина рассказывала скорее о состоянии наших умов и о наших надеждах, а не о том, что стояли морозы и кто-то в нас стрелял.

Что до власти — она и не могла хорошо отнестись к фильму, направленному против военного положения. Он продемонстрировал общее поражение. В «Трибуне люду» написали, что это чистой воды антисоциалистическая диверсия — просто-таки инструкция

для деятелей подполья. В те времена это было очень тяжкое обвинение. Инструкция же якобы заключалась в том, что мы предлагали переждать. Это реплика одного из адвокатов: «Нужно переждать. Потом посмотрим. Но сейчас необходимо отступить».

Оппозиция, в свою очередь, писала обратное: фильм якобы снят по заказу властей. Почему? Да потому, что в нем говорилось о поражении, пусть и обеих сторон, а оппозиция не желала видеть себя в роли побежденной. Она считала, что победила или, во всяком случае, несомненно победит. И — как показал 1989 год — оказалась права. Но какой она пришла к этой победе? Вот вопрос, который я часто задаю. Достаточно ли у вас энергии, силы, надежды, идей, чтобы, победив, повести страну в нужном направлении?

Победили, несомненно, лучшие и умнейшие из нас. Но можно ли сейчас с надеждой смотреть в будущее Польши? Не уверен — хотя победу одержали наши люди и даже наши друзья. Мы не сомневаемся в их доброй воле. Просто оказывается, что этого недостаточно.

Сегодня я обеспокоен судьбой страны не меньше, чем когда-то. А может, и больше, потому что переживаю очередное разочарование. Разочарование из-за того, что никак не получается организовать все так, как нам бы хотелось, — честно, нормально, с умом. Хотя бы без очевидных глупостей.

Я вижу, как люди доброй воли в очередной раз пытаются что-то сделать. Так происходило испокон веков. Было много попыток поставить страну на ноги, придать ей определенный масштаб, класс, размах. И ни у кого это не получалось. Каждый раз мы стремимся к порядку и разумной жизни, каждый раз надеемся. За свои пятьдесят лет я пережил такое не однажды. К сожалению, надежда тает. Не важно, пробуждали ее коммунисты в 1956-м и 1970-м, рабочие в 1981-м или наша новая власть в 1990-м и 1991-м. Каждый раз быстро обнаруживалось, что это очередная иллюзия, очередная ложь, очередная мечта. Как будто доливаешь и доливаешь воду в стакан, а потом она переливается через край — и все.

Не знаю, что такое «свободная Польша». Географически наша страна расположена исключительно неудачно. Но ведь это не значит, что жизнь в ней нельзя организовать с умом. А ею по-прежнему управляют так же бестолково и глупо, как и раньше. Только теперь это делаем мы сами — вот что самое горькое[1].

Очень многие связи — дружеские, человеческие, профессиональные — распались. Честно говоря, я на пальцах одной руки могу пересчитать приятелей, с которыми последние четыре-пять лет встречаюсь в Варшаве. Не то чтобы у меня не хватало времени — просто у нас исчезла потребность видеться.

Я дружу с Эдеком Жебровским — мы вместе работаем и очень друг друга любим. С Занусси, хотя с ним мы встречаемся реже — так уж получается. Мы близко общаемся с Агнешкой Холланд — и в Париже, и в Польше. Поддерживаю отношения с Марселем Лозинским, с моими операторами и ближайшими коллегами (композитором, соавтором сценария). Переписываюсь с Ханной Кралль. Но таких людей очень немного. После военного положения все стало разваливаться.

Я испытываю горькие чувства по отношению к той жизни, которая меня окружала и окружает, в которой все бесполезно, в которой нет размаха, нет правды — одна лишь видимость. Я, очевидно, обречен на эту польскую действительность. Я чувствую горечь по отношению к стране, в которой родился и из которой никогда не уеду. И по отношению к себе самому — части этого народа — тоже. Впрочем, можно ли предъявлять претензии к народу? Ведь он складывается из отдельных людей — из тридцати восьми миллионов конкретных поляков. И по воле этих конкретных людей страна в определенный момент поворачивает в ту или иную сторону.

Мы, поляки, не раз пытались забыть о своем исторически сложившемся положении — между русскими и немцами. Положении государства, через которое проходят все новые пути. Я размышляю о Польше и поляках, о нашей гордости, не позволяющей жить

---

[1] Разговор шел в 1992 г. *(Здесь и далее — прим. Дануты Сток).*

в неволе, не дающей поработить нас, и одновременно вижу Варшаву — этот уродливый, по-идиотски спланированный и застроенный город. Приятно ли быть частью такой нации?

Словом, у меня к своей стране есть претензии. Может, предъявлять их следует к истории, а может — к географии, которая так жестоко с нами обошлась. Но ничего не поделаешь. Мы постоянно получаем под зад и боремся, пытаясь вырваться на свободу. А может, это вообще невозможно — и такова наша судьба? В любом случае думать на эту тему рано или поздно становится слишком мучительным.

Недавно я прочитал работу английского писателя Нормана Дэвиса[1]. Он пишет о позиции краковской группы членов консервативной партии[2] — представителей наиболее мудрой польской исторической школы. «С их точки зрения, — пишет Дэвис, —*liberum veto*[3] <...> — характерная польская черта, все это одна и та же несчастная традиция»[4]. Если в польском Сейме хоть один депутат или сенатор объявлял *liberum veto*, закон не принимался. Даже если все были за и только один человек против, проект не проходил. Таков был многолетний порядок. «Они [краковские историки] считали, — пишет далее Дэвис, — что крах бывшей Речи Посполитой был следствием естественного хода событий и какие бы то ни было попытки ее воссоздания лишены смысла»[5].

Так пишет английский историк — очевидно, достаточно объективный. Он также обращает внимание, что невозможность управления страной связана с некоторыми чертами польского характера, обусловленными неудачным геополитическим положением Польши. В повседневной мирной жизни полякам никогда не удается добиться национального согласия. Зато в момент опасности эти черты оправдывают себя — сплоченные поражением, несчастьем, страданием поляки немедленно объединяются.

С политикой вообще связан своего рода парадокс. Конечно, политике необходимы умные, интеллигентные люди. А адвокатуре? А искусству? Без таких людей невозможно и развитие медицины, литературы, кино. Кто будет лечить людей, если всех умных врачей посадить в Министерство здравоохранения? Так же и со всем остальным. Например, Вайда, который в течение нескольких лет занимался политикой, совершил, по моему глубокому убеждению, трагическую ошибку. Он отдал себя делу, которое не стоило его таланта, — политике. В результате — ни одного фильма. Возможно, он еще вернется в кино — и я искренне желаю ему удачи, — но боюсь, что за этот период в нем накопилось слишком много горечи.

Возвращаясь к моему фильму... Я считал, что показал правду. Оппозиция считала, что я нанес ей вред, не показав победы. Костел осудил героиню, покончившую с собой, — такой жизненный выбор для церкви неприемлем. Самоубийство — грех, и к тому же женщина оставила маленького ребенка. Но из финальной сцены ясно, что только после смерти она почувствовала себя счастливой, сумев найти место, где ей стало лучше и спокойнее.

(Окончание следует)

---

[1] N. Davies. Boże igrzysko. Historia Polski, t.1, Kraków, Znak, 1990.
[2] В Галиции после разгрома восстания 1863 г.
[3] Liberum veto (*лат.*) — в польском Сейме право свободного протеста, в силу которого один возражающий член Сейма мог сделать постановление недействительным. *(Прим. перев.)*.
[4] N. Davies, цит. изд., с.38.
[5] Там же.

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 1957—1972

Фрагменты книги

Перевод с французского и вступление БОРИСА ДУБИНА

Невозможный писатель

К итоговым двум тысячам страниц «Сочинений» Эмиля Мишеля Чорана в фундаментальном и каноническом галлимаровском однотомнике (1995), вобравшем все пятнадцать главных прижизненных книг французского мыслителя, год назад прибавились его выпущенные тем же издательством «Записные книжки». Под обложкой этого нового «тысячестраничного Левиафана», как выразился один из первых его рецензентов Джордж Стайнер, опубликованы тридцать четыре тетради рабочих заметок, которые Чоран вел с 26 июня 1957-го до конца 1972 года (последняя датированная запись — от 14 ноября) и с фрагментами которых журнал знакомит сегодня своих читателей.

Характер и статус этого текста неясен. Не до конца понятно даже, предназначались ли записи для печати. С одной стороны, на обложке первой тетради (и еще четырех) чорановской рукой написано: «Уничтожить». С другой, тетради перенумерованы и сохранены, причем имена многих из тех, кто на их страницах помянут, сведены автором до инициалов, вовсе вымараны или заменены иксом, иначе говоря — скрыты от чужих (читательских?) глаз. С третьей, ряд заметок, порой переработанных, Чоран позже включил в свою книгу 1973 года «Несчастье родиться», чем задним числом придал записным книжкам еще и статус черновиков (думаю, черновик и есть их жанр, а их автор — один из тех современных писателей, кто стер классическую границу между черновым и беловым текстом). Само это соединение лапидарности с незаконченностью, небрежности — с аккуратизмом, самых радикальных решений — с самой абулической неуверенностью многое говорит о характере Чорана, его жизни и литературной судьбе, складе его мышления и письма.

«Фрагмент — у меня в крови», — обронил он однажды. Человек рубежа, слома как по историко-биографическому (историко-*гео*графическому!) самоощущению экспатрианта из времени и страны, которых больше нет, так и по ненасытной страсти в поисках последних пределов любого переживания и мысли, Чоран настолько же избрал фрагментарность словесного выражения по собственной воле, насколько и был на нее обречен. Переворачивая знаменитую формулу, я бы сказал, что фрагмент — это такая разновидность прозы, чей центр нигде, а окружность везде. Форма «центробежного» высказывания, фрагмент существует парадоксальной напряженностью без сосредоточенности, как бы постоянным усилием рассеяния, тяги от центра ко все новому и новому краю. В этом смысле Чоран виден и в каждом обрывке своих записей (в любом!), и вместе с тем ни одним из них не удостоверяется, не исчерпывается. На первый — и ошибочный — взгляд, многократно повторяясь, автор, напротив, опять и опять опровергает себя, до бесконечности множит микроскопические различия, в которых здесь — вся соль. «Судорожное», «конвульсивное» письмо Чорана — уникальное соединение порыва и оцепенелости — движется по-змеиному неуловимо и, при всей своей мозаичности, как-то странно живет. Продвигаясь от вокабулы к вокабуле, от пробела к пробелу мельчайшими мышечными сокращениями, чорановская «словомысль» (сказал бы Анри Мишо) гипнотизирует, приковывает читателя: она всегда находится как раз на той точке, где остановился сейчас наш завороженный взгляд.

Ко всему этому, Чоран — по крайней мере зрелый, 60-х годов и позднее — меньше всего «стилист», ювелир слова. Вопреки видимости, он не виртуоз афоризма — напротив, он подрывает самодостаточность, ограненность афоризма изнутри (кроме того, разрушая его в «Записных книжках» многочисленными вариантами, приводимыми тут же). С прежним собою, приезжим из онемеченного трансильванского захолустья, заново учившимся в 40-х годах чужому языку и потому маниакально озабоченным безупречностью, чеканностью каждого выражения, Чоран вскоре расправляется в обычной своей беспощадной манере. Свидетельством

© Éditions Gallimard, 1997
© Б. Дубин. Вступление, составление, перевод, 1998

этому — многие самокритичные страницы «Записных книжек» (плюс развенчивающая вчерашнего кумира статья 60-х годов о Валери, сокрушительный тон которой долгое время смущал потом самого Чорана). Так что никакой щегольской отточенности, привычно связанной для нас с жанром остроумного афоризма XVII века, продуманного барочного «кончетто», тонкой эпиграмматической «шпильки», ни в черновых записях, ни в опубликованных книгами «беловиках» у Чорана искать не стоит. Как нет у него — в сравнении, скажем, с поэтической афористикой Рене Шара — и никакой лирики, оракульской темноты (по Чорану, «даже микроскопические примеси поэзии делают прозу удушающей»). Здесь — совсем иное. Пользуясь чорановским образом, с которого наша публикация начинается, я бы сказал, что перед нами тут каждый раз не формула мысли, а ее эпитафия. Как заметила Сьюзен Сонтаг, отрывистый стиль для Чорана — «принцип... познания: любая хоть чего-нибудь стоящая мысль обречена у него сейчас же терпеть поражение от другой, которую сама втайне породила».

В этой схватке без победителей Чораном, по-моему, движут не императивы чисто словесного блеска: его слово — редкость в новейшие времена! — совершенно прямое, не разыгранное, не подкрашенное литературностью, не инкрустированное просторечием. И если он вообще признает над собо́й хоть какую-то «внешнюю» власть, то речь тут о силах совсем иного масштаба и свойства. Моралист нигилистической эпохи, фанатик сомнения, он одержим тягой добраться до настоящего себя, дойти до дна, им правит аскетическая логика самоистязания, даже самоизничтожения. В дело при этом идет все: даже месть за утраченный рай детства, нищенскую, горькую, бесплодную жизнь поколений предков и несостоявшиеся судьбы друзей юности, больше того — даже собственные оскудение и крах, хандра и скука, немота и боль, которыми Чоран, вслед, например, за Паскалем, по-своему дорожит. Однако мучению, как и мысли — можно сказать, мучению-мысли, — предела нет. Но искатель ведь и не ждет примирения: «С Невозможным, — пишет он, — поладить нельзя». Древние говорили о неведомом боге (Deus absconditus); я бы назвал Чорана его послушником и свидетелем. Отсюда его беспрерывные молитвы и отречения, «признания и проклятия».

«Подпольный парадоксалист» в мышлении, невыносимый мизантроп в быту, он и в повседневном своем существовании был отшельником, столпником — и это в многолюдном, общительном Париже. Затворническое житье в тесной комнатке под крышей, бесконечные ночи без сна (с двадцатилетнего возраста он мучился тяжелой бессонницей и постоянной мыслью о самоубийстве), нескончаемые болезни (неврастения, ревматизм, невралгические боли, хронический синусит, омертвение конечностей, ослабление и потеря слуха), жесточайшая вегетарианская диета (он не раз говорил, что философия для него коренится в физиологии), страстный отказ даже от любимых сигарет и кофе, подхлестывавший его, впрочем, ничуть не меньше самих этих повседневных наркотиков, чтение индусских, арабских и европейских мистиков — из этого состоял его обиход многие десятилетия. Плюс редкие встречи со считанными друзьями (кроме упомянутых ниже, назову экзистенциального философа Габриеля Марселя и абсурдистского драматурга Артюра Адамова). Плюс письма и вести из Румынии, с которой — и особенно со своим деревенским детством — он никогда мысленно не расставался (впрочем, для Чорана память — разновидность склероза, не зря Стайнер говорит про «обызвествленное прошлое» на чорановских страницах). Да еще немногие по-настоящему близкие книги, чаще — русские (в прошлом остались увлечения Кьеркегором и Бергсоном, Ницше и Рильке, Шестовым и Малларме, которого он в 1936 году пробовал переводить на румынский). И совсем уж изредка (слишком мучительно!) — музыка, и прежде всего перешедшее к нему от матери преклонение перед Бахом.

До середины 60-х Чоран, автор пяти небольших и непривычных по форме книг, оставался известен лишь считанным единицам, но зато каким! Его ценили Мишо и Беккет, Элиаде и Целан, Пас и Ионеско, Макс Эрнст и Пьер Булез, и уж для них он был мыслителем уникальным и эталонным. Первый всплеск читательского интереса к Чорану приходится на 1965 год, когда его давнюю, первую на французском языке книгу «Уроки распада» перепечатывают в карманном издании. В 1967-м выходит развернутая статья Сонтаг о Чоране. Но действительную известность Чорану, как говорил он сам, принесли парижские студенты и лицеисты после мая 1968 года (к середине 70-х эту их инициативу подхватило радикально настроенное студенчество Испании, где чорановского «Злого творца» запретила в 1973 году католическая цензура). От присужденных ему в 60-е и 70-е премий Чоран, не выносящий ничего публичного, отказывается. В 1987-м его последнюю изданную при жизни книгу постигает, по его собственным словам, «унизительный успех»: если за двадцать лет разошлось лишь 500 экземпляров книги «Горькие выводы», то теперь 30 тысяч экземпляров «Признаний и проклятий» исчезают с прилавков за несколько месяцев. Сам Чоран с этого времени от писательства отходит и живет в полном уединении.

Между тем его мировая известность год от года растет. Значение этого неудовлетворенного искателя и беспредельного скептика для словесности и мысли конца XX века — очередной чорановский парадокс! — бесспорно. Перечеркивавший написанное каждым новым движением пера, он сумел, казалось, сделать невероятное: в очередной раз, вслед за другими героями и мучениками предела в современной литературе от Бодлера до Бланшо, утвердить и выстроить слово на его невозможности.

Эмили Дикинсон: «I felt a funeral in my brain»[1]. Я бы прибавил слова госпожи Леспинас[2]: «Каждую минуту».

Непрерывные похороны мысли.

Поймет ли хоть кто-нибудь человека, который ни на секунду не в силах *забыть* рай?

Я одной ногой в раю, как другие — в гробу.

Любая мысль превращается у меня в мольбу или проклятье, перерастает в призыв или отречение.

Все стихи, которые я мог написать и которые подавил в себе из-за недостатка способностей или из любви к прозе, вдруг предъявляют права на жизнь, выплескивают свое недовольство и накрывают меня с головой.

Мой идеал письма: навсегда заглушить поэта, которого в себе носишь; стереть малейшие следы лирики; перешагнуть через себя, отречься от взлетов; затоптать любые порывы и даже их конвульсии.

Странное мужество навыворот: оно обращено против меня самого. Я увел свою жизнь с предписанного курса. Перечеркнул собственное будущее.

Я думаю горлом. Мои мысли — если они у меня вообще есть — это вой; они ничего не объясняют, они вопят.

Доведи я до конца хоть десятую часть своих замыслов, я бы написал столько, сколько другим и не снилось. К несчастью или по счастью, я всегда ценил возможность выше реальности: действие — какое бы то ни было! — не для меня. Я до мелочей продумал все, за что так и не взялся. Дошел до границ воображаемого.

Мистическое чувство своего ничтожества и бесплодия.

Я искал выхода в утопии и нашел единственное утешение — в Апокалипсисе.

Теперь я понял, что такое мои ночи: за ночь я прохожу в мыслях все расстояние, отделяющее от Хаоса.

С утра до вечера я только и делаю, что мщу. Кому? За что? Не знаю, не помню — всему на свете... Бессильная ярость — никто не знает этого чувства лучше меня. О эти выплески собственной никчемности!

Я живу, словно только что умер...

И все-таки я не в силах пасть в своем ничтожестве еще ниже, не могу перешагнуть через границы собственного бесплодия.

У меня в жилах не кровь, а мрак.

Кто же меня разбудит, кто разбудит!

Не уметь жить иначе — только на пределе пустоты или полноты, только *крайностями*.

Все, на что мы не способны, сходится в одном: в неспособности любить, неспособности вырваться из своей тоски.

Кричать — но кому? Главный, единственный вопрос всей моей жизни.

---

[1] Мой ум был словно могила *(англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)*.

[2] Жюли де Леспинас (1732—1766) — французская аристократка, хозяйка знаменитого салона, друг Дидро, автор блестящих писем.

Мое спасение — только в работе, но работать я не могу. Воля во мне *угашена* уже с рождения. Бесконечные химерические замыслы, никак не соотнесенные со способностями.

Что-то во мне самом иссушает и всегда иссушало меня. Черное начало, растворенное в крови, сросшееся с мыслью.

Нет такого предмета, которому стоило бы уделять больше минуты. В бунте против подобной очевидности я и попытался довести свои взгляды до маний — единственное средство сделать их долговечными, хотя бы... у себя в голове.

Я — не *отсюда. Воплощенный* изгнанник, я везде чужой — не принадлежу ничему на свете.

Каждую минуту я одержим одним: потерянным раем.

Как бы я стал жить, что бы я стал делать без этих облаков? Самое светлое время моей жизни — когда я слежу за ними.

Лжепророк — вот кто я такой: даже в разочаровании потерпел крах.

Среди многого другого я отказался от поэзии...

Бывает, я чувствую в себе беспредельную силу. Но, увы, не знаю, к чему ее приложить. Я ни во что не верю, а чтобы действовать, нужна вера, вера, вера... Я убиваю себя день за днем, губя целый мир, который в себе ношу. При всей безумной гордыне прозябать в этом ничтожестве, в бесплодном отчаянии, в бессилии и немоте.

«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению; а печаль мирская производит смерть» (Второе послание апостола Павла к коринфянам).

«...которые вырыли бы ее /смерть/ охотнее, нежели клад...» (Книга Иова).

Есть особое наслаждение — не поддаваться порыву покончить с собой прямо сейчас.

Неотступность чудовищных видений сближает меня с отцами-пустынниками. Отшельник в центре Парижа.

Эта лихорадка при полной, абсолютной опустошенности, этот примерзший к губам крик!

Жизнь неудачника, полуразвалины, с приступами бесполезной и нескончаемой тоски, бессодержательной, замкнувшейся в себе ностальгии; жизнь пигмея, едва передвигающего ноги, погрязшего в болезнях и зубоскальстве...

Если бы я мог подняться до своей истинной сути! Но вдруг и она поражена распадом? Да, я иссушаю себя сам, и все вокруг меня иссушает. Это уже не я.

Когда для нас перестают существовать другие, мы перестаем существовать сами для себя.

Суббота, 21 июня 1958 г.

Ровно полгода назад умер мой отец.

27 июня 1958 г.

Меланхолия — тоска по иному миру. Но я никогда не знал, что это за мир.

Я обогатил инструментарий ума вздохом сожаления.

Невозможно представить двух людей, меньше похожих друг на друга, чем мои мать и отец. Я не сумел примирить в себе их упрямые характеры, и теперь мою мысль угнетает двойная, противоречивая наследственность.

Всем лучшим и всем худшим во мне я обязан бессоннице.

Я настолько погрузился в свою опустошенность, до того зарылся в нее, дошел до таких глубин, что, кажется, от нее уже ничего не осталось: я вычерпал ее до дна, истощил самый источник.

С близкого расстояния любая мелочь, какая-нибудь мошка, выглядит таинственной; издалека она — полное ничтожество.

Дистанция упраздняет метафизику. Философствовать — значит все еще быть заодно с миром.

Жизнеописание Святой Тересы[1], сколько раз я его перечитывал? Уж если я и после этого не обрел веры, значит, такова моя судьба.

Страсть к незаконченному, больше того — к непредпринятому, даже не начатому.

Вся индусская философия — в чувстве ужаса. Ужаса не перед смертью, а перед рождением.

С двадцати пяти лет я живу в номерах. Тут есть свои преимущества: ни к чему не привязан, ни за что не держишься, живешь *проездом*. Чувствуешь себя *уже на подножке* и реальность воспринимаешь бегло, на ходу.

Все мои способности убила тоска.

Я писатель, который не пишет. Чувство, будто изменяешь своим ночам, своему «долгу», предаешь его, попусту растрачиваешь жизнь.

Подавленность. Понимание, что не призван.

В конечном счете все мои так называемые «сочинения» — лишь попытки антиутопии.

Тип человека, который меня восхищает: Перегоревший.

Я ценю только тех, чей ум поражен бесплодием, да-да, настоящих мастеров бесплодия. Жубер[2], и тот кажется мне иногда слишком многословным.

Богиня Прозы.

Выше всего я ставлю сухую, как скелет, прозу, сведенную судорогой.

Стихи *как таковые* я понимаю все меньше; я могу теперь выносить одну лишь скрытую, неявную поэзию, поэзию совершенно *без слов*, я хочу сказать — без тех приемов и уловок, которыми обычно пользуются в стихах.

Если я впадаю в крайности, то причиной — моя тоска, пресыщенность, тяга к сильным переживаниям, попытка хоть так вырваться из собственного маразма.

1 января 1960 г.

Много лет не перечитываю Бодлера, а думаю о нем, как будто читаю ежедневно. Не потому ли, что он — единственный, кто шагнул в познании «хандры» дальше меня?

В автомобильной катастрофе погиб Альбер Камю. Он ушел, когда уже все, включая, вероятно, его самого, знали: сказать ему больше нечего и остается лишь разменивать невероятную, непомерную, иначе говоря — смешную славу. Невыносимая горечь вчера, в одиннадцать вечера, на Монпарнасе, при известии о его смерти. Замечательный писатель второго ряда, ставший поистине великим, до такой степени он, осыпанный всевозможными почестями, был свободен от всего вульгарного.

«...но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши...»

Откроются глаза ваши! — вот она, драма познания. Быть в раю — значит видеть, *не понимая*. Иначе жизнь невыносима.

Может быть, рассказ о грехопадении — самое глубокое из написанного человечеством. Тут сказано все, что мы потом переживем и выстрадаем, — вся история на одной странице.

---

[1] Тереса Авильская, или Иисусова (в миру — Тереса Санчес де Сепеда-и-Аумада, 1515—1582) — испанская монахиня-кармелитка, мистическая писательница («Книга моей жизни», 1562—1566), святая покровительница Испании.

[2] Жозеф Жубер (1754—1824) — французский писатель, автор максим и афоризмов, составивших «Дневники», изданные лишь посмертно (1838, расширенное издание — 1842).

«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня...»
Читая эти слова, чувствуешь, разделяешь ужас Адама. «Кто сказал тебе, что ты наг?»
Бог подарил Адаму и Еве блаженство при условии, что они не захотят и не достигнут ни *знания*, ни *власти*.

Кто-то из критиков справедливо заметил, что Господь райского сада — божество *сельское*.

Почему Адам и Ева не прикоснулись сначала к древу жизни? Потому что искушение бессмертием слабее, чем *знанием* и особенно *властью*.

Когда-нибудь человек упразднит знание и власть, отречется от них — или падет их жертвой.

Эти приступы беспричинного, беспочвенного, ничем не оправданного страха, который хватает за горло, парализует на месте, поражает унизительным столбняком. На днях, при подъеме по лестнице, в полной темноте, меня вдруг остановило какой-то невидимой силой, навалившейся то ли извне, то ли изнутри; неспособный шевельнуться, я несколько минут стоял с отнявшимися ногами, как пригвожденный, онемев от бешенства и стыда. Такое со мной уже не в первый раз и всегда заканчивается яростью и опустошением. Что это за знак и откуда?

Отрицание получило надо мной такую власть, что, лишив всего остального, сделало меня человеком узким, упрямым, больным. Как бывают люди, зачарованные Прогрессом, так я зачарован Неприятием. Тем не менее я понимаю: можно согласиться, можно принять все существующее, но этот подвиг, охотно признаю, посильный для других, требует от меня такого рывка, на который я уже просто не способен. Неприятие, сначала искалечившее мой ум, теперь отравило мне кровь.
Все эти безмятежные, объевшиеся счастьем народы — французы, англичане... Я из другого мира, у меня за плечами — века непрерывных бед. Я родился в злополучном краю. Наша радость закончилась в Вене, дальше нас ждало Проклятие!

Беспредельная трусость перед жизнью. Как бы последняя судорога безволия.

Отвратительное оцепенение, словно уже потерял чувствительность, а мозги ссохлись. За исключением редких минут я живу, не принадлежа сам себе, с тяжелейшим чувством какого-то стыда и неслыханного позора. Вспоминая о замыслах, из-за лени или дурного настроения брошенных уже вначале, ощущаешь себя худшим из дезертиров. Да, обожествление тоски не может пройти безнаказанно.

Как будто Время свернулось у меня в жилах...

24 февраля 1960 г.
Сегодня, расписываясь на бланке, я словно впервые увидел свою фамилию, как будто не узнал ее. День и год рождения — все показалось мне непривычным, непостижимым, совершенно не относящимся ко *мне*. Психиатры называют это чувством отчуждения. Если говорить о лице, то мне часто приходится делать усилие, чтобы понять, кто это, — усилие, чтобы с трудом и неприязнью к себе привыкнуть.
С бессилием, растерянностью и отвращением вдруг обнаруживаешь, каков ты есть.

А. М.[1] написал целых *три* книги о мескалине. Эта потребность в углублении опыта, эта настойчивость — совершенно не французская черта. Беда и благо родиться в Бельгии.

Часто я просыпаюсь по утрам с таким тяжелым чувством вины, как будто на мне — тысячи преступлений...

Один из пифагорейских запретов: «Не пиши на снегу». Почему? Из-за непрочности?

Коротаю дни на заброшенном пятачке пространства, на краю мира, среди бесчисленных *мертвых* слов.

---

[1] Имеется в виду поэт и художник Анри Мишо, с которым Чоран много лет дружил; эссе о нем «Мишо, или Страсть к исчерпанию» вошло в чорановскую книгу «Попытки восхищения» (1986; рус. пер. см. в книге: Анри Мишо. Поэзия. Живопись. М., 1997, с. 53—55).

Воображать невиданные чудеса, владеть даром вызывать их к жизни, быть волшебником... И стать всего лишь *писателем*? Какое убожество!

Пора приняться за антологию портретов — от Сен-Симона до Токвиля.
Это будет мое прощание с *идеей человека*[1].

Я всегда жил *проездом*, наслаждаясь привычками неимущего; ни одна вещь вокруг не была моей *собственной*, любая *собственность* мне претит. При словах «*моя* жена» меня душит отвращение. Я — по метафизическим соображениям — холостяк.

Самый ненавистный мне глагол — обладать, besitzen. В монахе меня привлекают даже его отталкивающие черты, если они у него есть.

Нужно было бы собраться с силами и отречься от всего, даже от имени, со страстью, с неистовством броситься в стихию анонимного. Нищета — другое название абсолюта.

Самое лучшее, самое замечательное слово в немецком языке изо всех, что знаю, — Entwerden, перестать быть.

Все *живое* меня пугает, ведь *живое* значит *шевелящееся*. Я бесконечно сочувствую всему несуществующему, потому что до боли, до безнадежности чувствую на себе проклятие, тяготеющее над любой жизнью *как таковой*.

Я лишь последовательность своих состояний, своих настроений и напрасно ищу свое «я». Вернее, я нахожу его, только если все наносное улетучивается в восторге самоуничтожения, когда все, что именуют словом «я», стирается и исчезает. Нужно разрушить себя, чтобы себя обрести; *сущность — это самопожертвование*.

Слова кого-то из мусульманских мистиков, достойные Майстера Экхарта: «Если истина не сокрушает тебя до кости, это не истина».

Что ни утро — та же бессильная, самоубийственная ярость, и тот же прилив нестерпимых воспоминаний, и детство, вспыхивающее перед глазами...

Быть *неактуальным*. Как камень.

Всегдашнее чувство неудовлетворенности: «Не то, не то», — вот что я твержу себе каждую минуту.

Настоящая поэзия начинается за пределами поэзии. То же самое с философией, да и со всем на свете.

За два месяца не написал ни слова. Опять одолела старая лень. Единственная деятельность — сожаления и упреки. С каждым днем я продвигаюсь в презрении к себе еще на шаг. Идеи, которые лопаются, как гнилые нитки, замыслы, брошенные новорожденными, мечты, которые с ожесточением, с методичностью затаптываешь. Тем не менее я только и думаю о работе, только в ней и вижу спасение. Если я не сумею реабилитироваться в собственных глазах, я пропал — и бесповоротно. Слишком много неудачников я видел вокруг, чтобы попросту стать одним из них. Но может быть, я уже один из них...

Вкус к лапидарности, к краткой форме, к эпитафиям палатинской «Антологии».

Я могу писать только в состоянии страсти и вместе с тем избегаю страстей. Это неистовство в Равнодушии и делает меня бесплодным.

Кто-то замечательно назвал тоску «сумерками страдания».

Настоящее наследие писателя — это его секреты, его мучительные и невысказанные провалы; закваска стыда — вот залог его творческой силы.

Из писателей я могу читать только самых больных, тех, у кого каждая страница, каждая строка *освещена* болезнью. Я ценю здоровье как *усилие воли*, а не как наследство или дар.

---

[1] Книга «Антология портретов» вышла в свет уже после смерти Чорана, в 1996 г.

17 июля 1961 г.

Все утро допрашивал себя, не было ли у нас в семье душевнобольных, пусть среди самых моих отдаленных предков...

Бывают такие белые ночи, каких не выдумает и самый *одаренный* мучитель. Выходишь из них измочаленным, оглушенным, отупевшим, без воспоминаний и предчувствий, не понимая, кто ты. Потому что свет еще бесполезней и вредоносней, еще хуже, чем тьма.

Даже в сантандерских горах вдруг находишь затерянный кусочек родины. Несколько пастухов в кабачке затянули песню. Испания — единственный край в Западной Европе, где еще существует душа.

Все подвиги, все провалы Испании теперь — в этих песнях. Их секрет — в ностальгии, ставшей *знанием.* Наукой печали.

Чехов — самый беспросветный из писателей. В годы войны я было дал его книги тяжело заболевшему тогда другу, так тот буквально взмолился, чтобы я забрал их назад: простое их чтение лишало его сил сопротивляться недугам.

Мои «Уроки распада» — это мир Чехова, измельчавший до размеров эссе.

В гостинице я пятнадцать лет подряд прожил в мансарде; я и в теперешних своих «апартаментах» обжил только мансарду. Всегда под крышей. *Обитатель верхних этажей,* человек водостоков.

Все толкает меня забыть родину, а я *не хочу*, сопротивляюсь, сколько есть сил.

Написать «Метафизику расставания».

Кто-то из греков (Диодор?), обучая пятерых своих дочерей диалектике, дал им мужские имена, а слуг величал союзами: «поскольку», «но» и т. п.

Полная независимость от языка, вплоть до презрения к неизбежной произвольности всякого слова.

Мое «призвание» — жить среди природы, заниматься ручным трудом, что-нибудь мастерить на дворе, а не читать, не писать. По сути, самый тяжелый разрыв я пережил в 1920 году, когда должен был уехать из родной деревни в Карпатах и отправиться в лицей, в Сибиу. Прошло больше сорока лет, а я и сегодня не могу забыть ту муку бездомного, которую тогда почувствовал и в той или другой форме чувствовал потом все время.

Я не написал ни единой строки, чтобы не почувствовать *потом* неловкость, нестерпимый стыд, чтобы до глубины души не усомниться в своих способностях, в своем «предназначении». Человек в ясном уме не должен браться за перо — если, конечно, не имеет страсти к самомучительству. Вера в себя — вот настоящая «благодать». Если бы Господь помог мне поверить в свои силы! Может быть, *обращаются* именно потому, что больше не могут переносить трезвый взгляд на себя самих? Может быть, это удел людей со снятой кожей — от слишком пристального в себя всматривания? Ад *самопонимания*, о котором не догадывались ни оракул, ни Сократ.

Сократ Критону, перед смертью: «Никогда не говори неправильно: это не только оскорбляет грамматику, но и причиняет зло душе»[1].

(Сравнить слова Арвера[2] на смертном одре и привести реплику Рильке: «Он был поэтом, а значит — не терпел *приблизительности*».)

Моя сила — в том, что я не нашел ответа ни на один вопрос.

7 апреля 1962 г.

Поймал по радио музыку венгерских цыган. Сколько лет я ее не слышал! Вульгарность, разрывающая сердце. Воспоминания о трансильванских запоях, когда от невыносимой тоски я бросался пить с первым встречным. В глубине души я «сентиментален», как все мы, из Центральной Европы.

---

[1] Цитата из платоновского диалога «Федон» (115 e).
[2] Феликс Арвер (1806—1850) — французский поэт.

Думаю о Сибиу, городе, который любил больше всего на свете, и о невыносимых приступах своей тамошней тоски. Воскресные дни, когда скитаешься по пустынным улицам или уходишь один в лес, в поле... Если я так грущу теперь о тех минутах, то прежде всего из-за *обстановки*. В душе я провинциал.

Ни у кого на Западе не хватает смелости сказать о «пропасти рождения» — формуле, которая часто встречается в буддистских текстах. А между тем рождение — это пропасть, настоящая бездна.

Беда, от которой я мучаюсь, день ото дня все ясней: эта неспособность работать, вечная рассеянность, усталость от любого занятия, если оно длится больше часа, одним словом — слабоумие. Я всегда был достаточно трезв, чтобы заметить признаки своей преждевременной немощи — и заметить уже давно, тридцать лет назад...

Поступиться всем, даже ролью наблюдателя.

Не понимаю, как это вообще возможно — написать *какую-то* книгу. И тем не менее...

Я был создан работать руками, проводить целые дни на воздухе, крутиться и хлопотать в поле, среди скота, а не для того, чтобы запереть себя в четырех стенах, за «рабочим» столом, над вечно белым листом бумаги.

Мы живем в столетии, когда живописный образ человека исчез у нас на глазах. Ни портретов, ни лиц. Этот процесс необратим. Что ни говори, извлечь из человеческого лица больше нечего: оно выдало свои тайны, его черты теперь никого не занимают.

Может быть, живопись просто уловила это раньше других искусств? Лучше других почувствовала поворот, к которому подошли сейчас мы все? С упразднением лица не должен ли наступить черед самого человека?

Нет, наше столетие куда важней, чем может показаться.

Я не оставлю *после себя* решительно ничего. Люди моего склада приговорены так никогда и не вырваться из себя самих.

По сути, меня подхлестывает только пафос. От всего остального я начинаю зевать и бросаю перо.

Мысли у меня не дотягивают до уровня чувств.

Чувствую полную неспособность писать. Слово — стена, в которую я колочусь, а она не поддается и по-прежнему неприступно высится передо мной. При этом я знаю, что́ хочу сказать, *владею* предметом, вижу очертания целого. Но выразить ничего не могу, не могу преодолеть преграду Речи. Никогда не испытывал подобного паралича, доводящего до отчаяния, больше того — до отвращения к себе. Полгода я мараю бумагу, не написав *ни единой* страницы, которой бы не стыдился. Ни строки больше не прочту из индийской философии: это медитация над принципом «отречения от плодов действия» завела меня в нынешний тупик. Да будь я способен на действие! Увы, отказ у меня всегда *опережал* даже слабые потуги.

Чтобы что-то сделать, нужно не слушать никаких голосов благоразумия. Невозможно все время сражаться с самим собой. Я глупо и безрезультатно себя обуздываю, пытаясь быть благоразумным. Я создан не для смирения, а для неистовства.

Я обречен осуществиться лишь *наполовину*. И эта *усеченность* — во всем: в манере жить, в манере писать. Человек отрывков.

Взялся за совершенно неподъемное дело: написать о «славе»[1]. Тема для меня абсолютно чужая, несколько месяцев пытался что-нибудь придумать — все впустую. Ничего не выйдет. Я не могу писать о предмете, который — стоит о нем подумать — делает меня больным. С другой стороны, надоело без конца говорить о равнодушии, о безучастности. Я не равнодушный и не безучастный, я безвольный, а безволие — не то же самое, что безучастие.

[1] Эссе «О притягательности и ничтожестве славы» вошло в книгу Чорана «Падение во время» (1964).

Кроме того, я не могу разрешить конфликт, раздирающий меня на части: с одной стороны, мечтаю об энергии, даже о силе, с другой — ценю лишь те шаги, которые отдаляют меня от мира. Два неистребимых, взаимоисключающих порыва. Примирить их невозможно. Все, что мне остается, — подчиняться то одному, то другому с минимальной безучастностью или минимальным отвращением.

Паскаль и Бодлер — вот два поистине *страстных* человека среди французов. Остальные или расчетливы, или взбалмошны.

Французская литература — самая головная. По-настоящему глубоко я привязан только к русской.

Чем дальше, тем равнодушней я к предрассудку, именуемому стилем. А сколько лет я жертвовал ради него всем!

Все мои так называемые «мысли» сводятся к диалогу с собственной волей. С недостатком этой воли.

Безразличие — вот идеал одержимого.

Беспрестанно и ясно вижу превращение настоящего в прошлое. Превращение? Скорей, вырождение. Вырождение, о котором думаю и которое чувствую каждую секунду.

Не знаю, когда, в какую пору и что именно во мне надломилось, предопределив и дальнейший ход моих мыслей, и весь склад моей ущербной жизни. Знаю только, что надлом этот должен был произойти достаточно рано, в конце отрочества.

Уехав из Решинари, я всегда жил в неуспокоенности, в страхе... перед тоской. У кого еще было, у кого еще могло быть такое *царское* детство, как у меня?

17 августа 1962 г.

Только что провел три недели в Австрии — почти целиком на берегу Нойзидлерзее, в местечке Руст. Счастье было почти полным. Гулять, ходить — я по-настоящему счастлив, только если устал психически, бросил думать, выключил сознание. Стоит мне прекратить двигаться, и на меня опять наваливается хандра, лишая малейших сил.

Я должен был жить на природе. Как я наказан за то, что предал свое детство!

Только в Австрии я понял, что остаюсь уроженцем Центральной Европы. Я несу на себе все стигматы бывшего австро-венгерского подданного. Отсюда моя неспособность чувствовать себя во Франции at home.

От прежней Австрии осталась лишь тень, и все-таки я не перестаю о ней думать. В конце концов, я испытываю привязанность только к тем странам, которые втайне расстались с жизнью. Не зря я родился в Империи, знавшей, что она обречена.

Кроме «Адольфа», «Возвращенного времени», Паскаля и Бодлера, французская литература кажется мне набором *упражнений.* Все эти писатели, в которых нет *ни капли крови*, которые *безупречны* — и только.

Ветер, который так прекрасно замещает музыку и поэзию. Странно, что в краях, где он дует, ищут каких-то других средств выражения.

4 сентября 1962 г.

Несколько часов искал сегодня определение ада и не нашел ничего подходящего. Говорю, конечно, не о христианском аде, а о личном опыте, где ни дьявола, ни Бога нет.

Чем больше читаешь — а я читаю слишком много! — тем чаще говоришь себе «нет, не то», а «то самое» опять улетучивается из книг, которые одну за другой поглощает твоя лень. Ведь «то самое» нужно найти в себе, а не вовне. А в себе находишь одну неуверенность да рассуждения по поводу этой неуверенности.

По всем своим вкусам и недостаткам я был создан для жизни в Империи, которая вот-вот рухнет. Как бы я блаженствовал, оказавшись в Вене накануне первой мировой войны!

«Мой исповедник — море!» — до чего я люблю эти слова Елизаветы Австрийской.

Подарок семьи, наследственный страх перед жизнью. Попусту я стремлюсь избавиться от предков, понапрасну стараюсь их отстранить, оттолкнуть — они все равно берут свое. И чем дальше, тем сильней я чувствую, что у них на меня особые права, а вся моя борьба бесполезна. Возвращаюсь к истокам и вот-вот рухну в них с головой.

Прочел в витгенштейновском «Tagebücher 1914—1916»[1]: «Страх смерти — самый точный признак неподлинной, иначе говоря — дурной жизни».
К этой истине я пришел давным-давно (и, к несчастью, на собственном опыте).

«Лулу» Альбана Берга. Главное мое музыкальное открытие последних лет.

Из страха стать кем-то я в конце концов стал ничем.

Известные слова Паскаля в ответ сестре, укорявшей его, что он о себе совсем не заботится: «Вы не знаете всех бед здоровья и всех благ болезни». Эти слова, которые произвели на меня сильнейшее впечатление, я впервые прочел в книге Шестова. Помню, я чуть не вскрикнул. Мне исполнилось тогда семнадцать, это было в Бухаресте, в Королевской библиотеке.

Через тридцать лет попытался перечитать «Фауста». И снова та же неспособность: мир Гёте для меня закрыт. Мне по душе только больные, так или иначе подточенные писатели. Гёте для меня слишком холодный и правильный, в черную минуту к такому не обратишься. Нам сегодня ближе не он, а Клейст. Жизнь без настоящего краха, без таинственных или подозрительных провалов для нас мало чего стоит.

Писание — это не мысль, это передразнивание или, в лучшем случае, воспроизведение мысли.

С огромным удовольствием забыл мысль еще до того, как она обрисовалась.

В мои мысли непрестанно врываются воспоминания, иначе говоря — картины. Самой мысли они не мешают — они мешают ей разойтись в полную силу. Иногда мне кажется, что я потерял власть над воспоминаниями. Прошлое наваливается вперемешку, закупоривая каждый миг и не давая уму развернуться.

Все еще помню то глубочайшее впечатление, которое произвели на меня, шестнадцатилетнего, слова Амьеля[2]: «Ответственность — мой незримый кошмар».

Физиология и метафизика — вот мои основы. Так называемую «психику» я пропустил не читая.

Во мне есть славянское, венгерское и ничего латинского.

Все мои внутренние метания — из-за того, что, кажется, невозможно больше, чем я, любить жизнь и в то же самое время почти непрерывно чувствовать себя в ней чужим, изгнанным, позабытым. Я похож на обжору, теряющего аппетит, стоит ему вспомнить о неутолимом голоде.

Я запутался в словах, как другие — в делах.

Я знаю только два настоящих определения поэзии. Одно принадлежит древним мексиканцам: «Ветер из обители богов». Другое — Эмили Дикинсон, когда она говорит, что узнаёт поэзию по тому ледяному холоду, от которого, кажется, не согреться уже никогда. (Найти то место.)

Я, я, я — невыносимо!

Всю ночь в каминные трубы врывается ветер. Стоны, жалобы — в нескольких сантиметрах от постели. Ночь, утешившая за долгое отсутствие музыки, от которого я мучаюсь, с тех пор как не хожу в концертные залы и не включаю радио.

---

[1] «Дневники 1914—1916 гг.» (*нем.*).
[2] Анри Фредерик Амьель (1821—1881) — швейцарский писатель, известен своим остропсихологическим «Дневником» (опубл. 1881, посмертно).

Рождество. Снег. И в моем сознании всплывает детство.

Вчера на рынке слышал такой разговор: «Что-то холодно». — «Это ничего. Лишь бы снега не было».

Нет, я решительно из другого мира.

Вспоминая свои ранние карпатские годы, я с трудом удерживаюсь, чтобы не расплакаться. Причина проста: невозможно представить, чтобы еще у кого-нибудь было такое детство, как у меня. Небо и земля мне буквально принадлежали. Испуг, и тот был счастливым. Я просыпался и засыпал Властелином Мира. Я знал о своем счастье и предчувствовал, что когда-нибудь его потеряю. Мои дни подтачивал тайный страх. И я не был таким счастливым, как хочу себя уверить сегодня.

В двадцать лет я читал философов, позже, в тридцать — поэтов, теперь — историков.

А мистики? Их я читал всегда, но с недавнего времени читаю меньше[1]. Скоро, может быть, и совсем от них отвернусь. Если потерял способность испытывать не просто экстаз, но даже тень экстаза, то что проку гоняться за экстазами других? Я почти предчувствовал, нет, я на самом деле ощущал транс три или четыре раза в жизни — конечно, не так, как верующие, а скорее как Кириллов у Достоевского. И все-таки это было божественным откровением: оно делало меня выше Бога.

Я извергнут, отхаркнут Временем — и упиваюсь своим падением.

В довоенные времена жил один старый больной поэт, которого совершенно забыли и по настоянию которого, как я где-то прочел, всем посетителям должны были говорить, будто его нет дома. Время от времени жена — из жалости к нему — звонила в дверь...

26 февраля 1963 г.
Не путать себя и свои ощущения. Но как это сделать?

У самомучительства тоже есть свой *предел*. Может быть, я его достиг? Страшная мысль.

Мое несчастье в том, что я набрасываюсь на *проблемы*, тогда как создан для *признаний*.

Гибельная, певучая пустота в каждой клеточке тела — вот что такое Меланхолия.

Легко пишется тем, кто может писать о чем-то другом, а не о себе.

Будь я верующим, я бы оказался среди катаров[2].

В отличие от Маркиона[3], я не считаю демиурга злым. Я считаю его несведущим.

Во времена, когда я писал от первого лица, мне все давалось легко; но стоило упразднить «я», и каждая фраза требует теперь таких усилий, делать которые у меня нет ни малейшей охоты. Безличность меня парализует. Я из тех — по правде говоря, сомнительных — умов, которые чувствуют себя в своей тарелке, только если повествуют о собственных заботах или подвигах.

Презирать весь мир — и принимать похвалы первого встречного!

Думаю о своих прогулках по Карпатам, о тишине на голых верхушках гор, где слышишь разве что шелест редких былинок. Что сравнится с этими воспоминаниями? Пережил ли я потом хоть что-нибудь, способное затмить те одинокие минуты?

В эпоху романтизма все мои недостатки чудом обернулись бы мне на пользу...

Хочешь быть счастливым, не ройся в памяти.

---

[1] Эссе Чорана «В беседах с мистиками» вошло в его книгу «Соблазн существования» (1956).
[2] Катары — сторонники еретического движения, сформировавшегося в XI в. в Северной Италии и Провансе.
[3] Маркион (ок. 86 — ок. 160) — вероучитель-гностик, около 140 г. обосновавшийся в Риме.

В счастливую пору детства у меня случались приступы одиночества и меланхолии, память о которых, давно заглохшая, внезапно просыпается и воскресает теперь, по мере того как я становлюсь старше, так что бывают минуты, когда прожитые годы вдруг развеиваются, уступая место печали тех моих ранних лет.

Не могу я так больше, не могу!

Боль не знает предела.

Когда больна душа, ум вряд ли останется *незатронутым*.

Источник бесплодия: сосредоточенность мысли на себе одной.

Не хочу ничего, ничего, ничего... Господи!

Мудрость не пишет писем.

Когда мучаешься, страх перед мукой делает ее еще мучительней (или добавляет новых мучений).

Сколько лет я живу *не дотягивая до* самого себя!

Страсть к краткости мешает мне писать, ведь писать — значит распространяться.

Писание стало для меня пыткой, чем-то недостижимым. Слова кажутся настолько *чужими* (моей внутренней сути), что меня с ними буквально ничто не связывает. Полный разрыв. Нам нечего сказать друг другу. Если я ими пользуюсь, если употребляю их, то лишь для того, чтобы разоблачать. Да еще чтобы оплакивать пропасть, разверзшуюся между нами.

Думать ощущениями — это значит все-таки думать. Если ничего другого уже не можешь!

Кто бы одним ударом оборвал мой крик?

Мысль без горечи, хотя бы скрытой, наводит на меня скуку.

Я — беспрерывная попытка запеть, но песня так и не приходит.

Моя драма — драма вчерашнего честолюбца. Время от времени какие-то планы и химеры прежних лет, кажется, находят продолжение. Я не полностью излечился от прошлого.

В мыслителе меня интересует писатель, в писателе — темперамент.

Теперь я могу читать только то, что меня «переворачивает». (Прочитав есенинскую «Исповедь хулигана».)

О тоске можно рассказать теми же словами, что о море...

Как ни парадоксально, я одержимый, ум которого ни на чем не может *остановиться*. Хаотическое кружение вокруг одних и тех же тем.

В душе у тебя жила песня. Кто же ее убил?

7 февраля 1964 г.

Бремя настоящего проклятия испытываешь, только поняв, что чувствовал бы его даже в раю.

Выть, распугивая ангелов...

— Что вас так мучит?
— Жизнь. Эта или другая, не важно — просто жизнь.

Письма Симоны Вайль[1] отцу Перрену, отправленные в годы войны и опубликованные в «Ожидании Господа», — не могу вспомнить ничего, равного по силе этой абсолютной требовательности к себе. Преклонение перед Истиной достигает у нее трагической высоты.

Чего же я хочу, чего хочу? Кто хоть когда-нибудь скажет мне, чего я хочу?

21 марта 1964 г.

Современная литература — полная противоположность романтизму. Сегодняшний мечтатель — антипод Новалиса.

Все мной написанное — лишь стон, хула, палинодия.

Я живу между ностальгией по катастрофе и восторгом перед рутиной.

Существует своего рода «румынский пессимизм» или, вернее, наш национальный «страх перед жизнью», который я, без всякого сомнения, унаследовал.

Книга карманного формата могла появиться только в эпоху, когда *посвященных* больше нет.

По сути, я не принадлежу этому времени. Даже мои «Уроки распада» — из другой эпохи. Моя неактуальность — не только исторического, но и метафизического свойства. Первый встречный в тысячу раз *современней* меня.

Моей всегдашней страстью были забытые боги и опустевшие храмы.

Мечтаю написать общее оправдание *ересей*.

Настоящий пророк — это тот, кто мучится неотступной мыслью о будущем, не веря ни в какой «прогресс».

Кьеркегор: Тертуллиан *на развалинах* немецкого романтизма.

Прочел в одной из биографий Александра Блока простые и глубокие слова о его угасании: «Сначала умолк смех, потом исчезла улыбка».

Нас переживает только наш крик.

В Симоне Вайль есть что-то от Антигоны. Это удерживает ее от скепсиса и приближает к святости.

«По-моему, перемена веры так же опасна для человека, как для писателя — перемена языка» (Симона Вайль).

Троицын день. Только что дочитал книгу о последней любви госпожи де Сталь. При мысли, что все упомянутые в ней люди давно *мертвы*, мне стало физически плохо, пришлось лечь.

Жизнь — вещь совершенно невозможная, я это чувствую каждую минуту вот уже лет сорок...

Невротик — это человек, который не в силах *забыть*.

Все римские писатели — выходцы из провинций. Только Юлий Цезарь да еще Лукреций родились в Риме.

Прислушайся я к самому глубокому своему инстинкту; я бы с утра до вечера и ночь напролет вопил: «Помогите!»

С годами в человеке меняется все, кроме голоса. Он — единственное удостоверение личности каждого из нас. Следовало бы брать *отпечатки голоса*.

---

[1] Симона Вайль (1909—1943) — французский мыслитель-мистик. Сборник ее работ разных лет «Ожидание Господа» вышел в 1964 г.

Человек может жить без молитвы, но без возможности молиться — никогда...
Ад — это *запрещение* молиться.

Слова Рёйсбрука[1] об одной разновидности проклятых: «Они умрут навеки, и умиранию их не будет конца».

Люди, о жизни которых я никогда не устаю читать: Свифт, Наполеон, Талейран, Клейст.

Слишком проницательный, чтобы обладать сильным характером.

Кто-то сказал про сны: «Роман с ключом». Замечательно!

В *метафизическом* смысле я — еврей.

Мой покровитель — Иов.

Во Франции ностальгии нет. Только хандра.

С утра до вечера добиваюсь от себя *желания* работать.

— Вы кончите тупиком.
— Ошибаетесь. Я с него *начал*.
...А потому чувствую, что, по крайней мере, *с той стороны* не уткнусь в стену и что я совершенно свободен.

Мне по душе ересиархи, чьи сочинения не сохранились и от которых дошло только несколько изуродованных, абсолютно темных фраз.

Из европейской поэзии исчез крик. Осталось жонглирование словами, художества акробатов и эстетов. Эквилибристика опустошенных.

В начале Революции ссылались на Руссо, в конце — на Тацита.

— Что такое угрызения совести?
— Это муки страха, наказывающие слабость тех, кого зачаровывала сила (Парацельс).

Крах моих дедов и прадедов, — я несу его в крови, вобравшей все эти обломки.

Кто вы такой? *Чужестранец* — в глазах полиции, Господа Бога и своих собственных.

Нужна, наверно, целая жизнь, чтобы свыкнуться с мыслью, что ты румын.

Три города, которые я любил больше всего: Сибиу, Дрезден, Париж.
Дрездена больше нет. Париж невыносим. Сибиу недоступен.

Я создан из того, что потерял.

Профессиональный писатель — изобретение буржуазной эпохи.

Ювенал — последний значительный поэт Рима; Лукиан — последний крупный писатель Греции.
И тот и другой *работали* в ироническом ключе. Две литературы закончились сатирой.

Юмор всех побежденных.

Via negationis[2]...
Голгофа бесплодия, *немой* мысли.

---

[1] Ян ван Рейсбрук, прозванный Удивительным (1293—1381) — нидерландский мыслитель-мистик.
[2] Путь отрицания (*лат.*).

Не быть ничьим современником.

«Geniu pustiu»[1] — вот суть моей родной страны.

28 апреля 1966 г.
Несколько дней назад на улице Медичи заметил Сартра под руку с какой-то светловолосой, головастой девицей. Вид самодовольный, одет и обут с иголочки, во все итальянское, узконосые туфли на высоком каблуке. От этой его жизнерадостности, щеголеватости мне стало не по себе. Может быть, потому, что он так уродлив? Вряд ли: внешне он выглядел достаточно привлекательным. Не могу толком объяснить свою тогдашнюю дурноту, но, думаю, она сродни тому чувству, которое, вероятно, испытывали при виде Вольтера его современники, навряд ли ослепленные, скорее даже пресыщенные ни с чем не соразмерной славой, свалившейся на этого заурядного человечка.

Мои — скажем так — основные чувства каждый день: жалость к себе, отвращение, опустошенность, ужас, ностальгия и полный набор сокрушений.

Я родился в стране, где главным занятием каждого было *сожаление*. От будущего мои предки, уверен, ничего не ждали. И не мне их за это осуждать. Печальные, недоверчивые, обездоленные люди.

Как это *смешно* — умереть.

Я люблю, когда стиль достигает чистоты яда.

25 июня 1966 г.
Наплакаться и уснуть, другими словами, вернуться в детство — вот все, чего я сейчас хочу.

Атриды и Габсбурги.

Когда я взываю: «Господи!» — Он *существует* на протяжении моего крика. И достаточно: разве я мог надеяться на большее?

«Музыка могла бы отчасти заменить нам несуществующий мир» (Шопенгауэр).

18 октября 1966 г.
Час ночи. Умерла моя мать.

Теперь моя мать больше не мучится. Как будто она вообще никогда не мучилась, никогда не существовала.

Мать умерла почти безутешной, отец — в полном отчаянии.

24 ноября 1966 г.
Умерла моя сестра. Через пять недель после матери.
В телеграмме брат написал: «Наша сестра *тоже* умерла».

Невозможно любить джойсовского «Улисса». Но остальные романы невозможно после него даже читать.

Уйти в себя и слушать эту тишину, старую как мир, нет, еще древнее — тишину до начала времен.

3 января 1967 г.
Мадригал Монтеверди. Прекрасно, как русский хор.

Кажется, я где-то назвал тревогу *памятью о будущем*.
Действительно, мучимый тревогой воспоминает, *видит*, да нет — уже *увидел* все, что с ним *может* произойти.

---

[1] Бесплодный гений (*рум.*) — название незавершенного романа Михая Эминеску.

Меня спросили, почему я не возвращаюсь на родину.
— Из тех, кого я знал, одни умерли, другие — *еще хуже*.

30 июля 1967 г.
Явственное чувство нереальности окружающего. Не ощущение, а убежденность. Всегдашнее сознание этой вселенской игры, хоровода призраков.

Гомер не раз говорит о *наслаждении скорбью* (среди прочего, устами Приама, когда тот умоляет Ахилла) — чувстве абсолютно современном.

9 декабря 1967 г.
Конечно же, тело — не материя; а если материя, то *трагическая*.

1 января 1968 г.
У меня одна религия: Бах.

Малларме хотел, чтобы из словарей вычеркнули слово «как».
Безошибочный инстинкт поэта.

Создать то, что не интересует ни единого человека. У меня это почти получилось.

На днях в боковой аллее Люксембургского сада увидел Беккета, читавшего газету, словно какой-нибудь из его персонажей. Он сидел на стуле, сосредоточенный, отсутствующий, как всегда. И какой-то болезненный. Я не решился подойти. И зачем? Я его очень люблю, но предпочитаю поменьше разговаривать. Он такой *немногословный*! А для разговора нужна хоть минимальная непринужденность, умение притворяться. Это *игра*, а на нее Сэм не способен. По нему сразу видно: он человек внутреннего монолога.

«Молитва печального никогда не достигнет Господнего престола» («Пастырь» Гермы[1], около 140 г.).

Неудачник Сомнения и неудачник Экстаза. Кажется, мне удалось стать жертвой этого двойного краха.

28 декабря 1968 г.
Снег, иначе говоря — детство, иначе говоря — счастье.

Потрясающее стихотворение Нелли Закс «Хор спасенных»[2].

Слушать дождь — само по себе занятие. Не понимаю, зачем думать о чем-то еще.

Американский критик в рецензии на мой «Соблазн существования» называет меня бедуином мысли.

Нет у меня никакого духовного призвания. Я создан, чтобы мучиться на этой земле — *и все*.

«Макбет», «Бесы» — вот книги, которые я хотел бы написать...

Перевод плох, если он яснее, понятнее оригинала. Значит, он не сумел сохранить многозначность авторского текста, а переводчик *спрямил* путь, совершив преступление.

Перелистал биографию Кафки (юность). Виды и обиход Праги напоминают наш Германштадт[3]. Я жил в той же Австро-Венгерской империи, только на другом краю.

3 февраля 1969
Время «чувств» прошло.

---

[1] Апокрифическнй иудеохристианский трактат II в., книга видений и комментариев к нним.
[2] Русский перевод В. Микушевича см. в книге Нелли Закс «Звездное затмение» (М., 1993, с. 21—22).
[3] Старое название города Сибиу, где прошли лицейские годы Чорана.

Всю жизнь хотел быть другим: испанцем, русским, немцем, каннибалом, — только не собой. В непрестанном бунте против судьбы, против всего прирожденного. Эта безумная страсть не походить на себя, мысленно влезать в любую шкуру, кроме собственной.

Две берлинские зимы[1] — едва ли не самое «проклятое» время моей жизни. Что-то вроде рильковского Мальте Лауридса Бригге, только не в Париже, а в ледяной, зловещей столице Пруссии. Если бы у меня хватило душевной смелости описать однажды все, что я тогда пережил! Именно там сложился мой взгляд на вещи, там я испытал на себе все последствия бессонницы, которая началась, когда мне исполнилось двадцать. Лучше об этом даже не думать. Не хочу возвращаться в ад.

Я отдал своим книгам самое *худшее*. И к счастью — иначе сколько бы яда во мне скопилось! Мои книги полны ярости, желания всех прикончить, злобы, но, может быть, это необходимо, чтобы сохранить хоть толику самообладания, хоть каплю «благоразумия». Особенно я имею в виду мои старые, румынские книги, захлестнутые помешательством.

Я люблю деревню — а живу в столице; ненавижу стиль — а слежу за каждым словом; отъявленный скептик — а читаю в основном мистиков... и так далее до бесконечности.

12 марта 1969 г.
Чудесный вечер с Октавио Пасом и его женой.

По Боссюэ, первый город основал Каин — ища место, где *заглушить угрызения совести.*

«Культурное» (?) пространство наверняка оставляет свой след. В Трансильвании сильны венгерские, «азиатские» черты. Я трансильванец, стало быть... Чем дальше, тем острей я чувствую, что не только своими корнями, но и всем своим складом принадлежу к Центральной Европе. Даже тридцать лет парижской жизни не сотрут того, что я родился на отшибе Австро-Венгерской империи.

Мысль — самая незаметная разновидность агрессии.

Беккет написал мне по поводу «Злого творца»: «Среди Ваших руин я чувствую себя как в убежище».

Доктрины уходят — анекдоты остаются.

Только что по пути на рынок встретил беременную женщину (с виду, на последнем месяце). Чувство отвращения, дурноты. И тут же подумал, что моя мать, когда носила меня, выглядела так же ужасно.

(Страшные слова, которые она мне однажды сказала: «Знай я, что так будет, лучше бы сделала аборт».

Помню, это было часа в два, после обеда. Перед этим я со стоном рухнул на кушетку, говоря, что больше не могу. Мне было лет двадцать, двадцать один. Может быть, меньше. Я мучился бессонницей. С помощью снотворных удавалось поспать часа три, максимум — четыре. Просыпался я каждый раз от невыносимого кошмара. Следовало бы вести дневник тех ужасающих ночей. Если во мне было что-то от поэта, тогда оно умерло. *После этого* я мог быть только прозаиком. По мере того как сон возвращался, все мои поэтические способности улетучивались.)

16 июня 1969 г.
Мучась бессонницей, поневоле становишься теоретиком самоубийства.

22 октября 1969 г.
За гробом Лейбница шли три человека.

Иов, Шамфор[2] и венгерская хандра — вот формула моего характера.

---

[1] В 1933—1935 гг. Чоран по стипендии Фонда Гумбольдта учился философии в Берлинском университете, посещал курсы Н. Гартмана и Л. Клагеса, открыл для себя живопись экспрессионистов (главными своими художниками он называл потом Кандинского и Клее).

[2] Себастьян Рош Никола Шамфор (1741—1794) — французский писатель, мыслитель-афорист.

Без скуки я не стал бы самим собой. Только с ее помощью, только благодаря ей я сумел узнать себя. Не испытай я ее, я бы так и прожил в полном неведении, так и не понял бы, кто я такой. Скука — это встреча с самим собой в чувстве собственного несуществования.

По-настоящему я родился в тот летний день, когда мне было пять и мир вдруг опустел прямо у меня на глазах.

Написать о самоубийстве — значит его избежать[1].

Я себя знаю. И потому не выношу.

Сесар Вальехо:
«Dicha tan desgraciada de durar».
(Несчастнейшая радость продолженья.)

19 января 1970 г.
Открываю «Стихи» Алваро де Кампоса (Пессоа), и тут же взгляд падает на строку:
«Seia o que for, era melhor nao ter nascido».
(Как бы там ни было, а не рождаться лучше.)

Метафизика и шпионаж — вот две действительно интересные вещи; все остальное...

По-настоящему мои места, моя родина — то небытие, которое, как у мистиков, *прежде* Бога.

7 мая 1970 г.
Пауль Целан[2] бросился в Сену. Тело нашли в прошлый понедельник.
Необыкновенный, невозможный, беспощадный при всей своей бесконечной мягкости человек, которого я любил и вместе с тем избегал, боясь чем-нибудь ранить, потому что его ранило все. При каждой встрече с ним я настолько сдерживал себя, следил за собой так внимательно, что через полчаса буквально выбивался из сил.

Быть сокрушительно свободным — вот чего я хочу. Свободным от всего. Свободным, как мертворожденный.

У меня нет ненависти к жизни, нет желания смерти, все, чего я хотел бы, — это не рождаться на свет.
И жизни и смерти я предпочитаю нерожденность. Страсть к нерожденности. Чем дольше живу, тем сильней во мне эта страсть.

Как боль может перерасти в мысль?

Бог, величайший Чужак.

Одно из моих самых любимых слов — *несчастье*[3]. Я действительно вижу во всем лишь отрицательную сторону. Нет, не столько отрицательную, сколько мучительную. Распятый без веры. Голгофа язычника!

«Молчание приближает человека к Богу и делает его на земле подобным ангелам» (Серафим Саровский).

Ненавижу *объяснять*. Самого слова этого не выношу.

У мыслителя меня интересуют не идеи, а опыт: не то, что он думал, а что пережил.

Я хотел бы написать о Гитлере как современнике экспрессионистов, о невежде, павшем жертвой Weltuntergangstimmung[4].

---

[1] Эссе Чорана «Один на один с самоубийством» вошло в сборник «Злой творец» (1969).
[2] Пауль Целан (1920—1970) — австрийский поэт румыно-еврейского происхождения, с 1948 г. жил в Париже. Перевел на немецкий книгу Чорана «Уроки распада» (перевод опубликован в 1953 г.).
[3] «Несчастье родиться» — сборник афоризмов Чорана (1973).
[4] Чувство конца мира (*нем.*).

24 февраля 1971 г.

Четыре великолепных дня. Ноан — долины Крезы — Солонь.

За четыре дня — почти сто километров пешком. Чувство настоящей жизни, подлинной реальности, чего-то небывалого.

Путешествовать теперь можно только зимой, когда реже всего встречаешь отвратительную личину туриста. Безлюдные деревни, пустынные дороги, какое счастье!

Великие мистики, можно сказать, *исчерпывают* Бога и, разочарованные и ненасытные разом, ищут того, что их превзойдет. Отсюда погружение в саму стихию божественного, в еще *до-божественную* сущность.

«Мое» время

Я живу от одного дня до другого (во всех смыслах) и вместе с тем за пределами дней. У меня две меры времени: самая обычная и самая высокая. Уживаются они с трудом, и в этом все мои беды — и утешения.

Когда мы кружили вчера по узким улочкам, П. С. сказал поразительную вещь: «Хорошо бы кто-нибудь описал однажды ваши отношения с Парижем. По-моему, между здешним воздухом и вашим взглядом на вещи есть явная связь».

Более чем верно. Всему чужой, я тем не менее *сросся* с Парижем. Это *мой* город. Нас объединяет одно: хандра. Хандра, скажем так, метафизическая, привилась у меня к парижской хандре.

27 марта 1971 г.

Ади говорил о «проклятье родиться венгром».

Каково же тогда родиться румыном?

Венгрия хотя бы существует или существовала — Румынии не существовало и не существует. Что тут скажешь? Только одно: «Несчастье — родиться румыном».

Я могу сказать о Сибиу или о Париже то, что Ахматова сказала о Ленинграде: «Тень моя на стенах твоих».

30 марта 1971 г.

Изнеможение, разбитость, головные боли. Даже мысли и те простудились.

Мучиться наследственными простудами! Меня продуло уже при рождении.

В ответ на слова Эндре Ади о «проклятье родиться венгром» я недавно написал, что судьба румына во много раз тяжелее.

Только в нашем случае речь не о проклятье, а о *несчастье*, состоянии пассивном, тогда как в проклятье есть идея *избранности навыворот*, своего рода величия, которого в несчастье обычно нет.

Целановская «Стретта»[1]: «Дуинские элегии», от которых остался скелет и крик, словесная судорога.

16 апреля 1971 г.

Вспоминаю ту немецкую швейцарку, которую встречал перед войной... в общине квакеров и которая меня всякий раз спрашивала: «Lesen Sie immer Pascal und Baudelaire?»[2]

По правде говоря, я не слишком часто делал и то и другое, но самыми близкими среди французов для меня всегда оставались именно они. Говоря точнее, об этих двух французах я думаю чаще всего, почему и не испытываю никакой нужды их перечитывать. И гораздо больше, чем писателей, я люблю в них *людей* с их драмами, болезненностью, чувством *неподдельного* угасания.

(Малларме рядом с ними — «жеманник», пустопляс. Почему и нравится нынешнему утонченному сброду.)

Верно кто-то сказал: «Мы — то, чего мы не сумели».

То есть в каждом из нас нет никакого другого содержания, кроме всего, что мы так и не сделали и о чем непрерывно думаем. Иными словами, *я — это мои сожаления.*

---

[1] Поэма Пауля Целана.

[2] Вы не забываете читать Паскаля и Бодлера? (*нем.*)

6 мая 1971 г.

Невыносимая ночь. Четыре часа утра, а сна нет и нет. Думал о Целане. Наверно, вот в такую ночь он вдруг решил с собой покончить. (Хотя само *решение* должен был носить в себе уже давно.)

Я называю поэзией то, что ударяет, как нож в сердце (прочитав стихотворение Хуана Рамона Хименеса «Yo no soy yo»[1]).

Писать — значит *осмеливаться*.

Выставка Ван Гога. Вот настоящий *современник* Ницше. Подумал об этом, глядя на костры его картин.

Скептик — это мученик собственной проницательности.

Так называемую «философию» я терпеть не могу, а люблю только две вещи: метафизику и анекдот.

Диоклетиан, Карл V.

Я хотел бы написать «Историю отречений».

9 ноября 1972 г.

«Я» — вот в чем помеха. Устранить ее не удается. Я прикован к себе, и это непоправимо.

Привычка видеть вещи как они есть рано или поздно переходит в манию. И тогда человек оплакивает в себе безумца — которым был и которым никогда больше не будет.

■

[1] «Я — не я» (*исп.*). Русский перевод А. Гелескула см. в книге: Хуан Рамон Хименес. Избранное. М., 1981, с. 154.

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ, ЛЮДМИЛА ВОРОНЦОВА

СУДЬБА КАТОЛИЦИЗМА В РОССИИ

При всем религиозном многообразии российского общества и религиозном эклектизме в сознании большинства наших современников, пожалуй, ни одна конфессия не вызывает столь бурных эмоций и часто столь же бурной неприязни, как католицизм. Нетерпимость к нему не может быть объяснена общей нетерпимостью к инаковерцам: ведь в нынешний религиозно-общественный контекст легко вписываются и мусульмане, и буддисты, и даже протестанты, имеющие проблемы в основном из-за своей миссионерской деятельности. Феномен современного российского католицизма можно объяснить, лишь осознав его место в контексте русской духовной и политической культуры.

В начальный период русского христианства поле деятельности на Руси было открыто в равной степени и греческим, и латинским миссионерам. В конце X века выбор веры осуществлялся отнюдь не по догматическим основаниям — разницу между западным и восточным вероучением неискушенное в богословских вопросах население Древней Руси было не способно понять. Новая религия воспринималась на уровне обряда и культурной традиции.

Русское национальное самосознание веками строилось на противопоставлении себя «Западу», причем под этим термином чаще всего подразумевался именно католицизм. Русская духовность, государственность, культура осознавали себя в качестве антиномии «латинству». У Европы можно было перенимать технические достижения, моду, произведения искусства, но мистическую конфессиональную границу переходить было нельзя. *Право*-славие противостояло *неправо*-славию, и этим «неправославием» был католицизм.

Антикатолицизм неразрывно связан не только с религиозностью и культурой, но в не меньшей мере с национальным сознанием, патриотизмом, верностью политической системе. С XIII века, когда Александр Невский победил германских рыцарей-латинян на Чудском озере и мудро покорился татаро-монголам, стала формироваться государственническая идеологема, гласящая, что истинный патриот не знает более опасного врага, чем Запад. Идейная связь православия и княжеской власти становится обоюдной — не только автократор является защитником истинной веры, но и православие освящает и укрепляет божественную власть автократора, которой в не меньшей мере угрожают разлагающие латинские влияния.

В послании Ивана Грозного Андрею Курбскому есть любопытнейшие слова, раскрывающие суть фобокатолических настроений русской власти. Объясняя свою ненависть к католикам, русский самодержец пишет: «Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначально сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи!» Такой характер государственного устройства, при котором «цари своими царствами не владеют», по мнению Ивана Грозного, возможен только у «безбожных народов»[1]. Знаменитая уваровская триада «Православие, самодержавие, народность» имеет, таким образом, древние корни. Исходящая из Ватикана угроза в сознании верноподданнически настроенных русских людей представляла опасность и для чистоты веры, и для абсолютности власти самодержца.

Филокатолические настроения впервые возникают на пороге нового времени. Их всплески удивительным образом совпадают с периодами ускоренной модернизации страны. Так было на рубеже XVII—XVIII веков, когда государственные и культурные новации Петра Великого обозначили крупный прорыв конфессионального изоляционизма и в обеих русских столицах (а также в Астрахани) появились первые католические храмы. С этого момента многочисленные и с годами растущие общины поляков, немцев и других западноевропейцев создают католические приходы во всех крупных городах империи. Так было и в начале XIX века, когда реформаторские идеи молодого императора Александра I обусловили непродолжительный период относительной конфессиональной либерализации и филокатолических настроений. Именно в этот период отмечаются первые индивидуальные обращения в католицизм собственно русских людей — почти исключительно из высших слоев общества.

Каковы же идейные основания индивидуального вхождения в католицизм целой плеяды блестящих представителей российского дворянства XIX века — таких, как П. Чаадаев, З. Волконская, М. Лунин, В. Печерин? Убежденность в европейском призвании России привела их к мысли о необходимости преодоления религиозной изоляции от европейских стран. Для русских католиков воссоединение с Римской церковью было равнозначно вхождению в

[1] Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979, с.123—126.

© С. Филатов, Л. Воронцова, 1998

западную, христианскую культуру. Многие из них считали Запад идеальной моделью цивилизации, «которая вобрала в себя тройственное единство: культуры, религии и нравственности»[1].

В представлении Михаила Лунина, например, абсолютная истинность католической веры неразрывно предполагает утверждение политической свободы: «Утверждают, будто протестантство благоприятствует политической свободе. Исторические факты доказывают противное. Оно проникало через государственную верхушку: государей, знать, магистраты и т. д. Оно не имело успеха в странах республиканских: Польше, Генуе, Венеции, Ферраре. В Швейцарии оно победило лишь в аристократических кантонах. Кантоны демократические: Швиц, Ури и Унтервальден отвергли его. В Англии конституция сложилась много раньше XVI столетия, в лоне католической церкви. Когда Великобритания от нее отделилась, все три власти были независимы, фиск и армия зависели от согласия общин и лордов и т. д. Республики в испанских колониях также католические. И наконец, Франция стала в наши дни конституционной монархией. Никакое благо, даже косвенно, не может произойти из заблуждения»[2].

Но считать, что католицизм может дать политическую свободу, для Лунина оказывается недостаточным; он идет дальше и утверждает, что и красота возможна только в Римской церкви: «Католическая вера как бы зримо воплощается в женщинах. Она завершает их врожденное изящество, возмещает их недостатки и украшает равно дурнушек и красавиц подобно росе, украшающей все цветы. Католичку можно сразу узнать среди тысячи женщин по ее осанке, речи, взгляду. Во всем существе ее есть нечто сладостное, спокойное и безмятежное, указующее на присутствие Истины. Последуйте за нею в готический храм, куда она идет молиться: склонив колена пред алтарем, погруженная в полумрак, овеянная гармоническими звуками, она подобна тем посланникам небес, кои являются на землю, дабы открыть человеку его высокое предназначение»[3].

Вторая причина обращения интеллектуальной элиты прошлого века к католичеству — это негативное отношение к современному им состоянию России. Особенно резко эту позицию выразил П. Чаадаев, который воспринимал ситуацию в Российской империи как «постоянное и повсеместное отсутствие идей долга, справедливости, права и порядка». Вековую отсталость России от западноевропейских стран он объяснял принятием ею христианства от «презираемой всеми народами Византии», что, по его мнению, было «тупиковой линией развития с точки зрения утверждения идеалов Царства Божия на земле»[1].

Наиболее последовательно данную идеологию развил Иван Гагарин, русский дипломат, принявший в 1842 году в Париже католицизм и вступивший в иезуитский орден. Гагарин считал, что вне католицизма у России нет будущего, что воссоединение русского народа с Римом — единственный способ избежать грядущей революции и национальной гибели. Созданная князем Гагариным Славянская библиотека в Париже стала интеллектуальным центром для кружка русских католиков-иезуитов.

Но все же в первой половине XIX века такие радикальные взгляды были уделом меньшинства русских католиков. Более типична позиция, например, Зинаиды Волконской, мечтавшей о равноправном воссоединении церквей[2]. В XIX веке у части образованного российского общества складывается представление о том, что Католическая и Православная церкви равно истинны. Мы никогда не узнаем, насколько эти взгляды были распространены, потому что высказывать их было небезопасно — и правительство, и Синод их, мягко говоря, не приветствовали.

Еще Н. Гоголь говорил, что не видит между двумя церквями разницы, что для него это одна Церковь, поэтому переход из православия в католичество не имеет смысла[3]. Но исторически наиболее значимой была позиция Владимира Соловьева, который в 1896 году совершил церемонию личного воссоединения с Вселенской церковью. Это воссоединение он понимал не как переход из одной Церкви в другую, но как признание принадлежности обеим церквям, которые на самом деле составляют единую мистическую Церковь Христову. Однако такой поступок противоречил канонам обеих церквей[4].

Следующий этап российской модернизации — рубеж XIX—XX веков — стал для русского католицизма временем настоящего преображения. На территории России появляются католические общины этнических русских. С 1907 года начинают формироваться структуры русской католической церкви византийского обряда. Поиски путей сближения двух церковно-культурных традиций (исходящие из

---

1 П. Я. Чаадаев. Статьи и письма. М., 1989.
2 М. С. Лунин. Письма из Сибири. М., 1987, с.197—198.
3 Там же, с. 176.

1 П. Я. Чаадаев. Там же.
2 А. Кирьянов. Римские каникулы Гоголя. — «Истина и жизнь», 1996, № 4, с. 45—51.
3 Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. В 14-ти томах. 1937—1952; т. 9, с.118. «Я не переменю обрядов своей религии... Потому что религия наша, как и католическая, совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую».
4 К. Мочульскнй. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж, 1951, с. 217—218.

неотъемлемости для России восточнохристианского обряда) возникают еще в начале XIX века, но широкое общественное звучание приобретают лишь после того, как унионистские идеи на рубеже XIX—XX веков выразил Вл. Соловьев. Его работы преодолевали культурно-конфессиональный изоляционизм, способствовали пониманию и распространению духовных ценностей Западной церкви, не насилуя при этом природы православного мышления.

Экуменические идеи Соловьева и других русских философов начала XX века во многом предопределили появление в России в 1907 году Русской католической церкви восточного обряда. Фактическими основателями Грекокатолической церкви стали православные Алексей Зерчанинов и Леонид Федоров и старообрядческий священник Евстафий Сусалев. Алексей Зерчанинов был простым сельским нижегородским батюшкой, в один прекрасный день уверовавшим в истинность католичества. Леонид Федоров, чувствуя призвание к католичеству, на третьем курсе ушел из Петербургской духовной академии и отправился в Рим, посвятив с тех пор всю свою жизнь делу Унии. В мае 1917 года он возглавил экзархат Русской католической церкви.

Таким образом, с предреволюционных времен в российском католицизме стали существовать два обряда. Тогда, в начале XX века, наметилась тенденция к тому, что латинский обряд сохранится для польских и немецких католиков, в то время как русские будут преимущественно обращаться в католицизм восточного обряда. Леонид Федоров так обосновывал необходимость русского обряда: «Нужно всегда различать вселенскую идею Церкви от ее формы. Дух Христов, дух чистого католицизма не только не требует одной определенной формы, а даже может идти по различным направлениям. Наклонность подражать всему латинскому и ценить все латинское выше восточного я считаю только за признак восточного раболепства и нашего русского самобичевания, того ради смирения, которое «паче гордости...»[1]

Для сохранения традиции католицизма восточного обряда особое значение имела община, созданная в Москве представителями знаменитого купеческого рода Абрикосовых — Владимира и его жены Анны (в монашестве Екатерины). Несмотря на политику коммунистических властей, направленную на полное искоренение русского католицизма, вплоть до 70-х годов восточный обряд тайно практиковался среди нескольких чудом выживших бывших членов этой общины.

[1] Цит. по: А. Юдин. Россия и Вселенская Церковь: судьбы российского католичества. — В кн.: Религия и демократия. На пути к свободе совести. Вып. 2, М., 1993, с. 472.

Унионистская традиция вобрала в себя всю глубину вечных российских противоречий: с одной стороны, стремление к вселенской церкви и вселенскому единству, с другой — неприятие реалий российской жизни в сочетании с желанием сохранить собственную религиозную и национальную самобытность. Внутри российского католицизма унионистское движение представляет собой крыло, наиболее симпатизирующее православию и склонное рассматривать себя в качестве моста между двумя благодатными «церквами-сестрами».

Недолгий период легального существования русского католицизма в начале XX века ознаменовался не только враждебностью со стороны властей, православной церкви и русских националистов, но и негативно-невротичной реакцией польского клира. Священники-поляки привыкли рассматривать католичество в России как свою национальную церковь, и появление русских в костеле было для них просто скандалом. Польский клир, пренебрегая традиционной католической дисциплиной, даже отказывался признавать русский экзархат Греко-католической церкви. И русские католики, и те, кто их поддерживал из-за рубежа (независимо от того, к какому идейному течению они принадлежали), — Федоров, Абрикосов, д'Эрбиньи, Шептицкий и др. — считали, что поляки должны быть отстранены от работы с русскими «из-за исторически сложившегося национально-культурного антагонизма»[1].

До октября 1917 года Католическая церковь в России была одной из крупнейших. На территории нынешней РФ существовали две католические епархии и экзархат католиков восточного обряда, 331 католический приход; практически во всех крупных городах России было хотя бы по одному костелу. Функционировала хорошо отлаженная система благотворительных и образовательных организаций. В первые годы после революции власти, проявлявшие относительную терпимость к протестантам и старообрядцам (к ним относились как к гонимым самодержавием меньшинствам), по отношению к католичеству (как, впрочем, и к православию) выказывали особую нелюбовь. Большевизм, вышедший из социалистического движения, в полной мере разделял присущие ему антикатолические стереотипы и предрассудки.

Российская леворадикальная среда в идейном плане прочно отождествляла себя с европейским антиклерикализмом, с традицией Вольтера, Дидро и Беранже. Достаточно вспомнить в связи с этим чрезвычайную популярность у наших «демократов» начала века Эмиля Золя и Этель Войнич. Католицизм воспринимался

[1] L. Tretjakewitsch. Bishop Michel d'Herbigny SJ and Russia, Wurzburg, 1990, p. 56—58, 128.

вождями и идеологами пролетарской революции в облике оплота тирании, реакционной силы, «удушающей свободную мысль».

Разгром Католической церкви начался в 1922 году (в ходе кампании по изъятию церковных ценностей) показательным процессом над архиепископом И. Цеплаком и прелатом А. Буткевичем и фактически завершился в середине 30-х годов полной ликвидацией легальных католических структур. Перед войной реально функционировал лишь один костел в Москве.

В 20-е годы в ходе атеистических репрессий против всех российских конфессий наметилось уникальное, трудно представимое даже сейчас сближение католиков и православных. В обстановке тотальных религиозных репрессий патриарх Тихон и некоторые другие видные представители православного епископата, до того в любви к Ватикану не замеченные, проявляют к католикам интерес, благосклонно относятся к экуменическим контактам, сами участвуют в них[1].

На 20-е же годы приходится деятельность архиепископа Мишеля д'Эрбиньи, представлявшая собой одну из самых авантюрных и действительно агрессивных попыток реального католического прозелитизма среди православных русских.

Мишель д'Эрбиньи в юности познакомился с созданной князем Гагариным Славянской библиотекой в Париже, учился там. Вслед за Гагариным д'Эрбиньи мечтал о превращении России в великую католическую сверхдержаву, откуда уже русские миссионеры будут обращать в истинную веру Китай и другие страны Азии. В течение 10—12 лет д'Эрбиньи играл ведущую роль в формировании политики Ватикана по отношению к России, и носила эта политика агрессивный и тотально враждебный православию характер.

Д'Эрбиньи не скрывал того, что считает своей целью уничтожение «фотианства» (так, по имени византийского патриарха Фотия, при котором произошло разделение церквей, он называл православие) и утверждение на его обломках католичества. Он считал, что «фотианские раскольники» утратили благодать, в результате чего их постигло моральное и духовное разложение. Победу большевиков он считал карой Божьей за разрыв с Католической церковью. Д'Эрбиньи установил контакты с обновленцами и вступил в тайные переговоры с Чичериным, Литвиновым и Смидовичем, серьезно рассчитывая договориться с ними о разрешении массовой католической миссии в России.

Следуя именно его рекомендациям, Ватикан лишь в 1930 году публично занял бескомпромиссно антибольшевистскую позицию (большинство западных протестантов сделали это гораздо раньше). И если в самой России предприятие д'Эрбиньи было по сути своей безумным, с самого начала обреченным на провал, то в среде русской эмиграции на Западе он развернулся вовсю. Гуманитарная помощь, благотворительные образовательные программы, спонсируемые Ватиканом периодические издания — все использовалось для агрессивной католической пропаганды, поругания православия, навязывания своей веры.

В конце 1933 года д'Эрбиньи был лишен полномочий и извергнут из сана — в первую очередь под давлением польских прелатов, возмущенных его пренебрежительным отношением к польскому католицизму, который этот француз считал чересчур провинциальным, националистическим и постоянно создающим препятствия для его глобальных планов. В какой-то степени д'Эрбиньи был всего лишь продолжателем дела русских католических экстремистов, поставивших своей целью «спасти Россию от православия»[1].

Каковы же были результаты всей этой кипучей деятельности? По подсчетам современного историка Л.Третьякевича, они ничтожны — не более 150 обращенных, почти исключительно из безрелигиозных русских семей. Действительно имевшие место обращения в католичество православных из числа русских эмигрантов если в это время и происходили, то с миссией д'Эрбиньи связаны никак не были — русские неофиты принадлежали к католическим кругам, осуждавшим его деятельность. Единственный реальный результат активности д'Эрбиньи — это широкое распространение антикатолических настроений в русской эмиграции, с отголосками которых среди престарелых эмигрантов первой волны можно столкнуться и сейчас.

Этот эпизодический всплеск «экспансии» и «агрессивного прозелитизма» прекрасно продемонстрировал, что как раз он-то совершенно не опасен, более того, даже полезен для изоляционистов и националистов внутри православия.

Сталинское примирение с религией в годы второй мировой войны предоставило Московской патриархии церемониально почетное место в государственной системе; легальный статус получили также мусульмане, баптисты, старообрядцы и некоторые протестанты. Наиболее неприемлемым для сталинской державы оказался именно католицизм. Он не только не получил никаких уступок на территории РСФСР, но подвергся самым жестоким репрессиям на возвращенных после войны западных территориях. Ликвидация украинской Греко-

[1] Князь П. М. Волконский. Русские католики на приеме у патриарха Тихона. — «Логос», № 48, Брюссель—Москва, 1993, с.123—129.

[1] Tretjakewitsch. Op. cit., p. 26—27.

католической (униатской) церкви рассматривалась как реванш по отношению к многовековой западной экспансии. Католические «экспансионисты» получили по заслугам не только на Украине, но и в Белоруссии, и в Латвии, и в Эстонии; примириться с легальным католическим присутствием пришлось фактически только в Литве.

Антикатолицизм сталинской империи был идеологически закономерен. В идеологии послевоенного режима причудливо сплеталась ментальность революционеров и черносотенцев, Чернышевского и Пуришкевича: оба они ненавидели Ватикан и видели в нем угрозу «светлым идеалам».

Последующие 30 лет постепенного разложения коммунистической идеологии делали общество все более терпимым к религии, однако к католичеству этот процесс прямого отношения не имел — одни были заняты утверждением значения Православной церкви в деле строительства русской культуры и русского государства, а другие — духовными поисками, уходившими в сторону оккультно-магической религиозности. Католицизм находился от всего этого в стороне — ведь присущий ему космополитизм противопоказан религиозному национализму, а стройная догматика и духовная дисциплина далеки от примитивных и хаотичных поисков «чудесного».

И все же в 70-е годы русский католицизм неожиданно возникает вновь. В отличие от XIX века, когда большинство католических обращений приходилось на секуляризованную аристократию и интеллигенцию, теперь в католичество чаще обращаются люди, считавшие себя православными. Филокатолические настроения проникают в среду православного духовенства, причем на самых разных уровнях. В Ленинграде известное пробуждение интереса к католицизму приходится на время пребывания на митрополичьей кафедре Никодима (Ротова). Под его непосредственным влиянием в православной церковной среде возникают прокатолические настроения и тяга к «христианскому единству». В Москве последователями и учениками православного священника Александра Меня создается католическая община Владимира Никифорова, разгромленная КГБ в 1983 году. Появляется и новое поколение катакомбных католических общин с «независимыми» священниками. Католицизм возрождается путем личного, часто спонтанного обращения к новой вере отдельных личностей.

Очередной этап модернизации, начавшийся в конце 80-х годов, вновь поставил Россию перед выбором, в том числе и выбором веры. Переход от десятилетий официального безбожия к «религиозному возрождению» предоставил католицизму в России определенные перспективы. Короткий период горбачевской перестройки был одним из редких исторических моментов, благоприятных и в идейном, и в политическом плане для возрождения католичества в России. Ощущение того, что стоит России избавиться от коммунистической системы, и она тут же станет «нормальной западной страной», где воцарятся свобода, гуманность и справедливость, вызвало западническую эйфорию, интерес и симпатию не только к политическим, культурным и экономическим, но и к духовным ценностям Запада. Традиционный русский изоляционизм — и коммунистический, и националистический — на короткое время был ослаблен и дискредитирован.

В 1989—1993 годах на пике западнических настроений происходит масса католических обращений. В 1991 году в России была восстановлена католическая иерархия. В стране появились две епархии — европейская с центром в Москве (ее возглавил поляк из Белоруссии Тадеуш Кондрусевич) и азиатская с центром в Новосибирске (ее глава — поволжский немец-иезуит Йозеф Верт, тайно состоявший в ордене с середины 70-х годов). С этого времени началось планомерное возрождение существовавших до революции католических приходов.

2-й Ватиканский собор принципиально изменил отношение Католической церкви к православию. Официальная доктрина Католической церкви ныне признает благодатность и спасительность Православной церкви. Влиятельные ватиканские круги считают установление дружественных отношений с Московской патриархией задачей более важной, чем возрождение католичества в России. Официальная позиция Католической церкви состоит в том, что католицизм в России следует возрождать исключительно в определенных этнических слоях — среди поляков, немцев, литовцев, латышей. Один из идеологов российского католичества даже сформулировал нечто вроде доктрины «канонических прихожан» в качестве альтернативы «проблеме канонических территорий»[1].

Но жизнь опрокидывает эти планы. Образование католических приходов во всех уголках страны протекает обычно по одной схеме: группа российских поляков или немцев (преимущественно престарелых) обращается в епархию с просьбой прислать священника, однако через 5—6 лет в изначально «этническом» католическом приходе большинство составляет русская интеллигентная молодежь. И это естественно: в настоящее время уже нет прежнего барьера между русскими и нерусскими — большинство живущих в России поляков, немцев, литовцев настолько перемешались браками и русифицировались, что даже забыли свой родной язык,

[1] Ю. Шрейдер. Межцерковные отношения: точка зрения католика. — «Свет Евангелия», 1997, №35.

и богослужения на языках «этнических католиков» им обычно непонятны.

Восстановление католической церкви в России привело и к возрождению традиционной для XIX — начала XX века проблемы русско-польских отношений в Церкви. Поляки играют в Церкви хотя и не доминирующую, как до 1917 года, но все же заметную роль: они составляют и большинство священников, и значительную часть верующих. Однако ныне во многих общинах не осталось и следа от дореволюционного антагонизма между поляками и русскими, а в некоторых городах священники-поляки сумели достичь громадного авторитета и уважения общественности.

Возглавивший в 1990 году приход в Иркутске настоятель Игнаций Павлюсь — яркий и не совсем типичный представитель католического духовенства. Из Кракова в Сибирь его привела глубокая любовь к России и русской культуре. Иркутский ксендз принял российское гражданство и ввел регулярные мессы, посвященные молитве за возрождение России. По убеждению отца Игнация, «Россия еще станет «сердцем мира», так же как Германия сейчас — это «мозги мира».

Однако этнические конфликты не исчезли полностью. И сегодня проявляется недовольство части русских католиков — священников и мирян — польским и польско-белорусским «национализмом». Чаще всего первопричина этих конфликтов заключается и в умонастроениях российских поляков, и в желании некоторых приехавших из Польши священников превратить воссоздаваемые приходы в некое подобие религиозно-культурных польских клубов. В одном из среднерусских городов молодые русские католики фактически порвали с общиной, заявив следующее: «Мы приняли католическую веру, а не польское гражданство; хорошо бы поляков лишили виз — рос бы потихоньку русский католицизм без польских командиров, а мы бы для окормления лет десять поездили за границу». Правда, такая позиция — лишь крайнее, нетипичное проявление определенных тенденций.

Для русских католиков очень важна культурная компонента. Приходя в католическую церковь, русский человек стремится ощутить себя погруженным в западную духовную атмосферу. И нынешняя ситуация в российском католицизме, когда большинство священнослужителей — иностранцы, приехавшие из самых разных западных стран, предоставляет ему такую возможность сполна. Иностранные священники привозят с собой не только наднациональную католическую веру, но и свои национальные традиции религиозной жизни, свой католический фольклор, который они (иногда даже не осознавая этого) прививают на российской почве. Так, приходы Нижнего Новгорода и Владимира приобретают итальянский колорит; Челябинска, Уфы и Маркса — немецкий; Самары, Владикавказа и Нальчика — ирландский; Курска и Якутска — словацкий; Казани — аргентинский. Во Владивостоке американский священник Мирон Эффинг включил в церковный календарь американский народный праздник День благодарения, который теперь с энтузиазмом отмечают русские католики-приморцы.

И все же долго получать удовольствие от ощущения себя иностранцем в своей собственной церкви человек не может. Совершенно закономерно, что и среди русских католиков латинского обряда по отношению к этой «иностранщине» возникла реакция отторжения. В 1996—1997 годах русские миряне-активисты начинают поднимать вопрос о необходимости русификации католицизма, укоренении его в русской духовной и культурной традиции. Среди обсуждаемых предложений — и почитание православных святых, канонизированных после разделения церквей в 1054 году, и заимствование латинским обрядом в России элементов православного богослужения, и отказ от использования некоторых явных элементов польской религиозной традиции[1]. Начинает формироваться собственно русский католицизм, с русским католическим самосознанием, русским патриотизмом.

Возникающее сейчас русское католическое сознание, естественно, не является механической смесью западноевропейских и русских идей. В российской католической среде идет сложный процесс переосмысления русской истории, культуры и духовности. Для русского католика Россия — часть Запада, ее религия и культура осмысляются как часть общеевропейской традиции. Периоды тотального противостояния Западу оцениваются как исторические недоразумения давно минувших лет, а русская культура конца XVIII—начала XX века трактуется как давшее блестящие результаты возвращение в родной европейский дом. Католики же оказываются в России носителями политических и культурных традиций западного консерватизма, включающих в себя такие ценности, как политическая свобода, достоинство человеческой личности, примат права.

В середине 90-х годов в русской католической среде неожиданно вновь возникает ставшая, казалось бы, достоянием истории идея восточного обряда. Она приобретает актуальность в кругах русских католиков, выросших в православной традиции, но не желающих находиться в юрисдикции Московской патриархии. Иногда стремление восстановить русско-католическую церковь появляется в качестве

---

[1] С. Михайлов. Еще раз о русских католиках. — «Свет Евангелия», 1997, № 20.

реакции на польский национализм. Речь, таким образом, идет о восстановлении Русской католической церкви восточного обряда, которая на территории СССР была де-факто ликвидирована в 1937 году[1]. Против утверждения восточного обряда в католических общинах России категорически возражает Московская патриархия, не видит в нем необходимости и Ватикан. Однако греко-католические общины существуют, растут и развиваются — это факт, с которым рано или поздно придется считаться.

Возродившееся после практически полного разгрома российское католичество достигло за 7 лет многого. В России сейчас (по разным оценкам) от 150 тысяч до полумиллиона католиков. Ватиканские источники связывают перспективы роста их числа с цифрой 3 млн. человек, для которых Римско-католическая церковь означает возвращение к вере предков[2]. Но никто не может предсказать, сколько из них действительно к ней вернутся, равно как и того, сколько русских (татар, якутов и т. д.) найдут Бога в костеле. Еще лет семь назад, например, никто не мог предвидеть, что заметную роль в российском католицизме будут играть армяне. Но в последние годы из Закавказья в Россию эмигрировали сотни армянских семей, принадлежащих к католической традиции. К концу 1997 года в католических приходах Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону и некоторых других южных городов армяне составили большинство прихожан.

Естественное развитие русского католицизма сталкивается в последние годы и с растущими антикатолическими настроениями. Они, как и прежде, носят не столько собственно религиозный, сколько культурно-политический характер и являются следствием вновь возрождающегося противостояния Западу и западным ценностям. Надежды российского общества конца 80-х — начала 90-х годов на быстрое решение социально-экономических проблем, на построение правового общества «по западной модели» сменились невротическими реакциями по принципу «зелен виноград»: «не получается демократическое процветающее государство — так мы и не хотели». Два течения — коммунистическое и православно-почвенническое, — иногда конфликтуя, иногда объединяясь, тянут страну к изоляции и стагнации; и оба этих течения видят в католицизме своего заклятого врага. Коммунистическая и националистическая пресса часто пользуется одними и теми же мифами, предрассудками и обвинениями: католический заговор, католическая экспансия, интриги иезуитов — вот что мешает России.

К сожалению, в антикатолической кампании не последнюю роль играет иерархия и значительная часть клира Русской православной церкви. Хотя некоторые представители православного духовенства (среди которых есть и епископы) относятся к католической церкви терпимо и иногда даже благожелательно, они составляют явное меньшинство и не формируют официальную политику. Патриарх и другие влиятельные священнослужители постоянно обвиняют католиков в «прозелитизме», «экспансии», «духовной агрессии». Любой успех российских католиков трактуется как «поражение» православия.

Руководство католической церкви стремится сгладить постоянно растущую напряженность в отношениях с Московской патриархией. Стремясь сохранить и улучшить отношения с РПЦ, Ватикан проводит политику, направленную на восстановление исключительно дореволюционных этнических общин. До сих пор почти все католические приходы возникали там, где они существовали до 1917 года (несколько исключений — в Сибири, куда при большевиках ссылали много поляков и немцев). Беда заключается, однако, в том, что эта политика практически неосуществима: отделить поляков и немцев от русских невозможно. А стремление Ватикана сохранить добрые отношения с Московской патриархией за счет добровольного ограничения своей деятельности возрождением только «этнических приходов» влечет за собой естественные обвинения в неискренности. У русских католиков подобная этническая ориентация церковного начальства вызывает невротические реакции, в том числе и раскольнические настроения уже в самой католической церкви.

Усилия католических общин, направленные на установление тесных экуменических связей с православными, обычно приводят к дружеским отношениям с двумя-тремя наиболее либеральными православными священниками данной епархии. В результате консервативное большинство обвиняет этих либералов в еретических и раскольнических настроениях, а самих католиков — в подрывной деятельности. Таким образом, политика наведения мостов хотя и смягчает конфликт на «высшем уровне», но приводит к новым конфликтам и напряжениям «внизу».

Феномен современного российского католицизма невозможно объяснить миссионерской активностью католической церкви — она не столь значительна. За ним стоит естественная, спонтанная тяга к католицизму вполне определенной части российского общества. Об этом в

---

[1] И. Лупандин. Декрет 2-го Ватиканского собора о Восточных католических Церквах и судьба Католической Церкви восточного обряда в России (1917—1995). — «Theologia» (Москва), № 5 (июль — декабрь 1994 г.), с. 100—108.

[2] А. Бармин. Католическое присутствие в современной России. В кн.: Религия и права человека. На пути к свободе совести. Вып. 3. М., 1996, с.124.

первую очередь говорит социальный состав католических общин. В большинстве своем это молодежь (главным образом — студенчество) и интеллигенция — наиболее активные, чутко ощущающие потребности своего времени слои. Высокий интеллектуальный уровень прихожан (работники культуры, преподаватели, научные работники) делает католицизм более влиятельным и притягательным, чем, например, баптизм. Для многих католиков неразрывно связанными с верой оказываются понятия культуры и свободы.

В самой православной среде, несмотря на позицию священноначалия, набирает силу тенденция, восходящая к Вл. Соловьеву, — не видеть разницы между православием и католичеством. Даже газета «Татьянин день», играющая роль неофициального органа консервативных православных интеллектуалов и постоянно критикующая современный католицизм за модернизм и «обновленчество», любит в то же время подчеркивать общее духовное прошлое и солидаризируется с традиционным дособорным католицизмом.

Исторически сложилось так, что обращение к католицизму в России означает гораздо больше, нежели выбор веры: это также и выбор культурной ориентации, выбор типа цивилизации. Для большинства современных российских католиков принятие католичества не означает ни разрыва с верой предков, ни возвращения к ней. Стать католиком для них — это впервые открыть для себя Христа и христианство, участвовать в создании новой религиозной и культурной традиции.

Безусловно, основные мотивы выбора католической веры, свойственные части русского общества XIX века, присутствуют и в сознании современных русских католиков. Это и очевидное неприятие нынешней российской действительности с ее экономическим хаосом, политическим одичанием и культурным запустением. Это и неприятие нынешнего состояния российского православия с его национализмом и антиинтеллектуализмом. Однако для новых русских католиков нетипично резкое и прямолинейное противопоставление России и Запада. Они не унаследовали чаадаевский ход мысли о России как о чем-то однозначно негативном, некоем Нечто, которое может — или не может — стать Чем-то.

Католический выбор означает отказ от традиционных дилемм и противоречий российского самосознания. Для новых русских католиков теряют смысл извечные дихотомии: «Россия или мир», «Демократия или Церковь», «Запад или Восток», «Христос или Великий Инквизитор» и т. д. По многим основным мировоззренческим вопросам взгляды этих католиков близки представлениям большинства «анонимных», невоцерковленных российских верующих — «христиан вообще». Исходя прежде всего из этого и следует оценивать нынешний российский католицизм.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

МИЛАН КУНДЕРА (MILAN KUNDERA; род. в 1929 г.) — чешский прозаик, драматург, поэт, эссеист. Пишет на чешском и французском языках. С 1975 г. живет в Париже. На родине опубликовал сборник стихов «Монологи» («Monology», 1957), пьесу «Владельцы ключей» («Majitelé klíčí», 1962), сборник рассказов «Смешные любовные истории» («Smešné lásky», 1963). Последующие книги писателя издавались за границей: романы «Жизнь в другом месте» («Život je jinde», 1970; отмечен во Франции премией Медичи, в Италии — премией Монделло), «Прощальный вальс» («Valčík na rozloučenou», 1972), «Книга смеха и забвения» («Kniha smichu a zapomění», 1978). «Иностранная литература» напечатала переводы романов М. Кундеры: «Шутка» («Žert», 1990, № 9, 10), «Невыносимая легкость бытия» («Nesnesitelna lehkost byti», 1992, № 5-6), «Бессмертие» («Nesmrtelnost», 1994, № 10), «Неспешность» («La lenteur», 1996, № 5), эссе «Когда Панург перестанет быть смешным» (1994, № 7).
Роман «Подлинность» вышел во Франции в 1997 году («L'identité». Paris, Gallimard).

ДЖУЛИАН БАРНС (JULIAN BARNES; род. в 1946 г.) — английский писатель. Окончил Оксфордский университет, живет в Лондоне. Автор романов «Метроленд» («Metroland», 1980), «До того, как мы встретились» («Before She Met Me», 1982), «Попугай Флобера» («Flaubert's Parrot», 1985), «Глядя на солнце» («Staring at the Sun», 1986). «ИЛ» познакомила читателей с творчеством Дж. Барнса, напечатав переводы его романов «История мира в 10 1/2 главах» («A History of the World in 10 1/2 Chapters», 1994, № 1) и «Дикобраз» («Porcupine», 1995, № 6).
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Через Ла-Манш» («Cross Channel». London, Picador, 1997).

ИЛЬЯ ТРОЯНОВ (ILIJA TROJANOW, род. в 1965 г. в Софии) — немецкий писатель. Пяти лет от роду вместе с родителями покинул Болгарию, после лагеря для перемещенных лиц долгие годы жил в Кении; образование получил в Германии. В начале своей литературной деятельности печатал очерки об африканских странах. Роман «Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом» («Die Welt ist groß und Rettung lauert überall». München Wien, Carl Hanser Verlag, 1996) — его первое значительное произведение. Роман был отмечен рядом литературных премий, в том числе премией имени Ингеборг Бахман, премией издательства Бертельсман и др. И. Троянов живет в Мюнхене и возглавляет издательство Марино-ферлаг.
В номере печатаются фрагменты романа.

КШИШТОФ КЕСЛЁВСКИЙ (KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI; 1941—1996) — польский кинорежиссер. Наиболее известны его фильмы: «Кинолюбитель» (1979, главный приз Московского международного кинофестиваля), «Короткий фильм об убийстве» (1988, специальный приз жюри Каннского фестиваля), «Короткий фильм о любви» (1988, специальный приз жюри фестиваля в Сан-Себастьяне), «Декалог» (1989), «Двойная жизнь Вероники» (1991, приз экуменического жюри Каннского фестиваля, 1992 г.), трилогия «Три цвета»: «Синий» (1993, «Золотой Лев» Венецианского фестиваля), «Белый» (1994, «Серебряный медведь» Берлинского фестиваля), «Красный» (1994, номинация на «Оскара» за сценарий и режиссуру).
Английский перевод автобиографической книги «О себе» («O sobie») вышел в Англии в 1993 г., в Польше книга была издана в 1997 г. (Kraków, Wydawnictwo Znak).

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН (EMIL MICHEL CIORAN, 1911—1995) — французский мыслитель-эссеист, родился в Трансильвании (тогда — Австро-Венгрия), с 1937 г. жил во Франции. Его первые книги философской эссеистики «На краю отчаяния» («Pe culmile desperarii», 1934) и «Слезы и святые» («Lacrimi si sfinsti», 1937) написаны по-румынски и опубликованы в Бухаресте. С 1946 г. писал по-французски. Автор сборников эссе и афоризмов «Уроки распада» («Précis de décomposition», 1949), «Соблазн существования» («La tentation d'exister», 1956), «История и утопия» («Histoire et utopie», 1960), «Злой творец» («Le mauvais demiurge», 1969), «Признания и проклятия» («Aveux et anathemes», 1987) и др. В «ИЛ» печатались его эссе «Механика утопии» (1996, № 4), «Встречи с Паулем Целаном» (1996, № 12).
Предлагаемая публикация подготовлена по книге «Записные книжки. 1957—1972» («Cahiers 1957—1972». Paris, Éditions Gallimard, 1997).

ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1951 г.) — кандидат исторических наук, директор Социологического центра Московского общественного научного фонда, ст. научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук; автор работ о религиозной жизни России, США и Канады. В «ИЛ» опубликована его статья «Современная Россия и секты» (1996, № 8).

ВОРОНЦОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА — сотрудник Социологического центра Московского общественного научного фонда, ведущий научный сотрудник Сергиев-Посадского музея-заповедника; автор работ по социологии

религии в России и по средневековому русскому искусству.

■Переводчики:

СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1939 г.) — поэт, прозаик, переводчик с французского. В его переводах публиковались стихи А. Шенье, Э. Верхарна, А. Рембо, Ф. Вийона, А. Боске, романы «Помни Рубена» М. Бети, «Кровоточащие маски» С. Бадиана; повесть «Белый бык» Вольтера. В «ИЛ» напечатаны роман-репортаж «Солнце встает не для нас» Р. Мерля (1988, № 10), романы «Счастливая смерть» (1992, № 2) и «Человек бунтующий» (главы из книги; 1990, № 5,6) А. Камю, «Неспешность» М. Кундеры (1996, № 5), книга «Белое и черное» Э. Ионеско (1993, № 10) и др.

СТАМ ИННА СОЛОМОНОВНА — лингвист, кандидат филологических наук, переводчик с английского. В «ИЛ» в ее переводе напечатаны повесть «Ковентри возрождается» Сью Таунсенд (1991, № 3), рассказы Чарльза Джонсона (1992, №4), «Время убийц. Этюд о Рембо» Генри Миллера (1992, № 10), роман «Мы с королевой» Сью Таунсенд (1994, № 7) и др. Автор ряда работ по современному английскому языку.

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА — переводчик с немецкого и скандинавских языков. В «ИЛ» в ее переводе были опубликованы рассказ «Молчание доктора Мурке» Г. Бёлля (1956, № 7), романы «Оле Бинкоп» Э. Штриттматтера (совместно с Н. Ман, 1965, № 7—10), «Правосудие» (1988, № 6) и «Пенсионер» (фрагменты романа, 1996, № 4) Ф. Дюрренматта, «Жестяной барабан» (книга первая) Г. Грасса (1995, № 11; перевод отмечен премией имени Жуковского, 1998), повесть «Солдат и женщина» М. В. Шульца (1979, № 10), главы из книги «Сорок лет. Повесть о жизни» Гюнтера де Бройна (1998, № 2) и др. В переводе С. Л. Фридлянд издавались также романы, рассказы и пьесы К. Гамсуна, С. Цвейга, В. Кёппена, К. Вольф, М. Вальзера, А. Стриндберга, И. Бахман и др.

АДЕЛЬГЕЙМ ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА — литературовед, кандидат филологических наук. Автор статей по польской литературе XX века, соавтор книги «Мой язык. Как я говорю, думаю, читаю, пишу» (М., 1995).

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.) — литературовед, переводчик, автор статей по социологии культуры. В его переводе публиковались произведения А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Х. Л. Борхеса («ИЛ», 1984, № 3; 1990, № 12) и др. Автор публикаций «Антиэлегии середины века» («ИЛ», 1995, № 1); «Опыт-предел: случай Эмиля Чорана» («ИЛ», 1996, № 4); ведущий авторской рубрики «ИЛ» «Портрет в зеркалах» (1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12). Лауреат премий «ИЛ» (1992), «ИЛлюминатор» (1994), премии им. Анатоля Леруа-Больё (1996).

■

В одном из уютных особняков Замоскворечья разместились

выставочные залы молодой галереи

«линия-арт»

Адрес Галереи:
Пятницкая ул.,
д. 41, стр. 1
(левое крыло особняка)

Среди ведущих авторов Галереи
известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 час.
Тел./факс 953 36 24
201 26 03

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
стенд Галереи на международной художественной ярмарке

АРТ-МАНЕЖ'98

с 4 декабря по 10 декабря

Михаил РУДАКОВ
Валерий САХАТОВ **живопись**
Игорь КИСЛИЦЫН

Евгений
ВЕРЕЩАГИН **скульптура**

МАНЕЖ
МОСКВА

Нефтяная компания
РОСНЕФТЬ

Открытое акционерное общество
РОСНЕФТЬ-НЕФТЕГАЗСНАБ

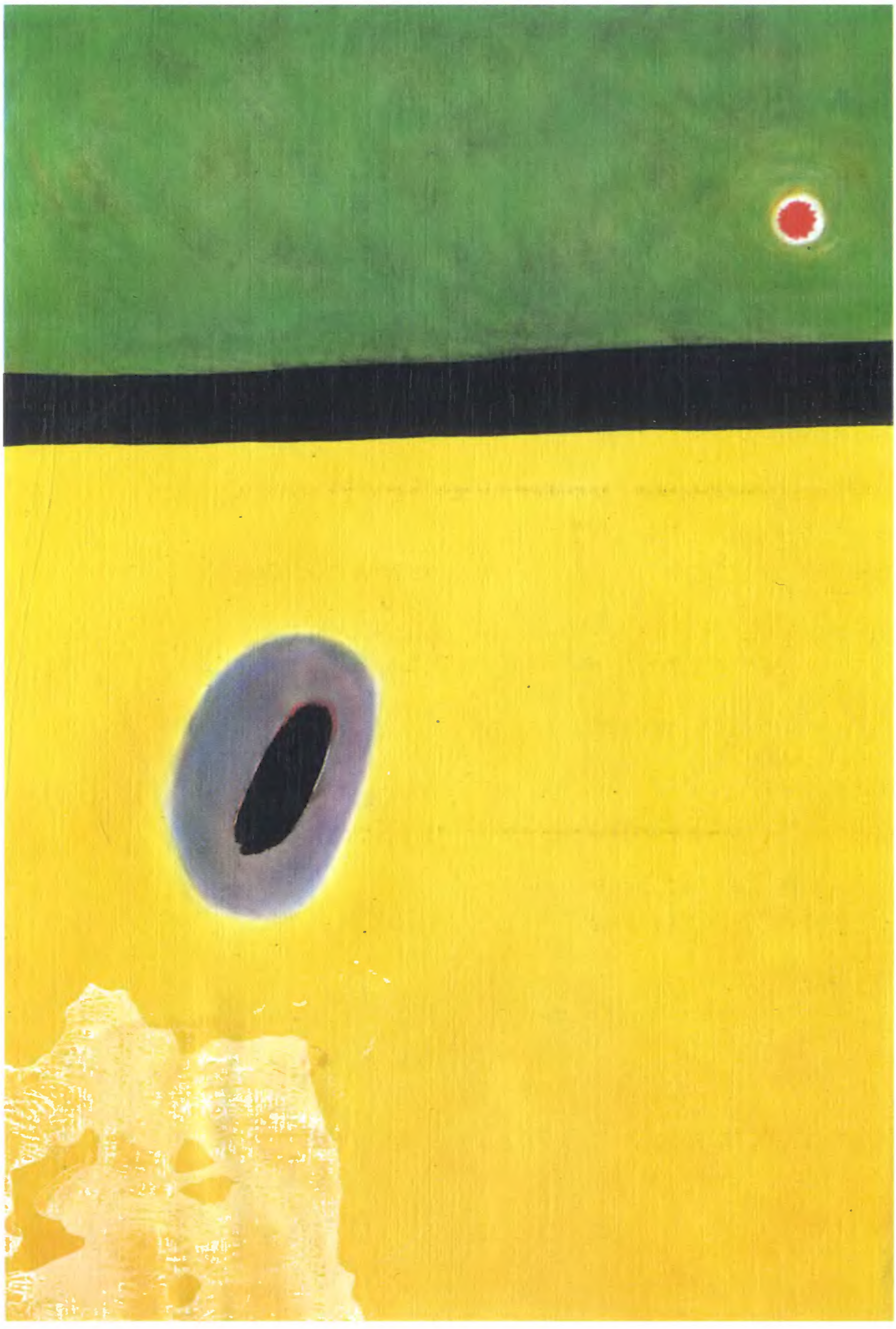
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

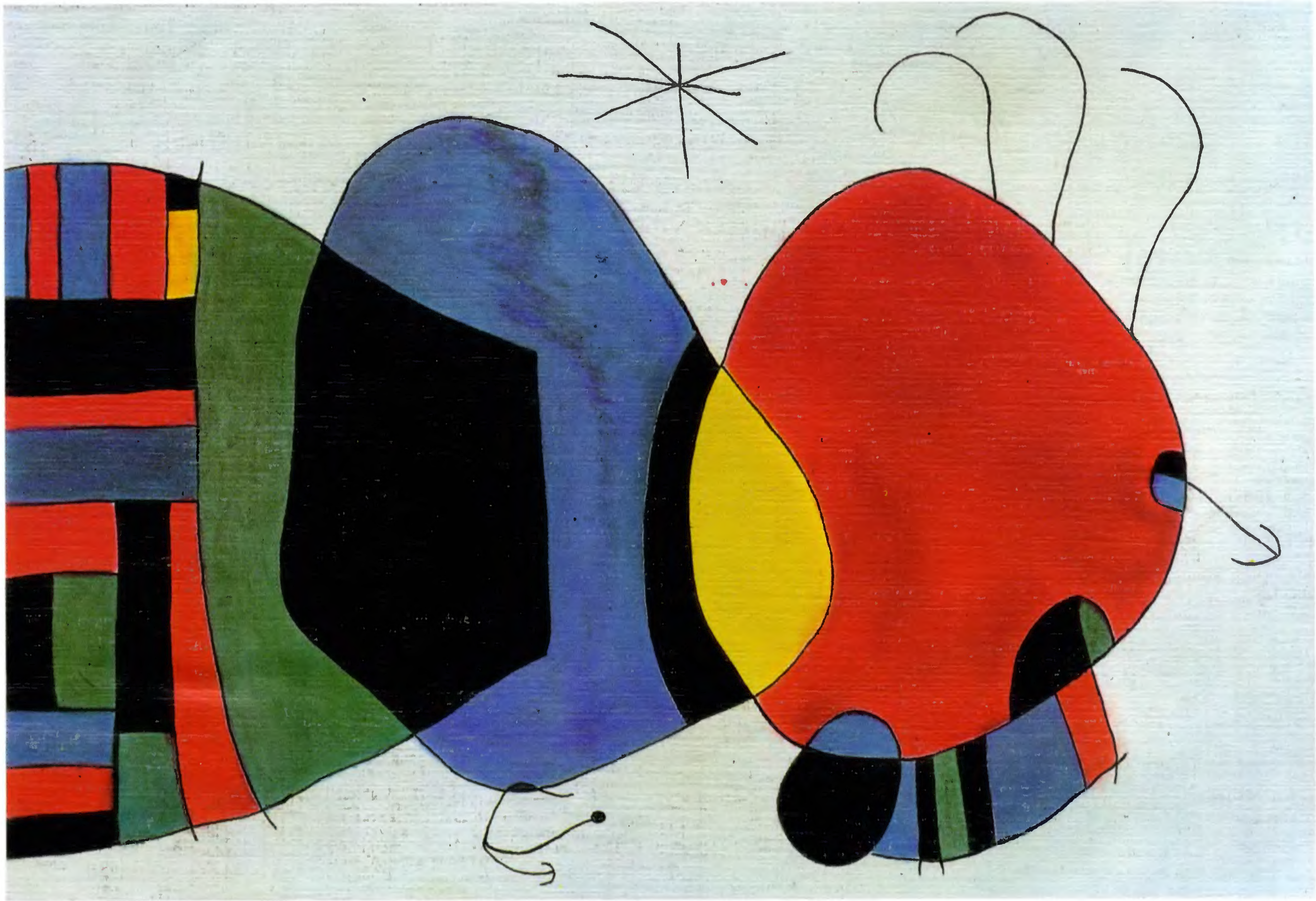
- **обеспечение нефтегазодобывающих и других отраслей материально-техническими ресурсами**
- **участие в выпуске продукции производственно технического назначения**
- **внешнеэкономическая деятельность**
- **оптовая и розничная торговля (в т.ч. автомобилями и спецтехникой)**
- **трубная продукция и нефтепромысловое оборудование**
- **химическая продукция и строительные материалы**
- **поставки нефтепродуктов**
- **предложения по долевому строительству и участию в нежилом и жилом фондах**

Юридический адрес:
113816 г. Моска, Софийская наб. 26/1

Тел/факс: **(095)953-35-80, 239-88-92**
Телефон: **(095) 239-80-48, 951-42-79**

Офис: **г. Москва, ул. Пятницкая, 41**





ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №11, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394